

Александр  
ДЮМА

—♦♦2♦♦—

МОГИКАНЕ  
ПАРИЖА



18



18



*Dumas*



Александр Э  
**ДЮМА**

—◆◆◆—  
МОГИКАНЕ  
ПАРИЖА

2  
S

Кишинев  
«Concordia◆Vesta»  
1992

ББК-84. 4ФР-44

Д-96

Д 96 А. Дюма. МОГИКАНЕ ПАРИЖА в 2-х томах.  
т. 2.— Роман — «Concordia» — «Vesta», Кишинев,  
1992.— 432 стр.  
ISBN 5—86—968—012—3

Печатается по изданию: А. Дюма. Могикане Парижа.  
С.-Петербург, 1884.

Д  $\frac{4703000000-011}{754(10)-92}$  (без объявл.)

ISBN 5—86—968—012—3

- © Оформление АО «Concordia» — «Vesta», 1992.
- © Ассоциация «Concordia» — А. Т., 1992.
- © Переиздание. Изд.-полигр. предприятие  
«Уральский рабочий», оформление, 1992.



## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### I

#### СТАРАЯ, НО ВЕЧНО НОВАЯ ИСТОРИЯ

Петрюс по возвращении в свою мастерскую посмотрел сперва с радостью, потом с досадой на натянутые холсты, на одном из которых он недавно окончил портрет дочери маршала Ламот Гудана. После осмотра, продолжавшегося минут десять, он показался ему так плох в сравнении с оригиналом, что он готов был уничтожить его. К счастью, появление Жана Робера помешало ему привести это намерение в исполнение.

Жан Робер был слишком хороший наблюдатель, чтобы не заметить, что в жизни его друга произошло нечто новое, необычайное. Но он был человек скромный, не любивший напрашиваться на откровенность, и, чувствуя себя лишним, хотел тотчас же удалиться.

Молодые люди, по крайней мере благовоспитанные, редко говорят между собой о своей любви: любящее сердце предпочитает тайну и даже самого близкого друга неохотно вводит в свои укромные углы.

И Жан Робер под предлогом какой-то вымышленной необходимости простился и вышел, оставив друга размышлять в одиночестве над его душевным состоянием. Каково было это состояние, Жан Робер не знал, но что ему было до того: он угадал по улыбке, глазам, по молчаливой рассеянности, что оно у его друга было хорошее.

Петрюс, оставшись в мастерской, провел один из тех дней, воспоминание о которых вызывает даже в преклонные годы радостный трепет.

С этого дня сон, ласкающий всякое юное сердце, особенно сердца натур художественных,— любовь женщины, одаренной красотой, величием и молодостью,— этот сон осуществился для него.

Вечером он сел за фортепиано. Петрюс, как и все художники, обожал музыку. Рука его не могла раскрыть на полотне всех оттенков душевных волнений. Только музыка, с ее чарующими звуками, могла ответить на страстный зов души молодого человека.

Было уже поздно, когда он решился лечь и заснул.

Однако было бы ошибкой сказать, что он заснул: хотя глаза его и были закрыты, но он бодрствовал вплоть до утра. Именно бодрствовал, потому что какой-то тайный голос в нем не переставал повторять имя Регины.

На другой день он вышел из дома в девять часов утра, несмотря на то, что свидание было назначено в двенадцать. Он просто не был в состоянии оставаться на одном месте и провел три часа, отделявшие его от назначенного времени, в прогулке около отеля маршала.

Отель Ламот Гудана, построенный, как мы уже говорили, на улице Плюме (теперь — Удино), состоял из обширного корпуса, расположенного между двором и садом; в глубине этого сада возвышался павильон, заключавший в себе столовую, зал и будуар. Весь он был закрыт гигантской оранжереей, сквозь стекла которой виднелись, как в цветочных заведениях Парижа, как в ботаническом саду Брюсселя или оранжереях знаменитого садовода Ван Гутта, тысячи экзотических растений, листья которых, то широкие и короткие, то тонкие и длинные, принадлежали к разновидностям, не известным ни северу, ни западу.

Этот павильон, окруженный деревьями, был виден только с одной стороны — с юга: совершенно чистое место, свободное от высоких каштанов и кудрявых лип, давало возможность обозревать его сквозь ограду.

В будуаре этого павильона, — наполовину мастерской, наполовину оранжерее, — Регина ждала художника. Правда, не с таким страстным нетерпением, с каким ждал этого свидания он, но, тем не менее, с известным любопытством.

Петрюс явился в назначенный час, ни минутой раньше, ни минутой позже. Он всегда придерживался того правила строгой точности, которую Людовик XIV назвал «вежливостью королей».

Переступив порог этого прелестного павильона, он был поражен и очарован.

Открывшийся его взору вид представлял пленительное зрелище для такого человека, каким был Петрюс. Самое



живое воображение не могло быть полнее этой роскошной действительности. Тут были собраны все чудеса искусства, все роскошнейшие произведения земли: под исполинскими папоротниками Южной Америки притаилась статуя из розового мрамора двух влюбленных, застывших в целомудренном объятии,— «Амура и Психеи» Кановы, меж листьев пальмы виднелись наяды с распущенными волосами — Клодиона.

Здесь были размещены до двадцати бюстов знаменитостей семнадцатого и восемнадцатого веков вперемежку со статуями из флорентийской бронзы учителей средних веков; под розовидными растениями Европы, под магнолиями Северной Америки — грации Германа Пилона, нимфы Жана Гужона, Амуры Жана Болонь — этой знаменитости, которую отняла у нас Италия; наконец, до сотни образцовых произведений из камня, дерева, мрамора, бронзы, расположенных в систематическом порядке в этом чудном цветущем лесу.

Регина казалась богиней-покровительницей, всемогущей феей этого очаровательного мира.

Петрюс колебался, несмотря на то, что лакей передал ему приглашение войти, и Регина была вынуждена с улыбкой обратиться к нему:

— Войдите же, пожалуйста.

— Прошу извинения, мадемуазель,— сказал Петрюс,— но простому смертному простительно колебаться у двери рая.

Регина встала и предложила художнику пройти в зал, превращенный в мастерскую. Посередине зала на мольберте стоял подрамник с натянутым холстом, достаточно широким и длинным, чтобы портрет вышел в натуральную величину. На складном стуле помещались ящик с красками и палитра.

Все было приготовлено умелой рукой, и Петрюсу не понадобилось сделать ни малейшей перестановки.

— Потрудитесь сесть, где вам угодно, и возьмите одну из роз, которая вам более всего понравится,— обратился Петрюс к Регине.

Регина приняла самую непринужденную позу и взяла прелестный цветок.

Петрюс взял карандаш и уверенной рукой сделал общий набросок портрета. Дойдя до отделки мелких деталей, он заметил, что в лице Регины нет необходимого оживления.

— Позвольте, мадемуазель, предложить вам,— ска-

зал он,— поболтать немножко... о чем вам угодно — о ботанике, географии, музыке. Я должен сознаться, что принадлежу к школе художников-идеалистов. Мне кажется невозможным написать хороший портрет с неподвижного лица. Масса лиц, приглашающих писать с себя портреты, благодаря неестественному молчанию, которое они хранят во время сеансов, выходят суровыми и не схожими, что вызывает улыбки их друзей: «О! Это совсем не ваше лицо — уж слишком важно» или «Слишком старо». И вина падает на бедного художника, а этот художник зачастую вовсе не знает своего оригинала, и что же удивительного, если вместо обычного выражения он придает ему выражение минуты.

— Вы совершенно правы,— ответила Регина, слушающая внимательно эту теорию.— И если для того, чтобы сделать хороший портрет, вам достаточно видеть мое лицо с присущим оживлением, не поленитесь протянуть руку и позвонить.

Петрюс позвонил. Вошел лакей.

— Позовите Пчелку,— сказала Регина.

Через пять минут ребенок лет десяти или одиннадцати вошел или, скорее, впорхнул в дверь и опустился у ног Регины.

Петрюс, легко воспламенявшийся, как и все художники, не мог воздержаться от возгласа:

— О! Какое прелестное дитя!

Девочка, носившая характерное прозвище Пчелки, была действительно прелестным ребенком. Прозрачное матовое лицо, напоминавшее лепесток розы, чудесные блестящие белокурые волосы, локонами обрамлявшие его, и гибкая талия в самом деле придавали ей сходство с пчелкой.

— Ты звала меня, сестра? — спросила она.

— Да, но где же ты была? — отвечала Регина.

— В фехтовальном зале: мы с папой упражнялись в фехтовании. Папа уверяет меня, что если ты выросла такая большая и красивая, то только благодаря этим упражнениям; а так как я хочу быть такой же большой и хорошенькой, как ты, то я и стала надоедать ему, чтобы он научил меня фехтованию.

— Да! Но и он хорош после этого. Посмотри, ты вся в поту, задыхаешься... Я очень рассержусь, Пчелка! Как вам нравится, большая уже девочка, одиннадцать лет, а занимается фехтованием, как какой-нибудь школьник из Саламанки или гейдельбергский студент.



— Да еще, как только придет весна, я буду учиться ездить верхом.

— Это другое дело!

— Папа сказал, что в этом году он купит тебе другую лошадь, а твоего Эмира отдаст мне.

— О! Неужели? Но если только папа это сделает, я в глаза назову его безумцем. Представьте себе, г-н Петрюс, Эмир — такая лошадь, что на нее никто сесть не может.

— Да, никто, кроме тебя, Регина. Только ты заставляешь его скакать через рвы в шесть футов шириной и через барьеры в три фута.

— Потому что он меня знает и слушается.

— Я в свою очередь тоже познакомлюсь с ним, а если он не станет слушаться, я скажу ему: «Я сестра Регины и дочь маршала Ламот Гудана», и кончится тем, что он покорится...

— Эмир, — вмешался Петрюс, желая воспользоваться оживлением Регины, чтобы дописать ее голову, — это гнедая лошадь, смесь арабской с английской?

— Да, — ответила Регина, улыбаясь, — она происходит из той страны, где каждая собака, каждая лошадь имеет свою родословную.

— Это тот господин, — спросила вполголоса Пчелка, — который пишет твой портрет?

— Да, — ответила Регина так же тихо.

— А мой он не нарисует?

— Мне бы это было очень приятно, — ответил ей Петрюс, улыбаясь. — В особенности в той позе, в которой вы находитесь теперь.

Девочка полулежала, опершись локтями на колени сестры. Ее прелестная головка покоилась на руках, а Регина, шутя, проводила по ее лицу и волосам цветком резеды.

— Слышишь, сестра, — сказала Пчелка, — этот господин охотно сделает и мой портрет.

— О, он, конечно, поставит какое-нибудь условие, — сказала Регина.

— Какое же? — спросила Пчелка.

— Вы должны быть умницей и слушаться сестру.

— Вот что! Я знаю наизусть заповедь, в которой говорится: «Чти отца твоего и мать твою», но в ней нет: «Чти сестру твою». Я очень люблю Регину, люблю всем сердцем, но слушаться ее не хочу. Я буду слушаться только отца.

— Еще бы, он делает все по-твоему.

— А без этого я и не была бы так послушна,— смеясь, перебила сестру Пчелка.

— Перестань, Пчелка,— сказала Регина.— Ты хочешь казаться хуже, чем есть на самом деле. Сиди смиренно около меня и расскажи нам что-нибудь... Вообразите, господин художник, когда мне делается скучно, а это случается довольно часто, девочка рассказывает мне целые истории, или вычитанные ею, или плод ее собственной головки... Ну, Пчелка, рассказывай!

— Хорошо, сестрица, я расскажу тебе одну историю,— сказала девочка, лукаво взглянув на молодого человека.

Художник слушал. Работа его, между тем, подвигалась, и голова Регины в этой простой позе, с обычным выражением, выходила прелестной.

Девочка начала.

## II

### ФЕЯ КАРИТА

Жила-была очень давно одна принцесса, одаренная необыкновенными добродетелями и несравненной красотой. Родилась она в Багдаде во времена господства халифа Гаруна аль-Рашида. Отец ее, один из самых знаменитых воевод армии халифа, видя, что дочь его растет, а войны повторяются реже, подал халифу просьбу об отставке, чтобы посвятить все свое время воспитанию своей дочери Зюлеймы.

Зюлейма — это слово персидское и означает «царица». Не желая отвечать отказом на просьбу воеводы, халиф принял ее, и, несмотря на печаль, которую испытывал, расставаясь с самым храбрым из своих воинов, он покорился необходимости и предложил ему в воспитатели Регины... прости, сестрица, я хотела сказать Зюлеймы,— и предложил в воспитатели Зюлеймы того самого учителя, который занимался воспитанием его собственной дочери.

Воевода оставил двор, где он пребывал до того времени, и переехал в предместье города, в принадлежавший ему дворец, который был окружен, как и улица Плюме, цветочными садами.

В точно такой же цветник, как вот этот, приходили учителя танцев, рисования, пения, ботаники, астрономии, даже физиологии. Генерал хотел, чтобы ум принцессы

был полон всеми знаниями, известными в то время. Можно сказать без лести, что она отлично воспользовалась уроками своих преподавателей: в восемнадцать лет ее достоинства и таланты равнялись ее красоте...

— Пчелка,— перебила ее сестра,— твоя сказка на этот раз вовсе не интересна, расскажи нам другую...

— Возможно, что она не занимательная, но преимущество ее заключается в том, что она не вымысел, а правдивость есть достоинство всякого рассказа, не правда ли, господин художник? — продолжала маленькая девочка, обращаясь уже к живописцу.

— Я вполне разделяю ваше мнение,— отвечал художник, догадываясь, что в этом рассказе есть намек на жизнь Регины.— И буду покорнейше просить вашу сестрицу позволить вам продолжать.

Щеки Регины сделались так же красны, как цветок камелии, роскошно распустившийся над ее головой.

— А если я буду продолжать, что вы мне за это дадите?

— Я дам вам ваш портрет.

Пчелка захлопала в ладоши и, повернувшись к сестре, сделала руками жест, ясно говоривший: «Слышишь, Регина, теперь уже ничего не поделаешь!»

Регина ничего не ответила. Она тихонько отодвинула кресло шага на три назад, точно хотела скрыть в зелени листьев выступившую на ее лице краску.

Пчелка, видя, что Регина, хотя и не давала своего согласия, но и не налагала решительного запрета, продолжала:

— Я остановилась на описании красоты принцессы... Но оставим это: папа утверждает, что красота проходит, а вечны одни добродетели. Но доброта Зюлеймы была поразительна! Все матери в Багдаде, видя ее, проходящую по улице, говорили своим детям: «Вот самая прекрасная и самая добрая из принцесс, которые когда-либо бывали на свете».

Мало-помалу она приобрела такую славу в предместье, что ее стали считать не обыкновенной женщиной, как всех других, а настоящей феей, благодетельствовавшей повсюду, где бы она ни появлялась.

Однажды, маленький савояр, который зарабатывал кусок хлеба, заставляя плясать свою обезьянку, плакал и жаловался, что за целый день никто не подал ему ни одного су и он не смеет показаться своему хозяину на глаза.

Принцесса, высунувшись из окна, увидела слезы бедного мальчика. Она поспешила выйти к нему и спросила, что с ним. Только взглянул на нее савояр, как понял, что горю его конец, запрыгал от радости и закрычал:

«Фея! Вот фея Карита!»

Он так громко прокричал эти слова, что пять или шесть прохожих, не зная настоящего имени Зюлеймы, стали звать ее не менее прекрасным именем — волшебницей Каритой. Это слово означает милосердие... Но я не буду перечислять все добрые дела волшебницы, скажу только, что она вполне заслуживала свое прозвище. Впрочем, я расскажу только об одном из прекрасных поступков волшебницы Зюлеймы, нет, Кариты, нет, Регины... Я все путаюсь!.. И моя сестра Регина, которая, несмотря на то, что и несравненно больше меня и умнее, и знает прекрасно множество сказок о добродетельных волшебницах, может вам засвидетельствовать, что я не изменила ни одного слова.

Я уже сказала, что дворец принцессы был окружен цветочным садом и аллеями, которые прорезают весь Багдад, как бульвары — Париж. По этим аллеям каждый день принцесса каталась верхом на своей лошади вместе с отцом, и всякий, попадавшийся навстречу, не мог отказать себе в удовольствии остановиться и полюбоваться ими. Итак, однажды во время такой прогулки волшебница увидела на краю рва маленькую девочку десяти или одиннадцати лет, бледную, худую, с длинными, распущенными до плеч волосами. Ее била лихорадка, несмотря на жаркий день и солнцепек. Около девочки вертелось пять или шесть собачонок, которые лизали ее и ласкались к ней, а на голом плече сидела ворона и била крыльями. Но ни ворона, ни собачонки не занимали ее. Видимо, она сильно страдала и дрожала так, что зуб на зуб не попадал, точно в сильный мороз зимой... Не забудьте, что это было в августе прошлого года... Ах, что я говорю?! — вскричала девочка.

Петрюс улыбнулся.

— Наконец, ты сама убедилась, что просто говоришь глупости, милая, — заметила Регина. — Ты рассказываешь историю из времен халифа Гаруна аль-Рашида, в то же время рассказываешь о прошлом августе. Действие происходит в Багдаде, а одним из действующих лиц является савояр. Ты сегодня не в ударе, Пчелка...

— Ну, полно, сестрица. Я ведь ошиблась только во

времени: сказала «прошлого года», вот и все. В прошлом году этого быть не могло, потому что происходило во времена господства халифа Гаруна аль-Рашида, а всякий знает, что он был пятым халифом из династии Аббасидов и умер в 809 году.

Сделав не без гордости это замечание, девочка продолжала:

— Я хотела сказать, что это было в такое же время, как теперь. В Багдаде стояла сильная жара, какая бывает здесь на бульварах, например, у рогатки Фонтенбло,— самое подходящее сравнение. Поэтому и поразителен был озноб девочки, что не было возможности долго стоять на солнце. Это и заметила Карита. Она попросила отца помочь ей сойти с лошади, чтобы лучше распротить девочку, что с ней.

— Почему,— спросила ее принцесса самым нежным голосом,— ты так дрожишь? Ты больна?

— Да, добрая волшебница,— отвечала девочка, тотчас угадавшая в ней фею.

— Что же с тобой?

— У меня, говорят, лихорадка.

— Почему ты не в постели, если у тебя лихорадка?

— Потому что собаки больны сильнее меня, и меня послали гулять с ними.

— Но ведь не мать же послала тебя гулять с собаками: мать этого никогда не допустила бы.

— Это, действительно, не моя мать, добрая волшебница.

— Где же твоя мать?

— У меня нет матери.

— Кто тебе заменяет ее?

— Г-жа Броканта.

— Кто это г-жа Броканта?

Девочка колебалась с минуту, фея переспросила ее.

— Тряпичница, воспитавшая меня,— ответила, наконец, девочка.

— У тебя нет родителей?

— Я одна в целом мире.

— Бедная малютка! — сказала принцесса.— А как тебя зовут?

— Рождественская Роза.

— У тебя, бедное дитя, такой же болезненный вид, как и у цветка, имя которого ты носишь... Где ты живешь?

— О, добрая фея,— отвечала девочка,— в одном из самых грязных и скверных закоулков Багдада.



— Далеко отсюда?

— Нет, приблизительно минутах в десяти ходьбы.

— Ну, так я отведу тебя домой и скажу, чтобы тебя уложили в постель.

Девочка сделала попытку встать, но чуть не скатилась в канаву: так велика была ее слабость.

— Подожди,— сказала волшебница.— Я возьму тебя на руки.

Принцесса подняла девочку, которая так исхудала, что, пожалуй, была не тяжелее моей куклы, и поднесла к отцу, который взял ее и усадил на передней части своего седла... Таким образом они пустились в дорогу: Роза на седле папы!.. Ну, я опять сбилась... Роза на седле отца волшебницы, сама волшебница на своей лошади, держа на руках двух маленьких собачек, которые не поспевали за ними, остальные три были побольше и бежали сзади. Ворона летела следом, но чтобы она не залетела далеко, Роза беспрестанно повторяла:

— Фарес, Фарес!

Скоро они въехали на улицу, мрачную, как ночь. Хотя отец и говорил мне много раз, что солнце светит для всех, но для обитателей этой трущобы оно не светило.

— Там,— указала девочка, схватив поводья лошади.— Вот эта дверь.

Дверь конуры собак моего отца, право, чище этой двери, ведущей в человеческое жилище. Пришлось согнуться для того, чтобы войти в нее.

Мальчик, сидевший на тумбе, которого Роза назвала Баболоном, предложил свои услуги постеречь лошадей, и принцесса с отцом, наконец, достигли жилья Броканты.

Насколько была молода и прекрасна принцесса, настолько Броканта была стара и безобразна; незнакомцу не трудно было бы угадать, который из них добрый гений: если принцесса поистине олицетворяла фею, то Броканта была воплощением отвратительной колдуньи.

Прежде всего Карита опустила на пол собачонок, затем обратилась к колдунье:

— Сударыня, мы привезли вам этого ребенка. Ее сильно била лихорадка на бульваре. Она больна: хорошо бы уложить ее и укрыть чем-нибудь теплым.

Броканта хотела ответить, но собачонки подняли такой лай, что ей пришлось усмирить их метлой.

— Она сама хотела идти гулять,— сказала тряпичница принцессе, искоса глядя на нее, конечно, потому,

что узнала в ней милостивую волшебницу.— Кроме того, она ни на что не способна. Это и есть причина ее болезни.

— Она все-таки ребенок,— возразила принцесса.— Ее не следовало слушать. Но не уложите ли вы ее? Я ищу глазами постель и не нахожу ее. Разве у вас нет еще другой комнаты?

— Вы, кажется, думаете, что вы во дворце,— проворчала колдунья.

— Ну, ну, любезная,— вступился генерал.— Прошу вас отвечать повежливее или я пошлю за комиссаром, который заставит вас сознаться, где вы украли этого ребенка!

— О, нет, не надо! Я хочу остаться с ней! — вскричала девочка.

— Я и не думала ее красть,— возразила старуха.

— Ну, полно,— сказал генерал.— Ты, пожалуй, еще станешь уверять, что это твой ребенок.

— Разве я это сказала? — отвечала старуха.

— Ну, а если она не твоя, значит, ты ее украла.

— Я не украла, а просто нашла и воспитала, как свою, не делая различий между нею и Баболеном.

— Положим,— возразил генерал,— но не для того же взяли вы ребенка, чтобы уморить его. Где спит девочка?

— Здесь,— отвечала колдунья, указав на углубление в крыше, где Роза устроила себе ложе.

Волшебница подняла занавес, скрывавший этот угол чердака, и увидела довольно чистую постельку, которая состояла только из одного матраца. Дотронувшись до этого матраца, она нашла его очень жестким.

— Право,— заметила она,— мне совестно пользоваться комфортабельной спальней в то время, как эта девочка должна спать на подобном матраце.

— У нее будет и пуховая постелька, и одеяльце,— сказал генерал.— Все это, милая, я вам пришлю и, кроме того, доктора; а куда держите ребенка, по возможности, в тепле и пригласите сиделку. Вот деньги на уплату ей и на покупку лекарств. Если же доктор скажет мне завтра, что за ней был плохой уход,— я отдам вас в руки комиссара.

Колдунья бросилась к девочке и прижала ее к своей груди.

— О, нет, не беспокойтесь,— сказала она,— если Роза и не пользуется таким уходом, как любая принцесса, то виной тут недостаток денег... Вот и все.

— Прощай, Розочка,— сказала волшебница, подходя к девочке и целуя ее.— Я навещу тебя, дитя мое.

Щеки ребенка разгорелись от удовольствия. Видя румянец, принцесса обратилась к отцу.

— Посмотри, папа, какая она хорошенькая!

И действительно, она была прехорошенькая... Вот с нее, господин художник, хорошо было бы написать портрет.

— Значит, вы ее видели, барышня? — поймал ее живописец.

— Конечно,— ответила Пчелка, но сейчас же спохватилась и добавила:

— То есть я видела ее на картинке в книжке: на ней был костюм Красной Шапочки.

— Вы, конечно, покажете мне эту картину?

— О, непременно,— храбро отвечала девочка и продолжала опять:

— Волшебница и ее отец возвратились домой и спустя полчаса отослали обещанные вещи. Потом приказали подать карету и отправились за доктором, который жил в центре города. Доктор сейчас же согласился и при них уехал к больной, а принцесса и генерал вернулись в свой дворец, оба очарованные друг другом: волшебница — добротой своего отца, а отец — сострадательностью и прелестью своей дочери.

Доктор обещал каждый вечер заезжать к нему и сообщать о здоровье Рождественской Розы. Он сдержал свое слово и явился в тот же вечер. Известие, которое он мог сообщить, было нерадостное: малютка была поражена очень опасной болезнью,— это привело в отчаяние принцессу. На другой день утром она отправилась туда в карете вместе с отцом, да так рано, что в девять часов они были уже у тряпичницы. Доктор побывал здесь уже часом раньше. Больная лежала в совершенном беспамятстве, и вы не удивитесь, если узнаете, что у нее лихорадка осложнялась поражением мозга. Девочка впадала в бред и никого не узнавала: ни старухи, пригревшей ее, ни Баболена, который плакал, сидя у ее ног, ни вороны, сидевшей все время у изголовья и как будто понимавшей, что ее маленькая покровительница больна, ни собак, которые не лаяли и вели себя гораздо пристойнее, чем накануне, во время появления маршала и его дочери. Зрелище было одно из самых печальных, и волшебница должна была отвернуться, чтобы утереть слезу.

Впрочем, сама болезнь Розы не пугала доктора: он обещал спасти ее, если только она будет принимать прописываемые им лекарства. Она, однако, отказывалась от них, отталкивая ложку своей исхудалой, строптивой ручонкой. Сколько ей ни говорили: «Выпей, милая, это поможет тебе!» — все было совершенно напрасно: она не понимала слов. То вдруг она вскакивала с постели и кричала:

«О, добрая г-жа Жерар! О, милая г-жа Жерар, не убивайте меня! Ко мне, Брезиль, ко мне!» И вновь падала обессиленная на подушки.

Доктор утверждал, что эти видения были плодом лихорадочного состояния, но у нее при этом был такой ужасающий вид, что, казалось, она видит призраки на самом деле.

Лекарство, предписанное доктором, должно было ослабить лихорадку и тем самым прекратить странные кошмары. Поэтому они употребляли всевозможные средства, чтобы заставить ее принять его: сам доктор, Броканта, сиделка, Баболен, даже комиссионер, который приходил к ним и которого она очень любила. Старуха хотела заставить ее силой выпить лекарство, но сухим ручонкам девочки сообщалась вдруг невероятная сила.

Время шло, а больная отказывалась от лекарства.

Что было делать: все пробовали, а результат был один и тот же.

Настала, видно, очередь принцессы подойти к изголовью, взять в руки головку больной и поцеловать ее... Я все ошибаюсь, — следует называть ее волшебницей. И, действительно, она должна была обладать сверхъестественной силой, чтобы заставить девочку открыть глаза, остававшиеся закрытыми все утро. Да, она открыла их и радостно воскликнула:

— О, я вас узнала: вы волшебница Карита!

Слезы выступили на глазах всех присутствующих. Это были слезы радости, вызванные сознанием, что рассудок еще не окончательно покинул ребенка: девочка произнесла первое сознательное слово со вчерашнего утра.

Все было бросилось к Розе, но доктор остановил это движение жестом руки, боясь, чтобы человеческий голос не потушил этой искры сознания, пробужденной божественной силой.

— Да, милая девочка, да, — сказала очень тихо и медленно принцесса. — Это я.

— Карита, Карита,— повторяла малютка, и имя это звучало на ее устах, как божественный гимн, как чудесная песня.

— Очень ты меня любишь, Роза? — спросила принцесса.

— О, да, волшебница,— ответил ребенок.

— В таком случае, ты будешь меня слушаться?

— Во всем!

— Ну, так вот выпей это,— и принцесса поднесла к ее губам ложку с лекарством, которое успел передать ей доктор.

Маленькая больная без возражений открыла рот и выпила целительное средство до последней капли.

— Если она так хорошо будет пить это лекарство в продолжение двадцати четырех часов, она спасена,— сказал доктор.— К несчастью, я не уверен, что она не будет отталкивать другую руку, сударыня.

— Но я и хотела бы,— возразила добрая волшебница,— ухаживать за нею сама до тех пор, пока она не будет вне всякой опасности, если отец ничего против этого не имеет.

— Дочь моя,— вмешался генерал,— есть вещи, на которые даже у отца не просят позволения.

— Благодарю, дорогой отец! — воскликнула волшебница, целуя отца.

— Вы — ангел доброты, мадемуазель,— не утерпел заметить доктор.

— Я — дочь моего отца,— гордо ответила принцесса.

Все, включая приемную мать, сиделку и принцессу, по знаку доктора удалились. Генерал взял с собой Бабо-лена, чтобы прислать с ним вещи, необходимые для принцессы на ночь.

Карита провела в этой скверной каморке четыре дня и четыре ночи, имея отдых только между приемами лекарства. Но это еще ничего в сравнении с тем, что Карита удалила совершенно от постели больной сиделку, один вид которой отталкивал Розу. Кроме того, она сама привязывала горчичники, накладывала компрессы, умывала ее, причесывала и усыпляла ее песнями и поцелуями.

Через четыре дня лихорадка значительно ослабела, и доктор объявил, что опасности больше нет, вместе с тем он уговаривал принцессу вернуться домой, выказав опасение за ее собственное здоровье. Услыжав это, Роза вскрикнула:



— О, Карита, вернись к отцу! Если ты заболеешь, спасая от смерти меня, я умру от горя.

Принцесса удалилась, расцеловав ее и оставив около ее постельки целый короб белья и ярких, разноцветных материй, которые девочка так любила. С этой минуты девочке становилось все лучше и лучше.

Всякому, кто сомневается в правдивости рассказанного, стоит только обратиться за подтверждением на Кишечную улицу, № 11.

Сказка была окончена.

Пчелка рассчитывала встретить взгляд художника, но он поставил преградой между собой и рассказчицей лист серой бумаги.

Девочка повернулась к сестре, но Регина, чтобы скрыть свое смущение, взяла широкий лист банана и держала его около лица, низко опустив голову.

Удивленная произведенным ею эффектом и не подозревая, что выдала целомудренную тайну своих слушателей, старавшихся спрятать свои лица, Пчелка спросила:

— Ну, что же?.. Я кончила свою сказку, а ваш портрет, господин художник, кончен?

— Да, вот он,— отвечал молодой человек, подавая ей лист серой бумаги.

Она бросилась к картине и, окинув ее беглым взглядом, восторженно вскрикнула, узнав свой портрет. Потом побежала к Регине.

— О, посмотри, сестра, что за чудный рисунок,— сказала она.

Действительно, этот рисунок, выполненный тремя цветными карандашами, был верхом совершенства. В глубине бульвара Фонтенбло, на первом плане, посреди вертевшихся возле собачонок, с вороной на обнаженном плече, сидела исхудалая, бледная, с растрепанными волосами Роза, или, скорее, малютка-девочка, имевшая с ней сходство. Страдание и болезнь имеют особое свойство придавать разным лицам почти одинаковое выражение. Перед девочкой стояла Регина в амазонке, в той позе, в какой Петрюс увидел ее в первый раз. На втором плане — маршал Ламот Гудан, верхом, держал чистокровную гнедую лошадь Регины. Наконец, на одном плане с Региной из-за вяза украдкой выглядывала с любопытством и страхом, поднявшись на цыпочки, Пчелка. Регина долго любовалась им, и взгляд ее выражал глубокое удивление.

В самом деле, кто был этот молодой человек, так

сразу угадавший и выражение лица больной, и костюм, в котором была в тот день она, Регина? Она старалась догадаться и не дошла до истины.

— Помнишь, Пчелка,— наконец заговорила она,— ты как-то просила меня показать тебе произведение одного из знаменитых художников? Так вот, смотри, это одно из замечательных творений.

Художник покраснел от гордости и восторга.

Первый сеанс был великолепен, и художник, договорившись о времени последующих, вышел из отеля маршала, опьяненный красотой принцессы Кариты.

### III

## СЕМЕЙНЫЙ ОБЗОР

Второй сеанс ничем не отличался от первого. Он еще больше был оживлен болтовней ребенка, и так же, как и в первый раз, Петрюс вышел очарованный из отеля Ламот Гудана.

Так прошло две недели. Сеансы, по желанию Регины, повторялись через каждые два дня. Художник, молодая девушка и ребенок проводили вместе такие очаровательные часы, что Петрюсу хотелось, чтобы им и конца не было.

В дни, когда Пчелку задерживали какие-нибудь уроки, Регина, верная обещанию, пускалась в разговор о первом попавшемся предмете. Эта случайная тема очень скоро вызывала все возрастающий интерес. Чем больше Петрюс знакомился с Региной, тем более преклонялся перед ее обширными познаниями, добротой и обаятельным умом.

По обыкновению, разговор начинался с живописи, ваяния, потом переходил на знаменитых маэстро всех стран и времен. Петрюс был сведущ в древней живописи, Регина, путешествовавшая по Фландрии, Италии и Испании, знала все великие творения этих школ. С живописи переходили к музыке. Молодая девушка и тут имела обширные знания обо всем: от Порнора до Обера, от Гайдна до Россини.

Понятно, что, исчерпав все эти темы, доходили до рассуждений о симпатиях, влечениях, о родстве душ. Таким образом, молодые люди переходили, сами того не замечая, в самую радужную область мечтаний, и прежде, чем отдать самому себе отчет в силе своего увлечения,

Петрюс был уже совершенно влюблен в Регину. Им иногда овладевало неодолимое желание оставить рисунок, кисти, броситься к ногам Регины и признаться в своем обожании. Несмотря на удивительное умение владеть собою, молодому художнику казалось, что иногда взор девушки останавливался на нем с выражением, которое он истолковывал в свою пользу. Но несмотря на это, жест ее был полон величия, и слова останавливались на дрожащих губах молодого человека, и, побродив с нею вдоволь по заоблачным сферам, он опускался на землю, как побежденный титан.

Кроме уважения, которое внушала ему Регина, еще больше увеличивала его застенчивость среда молодой девушки.

Отец ее, маршал Ламот Гудан, был старым солдатом империи 1815 г., потомком древней дворянской фамилии, получившим высокое звание во время войны с Испанией в 1823 г. При всем том он сохранил традиции восемнадцатого века: был добр, но горд, в особенности по отношению к людям творческих профессий. Иногда он приходил в павильон, служивший мастерской, чтобы посмотреть, насколько продвинулся портрет дочери, давал некоторые указания, как дают их каменщику, ремонтирующему отель.

За ним следовала старая ханжа, сопровождавшая Регину, когда она приезжала к живописцу заказать свой портрет. Это была тетка Регины, носившая имя маркизы де ла Турнелль. Она находилась, благодаря покойному мужу, в родстве со всей высшей аристократией описываемой эпохи, знала чуть не весь свет так же, как политических деятелей от президента палаты пэров и до экзекутора Талейрана.

За ней стоял граф Рапп, ее любимец, член палаты депутатов, предводитель одной из самых могущественных правых партий, бывший адъютант маршала. Это был человек лет тридцати девяти — сорока, холодный, мужественный, честолюбивый, скрывавший под ледяной маской всевозможные страсти. В продолжение этих двух недель он был здесь три раза, и, хотя удостоил особенными похвалами портрет Регины, он очень не понравился художнику.

Единственная особа, присутствие которой было приятно молодому живописцу, была Лидия де Маран, подруга Регины по пансиону, два года тому назад вышедшая замуж за самого богатого и популярного банкира того

времени, члена палаты депутатов, ярого противника королевской партии.

Кроме названных личностей, была еще одна, о которой Петрюс так много слышал и от Регины, и от Пчелки — это жена маршала Ламот Гудана, мать молодых девушек. Она была русская, дочь князя. Вот откуда происходил титул княжны, принцессы, которыми иногда называли Регину. Мы вернемся к этим личностям позже, для развязки романа, а пока оставим их, чтобы бросить взгляд на одного из родственников живописца.

В одном из отелей улицы Варенн — улицы тихой и аристократической — жил генерал граф Гербель де Куртенэ, дядя Петрюса и старший брат его отца.

Граф Гербель, уроженец Сент-Мало, моряк, изъявил в 1789 году свою преданность Людовику XVI во главе своих соотечественников, инженеров и моряков.

Два года спустя законодательное собрание, сломившее королевскую партию, заставило толпу принять присягу, причем имя короля даже не было произнесено. Некоторые офицеры, видя в этой присяге недостаток верности, собрали целое войско и эмигрировали с армией и багажом в Кобленц, где принц Конде устроил свою главную квартиру.

Граф Гербель не последовал за ним. Он переплыл Атлантический океан и в Новом Орлеане пережил события 10-го августа и заточение короля. Теперь голос преданности погибающей королевской власти стал шептать ему, что в такое время место порядочного человека не в Америке, а на берегу Рейна. Он сел на первое судно, отправлявшееся в Англию, переплыл в Голландию и оттуда достиг Кобленца.

Здесь был центр роялистской армии, образованной из лейб-гвардейцев, распущенных после 5-го и 6-го октября и не желавших остаться во Франции.

Виконт Мирабо поднял полчища, к которым пристали войска ирландского полковника Варвика, солдата, отец которого скорее принужден был удалиться, чем покинуть Жака Стюарта, своего законного короля. После того, как граф де Шатр, в свою очередь, испросил позволение у эрцгерцогини Христины расставить по квартирам свои войска в ее владениях, масса офицеров стала стекаться туда.

Граф Гербель, родившийся на берегу океана, в Сент-Мало, привык с детства к мрачным картинам плоского песчаного берега и потому изнеженная жизнь, которую

вели в Кобленце, внушала ему непреодолимое отвращение. Он с нетерпением ждал битв и, протянув вследствие несогласия прусского и австрийского кабинетов, семь или восемь месяцев жизнь эмигранта, переходя с одного поля битвы на другое, попал в плен 19-го июля 1793 года.

Тяжело раненный граф был достигнут всадником республиканской армии, который, подняв шпагу, предложил ему просить пощады.

— Мы ее принимаем всегда,— отвечал граф,— но никогда не просим.

— Ты достоин быть республиканцем! — вскричал солдат.

— Да. Но, к несчастью, я не республиканец.

— Ты знаешь, что ждет эмигранта, взятого с оружием в руках?

— Он должен быть в ту же минуту расстрелян.

— Именно.

Граф Гербель пожал плечами.

— К чему же в таком случае просить пощады, безумец!..

Солдат посмотрел на него с некоторым удивлением, несмотря на то, что солдата-республиканца поразить чем-нибудь было нелегко.

В эту минуту привезли в телеге еще трех пленников, связанных и скованных.

Графа посадили вместе с его товарищами по несчастью, и телега направилась к лесу. Ясно, что их везли на казнь.

Когда приехали в лес и высадили пленников, республиканец, взявший в плен графа, подошел к нему.

— Ты бретонец? — спросил он его.

— Ведь и ты также, — ответил граф.

— Если ты догадался, почему тебе было не сказать этого раньше?

— Разве я тебе не говорил, что пощады мы никогда не просим, а сказать тебе, что мы земляки, значит, просить ее.

Солдат отошел к товарищам.

— Это земляк! — сказал он.

— Ну, так что ж, — отвечали другие.

— А то, что я земляка не расстреляю! Вот и все!

— Так и не расстреливай!

— Спасибо, товарищи.

И, подойдя к графу, он снял веревку, спутывавшую его руки.



— Черт возьми!— сказал граф.— Ты сослужил мне большую службу: я давно умираю от желанья достать щепотку табаку!

И, вынув из кармана куртки золотую табакерку, он открыл ее и вежливо предложил республиканцам, но они отказались. Тогда граф взял большую щепотку испанского табака.

Республиканцы с улыбкой смотрели на этого человека, который мог с таким наслаждением нюхать табак в ту минуту, когда должен был готовиться к смерти.

— Ну, теперь, земляк, спасайся,— сказал ему солдат.

— Как спастись?

— Да, именем республики я милую тебя за твою храбрость.

— А товарищей моих вы тоже помилите?

— О! Что касается их,— сказал республиканец,— они расплатятся и за тебя.

— Тогда,— возразил офицер-бретонец, кладя табакерку в карман,— я остаюсь.

— Чтобы быть расстрелянным?

— Конечно.

— Если так, то ты большой дурак... Через десять минут будет поздно.

— Я эмигрировал с ними, сражался в их среде, был взят с ними вместе и или спасусь с ними, или умру вместе. Ясно теперь?

— Тогда ты храбрец!— сказал республиканец.— За твою храбрость и из любви ко мне мои товарищи согласятся отпустить вас всех на волю.

— Да, но пусть они крикнут: «Да здравствует республика!»— сказал один из остальных.

— Слышите, друзья,— обратился к пленникам граф Гербель,— эти молодцы говорят, что если вы закричите: «Да здравствует республика!»— вы будете свободны!

— Да здравствует король!— крикнули трое дворян.

— Да здравствует Франция!— поспешил крикнуть бретонец, желая своим громким голосом покрыть их голоса.

И все четверо крикнули в один голос: «Да здравствует Франция!».

— Вот так,— сказал земляк графа, поочередно освобождая их.— Спасайтесь все, и конец.

И сев снова на лошадей, маленькая группа удали-

лась галопом, крикнув на прощанье графу и его товарищам:

— Будьте счастливы и уходите. Да не забывайте при случае, что мы для вас сделали.

— Господа, эти храбрые приверженцы республики совершенно основательно советуют не забывать оказанной ими услуги. Я не ручаюсь, что мы на их месте поступили бы так же благородно...

Тринадцатого октября того же года после взятия Лотербурга и Виссенбурга граф Гербель во главе своего батальона отбил одно за другим три укрепления, взял двенадцать пушек и пять знамен.

Генерал граф Вюрмзер, главнокомандующий австрийского отряда, приехал поздравить его, а принц Конде, целуя его в присутствии собратьев по оружию, подарил ему собственную шпагу.

Однако насколько умереть за монархию казалось ему благородной обязанностью всякого бретонского дворянина, настолько эта междуусобная война внушала ему отвращение.

Опытность, которая является одинаково как к принцам, так и к обыкновенным смертным, как правило, после того, когда ошибка уже сделана, т. е. слишком поздно,— пришла теперь и к графу Гербелю. Он уже скорее по обязанности, чем по желанию, продолжал следовать за армией принца Конде до 1-го мая 1801 года — дня роспуска войск.

#### IV

### ГРАФ ГЕРБЕЛЬ ДЕ КУРТЕНЭ

После роспуска армии Конде эмигранты массами стали переселяться в Германию, Швецию, Италию, Испанию, Португалию, Соединенные Штаты, Китай, Перу, Россию. Одним словом, рассеялись во все концы света и кончили тем, с чего им следовало бы начать, вместо того, чтобы идти с оружием в руках против своего отечества — Франции: обратились к науке, ремеслам, искусствам, торговле, земледелию и промышленности.

Граф Гербель направился в Англию, рассчитывая каким-нибудь образом раздобыть там кусок хлеба. Но как старший сын знатной фамилии и наследник громадного состояния, конфискованного, как у всех эмигрантов,— граф Гербель умел только сражаться.

Был случай, когда он чуть не согласился на предложение одного капитана давать ему даром уроки на гитаре с тем, чтобы тот научил его какому-нибудь ремеслу, но, подумав, отказался и стал упорно искать более доходную профессию.

Однажды, прогуливаясь по берегу Темзы, граф заметил английского мальчугана, усердно долбившего перочинным ножичком кусок дерева приблизительно в один фут длиной. Он остановился, залюбовавшись мальчиком, приветливо улыбнулся ему, когда тот поднял на него глаза. Кусок дерева мало-помалу стал принимать форму кузова корабля, потом ясно обозначилась форма военного брига, приспособленного для десяти пушек. Он вспомнил, глядя на мальчугана, что когда-то и он, сын океана, дитя плоских песчаных берегов, вместе со своим меньшим братом, ярым моряком, судьбой которого мы займемся позже, как судьбой отца молодого живописца, сооружал такие суденышки, восхищавшие его товарищей по играм.

Прежде чем вернуться домой, граф купил липы и инструментов и с этого дня принялся вырезать всевозможные суда всех наций, начиная с американских корветов с длиннейшими мачтами и кончая тяжеловесными китайскими джонками.

Таким образом, то, что было в детстве удовольствием, стало теперь ремеслом. Скоро это простое ремесло он довел до художества, серьезно отдавшись отделке и рисовке своих произведений, устройству кают, снастей, но не остановился на подражании, а начал делать модели.

Благодаря известности, которую ему удалось приобрести, он вскоре был приглашен смотрителем адмиралтейства в Лондоне. Однако это не помешало ему иметь магазин, вывеска которого гласила:

**Генерал граф Гербель де Куртенэ,  
потомок константинопольского императора,  
ТОКАРЬ**

И действительно, в лавочке потомка константинопольского императора можно было найти, кроме моделей кораблей, массу различных предметов, относящихся к избранной им специальности.

Двадцать шестого апреля 1802 года была объявлена амнистия.

Граф Гербель был философ: он достиг своего благосостояния в Англии, а не во Франции и остался в Англии.

В 1814 году он жил еще там после реставрации Бурбонов и не раскаялся в этом, видя их покидающими Францию в 1815 году.

Он оставался в Англии вплоть до 1818 года и возвратился в свое отечество с сотней тысяч франков, сложившихся из его сбережений и прибыли от магазина. Позже ему была возвращена часть конфискованного состояния и, таким образом, средства его достигли шестидесяти тысяч годового дохода.

Сделавшись богатым человеком, он удостоился выбора своими согражданами в члены палаты депутатов в 1826 году.

Мы его находим здесь же в 1827 году, в ту минуту, когда Пейроне предложил свой проект закона о прессе, который, судя по словам Казимира Перье, должен был окончательно подорвать печать, которую Саллабери называл одною из египетских казней.

Теперь мы попросим читателя последовать за нами к нему.

Был понедельник. Генерал, выйдя из палаты депутатов, только что возвратился в свой отель на улице Варенн.

Он лежал на козетке и читал книжку маленького формата с золотым обрезом, переплетенную в красный сафьян. Лоб его был нахмурен: чтение ли его возбуждало или, несмотря на это занятие, он не мог отогнать докучных мыслей.

Он протянул руку к маленькому столику, стараясь ощупью найти звонок, не отрывая глаз от книги. Наконец, достал его и позвонил.

При звуке колокольчика его лоб как будто прояснился, довольная улыбка пробежала по губам. Он закрыл книгу и, уперев глаза в потолок, произнес громким голосом:

— Положительно, Вергилий первый поэт мира после Гомера... Да!..

Потом, точно желая убедить себя в этом, прибавил:

— Чем больше читаю я эти стихи, тем звучнее они мне кажутся. И что больше всего меня восхищает в этих древних творениях, песнях отдыха — это полное спокойствие души, царящее в них всех.

Высказав громко эту мысль, он на минуту остановился, брови снова нахмурились: он позвонил во второй раз.

Лоб его опять прояснился. Последствием было продолжение монолога:

— Почти все эти поэты, ораторы и философы древних времен жили в уединении, например, Цицерон, Гораций, Сенека, и эти гармонические звуки, чарующие в их произведениях — не что иное, как отголоски того спокойствия и тишины, которыми они наслаждались.

В этот момент брови опять нахмурились, и генерал принялся звонить на этот раз так энергично, что язычок колокольчика отскочил в сторону.

— Франц! Франц! Придешь ты, наконец, негодяй? — крикнул генерал с оттенком сильного гнева.

На этот энергичный зов в дверях показался слуга, вся наружность которого напоминала старого австрийского солдата. На груди его висело нечто вроде креста на желтой ленточке, а галуны указывали, что он — капрал.

Ничего не было удивительного в сходстве Франца с австрийским солдатом: он был родом из Вены.

— А, вот и ты наконец, негодяй! — сказал граф сердито.

— Это я, господин генерал, я пришел.

— Да, пришел, но поздно пришел. Я уже три раза звоню, разбойник!

— Я услышал только во второй раз.

— Дурак! — заметил генерал, помимо воли рассмеявшись наивности своего денщика. — А обед, где он?

— Обед, господин генерал?

— Да, обед... Разве сегодня нет обеда, бездельник?..

— Нет, господин генерал, обед будет, но теперь еще не время.

— Который же час?

— Четверть шестого.

— Как четверть шестого?

— Четверть шестого.

Генерал достал часы.

— Правда! Этот мошенник прав.

Франц улыбнулся от удовольствия.

— Ты смеешь улыбаться, негодяй?

Франц сделал утвердительный знак.

— Чему ты смеялся?

— Я лучше знал время, чем господин генерал.

Генерал пожал плечами.

— Ну, ступай, — сказал генерал, — но помни: чтоб ровно в шесть часов обед был на столе.

И он снова принялся за чтение своего Вергилия.

Франц сделал три шага к двери, потом, подумав не-



много, повернулся на каблуках, шагнул вперед и остановился на том же самом месте, в той же позе, в какой был минуту назад.

Генерал скорее почувствовал, чем заметил присутствие непрозрачного тела, заслонявшего ему свет.

Он поднял глаза. Франц стоял неподвижно, как деревянный солдатик.

— Ну,— спросил генерал,— кто там?

— Это я, господин генерал.

— Разве я не сказал тебе, чтобы ты убирался!

Почему же ты не ушел?

— Я ушел.

— Почему же ты все-таки здесь?

— А я опять вернулся.

— А зачем ты вернулся, я тебя спрашиваю?

— Я вернулся сказать, что какая-то особа хочет говорить с господином генералом.

— Франц! — сказал генерал, нахмурившись сильнее обыкновенного.— Не я ли сто раз говорил тебе, несчастный, что, придя домой, я люблю всецело отдаваться чтению хороших книг, чтобы забыть всякие дрянные разговоры, другими словами, не желаю никого принимать.

— Но это дама, господин генерал.

— Дама?

— Да, господин генерал, дама.

— Так что же, негодяй, хоть бы там был и сам епископ,— отказывай и конец!

— Но я уже сказал, что вы дома, господин генерал.

— Кому же ты это сказал?

— Даме этой.

— И эта дама?..

— Маркиза де ла Турнелль.

— Миллион чертей! — вскричал генерал и вскочил с козетки.

Франц сделал прыжок назад и остановился на расстоянии полуметра в той же самой позе.

— Итак, ты сказал этой даме, что я дома? — вскричал бешено генерал.

— Да, господин генерал.

— Слушай, Франц. Ты снимешь этот крест и галуны, уберешь их бережно в сундук и не найдешь в продолжение шести недель.

Лицо старика приняло выражение отчаяния, усы как-то дрогнули, слезы блеснули в глазах.

- О, господин генерал!  
— Сказано!.. А теперь проси маркизу.

## V

### ХАНЖА И ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦ

Франц отворил дверь и впустил ту самую старую и надменную особу, которая приезжала вместе с Региной к молодому художнику.

Генерал обладал способностью быть утонченно вежливым при всяких обстоятельствах, этой высшей степенью аристократизма. Никто так, как он, не умел искренне улыбаться даже недругу,— конечно, только не мужчине: с мужчинами он был прям до резкости; но с женщиной, какого бы возраста она ни была, генерал был любезен до приторности.

При входе маркизы генерал поднялся со своего места и пошел к ней навстречу, несколько прихрамывая — хромоту эту он сам объяснял полученной раной, а доктор его — неумеренностью в возлияниях, подал ей руку, подвел к дивану, потом пододвинул кресло для себя и сел.

— Чему обязан, маркиза, что вы удостоили меня вашим посещением?

— О, я очень смущена этим, право, дорогой мой генерал,— сказала маркиза, целомудренно опуская глаза.

— Смущены?.. Позвольте заметить вам, маркиза, что выражаться таким образом не особенно любезно с вашей стороны. Смущены! Что же могло смутить вас?

— Не придирайтесь к словам, генерал, и не придавайте им того значения, которое они могли бы иметь в ином случае. Я жду от вас такой большой услуги, что мне даже совестно высказаться перед вами.

— Я слушаю вас, маркиза. Вы хорошо знаете, что я весь к вашим услугам. Говорите, пожалуйста, без церемоний.

— Если поговорка «С глаз долой — из сердца вон» — не горькая истина, то вы облегчите мое затруднение, угадав просьбу, с которой я намерена к вам обратиться.

— Маркиза, эта поговорка совершенно несправедлива, как и все остальные, которые могут поколебать ваше доверие ко мне, так как, несмотря на то, что я не имел удовольствия видеть вас с минуты нашего спора по поводу графа Раппа...

- По поводу нашего...
- По поводу графа Раппа,— поспешил перебить генерал.— Со времени этого спора прошло три месяца. Несмотря на это, я не забыл, что сегодня день вашего рождения и послал вам букет,— вы найдете его у себя. Это сороковой букет, который вы от меня получите.
- Сорок первый, дорогой генерал.
- Сороковой, маркиза. Я прекрасно помню цифры.
- Постойте, проверим.
- Сколько вам угодно.
- Ведь граф Рапп родился в 1787 году...
- Извините, в 1786.
- Вы хорошо это помните?
- Боже мой, да именно в том году я послал вам первый букет.
- За год до его рождения, дорогой генерал.
- О, нет, нет!
- Наконец!..
- Чего тут наконец,— это именно было так.
- Положим, к тому же я приехала к вам не для того, чтобы говорить об этом несчастном ребенке.
- Несчастный ребенок? Прежде всего, это уж давно не ребенок: мужчина сорока одного года, право, не дитя...
- Графу только сорок лет.
- Сорок один, маркиза,— я прекрасно помню цифры... Притом он вовсе уж не так несчастен: во-первых, благодаря вам, он имеет безделицу — двадцать пять тысяч ежегодно...
- Он имел бы пятьдесят, если бы сердце его отца не было твердо, как гранитная скала.
- Маркиза, я никогда не знал его отца, и потому не могу с вами спорить.
- Вы не знаете его отца?..— вскричала маркиза тоном, каким Гермiona когда-то сказала: «Я не любила тебя, жестокий! Что же я делала?..»
- Не будем удаляться от предмета нашего спора, маркиза. Вы сказали, что граф Рапп несчастен, а я ответил вам: вовсе уж не так несчастен. Во-первых, двадцать пять тысяч годового дохода, которые вы ему предоставили...
- О! Да разве он должен иметь какие-то двадцать пять тысяч?..
- Пятьдесят, вы уже изволили сказать... Итак, двадцать пять тысяч, жалованье как полковнику —

четырнадцать тысяч франков, Командорский крест Почетного легиона — две тысячи четыреста, не угодно ли вам будет сосчитать? Потом прибавьте звание депутата; кроме того, как уверяют, благодаря вашему влиянию на брата, он может сделать прекрасную партию, вступив в брак с одной из самых прекрасных и богатых наследниц. Мне кажется, что он счастлив, как незаконнорожденный!

— О, генерал, перестаньте!

— Что так? Ведь это тоже поговорка. Вы ими пользуетесь,— почему же мне не применять их?

— Вы только что сказали, что поговорки лгут.

— Я говорил только о тех, которые могут повредить мне в ваших глазах... Но мы уклонились, маркиза, вы, насколько мне помнится, желаете, чтобы я оказал вам услугу. Какую же!

— Вы не догадываетесь?

— Право, нет!

— Подумайте, генерал!

— Я напрягаю все усилия, но все-таки не могу догадаться.

— В таком случае, генерал, я скажу вам: я приехала просить вас присутствовать на моем балу завтра.

— Вы даете бал?

— Да, у брата.

— То есть, ваш брат дает бал?

— Это все равно.

— Совсем не все равно; я не послал вашему брату сорока букетов, как посылал вам.

— Сорока одного.

— Я не буду вам противоречить: одним больше, одним меньше...

— Приедете вы или нет?

— Вы серьезно спрашиваете меня, маркиза?

— О! Вот еще вопрос!

— Ваш брат не называет меня иначе, как гордым духом, за то, что я принадлежу к крайней левой и выступаю против иезуитов... Не понимаю, почему бы ему не называть меня еще цареубийцей?.. Что сам-то он делал в то время, когда я вытаскивал волчки и оснащал корабли? Он служил Бонапарту, как мой брат-негодяй, с той только разницей, что брат мой, разбойник, нес службу на море, а он на суше. О! Теперь я еще раз спрошу вас: серьезно ли вы обдумали приглашение, с которым ехали ко мне?

— Конечно.

— Равнина приглашает гору?

— Равнина уподобляется Магомету, генерал: гора не хотела подвинуться к Магомету...

— Знаю, знаю: Магомет взошел на гору. Но Магомет был честолюбец, делавший такие безумные вещи, каких порядочный человек делать не станет.

— Как же, дорогой генерал, вы не будете присутствовать в то время, когда объявят о браке моей племянницы Регины с нашим милым...

— С вашим, маркиза, с вашим милым сыном!.. Так вы мне приносите масличную ветвь?

— Да, сплетенную с миртовой, милый генерал.

— Но, маркиза, не рискован ли брак, который вы устраиваете? Вы не разуверите меня, что не вы тут главное действующее лицо.

— Рисковать, почему?

— Вашей племяннице семнадцать лет, и она слишком молода, чтобы выйти замуж за человека сорока одного года...

— Сорока, генерал.

— Сорока одного... уже не говоря о слухах, ходивших в 1808 или 1809 году по поводу графа Раппа и принцессы Ламот Гудан.

— Шш-ш, генерал! Разве люди нашего звания передают друг другу такие позорные сплетни?

— Нет, они ограничиваются тем, что только думают о подобных вещах, а так как при вас я позволяю себе думать вслух, то и сказал это... Теперь позвольте присовокупить, что я никогда не поверю, что вы взяли на себя труд приехать с улицы Плюме на улицу Варенн только затем, чтобы завербовать на ваш бал такого танцора, как я.

— Зачем же, генерал?

— Посмотрим, маркиза. Говорят, что самая искренняя мысль женщины — в постскрипуме.

— Итак, вы хотите знать постскрипум моего визита?

— Это мое пламенное желание.

— Вы хотите показать мне, что визит мой слишком продолжителен?

— Это был бы первый упрек, который я осмелился вам сделать за всю мою жизнь, маркиза.

— Берегитесь, граф, я, пожалуй, слишком возгоржусь.

— Это будет первый недостаток, который я в вас найду.

— О! Генерал, эти учтивости вы унаследовали по прямой линии от Людовика XV.

— Они явятся откуда хотите, если я узнаю, из какого источника исходит ваше приглашение.

— Однако, генерал, вы еще недоверчивее, чем о вас говорили.

— Послушайте, маркиза, я только в третий раз имею счастье видеть вас на протяжении последних полутора лет. В первый раз вы явились сделать мне признание, которое меня очень бы тронуло, если бы я мог ему поверить: граф Рапп якобы родился спустя двенадцать месяцев после смерти бедного маркиза де ла Турнелль и ровно через девять месяцев после поднесения мною вам первого букета.

— На девять или десять месяцев раньше, дорогой генерал.

— Девять или десять месяцев спустя, любезная маркиза.

— Согласитесь, что вы с каким-то особенным упорством приближаете наш союз.

— Согласитесь, что вы с непонятным для меня упорством отдаляете его.

— Очень естественно со стороны матери.

— В таком случае, дорогой друг, зачем было так долго молчать о таком великодушном блаженстве, которое мне готовило провидение: о счастье иметь наследника, и сообщить об этом, когда я всего меньше мечтал о нем.

— Милый генерал, есть признания, которые очень дорого стоят женщине.

— И все препятствия исчезают, когда человек, к которому не было доверия, возвращает себе прежнее состояние и положение...

— Конечно, дорогой генерал, было несколько щекотливо объявить вам о существовании сына в ту минуту, когда вы лишились всего и не могли ничего оставить ему, кроме вашего имени, правда, очень уважаемого, очень известного, но очень бедного.

— Маркиза, если вы пришли, как полтора года, год или шесть месяцев тому назад, уверять меня в том, что наша связь началась с 1786 года, хотя я совершенно уверен, что это было в 1787-м, я скажу вам, что, во-первых, не далее, как вчера, я занялся проверкой чисел

и нашел месяц и год первого букета, посланного вам, и, во-вторых...

— Что?..

— Мой брат — корсар и мой племянник — художник, которых я не считаю недостойными носить мое имя и наследовать мое состояние, получат то и другое. Довольно ли вам теперь, маркиза?

— Нет, генерал, потому что я вовсе не за этим приехала.

— Тогда зачем же, черт возьми, вы приехали?! — воскликнул генерал, и у него вырвался первый жест нетерпения: — Не для того же, чтобы предложить мне жениться на вас?

— Сознайтесь, между нами, что вы меня любили настолько, что подобное предложение не могло бы вас особенно удивить.

— Готов сознаться, маркиза, но только между нами. Так вы для этого пожаловали? Что же вы раньше этого не сказали?

— А что бы вы мне ответили?

— Что я не нахожу отвратительным умереть старым колюстяком, но буду чувствовать глубокий стыд, умирая в шкуре старого дурака.

— Успокойтесь, генерал, я не за тем приехала.

— Зачем же, тысяча громов... Ах, виноват, маркиза. Но, говоря по правде, вы способны ангела заставить отступить от двери рая, — генерал встал и начал ходить взад и вперед по комнате.

— Прекрасно! Вот теперь вы заговорили, как ваш брат корсар, — заметила маркиза.

— Значит мы будем говорить о моем брате-разбойнике?

— Нет.

— Но о ком же тогда?

— Вы, конечно, слышали разговор, что граф Рапп...

— Опять к нему вернулись!

— Дайте мне кончить... Был приглашен к королю, и вас, конечно, интересуется, с какой целью?

— Постарайтесь себе представить, что меня это не интересуется.

— С целью пригласить нашего сына...

— Вашего сына!

— В министерство...

— Я изумлен, но нахожу это возможным, и жду продолжения вашей речи, маркиза.

— Во время этого свидания его величества с графом Раппом был разговор о вас.

— Обо мне?

— Да, дорогой генерал; потому что должна вам сказать по правде, если голос крови молчит в вас, он громко говорит в сердце бедного ребенка.

— Маркиза, я тронут.

— Он больше, чем говорит,— он громко зовет.

— И что же обо мне говорили во время этого свидания?

— Что вы единственный человек, способный помочь в этом деле...

— Позвольте, маркиза, просить вас поскорее кончить: я жду к обеду, ровно в шесть часов, своего племянника. Вы не сделаете нам чести отобедать с нами?..

— Вы очень добры, дорогой генерал, но я непременно должна обедать сегодня у брата. Сегодня должен быть изготовлен контракт брака Регины с...

— С вашим милым графом Раппом. Итак, не желая вас задерживать, я скажу вам все в двух словах: если закон допускает, г-н Рапп будет министром, а чтобы закон допустил, вам еще недостает тридцати или сорока голосов, и вы просите мой голос и всех моих собратьев...

— Пусть так,— начала заискивающим тоном маркиза,— если это единственная причина моего визита, что скажете вы в ответ?

— Я выскажу сожаление, что не обладаю сотней, пятью сотнями, тысячей голосов, чтобы противопоставить их этому закону, который я считаю пошлым и, что всего хуже, не имеющим смысла!

— Право, генерал,— вскричала маркиза, раздражаясь в свою очередь,— вы умрете без раскаяния, я вам это предсказываю!

— У меня на этот счет свое мнение.

— Все это для того, чтобы поставить препятствие человеку, которого вы ненавидите, тогда как должны бы были...

— Маркиза, вы меня доведете до бешенства, предупреждаю вас!

— Вы будете голосовать за либералов. Знаете ли вы, что все эти якобинцы и приверженцы республики, начнись теперь революция, заставили бы вас играть роль Лафайета?.. У вас ведь уже голова седеет,— стыдитесь! О! Если бы могли воскреснуть все Куртенэ, мне любо-



пытно знать, что сказали бы они, видя, что имя их носят корсар, якобинец и художник.

— Маркиза!..— вскричал генерал вне себя от гнева.

— Я ухожу, генерал, ухожу. Однако утро вечера мудренее: надеюсь, что вы к завтрашнему дню несколько измените ваше мнение.

— Изменить мнение?! Ни завтра, ни послезавтра, ни через год, ни через сто лет — никогда! И вы совершенно напрасно беспокоились.

— Вы меня выгоняете? Выгоняете мать вашего...

— Господин Петрюс Гербель,— объявил Франц.

В ту же минуту пробило шесть часов!

## VI

### ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК

Петрюс показался в глубине галереи.

— Иди скорее,— сказал генерал,— ты приходишь как нельзя более кстати.

— Мне кажется, вы вовсе не нуждаетесь в подкреплении, генерал,— проговорила маркиза.— Если бы вы пришли пятью минутами раньше, господин Петрюс,— продолжала она, обращаясь к художнику,— ваш дядя дал бы вам хороший урок вежливости.

И маркиза дополнила речь свою жестом, доказывающим некоторую фамильярность по отношению к молодому живописцу.

— Как? Вы знакомы с моим племянником, маркиза? — спросил генерал.

— О, да. Слух о нем дошел и до нас, и моя племянница пожелала иметь свой портрет работы вашего племянника. Вы должны гордиться, генерал, имея такого племянника,— прибавила она не то спесивым, не то насмешливым тоном.

— Я и горжусь, потому что племянник мой один из наиболее благовоспитанных людей, каких я только знаю.

— Прощайте, генерал. Подумайте о предмете моего визита, а теперь расстанемся друзьями.

— Я ничего не имею против того, чтобы расстаться, но добрыми друзьями — это дело другое.

— О, дерзкий! — выбранила его маркиза, уходя.

Только успела она выйти, едва затворилась за нею дверь, как генерал, не отвечая племяннику, который спра-

шивал о состоянии его здоровья, бросился к сонетке \* и с яростью дернул ее.

Прибежал Франц.

Ни креста, ни галунов на нем уже не было — так строго он исполнял приказания генерала.

— Вы звонили, господин генерал?

— Да, я звонил. Подойди к окну, дурак, и отвори его.

Франц отворил окно.

— Смотри на улицу!

Франц высунулся из окна.

— Смотрю, господин генерал.

— Что ты видишь?

— Ничего, господин генерал. Ночь очень темна.

— Смотри хорошенько.

— Я вижу карету, господин генерал, и даму, которая входит в нее. Дама, что вышла отсюда.

— Итак, Франц, если эта дама когда-нибудь еще придет и спросит меня, ты ей скажи, что меня нет на свете!

— Слушаю, господин генерал!

— Хорошо. Затвори окно и уходи.

— Господин генерал, ничего не прикажете еще?

— Черт возьми! Я еще имею права приказать тебе: дай в шею повару!

— Слушаю, господин генерал.— Он остановился в дверях.— А если спросит, за что?

— Ты скажешь ему, что уже ровно шесть часов и пять минут, а обед не на столе.

— Что обед не подан, господин генерал, виноват не Жан.

— В таком случае, ты виноват? Поди и скажи Жану, чтобы он дал тебе в шею.

— В этом виноват кучер маркизы...

— Отлично. Недостает только, чтобы была виновата ее карета!..

— Он вошел в кухню с собачкой маркизы на руках, от собачки пахло мускусом... От мускуса соус свернулся.

— Ты слышишь, Петрюс? — сказал генерал самым трагическим тоном, оборачиваясь к своему племяннику.

— Да, дядя.

— Никогда не забывай, что из-за маркизы твой дядя

---

\* Сонетка — в старину комнатный звонок, приводимый в действие шнурком.

**вынужден обедать в шесть с четвертью. Извольте идти, господин Франц, и не смейте носить вашего креста и галунов ровно три месяца.**

**Франц вышел в полном отчаянии.**

— Как мне кажется, визит маркизы вас порядком раздосадовал.

— Я полагаю, что тебе известна его причина?

— Да, до некоторой степени.

— В таком случае, тебе должно быть известно и то, что куда бы ни сунулась эта старая ханжа,— точно сам черт побывает там.

— Виноват, дядя, но поговаривают, что вы когда-то достаивали эту старую ханжу большой преданности?

— У меня, брат, так много недругов... Да, ну ее к черту! Поговорим о чем-нибудь другом. Получал ты какие-нибудь известия о морском разбойнике — твоём отце?

— Дня три тому назад получил, дядя.

— Ну что, как поживает этот старый корсар?

— Очень хорошо, дядя. Целует вас от всего сердца.

— Чтоб удушить?.. Стой! Скажи, ты это для меня так нарядился?

— Частью для вас, а главным образом для леди Грей.

— Ты от нее?

— Я ходил поблагодарить ее.

— За что? Не за то ли, что братец ее, адмирал, каждый раз, когда меня встречает, поздравляет с морскими подвигами твоего отца-разбойника.

— Нет, дядя, за ее старания продать моего «Кориолана».

— Я думал, что он уже продан.

— Я отказался продать его.

— Неподходящая цена?

— Мне давали вдвое против его стоимости.

— Так почему же ты отказался продавать?

— Потому что покупатель был неподходящий.

— Ты позволяешь себе разбирать, чьи деньги идут к тебе?

— Да, дядя.

— Вот как! Пожалуй, разорить отца — это еще не большое несчастье: добро, скверно нажитое, не должно идти впрок. Но ты пожелаешь содрать кожу и с меня в свой черед?

— Нет, будьте покойны, дядя,— сказал, засмеявшись, Петрус.

- И кто же был этот покупатель, которого вы нашли неподходящим, господин мудрец?
- Министр внутренних дел.
- Министр внутренних дел хотел купить твою картину?.. И ты отказался?
- Отказался.
- И можно узнать причину этого отказа?
- Ваша оппозиция, дядя.
- Что общего между оппозицией и твоими картинами?
- Мне показалось, что, покупая у племянника картину, они хотели задобрить дядю. Мало ли у нас людей неподкупных в палате и подкупных дома?!
- Генерал на минуту задумался, потом на лице его мелькнула довольная улыбка.
- Слушай, Петрюс,— сказал он самым отеческим тоном,— я не хочу, конечно, навязывать тебе моих взглядов, дитя мое,— но каким бы ярым врагом министерства вообще и министерства внутренних дел в особенности я ни был,— я не хочу, чтобы ты отказывался от поощрений, вполне законных, которыми правительство считает себя обязанным награждать по заслугам. Я не разделяю неосновательного мнения тех, которые утверждают, что художник не должен получать ни крестов, ни общественного признания. Министерства принадлежат стране, получают от страны, а не от министра. Министр, правда, заказывает картину, но платит за нее Франция, и если бы все художники думали так, как ты, мне интересно знать, что случилось бы с провинциальными галереями?
- О, дядя, их превратили бы в оранжереи с апельсинами, гранатовыми деревьями, бананами, яблонями, и, поверьте, они стоили бы галерей. К тому же я не первый отказываюсь: в данном случае я только последовал примеру личности более прославленной, чем я.
- Посмотрим, чей это портрет: это, пожалуй, поможет мне терпеливее ждать супа. Прежде всего, кто это знаменитее тебя?
- Абель Гарди.
- Сын члена народного конвента? Что же он сделал?
- Он отказался от креста и четырех изображений Магдалины.
- Сколько тебе лет, Петрюс?
- Двадцать шесть, дядя.
- Так ты моложе своих лет. Слава Богу, это не-

счастье не из неисправимых: состариться можно очень скоро.

— Что вы хотите сказать?

— Чтобы ты был осмотрительнее в оценках и брал все, что дается. Когда ты увлекаешься кем-нибудь, милый,— а это с тобой случается часто,— ты приписываешь ему те прекрасные качества, которыми полон сам. Например, в данное время твоя любовь к Гарди заставила тебя сказать глупость, от которой всякий бы покраснел за тебя, если бы был свидетелем — будь это Франц, мой лакей, или Крупетка, собачонка маркизы, от присутствия которой портится соус.

— Я не понимаю вас, дядя.

— Ты не понимаешь меня? Знай же, что у нас кресты дают тем, кто их просит. Когда тебе захочется его иметь, стоит только обратиться к любовнице директора изящных искусств или к пономарю монастыря Сен-Ашель, и ты его получишь.

— Вы во всем сомневаетесь, дядя.

— Милый друг, тот, кто пережил революцию, Директорию, реставрацию, Ватерлоо, тот имеет право не верить ничему. В мои годы, когда ты увидишь столько правлений, ты так же будешь относиться скептически ко всему, как и я.

— Может быть, к крестам, но к фрескам — нет.

— Вернемся же к ним. Твой друг отказался?

— Отказался.

— Потому что... Есть же причина отказа?

— Конечно. Он ничего не хочет делать правительству, которое запрещает Горасу Верне, нашему известному художнику, выставить картины битв при Монмирайле, Жаммане и Вальми.

— Милый Петрюс, твой друг отказался писать фрески, потому что император России... заказал ему картину, за которую он получит тридцать тысяч франков, тогда как за фрески он получил бы только десять. Видишь, мой милый, тут вовсе не патриотизм играет роль, а любовь к деньгам.

— О, дядя, я хорошо знаю Абея и готов жизнь за него положить.

— Несмотря на то, что ты сын своего отца, то есть негодяя и морского разбойника, твоя жизнь мне слишком дорога, чтобы я позволил тебе так рисковать ею.

— Вы слишком ожесточены, дядя, поэтому ничему и не верите.

— Ошибаешься. Я верю в твою привязанность — и привязанность твоя уже потому бескорыстна, что я никогда тебе ничего не давал и ничего не дам, пока буду жив, кроме обеда, если ты захочешь его разделить со мной, — а еще я верю в твое будущее, если ты не израсходуешь понапрасну время, свой талант и жизнь. Ты художник уже три года, не носишь ни шляпы, ни средневековой куртки, ни панталон в обтяжку, одним словом, одеваешься, как все... Если при тех средствах, которыми ты обладаешь, ты не захочешь пренебречь советами старика, много видевшего...

— Я люблю вас как второго отца, и считаю лучшим другом.

— Я твой старый друг и прошу тебя во имя этого выслушать меня, потому, прежде всего, что нам больше ничего не остается делать.

— Я слушаю вас, дядя.

— Я, хотя и не показываю, но знаю все твои знакомства: знаю твоего друга Жана Робера, знаю твоего друга Людовика, наконец, знаю всех твоих друзей.

— И имеете что-нибудь против них?

— Я? Особенно ничего, но зачем тебе сходитья с поэтами или студентами?

— Потому что я художник, дядя.

— В таком случае, если тебе так необходимо видеть поэтов, попроси представить тебя графу Марсею.

— Но он написал одну только оду...

— Он — пэр Франции!.. Ну, вот еще — Брюффю.

— Этот тоже написал какую-то одну трагедию!

— Он из академии!.. Ты слишком сближаешься с молодежью.

— Дядя, да вы ли это? Вы, обожатель молодежи, который из тщеславия носил белый парик, вы ли обращаетесь ко мне с подобным упреком?!..

— Такие связи ни к чему не приводят: они не послужат ни улучшению положения, ни приобретению славы.

— Так что же, но они дают счастье!

— Да? Ты называешь счастьем курить, сидя в мастерской, сквернейшие сигары или в кафе за чашкой рассуждать об искусстве. Когда имеешь счастье быть сыном морского разбойника, которому нечем кормиться, надо самому поддерживать честь имени, черт возьми! А мы происходим от императоров Константинополя! Да, милый Петрюс, поверьте человеку, знавшему Ришелье и других: женщины и одни женщины составляют нам имя

в обществе; имей их, сколько можешь, и сходишь, насколько можешь, поближе. Подумай перед каждой новой связью о тех выгодах, которые она тебе может принести: это называется знанием света, умением жить. Положись на мою опытность и в жизни, и в людях. Постарайся прочно основаться во всех министерствах, знай, что говорится во всех посольствах. И ты будешь главой оппозиции в пятьдесят лет, а в шестьдесят у тебя будет шестьдесят тысяч годового дохода. А между делом — жена какого-нибудь банкира, одна или две жены нотариусов, больше не нужно. Ухаживай, ухаживай за женщинами: они главные двигатели мнений, а, в конце концов, общественное мнение — это все.

— Но, дядя, общество, которое вы мне предлагаете, так разборчиво!

— Общество, милый мой,— лес, в который всякий вступает вооруженным: одни — умом, другие — положением. Горе тому, кто не примет известных предосторожностей! Жизнь в обществе — то же, что игра в пикет: играющие добросовестно разоряются, а кто умеет подтасовывать карты, обогащается.

— Есть люди, которые обогащаются не этим манером, дорогой дядя.

— Да, но тогда нужно надеяться на случай: вместо плута он иногда посещает и честного человека.

— Если общество таково, как вы его нарисовали, право, лучше бросить все и приняться возделывать капусту да морковь.

— Пожалуй, и жить в надежде их отведать! Но тебе предстоит еще одно разочарование: ты будешь ждать, что они растают во рту, а они выйдут жесткими.

— О, сколько вы должны были пережить, чтобы прийти к этому безотрадному заключению, дядя...

— О, нет, друг мой, я чувствую только голод.

— Господин генерал, на стол подано,— сказал Франц с выражением лица настолько блаженным, насколько оно может быть таковым у капрала, с которого сняли крест и галуны.

— Пойдем,— сказал генерал, беря под руку племянника,— за обедом мы возобновим этот разговор, и, может быть, общество покажется мне в ином свете... О! Я понимаю революцию, вызываемую голодом!

## ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Дядя и племянник под руку вошли в столовую. Генерал опирался на руку Петрюса со всей тяжестью человека, которого с трудом держат ноги. Он уселся в свое кресло и знаком показал племяннику на место против себя.

Генерал начал с того, что при полнейшем молчании принялся уничтожать раковый суп, одну тарелку за другой. Потом налил себе стакан мадеры, выпил его медленно, смакуя, налил другой и затем передал бутылку племяннику, приглашая его последовать своему примеру.

Петрюс тоже налил себе стакан и выпил залпом, что, видимо, оскорбило его дядю, относившегося с каким-то благоговением к этой важной составной части хорошего обеда.

— Франц,— сказал генерал,— подай господину Петрюсу бутылку марсалы: он все равно не поймет различия между ею и настоящей мадерой.

Очевидно, он сказал это с целью выказать полное презрение к племяннику, как знатоку вин.

Петрюс безропотно перенес этот неприятный казус. Но генерал захотел еще раз испытать его. Только что была принесена бутылка старого лафита, в меру игристого; он налил себе стакан и, точно так же, как и мадеру, начал пробовать с видом человека, желающего вынести оценку качеству вина, и обратился к племяннику:

— Передай твой стакан.

Петрюс, занятый своими мыслями, подал обыкновенную рюмку.

— Не это,— вспыхнул генерал,— стакан для лафита, несчастный.

Петрюс передал требуемый стакан.

Наполнив стакан, генерал поставил его у самой его тарелки.

— Ну, пей же скорее!

Художнику и в голову не приходило, что эта поспешность имела целью не дать вину остыть и потерять аромат; он приписал беспокойство дяди тому, что он уже два блюда не запил вином.

Будучи послушным и чувствуя некоторое жжение в горле от индийского перца, служившего приправой



к последнему, только что съеденному блюду, он перелил свое вино из маленького стаканчика в большой, разбавил его холодной водой и выпил опять-таки залпом.

— О, разбойник!— вскричал генерал.

— Что с вами, дядя?— спросил почти с испугом Петрюс.

— А то, что если бы твой отец, тоже разбойник, не делал постоянных рейсов по Ла-Маншу, я предположил бы, что он привез порядочный груз констанского вина из Капштадта или токайского с Черного моря и выкормил тебя на этом нектаре.

— Это для чего же?

— Для чего, несчастный! Я тебе наливаю самый высокий сорт лафита, заложенный в погребах Тюильри в 1812 году,— вино, стоящее двенадцать франков бутылка, а хорошо поданное и в меру согретое — не имеющее цены, а ты пьешь это вино с водой!

— Франц,— обратился он к капралу,— постарайся достать какого-нибудь самого дрянного вина и предложи его моему племяннику.

— Извините, дядя,— сказал Петрюс,— я был невольнительно рассеян.

— Это, по-твоему, вежливо?

— Это утонченно вежливо: я был рассеян, вернувшись мысленно к разговору, который мы только что вели.

— Лъстец!

— Нет, честное слово, дядя... Вы говорили...

— Я теперь не знаю, что я говорил, но так как я был голоден, то, вероятно, говорил чушь.

— Вы говорили, что я не прав, избегая высшего общества.

— О, да... потому что,— ты, конечно, поймешь, дитя мое,— человек без имени, ничем не выдающийся, всегда нуждается в обществе, в поддержке. Поддержка дается опять-таки обществом, а общество вовсе не нуждается в таком человеке.

— Это, дядя, неоспоримая истина.

— Ну, есть и неоспоримые истины, которые все же оспаривались. Я сошлюсь на следующие примеры: разве у Колумба не оспаривали существование Америки, у Галилея — вращательное движение Земли, у Гервея — циркуляцию крови; разве верили доводам Жене о необходимости предохранительного оспопрививания или Фул-тону, открывшему могучую силу пара?

— Вы замечательный человек, дядя,— сказал Пет-

рюс, очарованный горячей речью этого остроумного старика.

— Спасибо, племянник. Итак, я говорил тебе, или, может быть, не говорил... Но это все равно, потому что я тебе теперь скажу... Я представил тебя Лидии де Маран, самой молоденькой, самой обворожительной женщине и к тому же пользующейся большим влиянием в настоящее время. Ты там был, конечно, только в тот день, когда я представлял тебя, на следующей неделе оставил свою карточку и более не возвращался, а у нее собирается самое отборное общество!

— О, дядя, скажите лучше — самое скверное. Она принимает всех, к ней идет всякий, точно в приемную министра.

— Милый мой племянник, я не раз заводил с мадам де Маран разговор о тебе: она находит лицо твое очень приятным, но ей не нравится твое обращение.

— Хотите, я посвящу вас в тайну вкусов госпожи де Маран?

— Посвятите.

— Ее муж купил картину — образец живописи, а она не успокоилась до тех пор, пока он не отдал ее назад автору, говоря, что этот предмет вовсе не ласкает взор.

— Я знаю эту картину, и она, действительно, не ласкает взора.

— Как будто и Святой Варфоломей — вещь забавная!

— Что же, я не хотел бы иметь Святого Варфоломея в моей столовой.

— И все-таки, дядя, постарайтесь приобрести его, хотя бы для того, чтобы подарить мне.

— Постараюсь, только с условием, что ты вернешься к г-же де Маран.

— Я начинал было интересоваться ею, а вы заставите меня ее возненавидеть.

— Каким образом?

— Принимать художника и видеть в нем только красивое лицо — плохая рекомендация для женщины!

— Ах, черт возьми, да чего же ты хочешь, чтоб она в тебе видела? Что такое, прежде всего, мадам де Маран? Всемогущая благодаря положению мужа, но нераскаившаяся Магдалина. Станет она ценить искусство! Она видит молодого, красивого мужчину и смотрит на него, ведь ты тоже любишь, видя красивую лошадь.

— Да. Но как бы хороша ни была лошадь, я предпочту ей фриз Фидия.

— Ну, а встретившись с молоденькой, хорошенькой женщиной, ты тоже способен променять ее на Фидия?

— Говоря откровенно, дядя...

— Не доканчивай, или ты мне больше не племянник! Г-жа де Маран совершенно права, а ты врешь; ты уж слишком артист, светскости же в тебе очень мало. Ты не замечаешь своих поступков, не следишь за собой, что можно простить только школьнику, а не человеку твоих лет и твоего имени.

— Вы забываете, дядя, что я ношу имя моего отца, а не ваше, и если можно строго порицать поступки потомка Юстиниана III, то к сыну морского разбойника, как вы зовете моего отца, можно относиться поспешнее. Мое имя Петрюс Гербель, дядя, а не виконт Гербель де Куртенэ.

— Это не оправдание, мой милый. Весь характер человека обрисовывается в поступи, манере держаться, подавать руку: министр ходит не так, как ходят его чиновники; в поступи кардинала и какого-нибудь аббата, хранителя печати, или простого нотариуса тоже есть разница. Разве ты хочешь походить на привратника или приказчика? Посмотри, например, на твой костюм, ведь он возмутительно плох. Портной твой не что иное, как осел!

— Но на меня шьет ваш же портной...

— Вот прекрасный ответ! Дай я тебе моего повара, как дал портного, и ты превратишь его в дрогиста \* в какие-нибудь шесть месяцев. Прикажи позвать Смита...

— Этого я не могу сделать, дядя! Он и без того слишком часто навещает меня.

— Прекрасно. Значит, мы в долгу у нашего портного?

— Прикажете послать его к вам, когда он придет?

— Ты сейчас сам увидишь... Я советую тебе позвать портного и спросить, кто одевает твоего дядю? И если он ответит «я», — он бессовестный лгун; это все равно, если бы мой повар вздумал хвастаться, что он распоряжается на кухне! Если мое платье и хорошо, так потому, что я умею носить его. Посмотри на меня: ведь мне уже шестьдесят восемь лет. Старайся, чтоб все на тебе сидело красиво, свободно, и ты будешь прелестным

---

\* Дрогист — торговец аптекарскими и химическими товарами.

молодым человеком, достойным имени Гербея де Куртенэ.

— Но что побуждает вас так беспокоиться о моем внешнем виде? Уж не хотите ли вы превратить меня в истинного денди?

— Ты всегда впадаешь в крайности. Я вовсе не хочу сделать из тебя денди, а просто хочу, чтобы ты, мой племянник, был не только красивым, но и изящным молодым человеком. Подумай только, что всякий, знающий нас, при встрече скажет тому, кто нас не знает: «Видите этого молодого человека? Его дядя имеет шестьдесят тысяч годового дохода».

— О, дядя, кто же это говорит?

— Да все маменьки, имеющие дочек на выданье, милостивый государь.

— Прекрасно! А я-то вас пресерьезно слушал. Полно, дядя, вы просто эгоист. Вы хотите меня с рук сбить, хотите женить.

— Ну так что же? Если бы и так?

— Я еще раз повторю ответ, слышанный вами сотню раз в продолжение этого года: нет и нет, дядя!

— Ах, Боже мой! Да ты повторишь это «нет» сто, тысячу раз, десять тысяч раз и все-таки в один прекрасный день придешь и скажешь «да»!

Петрюс улыбнулся.

— Возможно, дядя, но воздайте мне должное, сознайтесь, что до сих пор я моему «нет» не изменил.

— Постой, ты такой же мошенник, как и твой отец. Я предвижу: в тот день, когда ты найдешь свою милую, ты наляжешь на моего секретаря! Ну, объясни, сделай милость, причину твоего упрямства, твоего намерения остаться мальчишкой? Ты, наконец, выведешь меня из терпения!

— Но зачем же вы-то остались этим мальчишкой?

— А потому, что я надеялся, что твой отец или ты продолжите фамилию Куртенэ! Я позаботился подыскать тебе жену, нашел девушку, умную и красивую, с пятьюстами тысячами в каждой руке, а ты смеешь отказываться от этой в высшей степени достойной особы. Но на кого же ты посягаешь? Уж не рассчитываешь ли получить руку королевы Саба?

— Чего же вы хотите, дядя? Молодая девушка, предлагаемая вами, дурна, а я художник. Понимаете вы теперь?

— Нет, положительно не понимаю.

— Прежде всего формы!..

— Итак, ты решительно отказываешься жениться на этом миллионе?

— Да, дядя.

— Ну, будь по-твоему. Я подыщу другую.

— Увы, дядя, я уверен, что вы ее найдете, но позвольте вам признаться в одном: я не так бегу от невесты, как презираю сам брак.

— А, вот что! Ты такой же кровопийца, как твой отец. Значит, ты предпочитаешь терпеливо ждать последнего вздоха твоего дяди. Как?! Я брошу в эту пропасть, которую называют моим племянником, плоды моих шестидесятилетних трудов, буду любить его, как родного сына, ссориться из-за него, как я это только что сделал, с моим другом... То есть, я ошибся — с моим сорокалетним врагом, а этот негодяй не захочет раз в жизни утешить меня. Я только об одном всегда его просил: женись, и он мне в этом отказывает! Да ты разбойник!.. Я хочу, чтобы ты был женат, и ты женишься или скажешь причину твоего упрямства.

— Да я вам только что изложил ее, дядя.

— Слушай, если ты не женишься, я прокляну тебя, откажусь от тебя. Я вижу в тебе наследника, посягающего на мои пятьдесят тысяч ливров дохода и, чтоб не оставить их тебе, я сам женюсь, женюсь на предлагаемом тебе миллионе.

— Но вы сами сейчас со мной согласились, что девушка безобразна.

— Верно; но раз она будет моей женой, я с этим не буду соглашаться.

— Почему же это?

— А потому, что не следует презирать людей только за то, что они нам не нравятся. Полно, Петрюс, будь хорошим малым: ну, если не хочешь жениться для себя, женись для своего дяди.

— Вы, дядя, требуете у меня именно той единственной жертвы, которую я не могу принести вам.

— Но скажи мне, по крайней мере, уважительную причину, тысяча громов!

— Милый дядя, я не хочу продать себя женщине.

— Это еще что?

— Мне кажется, в этой сделке есть нечто позорное.

— Недурно для сына морского разбойника. Итак, я тебя награжу при жизни, я...

— О, дядя!

— Я дам тебе сто тысяч франков.

— Оставаясь холостым, я богаче, чем буду женатым, даже имея в год пять тысяч ливров.

— Ну, я тебе дам двести, триста тысяч, отдам половину всего, что имею, если это нужно. Какого же черта тебе еще? Недаром я бретонец!..

Петрюс взял руку дяди и нежно поцеловал ее.

— Ты целуешь мне руку. Это значит: отойдите, дядя, в сторонку, и чем дальше вы уйдете, тем более доставите мне удовольствие.

— Что вы, дядя!

— А, вот когда я угадал верно!— вскричал генерал, ударив себя по лбу.

— Не думаю,— ответил Петрюс, улыбаясь.

— У тебя есть любовница, негодяй!

— Вы ошибаетесь, дядя!

— У тебя есть любовница, говорю тебе! Это ясно, как день!

— Клянусь вам, нет.

— Я вижу ее перед собой: ей сорок лет, она в когтях держит тебя; вы дали друг другу клятву в вечной любви и воображаете, что это будет длиться таким образом чуть не до второго пришествия.

— Но почему же непременно сорок лет?— спросил Петрюс, улыбаясь.

— Потому, что только в сорок лет можно верить в бесконечную любовь — я говорю относительно женщин — понял? Не смейся!.. Вот он, червячок-то, грызущий тебя! О, я теперь уверен в справедливости моей догадки. Что касается этого,— прибавил генерал и в тоне его послышалось глубокое сострадание,— я даже не порицаю тебя больше; я только жалею тебя, и мне остается только спокойно ждать смерти твоей инфанты.

— Итак, дядя...

— Что?

— Если уж вы так добры ко мне...

— Ты попросишь моего согласия на брак с этой старой ведьмой, мошенник?

— Нет, будьте покойны...

— Будешь умолять признать твоих детей?

— Откажитесь и от этого предположения, дядя,— я не имею счастья быть отцом.

— За это никогда нельзя поручиться! В ту минуту, когда ты входил сюда, маркиза де ла Турнелль убеждала меня...

— В чем?

— Гм... так... ни в чем... Продолжай, пожалуйста. Я ко всему приготовился. Только сделай одолжение, если хочешь сказать что-нибудь очень важное, отложи до завтра, чтоб не повредить моему пищеварению.

— Вы можете, не волнуясь, выслушать меня.

— В таком случае, говори... Рюмку ликера, Франц! Я хочу в самом лучшем расположении духа выслушать исповедь моего племянника... Так, прекрасно. Теперь начинай, Петрюс,— обратился он нежно к художнику, любуясь при свете свечей рубиновыми искрами живо-творной влаги.— Твоя любовница...

— У меня нет никакой любовницы, дядя.

— Но что же тебе от меня нужно в таком случае?

— Вот уже шесть месяцев, как я люблю одну молодую, в высшей степени уважаемую особу, но, видите ли...

— Нет, ничего не вижу.

— Эта любовь не будет иметь никакого результата, по всей вероятности.

— Тогда ты только даром теряешь время.

— Нет, я, может быть, теряю его так же, как терял Дант, любя Беатриче, Петрарка — Лауру или Тасс — Элеонору.

— То есть, другими словами, ты не хотел взять состоя-ния из рук жены, но охотно приобретешь уважение, славу благодаря любовнице... Логично ли это, Петрюс?

— В высшей степени логично, дядя.

— И каким же чудным творениям обязан ты этой твоей Беатриче, Лауре или Элеоноре?

— Вы помните, дядя, мою последнюю картину?

— Это самая лучшая из всех, в особенности с тех пор, как ты ее подправил.

— Лицо девушки, черпающей воду из бассейна, ка-жется, вас совершенно удовлетворило?

— Действительно, оно мне особенно понравилось своей оригинальностью.

— Вы спросили, где я взял эту модель?

— И ты ответил, что это продукт твоего воображе-ния, но это тогда же, замечу вскользь, показалось мне маленьким хвастовством.

— Действительно, я вас недостойно обманул, бес-совестно обманул, дядя.

— Разбойник!

— Моделью послужила мне она.

— Она?.. Кто она?

— Вы желаете, чтоб я назвал ее?

— Как — желаю ли? Конечно.

— Заметьте, что я не имею ни надежды назвать ее женой, ни дерзости ждать, что она согласится стать моей любовницей.

— Еще больше причин назвать ее. После такого предисловия скрытность неуместна.

— Это мадемуазель...

Петрюс вдруг остановился: ему представилось, что он совершает преступление.

— Мадемуазель...— повторил генерал.

— Регина.

— Регина де Ламот Гудан?

— Да, дядя.

— Ох!— вскрикнул генерал, быстро откидываясь на спинку кресла.— Ох, браво, племянник! Если бы между нами не было стола, я бросился бы тебе на шею и расцеловал тебя.

— Что вы хотите этим сказать?

— А! Я хочу сказать, что существует Бог для честных людей.

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что ты будешь моим Родриго — ты отомстишь за меня.

— Да объяснитесь, ради всего святого?

— Друг мой, спрашивай у меня, что хочешь. Первый раз в жизни ты доставил мне счастье, о каком я никогда и не мечтал.

— О, дядя, я парю в облаках. Можно продолжать?

— Нет, не здесь, дитя мое: я философ, эпикуреец. Свежесть твоей повести плохо согласуется с запахом бараньего филе и кислой капусты. Перейдем в зал. Франц, самого превосходнейшего кофе, молодец мой! Самых тонких, ароматных ликеров! Франц, ты можешь снова надеть крест и нашить галуны: я прощаю тебя по милости моего племянника. Пойдем, Петрюс, дорогое дитя моего сердца! Итак, ты любишь Регину де Ламот Гудан?

Говоря это, генерал обнял Петрюса с нежностью и грацией, свойственной только молодому человеку.

Так они прошли мимо Франца, стоявшего в своей обычной позе: левая рука по шву, правая — возле лба; лицо его сияло радостью и гордостью, когда он тихо повторял:

— О, мой добрый генерал, мой добрый генерал!



## VIII

### ЗА КОФЕ

Генерал сказал бы непреложную истину, назвав себя последователем школы Анакреона, рабом сластолюбивого сибаритства.

Все его обычаи и обстановка выдавали любовь ко всему комфортабельному, изысканному. Он не мог иначе пить бордоские вина, как в особенных рюмочках, прозрачность которых бросает вызов тонким хрусталам и, лаская взор и губы, не дает измениться ни цвету, ни аромату. Точно так же он пил и кофе: не иначе, как в китайских чашечках, или из севрского фарфора.

Дымящийся и пахучий кофе подавался в серебряном вызолоченном кофейнике, которому соответствовала точно такая же сахарница, две тончайшие чашки с золотыми цветами и четыре графинчика с разнообразными тонкими ликерами.

— Ну,— начал генерал, толкая племянника в кресло,— садись ты тут, а я — здесь, и давай пить кофе по примеру философов, утверждавших, что надо было много времени, усовершенствований, гениальных людей и лучей жгучего солнца, чтоб создать эти два напитка — произведения двух противоположных концов света.

Но мысли Петрюса были направлены совсем в другую сторону.

— Милый дядя,— сказал он,— поверьте, что в другую минуту я наслаждался бы этими превосходными ликерами подобно вам, конечно, с меньшим пониманием их достоинства. Но теперь — вы должны понять меня — все мои силы, физические и моральные, сосредоточиваются на одном вопросе, который я прошу позволения возобновить! Что можете вы видеть хорошего в моей любви к дочери маршала Ламот Гудана, которая вас так порадовала?

— Я тебе все это объясню, только дай мне напиться кофе. Помнишь, я тебе говорил перед тем, как сесть за стол, что хорошие яства способствуют изменению воззрений на вещи?.. Ну, так вот, дорогой друг, теперь, когда я пообедал, все представляется мне в розовом свете, и я тебя от души поздравляю. Дай мне напиться кофе, и я поясню тебе мое поздравление.

— Значит, вы тоже находите ее прелестной? — спросил Петрюс, поддаваясь сладкому очарованию, кото-

рое овладевает влюбленными незаметно для них самих, когда разговор коснется предмета их любви.

— Нахожу ли я ее прелестной? Черт возьми, это немножко трудно... Я скажу только, что это одна из красивейших женщин Парижа. Припоминая лицо ее, я нахожу в нем сходство с нимфой Овидия... Ты, брат, сильно влюблен! Тем лучше, тем лучше! Я люблю видеть молодость, борющуюся с этой всемогущей силой любви. Я сказал неправду: она не имеет ничего общего с нимфой Овидия: это героиня современного романа в самом глубоком значении этого слова.

— О, дядя, совсем напротив: если меня что и влечет к Регине и очаровывает, так это полное отсутствие в ней желаний нравиться.

— Как, разбойник?! Ты смел влюбиться без ведома дяди и еще не хочешь позволить ему рассмотреть твою возлюбленную?

— Я имел полное основание быть скрытным, будучи уверенным, что вы побраните меня...

— Позавидуйте мне, скажи, счастливец! В жизни, должно быть, везет только сыновьям разбойников!.. Итак, этого факта нельзя не признать, ты влюблен. Очень влюблен?

— Ради Бога, дядя, не называйте любовью то чувство, которое я испытываю к Регине.

— А!.. Но как же ты прикажешь его называть? Посмотрим.

— Право, не знаю... Но в большинстве случаев словом «любовь» принято определять чисто материальный инстинкт или чувственность. Неужели вы полагаете, что я испытываю к этому очаровательному созданию такое же чувство, какое испытывает к женщине ваш привратник?

— Bravo, Петрюс! Продолжай, продолжай, ты не можешь себе представить, до какой степени ты меня радуешь... Итак, ты чувствуешь не любовь к Регине? В таком случае объясни, какого рода твое чувство? Я, грубый материалист, человек другого века, всегда считал любовь сочетанием чувственности с самыми чистыми душевными порывами. Может, я ошибаюсь, и тем лучше. Есть другое чувство, более тонкое, прекрасное и пылкое. Мне бы хотелось покороче с ним познакомиться, но я в отчаянии, что так поздно узнаю о его существовании...

— Вы смеетесь надо мной, дядя. Но верьте моему слову, я сказал вам правду. То, что я чувствую к Ре-

гие, в сущности, не имеет названия на обыкновенном языке. Это что-то свежее, томительное, сладостное, высокое, как она сама, и она одна могла выгнуть мне это чувство. О, милый дядя, вы говорите, что, несмотря на вашу опытность, вам чувство это неизвестно, и я не удивляюсь: ни один человек не мог испытывать того, что испытываю я теперь!..

— Поздравляю тебя, мой милый,— сказал генерал, глотая последнюю каплю кофе,— и повторяю, что, с известной точки зрения, ты делаешь мне действительно величайшее удовольствие, первое, за которое мне остается только благодарить тебя. Не придавай никакого значения вышесказанным мной перед обедом взглядам на общество: это были кошмары, навеянные пустым желудком. О,— продолжал старый джентльмен, вытягиваясь в кресле и набожно опуская ресницы,— я не преувеличу, если скажу, что, если мне удастся вынюхать эту щепотку испанского табаку, я буду вполне, совершенно счастлив. Но только ты очень ошибаешься, Петрюс, мы совершенно расходимся во взглядах на этот предмет. Меня радует мысль, что твое счастье доставит массу мучений другому...

Петрюс остановил на дяде вопросительный взгляд.

— А этот другой,— продолжал дядя,— мой личный враг... Ты видишь, что я только до некоторой степени разделяю собственно твою радость, а потому и не благодарю тебя, продолжай лучше твое повествование. Но предварительно отведай этого рома... Я слушаю...

Генерал все еще сидел, развалившись в кресле, сложив на животе руки, и вертел большими пальцами.

— Это странно, дядя! Я не знаю, какова ваша мысль, но предчувствие обещает мне мало хорошего.

— Что тебя ждет, радость или горе, это зависит от того, как ты воспримешь то, что я сообщу тебе. Однако как в том, так и в другом случае, я не могу нанести тебе удара, не подготовив тебя. Иначе говоря, я не сообщу тебе правды, пока не дослушаю тебя.

— Но мне нечего больше рассказывать вам, дядя, кроме того, что я уже сказал. Я люблю — вот и все.

— Есть еще важный вопрос, мой дорогой, который ты обошел. Ты сказал только, что ты любишь, но не сказал, любим ли ты?

Лицо художника покрылось при этих словах дяди краской, давшей за него красноречивый ответ. Но так как он сидел в тени, то генерал и не заметил его замешательства.

— Я, право, не знаю, дядя, что сказать вам на это.

— Как не знаешь? Я хочу знать, любит ли она тебя?

— Я не спрашивал.

— И прекрасно сделал, милый мальчик. Об этих вещах не спрашивают, их угадывают, их чувствуют. Ну, а ты, что ты угадал или почувствовал?

— Не говорю о таком чувстве, какое мне внушила дочь маршала Ламот Гудана, но я не мог не заметить, что видеть меня ей не неприятно.

— Виноват! Теперь ты, в свою очередь, не совсем хорошо понял меня: я хочу вполне определенного ответа. Как ты думаешь, например, если бы при настоящем положении вещей — то есть, допуская взаимную симпатию, — ты просил бы руки Регины де Ламот Гудан, пожелала бы она стать твоей женой?

— О, дядя, мы еще не дошли до этого.

— Прекрасно. Но так как дни и ночи периодически повторяются, то в один прекрасный день или ночь вы должны будете прийти к этому...

— Дядя!

— Ты не хочешь жениться на ней?

— Но, дядя...

— Отвечай толком.

— Извольте, но вы затронули область, о которой я не смел мечтать.

— Я тебя прошу сказать, любезный племянник, надеешься ли ты на готовность мадемуазель Регины де Ламот Гудан назвать тебя мужем, если бы ты попросил ее согласиться на этот брак? Заметь, что в этом притязании нет ничего дерзкого: если твой отец и признанный пират, то ты все-таки принадлежишь к фамилии Куртенэ, а наши предки царили в Константинополе. Остин был уже седовласым старцем в то время, когда у первого Ламот Гудана и молочные зубы не успели прорезаться.

— Итак, дядя, если говорить всю правду, то я думаю...

— Что ты думаешь?

— Несмотря на то, что я не смел льстить себя этой надеждой, я полагаю, что Регина не откажет мне.

— И принимая во внимание, что я, по счастливой случайности, укрепил бы за тобой часть моего состояния — что пока маловероятно, говорю тебе впредь — после моей смерти... Но заметь, что я очень и очень далек от этого... или, говоря более определенно, если бы я тебя признал своим наследником, ты думаешь, что дочь

маршала Ламот Гудана согласилась бы вступить в брак с тобой?

— Сердце и совесть подсказывают мне это.

— Ну так, милый племянник, мне остается только повторить то, что я тебе уже сказал после сообщения о твоём друге, отказавшемся от ордена: ты слишком молод для твоих лет.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что Регина де Ламот Гудан никогда замуж за тебя не пойдёт.

— Это почему же?

— Потому, что закон запрещает как жениться на двух, так и выходить замуж за двоих!

— За двоих?

— Да, это называется двоеженством или двоемужеством — все едино.

— Я вас положительно не понимаю.

— Меньше, чем через две недели Регина будет замужем.

— Невозможно! — вскричал молодой человек, страшно побледнев.

— Невозможно! Вот возглас, достойный влюбленного.

— Дядя, сжальтесь, ради Бога, надо мной и говорите яснее.

— Мне кажется, что яснее выразиться нельзя. Ты хочешь, чтоб я поставил точку? Изволь! Регина выходит замуж.

— Выходит замуж? — повторил Петрюс, ошеломленный.

— И я не мог этого не знать, — прибавил генерал, — потому что она выходит за моего мнимого сына.

— Дядя, вы меня с ума сведете! Откуда явился этот мнимый сын?

— О, успокойся! Он не признан мной, несмотря на все старания его нежной маменьки.

— Но, наконец, за кого же она выходит, дядя?

— Она выходит за полковника графа Раппа... Да, милый племянник, за любезного, милого, знаменитого графа Раппа.

— Но он на двадцать лет старше Регины.

— Ты не ошибешься, если скажешь — на двадцать четыре. Он родился, милый друг, 11 марта 1786 года. Следовательно, ему сорок один год, а так как Регине только семнадцать... ну, сосчитай сам.

- И вы в этом твердо уверены, дядя?— спросил Петрюс, опустив голову, как пораженный громом.
- Спроси у самой Регины.
- Прощайте, дядя!— почти крикнул Петрюс, вставая.
- Как, прощайте?
- Да, я иду к ней; я все узнаю...
- Ты и позже так же хорошо все узнаешь. Доставь мне удовольствие: вернись на свое место.
- Но, дядя...
- Какой я дядя такому неблагодарному!
- Я неблагодарный?
- Конечно, только неблагодарный племянник способен бросить дядю во время процесса трудного пищеварения, вместо того, чтоб предложить ему рюмку кюрасао. Налей твоему дяде рюмку кюрасао.
- У молодого человека руки опустились.
- О,— пробормотал он,— как это можете вы шутить!
- Знаешь ты историю копья Ахиллеса?
- Нет, дядя.
- Как! Вот воспитание, данное тебе разбойником, твоим отцом. Он не познакомил тебя с историей Греции, не заставил прочитать Гомера в оригинале. Изволь его прочитать, негодяй! А теперь я расскажу тебе историю этого копья: его ржавчина исцеляла раны, причиненные его острым концом. Я тебе нанес рану, дитя мое, теперь я постараюсь залечить ее.
- О, дядя, милый дядя!— вскричал Петрюс, бросаясь перед ним на колени и целуя руки.
- Дядя остановил на нем взор, полный нежности, заговорил тихим, но сильным голосом:
- Встань и сядь в это кресло. Будь мужчиной! Мы поговорим с тобой серьезно о г-не Рашве.
- Петрюс послушно исполнил приказание дяди: он подошел, шатаясь, к креслу, но, скорее, упал в него, чем сел.

## IX

### О ЧЕМ ПРЕДПОЧИТАЛА БЫ НЕ ВСПОМИНАТЬ МАРКИЗА ДЕ ЛА ТУРНЕЛЛЬ

— Теперь, Петрюс, слушай как можно внимательнее,— начал генерал,— то, что я расскажу тебе, будет для тебя интереснее, чем история Энея для Дидоны, а поэт между тем, говорит: «Conticuerе omnes, intentique ora tenebant».

— Я вас слушаю, дядя,— сказал печально Петрюс.

— Ты знаешь г-на Раппа?

— Я видел его два раза в мастерской Регины,—  
отвечал молодой человек.

— И нашел его до крайности безобразным не так ли? Это совершенно естественно.

— Нет, дядя, не безобразным. Я скажу больше: в глазах людей, не обращающих никакого внимания на выразительность лица, г-н Рапп — красивый мужчина.

— Черт возьми! Вот как ты смотришь на своего соперника.

— Дядя, я считаю своим долгом быть справедливым даже по отношению к сопернику.

— Итак, ты не находишь его безобразным?

— Хуже, дядя, я нахожу лицо его ничего не выражающим. Все в этом человеке неподвижно и холодно, как мрамор: тусклые глаза, тонкие, всегда сжатые, губы, круглый нос, цвет кожи, напоминающий пепел. Голова двигается, но черты лица всегда одинаково неподвижны. Если бы можно было ледяную статую покрыть кожей живого человека, но кожей без признаков жизни, благодаря отсутствию кровообращения, вышло бы вернейшее олицетворение всей фигуры этого человека.

— Твои портреты льстят, Петрюс, и, если мне придет в голову казаться моему потомству прекраснее, чем на самом деле, я непременно поручу тебе передать ему мое изображение.

— Вернемся, дядя, прошу вас, к господину Раппу.

— Охотно... Но, изображая такой портрет графа, неужели ты не находишь странным, что Регина согласилась выйти за него замуж?

— Конечно, дядя, для личности с таким изысканным вкусом, такими правильными взглядами! Я тут ничего не понимаю. Но что поделаешь!.. В каждом семействе есть свои тайны, а Регина, к несчастью, женщина.

— Вот как! Давно ли ты не хотел допустить сравнения даже с богиней, а теперь, потому что она тебя не любит, или, допустим, любя тебя, все же выходит замуж за другого, ты сам низвергаешь ее с пьедестала.

— Позвольте вам напомнить, дядя, что мы продолжаем нашу беседу вовсе не для того, чтобы разбирать достоинства Регины: мы говорим о господине Раппе.

— Совершенно справедливо... Видишь, мой милый, в темной и мрачной истории г-на Раппа существуют две тайны: одна из них мне была открыта, в другую я никак не мог проникнуть.

— А тайна, которую вам открыли, составляет секрет?

— И да, и нет. Но, во всяком случае, я считаю себя вправе поделиться ею с тобой. Ты заметил мне перед обедом, что я был в коротких отношениях с этой ханжой, носящей имя маркизы де ла Турнелль. К несчастью, в этом есть доля правды. Мадемуазель Иоланта де Ламот Гудан в 1784 году вышла замуж за маркиза Пантальте де ла Турнелль, т. е. собственно говоря, не за него, а за восемьдесят лет и сто пятьдесят тысяч годового дохода этого маркиза. Таким образом, не прошло еще и шести месяцев со дня ее бракосочетания, как она осталась вдовой, маркизой и миллионершей. Ей было семнадцать лет, она была очаровательна... Ты, конечно, готов поклясться, что ей всегда было шестьдесят лет, и она никогда не была красива! Клянись, мой милый, но на пари не иди: проиграешь! Ты должен понять, что вся блестящая молодежь двора Людовика XVI очутилась у ее ног. Но, благодаря серьезности натуры, которой она обладала, говорят, она устояла против всех искушений дьявола. Не зная, чему приписать эту добродетель, ее объясняли слабым здоровьем маркизы. Действительно, в конце 1785 года она стала бледнеть, худеть — это не могло не отозваться на красоте, ее послали на воды в Фощ, пользовавшийся большой популярностью в то время. Эти воды пользы никакой не принесли, и доктор посоветовал ехать в какую-то деревушку в Венгрии, известную под названием Рапп...

— Но ведь это имя полковника, дядя?— прервал его Петрюс.

— Я не буду противоречить. Но почему же, если есть на земле деревушка, названная Рапп, не существовать в мире человеку, носящему одинаковое имя с деревней?..

— Вы правы, дядя.

— Этот доктор, о котором я говорю, был очень смысленный; прелестная, скучающая вдова уехала в Венгрию в начале 1786 года, бледная, худая, изможденная, пробыла на водах месяцев шесть и возвратилась в июле того же года свежей, полной, совершенно здоровою и еще более прекрасной, чем прежде. Возвращение маркизы повергло ее поклонников в такое же смятение, в какое были повергнуты поклонники Пенелопы при возвращении Улисса. Я один не отчаивался ни до ее отъезда, ни при возвращении. Причина этому была следующая: как раз в это время я был послан с поручением к Иоси-



фу II, и, так как на посланную мною депешу ответа можно было ждать не ранее, как через две недели, то, чтобы убить время, я предпринял маленькое путешествие по Венгрии и, кстати, заехал в деревню Рапп. Не стану передавать тебе, чему я был свидетелем, оставаясь сам незамеченным, но все виденное мною убедило меня, что строгая вдова вовсе не такая неприступная, какой ее считали, и что с помощью настойчивости и терпения я достигну того, что сумел достигнуть другой.

— Она была беременна?— спросил Петрюс.

— Я ни слова не сказал тебе об этом.

— Мне кажется, дядя, что, хотя вы и не сказали, но у вас это вертелось на языке.

— Милый Петрюс, извлекай из моих слов какой хочешь смысл, но не настаивай на объяснении. Я, как Тацит, говорю для того, чтобы сказать, а не доказать. «*Naqgo ad pargandum, non ad pprobandum*».

— Я вас слушаю, дядя.

— Год спустя я имел очевидное и неоспоримое доказательство, что Лафонтен был большой моралист, создав эту аксиому: «Терпение и время сделают больше, чем сила и крайности».

— То есть, говоря другими словами, дядя, вы стали любовником маркизы де ла Турнелль?

— Какая у тебя скверная привычка, Петрюс, заставлять людей ставить точки над «i». Ничего нет ужаснее в разговоре, как это требование.

— Я вовсе не настаиваю на этом, дядя, но эти букеты, которые вы так аккуратно посылаете...

— В продолжение сорока лет, мой милый... Желаю, чтобы прекрасная Регина де Ламот Гудан получала сорок лет букеты с тем значением, какое имеют мои, посылаемые маркизе де ла Турнелль.

— А, дядя, вы сами проговорились, что посылаете их маркизе де ла Турнелль как дань воспоминания.

— Разве я называл когда-нибудь имя бедной маркизы? Если это случилось, я в самом деле не стою прощенья. Тем более не стою, что связь наша длилась всего несколько месяцев, уже потому, что около половины 1787 года ее величество королева Мария-Антуанетта послала меня с поручением в Австрию, откуда я вернулся только в 1789 году для того, чтобы снова покинуть Францию 8 октября того же года. Начиная с этой минуты, Петрюс, тебе известна вся моя жизнь. Я путешествовал в Америку, вернулся после 10-го августа 1792 года

в Европу, вступил в армию Конде, остался в ней до ее роспуска; потом поселился в Лондоне, занялся торговлей детскими игрушками и, наконец, получил часть состояния и звание депутата в 1826 году. Попав в палату, я встретился там с графом Раппом. Откуда он явился? Кто он такой? Кому обязан положением? На эти вопросы никто не мог дать ответа. Имя графа, тождественное с именем деревни, игравшей немалую роль в приключениях моей молодости, заставило меня повнимательнее отнестись к моему уважаемому коллеге. Позже я имел разговор по поводу возраста графа с моим старым другом маркизой де ла Турнелль. Она утверждала, что ему годом меньше, несмотря на то, что я навел все должные справки. Вот что я узнал... Заранее, впрочем, предупреждаю тебя, что все эти справки, совпадения носят весьма сомнительный характер; так прошу тебя к ним и относиться... Военная карьера графа Раппа началась с 1806 года. Вдруг, неизвестно откуда, он появился возле генерала де Ламот Гудана в битве при Иене. Граф Рапп храбр — этого нельзя отнять у него. Он отличился, был произведен в лейтенанты еще во время войны и тотчас после производства в этот чин был выбран генералом Ламот Гуданом в ординарцы.

— Виноват, дядя, — перебил Петрус, — но если вы считаете возможным, что граф Рапп — сын маркизы де ла Турнелль, а маркиза ведь сестра маршала Ламот Гудана, следовательно, граф Рапп — племянник маршала.

— Именно, друг мой, этим злые языки и объясняют его быстрое возвышение, постоянную благосклонность к нему маршала и даже его политическое влияние в палате. Но если мы станем придавать значение всем слухам...

— Продолжайте, дядя, прошу вас.

— При Эйлау молодой офицер сделал еще шаг вперед на избранном поприще: произведенный в капитаны в конце февраля 1807 года, он был назначен адъютантом маршала Ламот Гудана. В этом звании он присутствовал при свидании в Эрфурте 27 сентября 1808 года... Когда ты поинтересуешься своей отечественной историей, ты придешь спросить меня, какова была цель признания этого мира двумя могущественнейшими властителями Европы? И, несмотря на то, что я был только токарем, хоть и потомком константинопольских императоров, я видел, как страх Англии после битвы при Булони, так и опасения последствий этого свидания:

возможность сохранить Индию казалось ей сомнительной. Но, по счастью, теперь нам нет надобности разбираться в этих великих вопросах, когда нас волнуют личные мелкие интересы, как говорят во Французском театре... Император Наполеон представил «своему другу», императору Александру, своих генералов, делая различия по фамилии, чину и храбрости. Наравне с другими был представлен и генерал бригады де Ламот Гудан. Имя его было известно, храбрость баснословна, но при этом он был беден.

«Ваше величество,— сказал однажды император Наполеон императору Александру,— нет ли у вас богатой наследницы? У меня есть храбрый офицер-жених».

«Ваше величество,— отвечал император России,— именно в данное время я имею на моем попечении круглую сироту, княжну с миллионным приданным».

«Молодая она?»

«Ей девятнадцать лет».

«Вот что мне подходит, как нельзя более! Итак, позвольте просить у вашего величества руки вашей сироты для моего протезе».

## Х

### О ДОБРОДЕТЕЛЯХ ГРАФА РАППА

Промочив горло, генерал начал снова:

— Император несколько не преувеличивал, говоря, что воспитанница его — красавица. Дочь черкесского князя, возмущившегося против своего государя и убитого во время бунта, молодая девушка, забрав все свои фамильные сокровища, переселилась в обширные владения императора России, принявшего ее под свое покровительство. Стоимость этих сокровищ, состоявших наполовину из драгоценных камней, наполовину из серебряных и золотых монет, доходила до пяти миллионов.

По возвращении из Эрфурта генерал Ламот Гудан купил отель, носящий теперь это имя, и великолепно обставил его. Приезд Рины был просто событием для придворного мира. Прекрасная черкешенка являлась как бы трофеем этой великолепной кампании 1807 года! Но обстановка нашей жизни пришлась не особенно по вкусу беспечной, избалованной дочери Востока: целый день проводила она, лежа на мягких, широких диванах, и поддерживала свое существование, как фея из «Тысячи и одной ночи», вареньем из розовых лепестков.

Эта восточная замкнутость имела последствием то, что, как тогда, так и позже, очень немногим удавалось видеть принцессу Чувадоевскую. Те, которые были удостоены этой чести, рассказывали после посещения, что это неземное существо с чудными глазами, прекрасными черными лоснящимися волосами, матовой белой, как молоко, кожей. Генералу Ламот Гудану завидовали.

Брак с прекрасной принцессой и обладание пятью миллионами, принесенными ею в приданое, были для него чем-то более прочным и надежным, чем трон Вестфалии для Жерома, трон Испании — для Иосифа, трон неаполитанского королевства — для Мюрата или трон Голландии — для Людовика.

Но что всего более обрекало прекрасную Рину, или, как ее стали звать вследствие ее княжеского происхождения, Регину, на полное одиночество или заставляло ограничиваться самым небольшим кругом — это знание только своего черкесского, русского и немецкого языков. По счастью, генерал знал немецкий язык настолько, чтобы понимать свою жену и быть ею понятым. Что касается графа Раппа, то он, воспитанный в Венгрии и проживший там до девятнадцати лет, знал этот язык, как свой родной.

Ты сам поймешь, милый Петрюс, что этот язык, которым совершенно свободно владели и граф, и принцесса, дал им возможность постоянно обмениваться мыслями, способствуя таким образом некоторому сближению молодых людей. Ты находишь неприятным господина Раппа, потому что он намеревается вступить в брак с Региной, а я его нахожу безобразным, низким, потому что его, помимо моей воли, желают сделать наследником моей фамилии, чему я, конечно, воспротивился, не желая признавать сыном такого мерзавца. Но злые языки утверждали, что супруга маршала де Ламот Гудана не разделяла нашего взгляда. Повод к этому предположению подал сам маршал Ламот Гудан, забывший расстояние между главнокомандующим и его адъютантом и поместивший графа Раппа в своем собственном отеле, потому будто бы, что он не может обходиться без этого преданного человека.

По окончании кампании 1808 года граф Рапп был поселен в цветочном павильоне. Ты, конечно, имеешь понятие об этом павильоне? По всей вероятности, именно он служит местом для ваших сеансов?

— А граф Рапп до сих пор продолжает жить там?

— О, нет! Состояние графа увеличилось, а принцесса состарилась; теперь у графа Раппа свой собственный отель. Но в то время, когда он был только капитаном и адъютантом, у него еще отеля не было, и он жил в отеле Ламот Гудана на улице Плюме. Но в то время, милый друг, мы, по сути, не жили: мы гнездились временно, как птицы на ветках. Дух республики умер вместе с Кольбером и другими, царили гении войны, и самый великий из них был Наполеон.

В начале ноября 1808 года Наполеон отправился вместе со своим штабом и свитой в Испанию. Это было как раз накануне того дня, когда генерал привез свою супругу в свой новый отель и поселился в нем сам. Ты поймешь положение черкешенки: на второй же день остаться совершенно одной. Она могла обмениваться мыслями только с мужем и графом Раппом, знавшим немецкий язык, и со своей камеристкой, говорившей отлично по-русски. Следовательно, ее общество ограничивалось только маршалом Ламот Гуданом, графом Раппом и камеристкой. Несмотря на желание графа участвовать в кампании, генерал оставил его при своей жене. Должен же был кто-нибудь помочь акклиматизироваться бедной принцессе!

Кампания продолжалась очень недолго. Прибыв четвертого ноября в Испанию, Наполеон уже в первых числах января возвратился в Париж. Генерал отлично понимал, что потерял граф, не участвуя в военных действиях против Испании, и чтобы утешить его, способствовал назначению его командиром батальона. Все, конечно, очень удивлялись, как граф Рапп получил это повышение, находясь так далеко от театра военных действий; еще более поражала эта милость потому, что молодому офицеру еще не было и двадцати четырех лет. Но злые языки и тут сумели найти причину: адъютант служит только своему генералу, пренебрегая обязанностями по отношению к государю и отечеству — он достоин вполне имени помощника во всех делах маршала. В особенности помощь его была ощутима, прибавляли те же злые языки, во время двух месяцев, проведенных маршалом в Испании.

Деятельный молодой человек не терял времени даром: остановившись проездом в Париже, генерал Ламот Гудан нашел жену свою вполне акклиматизировавшейся, отель отделанным на славу и поставленным на широкую ногу, что как нельзя более соответствовало его новому

положению. Я говорю «проездом», потому что генерал только заехал в Париж. В конце февраля он уже был в Баварии, куда нас отчаянно призывал наш друг Максимилиан. На этот раз генерал де Ламот Гудан захватил с собой и своего адъютанта, так что при принцессе осталась одна ее верная наперсница.

Не стоит и говорить, что в продолжение всей кампании 1809 года, начиная с победы при Аренсберге и кончая взятием Ваграма, как генерал, так и его адъютант являли чудеса храбрости. Только в конце последнего дня битвы генерал Ламот Гудан получил очень опасную рану осколком гранаты в бедро. Ему хотели ампутировать ногу, но он твердо объявил, что, если ему суждено умереть, он умрет не калекой, и эта решительность спасла его ногу от опасности быть отрезанной. Император, желая наградить генерала за его заслуги и видя невозможность дать ему лично почетное поручение, потому что он еще не покидал постели, отправил его адъютанта, графа Раппа, свезти в Париж весть о победе при Ваграме.

Адъютант уехал в тот же вечер и через семь дней был в Париже. Он приехал как раз вовремя, чтобы возвестить о великой победе, и, кроме того, как награду за утомление, принять на руки прелестнейшего ребенка — девочку, которую подарила черкешенка заслуженному французскому генералу спустя восемь месяцев после свадьбы.

— О, дядя!

— Друг мой, числа числами, не правда ли? Генерал женился на принцессе, которую сопровождал его адъютант, 25-го октября 1808 года, ребенок родится 13-го июля 1809 года, это составляет ровно восемь с половиной месяцев. К тому же тут нет ничего поразительного, учебники и доктор утверждают, что роды могут пройти совершенно благополучно и на седьмом месяце, тем более возможен счастливый исход через восемь с половиной. Так и случилось, доказательством чего служит то, что маленькая девочка и есть известная тебе Регина, которую назвали при крещении именем ее матери, переименовав его на французский лад, как было и с именем матери.

— Но, дядя, вы хотите всем этим сказать...

— Я ничего не хочу больше сказать, не заставляй меня договаривать.

— Что Регина — дочь...

— Генерал де Ламот Гудана, против этого не может быть возражений: *Pater est quem nuptia demonstrant!*

— Но что же может побуждать графа Раппа сделать эту подлость.

— У Регины миллион приданого.

— Но и годовой доход этого негодяя приближается к двадцати пяти тысячам ливров.

— Тогда у него будет семьдесят пять тысяч ливров, а так как после смерти генерала и принцессы Регина получит еще два миллиона, то доход его будет равняться ста семидесяти пяти тысячам ливров.

— Но ведь это значит, что Рапп — презренный злодей.

— А кто тебя убеждает в обратном?!

— Что генерал соглашается на этот брак, ничего не зная, — это понятно; но как же принцесса допускает, чтобы дочь ее вышла замуж за...

— О, Боже мой, любезный друг, да это повторяется сплошь и рядом. Ты не можешь понять, как тяжело людям, обладающим огромным состоянием, передавать его в чужие руки. Потом надо принять во внимание, что положение принцессы ужасно: она больна одной из нервных болезней, которая приковывает ее к постели. Она дошла до того, что не может переносить дневного света, в комнате ее царствует постоянный мрак, и так она проводит целые дни. Может быть, она вовсе и не знает, что Регина выходит замуж.

— Но вы, стоящий так близко ко всей этой истории, неужели вы хладнокровно допустите, чтобы это преступление совершилось перед вашими глазами?

— Да разве это меня касается? По какому праву, наконец, вступлюсь я?

— По праву всякого честного человека, обязанность которого предупредить всякое незаконное деяние.

— Чтобы обличить незаконность известного деяния, нужны доказательства. Кроме того, не существует закона, который преследовал бы подобное преступление.

— Но я, я...

— Ты поступишь так же, как и я: ты будешь спокойным свидетелем.

— Нет, нет и нет!

— Видишь ли, друг мой, — продолжал генерал, — существует пословица, что между деревом и его корой пальца класть не следует, и это очень мудрая посло-

вица. Кроме того, все, что я тебе сейчас изложил,— только праздные толки.

— О! И этот господин будет министром.

— Если я подам за него голос.

— Он не женится на Регине, дядя, это преступление не будет совершено!..

— Милый друг, через неделю Регина де Ламот Гудан будет графиней Рапп.

— Я говорю вам, что этой свадьбе не бывать! — повторил Петрюс, вставая.

— А я вам говорю,— возразил с достоинством генерал,— я вам говорю, милостивый государь, что вы сядете и будете меня слушать.

Петрюс снова опустился в кресло.

Генерал встал и оперся на спинку кресла, на котором сидел Петрюс.

— Я вам говорю, Петрюс, что, как бы вас это не раздражало, вы все-таки не настолько сильны, чтобы помешать этому браку только потому, что вы любите Регину. Теперь позвольте вас спросить: какое право имеете вы любить Регину? Кто одобрил эту любовь? Она? Мать ее? Отец? Никто! Вы посторонний человек, введенный в их дом. По какому же праву посторонний человек смеет принимать участие в судьбе семейства, которому его представили? По какому праву придет он к женщине, ставшей, может быть, жертвой наших разнузданных нравов, и сказать ей: «Вы — неверная жена», а счастливому мужу, игнорирующему прошлое и уверенному в настоящем: «Вы — обманутый муж!», или девушке, которая любит свою мать и уважает отца, потому что никому и в голову не может прийти, что маршал Ламот Гудан — не отец Регины: «Ты должна с сегодняшнего дня презирать мать свою, а в отце видеть постороннего человека!». Если вы, милый племянник, вы, считающий себя честным человеком, пойдете и делаете это, вы будете негодяем, и вы этого не сделаете, я уверяю вас.

— Но что же тогда будет, дядя?

— Это не ваше дело,— отвечал генерал.— Это касается судьбы более справедливого и строгого, чем ты, судьбы, которому лучше известно, как и что произошло. Этот судья — Бог.

— Вы правы, дядя.— сказал молодой человек, вставая и протягивая руку дяде.— Я не зайнусь о том, что слышал от вас.



— Честное слово благородного человека?  
— Честное слово!  
— Ну, поцелуй меня, так как, несмотря на то, что ты сын разбойника, я верю твоему слову, как поверил бы... поверил бы слову твоего разбойника-отца.  
Художник бросился на шею дяде, потом взял шляпу и поспешно вышел.  
Он задышался.

## XI

### ВИЗИТ НА КИШЕЧНУЮ УЛИЦУ

На следующий день, к несчастью, у Петрюса не было сеанса, и потому, не зная, как убить время, он предложил друзьям своим то увеселение, с которого начинается наш рассказ.

Мы были свидетелями начала шумного пиршества, после чего в пятом часу утра веселая компания начала расходиться: Людовик в сопровождении Шант-Лиля и ее подруг, а Петрюс прямо домой, на улицу Уэст. Читатель помнит, что на приглашение Людовика не покидать веселого общества Петрюс ответил, что у него назначен сеанс. Сеанс этот был назначен ровно на час дня.

Вернувшись к себе, Петрюс попробовал было заснуть. Но под влиянием одиночества и тишины им опять овладело страшное беспокойство и негодование. Тысячи проектов вертелись в его голове, но ни на одном из них он не остановился. По мере того, как они сменялись, он находил их все более и более неприменимыми. Он не заметил, как пробило девять часов. Но возбуждение его не давало ему силы ждать дольше.

Он встал и вышел. Но зачем?

Почему игрок, потеряв все состояние, в надежде отыгратися с нетерпением ждет возможности спуститься в ту бездну, где, может быть, вслед за его состоянием пропадет и его честь?

Петрюс, несчастный игрок, имевший единственную ставку — сердце свое — поставил его на карту... И проиграл.

Он шел как человек, не понимающий, куда идет, зачем идет, то ускоряя шаг, то без всякой причины останавливаясь. Так он пришел с улицы Монпарнас на улицу Плюме, миновал отель маршала Ламот Гудана,

опять вернулся на улицу Монпарнас, с которой начал свою прогулку.

Тут он вошел в кафе, спросил чашку черного кофе и попробовал развеять свое дурное настроение журналами. Журналами! Но какое ему было дело до последних событий в Европе? Он одного понять не мог: зачем так много перепачкано бумаги, чтобы сообщить так мало интересного?

За чашкой кофе и перелистыванием пяти-шести журналов Петрюс провел часа два.

Когда на Башне Инвалидов пробило одиннадцать часов, он вышел из кафе и пошел бродить без цели. Для того, чтобы время ему казалось не таким долгим, Петрюс решил назначить себе определенное расстояние, преодолев которое, он мог убить хотя бы час.

Но куда идти?

Дела у него никакого не было, кроме сеанса в отеле маршала Ламот Гудана. Следовательно, у него оставалось свободное времени около двух часов.

Вдруг ему вспомнилась история о фее Карите, рассказанная Пчелкой.

Он понял цель. Пройти от Башни Инвалидов до Кишечной улицы, значило совершить целое путешествие.

Петрюс поднялся к бульварам, прошел одну за другой несколько улиц и, наконец, очутился в том районе, куда направлялся.

Молодой человек не знал номера дома, который разыскивал, но так как улица состояла всего из какой-нибудь дюжины домов, то он и стал спрашивать в каждом из них, не живет ли тут тряпичница.

В доме № 11 он не мог спросить, потому что не видел никого, к кому можно было обратиться с вопросом, но в темноте коридора и в крутой лестнице он нашел сходство с описанием, сделанным Пчелкой.

Пройдя длинную, грязную лестницу, он очутился перед низкой дверью, запертой изнутри.

Он постучался не без колебания. Несмотря на слышанное им подробное описание этого жилища, ему казалось невероятным, чтобы в подобном чулане могло жить человеческое существо. Но как только стук его был услышан, изнутри раздался неистовый лай собак.

На этот раз Петрюс уверился, что не ошибся.

Посреди шума и лая послышался детский, тихий и мелодичный голосок:

— Кто там?

Назвав свою фамилию, Петрюс ничего не объяснил бы этим, и потому ему пришло в голову воспользоваться именем Регины, как солидной рекомендацией.

— Я — посланник от феи Кариты.

Рождественская Роза — это была она — радостно вскрикнула и бросилась к двери.

Отворив дверь, она очутилась лицом к лицу с художником, которого вовсе не знала.

Петрюс, напротив, тотчас же узнал ее.

— Вы Рождественская Роза? — спросил он.

Одним взглядом — взглядом художника — он объял всю открывшуюся его глазам картину: на первом плане, подле него, стояла маленькая девочка в холщовом платье, подпоясанном вокруг талии витым поясом, с босыми ногами и красным платком на голове; на втором плане на перекладине сидела ворона; наконец, в глубине чердака, в углу — головы собак, еще не освоившихся с незнакомым посетителем и потому лаявших, ворчавших и щетинившихся.

Пчелка не могла вернее очертить эту картину.

На вопрос Петрюса: «Вы Рождественская Роза?» — девочка ответила:

— Да, сударь. Вас прислала принцесса?

— То есть, дитя мое, — сказал художник, глядя на выразительное личико девочки, — я пришел для того, чтобы с вашей помощью иметь возможность сделать маленький подарок принцессе.

— Подарок принцессе? О, с радостью, если только это доставит ей удовольствие... Какой же?

— Я художник, дитя мое, и хотел бы написать с вас портрет.

— Портрет? Как это странно. Вы — уже четвертый художник, желающий писать мой портрет. А я вовсе не так хороша.

— Напротив, дитя мое, вы прелестны!

Девочка опустила голову.

— Я знаю, как я выгляжу, — сказала она, — у меня есть зеркало.

И она указала художнику на осколок зеркала, найденный на улице тряпичницей.

— Что же вы ответите? — спросил Петрюс. — Хотите вы, чтобы я написал ваш портрет?

— Конечно, — отвечала девочка, — но я не могу обещать: это зависит от Броканты.

— Что она ответила тем художникам?

- Она отказала всем трем.
- Не знаете вы, почему?
- Не знаю.
- А мне, вы думаете, она тоже откажет?
- Право, я не знаю... Может быть, и согласится, если принцесса замолвит слово.
- Но я не могу обратиться с этой просьбой к принцессе: я хочу сделать ей сюрприз.
- Это правда?
- Но, позвольте, если б я предложил ей деньги?
- Ей уже предлагали.
- И она отказала?
- Да.
- Я бы дал двадцать франков за сеанс, пусть только согласится приводить вас часа на два в мою мастерскую.
- Она откажет.
- Что же делать?
- Право, не знаю.
- Где она?
- Она ушла искать квартиру.
- Вы оставите этот чердак?
- Да, г-н Сальватор этого желает.
- Какой это г-н Сальватор?— спросил Петрюс, удивляясь, что слышит имя своего ночного товарища.
- Вы не знаете г-на Сальватора?
- Вы говорите о комиссионере?
- Именно. Это мой добрый друг. Он так заботится о моем здоровье, доставляет мне все необходимое.
- А если бы г-н Сальватор пожелал написать с вас портрет, согласилась бы Броканта на это?
- Она сделает все, чего пожелает г-н Сальватор.
- Следовательно, мне всего лучше обратиться к г-ну Сальватору?
- Это — самый верный путь.
- Петрюс посмотрел на часы: было ровно двенадцать.
- Мы обо всем этом условимся с г-ном Сальватором.
- Хорошо,— сказала Роза.— О! Если только г-н Сальватор согласится, старуха не посмеет противоречить.
- И отлично. Я вам говорю, что, кроме того, она будет хорошо вознаграждена.
- Роза сделала движение губами, ясно говорившее: «На нее совсем не это подействует».
- А вы,— спросил Петрюс,— что вы позволите вам подарить за это?

— О! Подарите мне большой кусок красной или голубой шелковой материи с золотым позументом.

Роза, точно цыганка, очень любила яркие цвета и золотые украшения.

— Вы все это получите,— сказал Петрюс.

Он сделал шаг к двери.

— Пойдите,— остановила его девочка.— Вы не скажете, конечно, что знаете меня?

— Кому?

— Броканте.

— Нет.

— Вы не говорите даже, что видели меня.

— Это почему же?

— Она будет бранить меня за то, что я во время ее отсутствия отворила дверь.

— Если бы вы даже оправдались тем, что я приходил по поручению волшебницы Кариты?

— Этого ей совсем не следует говорить: она стала бы просить у нее деньги, а я не хочу, чтобы мой портрет был продан волшебнице; я хочу, чтоб она получила его в подарок.

— Хорошо, дитя мое,— ни слова!

Роза улыбнулась своей прелестной, но грустной улыбкой и приложила палец к губам. Этот жест означал, что она будет нема, как рыба.

Петрюс вышел, дружески кивнув головой маленькой девочке, и слышал, как она загремела задвижкой.

## ХИ

### У ХУДОЖНИКОВ ИСКУССТВУ СЛУЖИТ ВСЕ

Когда Петрюс подходил к дверям отеля маршала Ламот Гудана, было час без четверти. Он смело мог уже идти на сеанс. Приход его на четверть часа раньше мог быть истолкован как внимательная точность с его стороны, а не как нескромность. Но едва он сделал несколько шагов по двору, как швейцар остановил его, говоря, что мадемуазель де Ламот Гудан уехала с утра, и неизвестно, когда возвратится.

Он спросил у швейцара, не поручено ли что-нибудь передать ему, но оказалось, что ничего не было поручено.

Нечего было делать: продолжать расспросы значило обнаружить недостаток такта, незнание светских

приличный, Петрюс на это был неспособен и молча удалился.

В тех краях, в конце Университетской улицы, жил Жан Робер. Петрюс решил зайти к своему приятелю, но также не застал его, и, вернувшись к себе, принялся набрасывать по памяти портрет маленькой Рождественской Розы в костюме гетевской Миньоны.

Часу в пятом вечера слуга в ливрее принес ему записку от Регины.

Петрюс должен был употребить невероятные усилия, чтобы сдержать волнение и взять письмо со спокойным видом. Весь дрожа, распечатал он конверт.

Вот что он прочел:

*«Извините, милостивый государь, что Вы не застали меня сегодня утром, когда Вы заходили к нам. Ужасный случай, происшедший с одной из моих лучших подруг по пансиону, держал меня все утро вне дома. Возвратившись только в четыре часа, я узнала, что Вы уже были. Я должна была, конечно, написать Вам сегодня утром, предупредить Вас, чтоб Вы не утруждали себя напрасно, но я надеюсь, Вы извините меня ввиду тревожного состояния, в котором я нахожусь.*

*Будете вы свободны завтра в полдень? Мои родные с нетерпением ждут окончания Вашего прекрасного портрета.*

*Регина».*

— Передайте принцессе,— отвечал Петрюс,— что я буду у нее в назначенное время.

Слуга удалился. Петрюс опять остался один.

Дня три тому назад эта записка наполнила бы его сердце безграничным счастьем: один вид почерка Регины привел бы его в упоение и неопикуемый восторг.

Но с тех пор, как генерал Гербель де Куртенэ сообщил ему о предстоящем браке молодой девушки с графом Раппом, в душе художника произошел переворот, и письмо это вызвало уже не радость, а страданье.

Ему казалось, что Регина изменяла ему тем, что не говорила ему ничего о своем положении, что, позволяя ему любить себя, она коварно расставила сети. И в то же время он все-таки продолжал читать и перечитывать ее письмо, глаза его не могли оторваться от этого прелестного тонкого почерка, правильного и изящно-аристократического.

Занятие это было прервано стуком в дверь, которая снова отворилась, он обернулся машинально и увидел Жана Робера.

После бурно проведенного дня поэт возвращался из Нижнего Медона и зашел теперь прямо к Петрюсу, точно так же, как сам Петрюс имел привычку заходить отовсюду к нему.

Жан Робер прошел к нему и завел разговор.

У художника было переполнено сердце, и, несмотря на пылкое красноречие своего друга, Петрюс, весь поглощенный собственными воспоминаниями и только что пережитыми ощущениями, с весьма умеренным вниманием слушал рассказ поэта о любви Жюстена и Мины, когда вдруг глаза рассказчика остановились на его новом эскизе.

— Ба! Да это Рождественская Роза!— вскричал Жан Робер.

— Рождественская Роза?— переспросил Петрюс.— Разве ты знаешь эту девочку?

— Еще бы не знать!

— Но каким образом?

— Да ее старуха-мать и есть та самая старая цыганка, что нашла письмо Мины, которое та выбросила из окна кареты. Я был у нее с Сальватором.

— Действительно, она говорила мне, что знает нашего товарища последней ночи.

— Это ее покровитель. Он наблюдает за ней, заботится о ее здоровье, присылает к ней докторов, заставляет ее мать менять квартиры. Эта отвратительная тряпичница, просто, кажется, старая скряга, заставляющая бедного ребенка умирать зимой от холода, а летом — от зноя. Разве ты не находишь, Петрюс, что эта девочка восхитительна?

— Ты видишь, что нахожу, потому что пишу ее портрет.

— Миньонной!.. Чудесная мысль! Я сам сейчас подумал: вот если бы мне такую актрису, составил бы драму из романа Гете.

— Подожди, я сейчас покажу тебе другую вещь,— сказал художник.

Он вынул из папки большой рисунок, сделанный им за несколько дней перед тем в павильоне Регины. Но когда Жан Робер хотел подойти поближе, чтоб лучше рассмотреть рисунок, художник остановил его:

— Одну минуту! Мне надо сделать еще несколько штрихов.

Как нам уже известно, вначале на этом рисунке, изображавшем Рождественскую Розу, дрожавшую от

лихорадки и окруженную собаками, головка маленькой цыганки была его собственной фантазией; но теперь в пять минут эта головка была стерта, и на ее месте очутилась другая, соответствующая действительности.

— Ну, теперь смотри,— сказал Петрюс.

— А! Но знаешь ли, что это очень хорошо!— заметил Жан Робер.

Вдруг он воскликнул снова:

— Что я вижу! Да это портрет мадемуазель де Ламот Гудан?

Петрюс невольно вздрогнул.

— Как?— спросил он.— Что ты хочешь этим сказать?

— Но разве это... вот здесь — не портрет дочери маршала де Ламот Гудана?

— Да, это ее портрет... Значит, ты знаешь и ее?

— Я видел ее раз или два у герцога Фиц-Джемса и снова увидел именно сегодня. Вот почему сходство этой амазонки с нею сейчас же бросилось мне в глаза...

— Ты ее видел сегодня? Где же?

— О! В ужасающей обстановке, при самых тяжелых, печальных обстоятельствах!.. Я видел ее — колена-преклоненной вместе с двумя ее пансионскими подругами, ученицами Сен-Дени, такими же, как и она,— у постели одной несчастной, покушавшейся на самоубийство.

— Но это ей не удалось?

— Да,— грустно отозвался Жан Робер,— к несчастью, это ей не удалось.

— Ты говоришь: к несчастью?

— Конечно, так, потому что она хотела умереть вместе со своим возлюбленным, но возлюбленный ее умер, а она осталась жива. Я только что собрался рассказать тебе об этом, любезный друг, когда заметил, что ты чем-то озабочен и потому довольно невнимательно следишь за моим повествованием.

— Извини меня, Робер,— улыбаясь и протягивая руку молодому поэту, проговорил на это Петрюс.— Я был, действительно, озабочен, расстроен, но теперь моя забота исчезла. Рассказывай же, дружище, рассказывай!..

И так уж устроена душа человеческая — всегда почти своекорыстная, себялюбивая во всех своих отношениях к внешнему миру! Петрюс оставался совершенно равнодушен к любви Жюстена и Мины, пока не узнал о причастности Розы к этой любовной истории; Петрюс



рассеянно слушал рассказ о несчастьях Коломбо и Кармелиты, пока не появилась на сцене дочь маршала Ламот Гудана. И теперь тот же Петрюс сгорал от нетерпения прослушать ту и другую историй, в которых, как оказалось, была замешана и Регина: с одной стороны косвенно — через Розу, с другой — уже прямо, как действующее лицо.

Петрюс ни на минуту не сомневался, что утренняя поездка Регины была вызвана каким-нибудь важным происшествием. Но он был все же в восторге теперь, когда Жан Робер, поэтически описывая красоту Регины де Ламот Гудан, подтвердил реальность этого происшествия и, несмотря на чувство ревности, сжигавшее сердце художника при мысли, что эта красота уж предназначена другому, он все же был счастлив и горд этой красотой молодой принцессы.

Затем он узнал еще одну новость: то, что Лидия де Маран, которой он был представлен и относительно которой дядя упрекал его, что он ее не посещает, — была не только знакома с Региной, но и считалась одной из близких приятельниц принцессы, как ее подруга по Сен-Дени.

С этого момента рассказ поэта приобрел необъяснимый интерес для молодого художника. В то время, когда ухо его жадно ловило слова рассказчика, глаза уже видели все, что описывал ему поэт.

Чувствуя, что его теперь слушают, и что он, употребляя выражение артистов, производит впечатление, и Жан Робер, со своей стороны, вдохновился и в полном смысле слова поэтически вел свое повествование.

И потому, конечно, чем дальше подвигался рассказ, тем большее впечатление производил он на художника; так что под конец он уже мог довольствоваться смутными, неопределенными подробностями, но, вложив карандаш в руку Жана Робера, начал просить его, чтобы тот дал ему более точное, наглядное понятие о мрачном зрелище, которое представляла собою комната Кармелиты и свидетелем которого он был.

Жан Робер был далеко не художник, но зато он умел искусно составлять композиции и был знатоком в постановке сцен.

Обыкновенно, когда ставилась его пьеса, он бегал сам в библиотеку, выбирал и перерисовывал костюмы, составлял план и даже расписывал декорации. Кроме того, он обладал памятью, присущую чуть ли не исключи-

тельно одним романистам, памятью, которая позволяет им вернейшим образом описывать местность, когда они видели ее всего один раз, да и только мельком.

Взяв лист бумаги и начертив сначала геометрический план комнаты Кармелиты, он изобразил на другом листе внутреннюю обстановку комнаты, общий вид ее и группу из трех женщин вокруг четвертой, лежавшей на постели, а в глубине поместил фигуру Сарранти — этого красавца-патера, в его чудном костюме доминиканца, с сосредоточенно-строгим выражением лица и неподвижного, как статуя...

Петрюс жадными глазами следил за его работой.

Когда тот кончил, он выхватил бумагу у него из рук.

— Благодарю! — проговорил он. — Это все, что мне нужно. Теперь картина моя готова! Сообщите мне только кое-какие детали относительно костюма учениц Сен-Дени.

Жан Робер взял ящик с акварельными красками и указал цвета одежды одной из девушек, стоявших на коленях.

Молодые люди расстались далеко за полночь.

На другой день ровно в полдень Петрюс аккуратно явился в отель маршала Ламот Гудана.

### ХIII

#### ПОРТРЕТ ГРАФА РАППА

Стоя на пороге павильона и держа руку на голове Пчелки, Регина, очевидно, ждала художника.

Петрюс заметил ее еще издали.

Ноги отказывались ему служить... Он должен был оглянуться, нет ли поблизости дерева, чтобы опереться на него, или скамьи, чтобы присесть. Однако вслед за тем усилием воли он овладел собой, насколько мог. Но едва он приблизился к Регине, как уже снова почувствовал, что не помнит себя, не владеет собой и коснулся рукою своего бледного, влажного лба.

Девушка была так же бледна, как и он, на лице ее явственно виднелись следы бессонницы и слез.

И он, и она смотрели друг на друга, как будто каждый из них старался угадать, что именно происходило в душе у другого.

Меланхолическая улыбка мелькнула на губах Регины.

— Извините, пожалуйста, — начала она, — я должна

была написать вам не вечером, а утром и тем избавить вас от излишнего беспокойства. Я была так потрясена случившимся, что совершенно позабыла об этой моей обязанности.

Петрюс поклонился и ждал, по-видимому, что Регина поведет его в павильон.

— Ну, пойдем же, Регина!— звала ее Пчелка.— Ведь ты знаешь, что твой портрет надо кончить сегодня.

— А,— с горечью произнес Петрюс, обращаясь к Регине,— ваш портрет «надо» кончить сегодня?

Пламя вспыхнуло на бледных щеках молодой девушки и мгновенно исчезло, как молния.

— О, не обращайтесь внимания на болтовню ребенка. Она, вероятно, слышала, как кто-нибудь, не имеющий, конечно, никакого понятия о требованиях искусства, говорил при ней, что портрет должен быть окончен сегодня,— и вот она повторяет теперь то, что слышала от других.

— Я сделаю все, что в моих силах, мадемуазель,— отвечал Петрюс, усаживаясь за мольберт,— и постараюсь избавить вас от моего присутствия в один сеанс.

— Избавить меня от вашего присутствия!— вскричала Регина.— Эти слова не удивили бы меня, если бы вы сказали их моей тетушке, маркизе де ла Турнелль, но сказать мне!.. Они несправедливы!.. Я хотела бы сказать,— добавила она со вздохом,— я хотела бы сказать: они жестоки.

— Простите меня, мадемуазель!— мог только выговорить Петрюс.

Он чувствовал, что не в силах более сдержать ни жеста, ни слова, и рукой схватился за грудь.

— Мне больно!— вырвалось у него помимо воли.

— Вы страдаете?— с какой-то странной улыбкой спросила Регина, как будто хотела сказать: «В этом нет для меня ничего удивительного, я тоже страдаю».

— Мосье Петрюс!— закричала вдруг Пчелка,— я скажу вам одну вещь, которая — уж я знаю — вам очень понравится.

— Скажите, мадемуазель,— попросил Петрюс, хватаясь на лету за то случайное развлечение, которое доставил ему этот лепет ребенка.

— Ну, так вот что: вчера, когда Регина уезжала утром, приходил папа с графом Раппом, взглянул на портрет сестры и остался им очень и очень доволен.

— Я очень благодарен маршалу за его снисходительность.

— Вы должны благодарить скорее графа Раппа, а не папу,— заметила Пчелка,— потому что граф Рапп, который никогда и ничем не бывает доволен, вдруг стал хвалить портрет вашей работы.

Петрюс молчал, вынув из кармана платок, он отер им свой лоб. При этом противном для него имени, произнесенном при нем уже два раза, вся буря гнева, накопившаяся в нем за эти двое суток и утихшая было на одно мгновение, снова поднялась и забушевала.

Регина заметила охватившее его волнение и инстинктивно поняла, что оно было вызвано словами ребенка.

— Пчелка,— сказала она,— я хочу пить, сделай мне одолжение, принеси стакан воды.

Спеша исполнить желание сестры, девочка одним прыжком выскочила из павильона.

Но молчание было бы еще более тягостно и неудобно в том состоянии духа, в каком находились они оба, и, понимая это, Регина поспешила заговорить первая, сама не отдавая себе отчета, что она говорит.

— Что же вы подделывали вчера, в этот печальный день?

— Прежде всего, я виделся с Рождественской Розой.

— С маленькой Розой?— живо переспросила Регина.— Вы ходили взглянуть на этого бедного, больного ребенка?

— Да,— ответил Петрюс.

— А потом?..

— Потом я сделал одну акварель.

— С нее?

— Нет, так... фантазия.

— Но на какой сюжет?

— О, сюжет очень трогательный!— скорее пробормотал, чем сказал Петрюс.— Одна молодая девушка покушалась на самоубийство вместе со своим возлюбленным.

— Что вы сказали?— перебила Регина.

— Но, что всего печальнее,— это ей не удалось,— продолжал Петрюс,— а он умер...

— Боже мой!..

— Я выбрал тот момент, когда, распростертая на своем предсмертном ложе, она открывает глаза... Три подруги ее стоят вокруг ее постели на коленях, в глубине монах-доминиканец молится, устремив глаза к небу.

Регина бросила на художника взгляд, выражавший тревогу и смущение.

— Где же эта акварель?— спросила она.

— Вот она.

И он подал Регине довольно объемистый сверток. Регина развернула сверток, и у нее невольно вырвался крик изумления.

Не зная в лицо ни Фражолы, ни Кармелиты, молодой художник нарисовал голову первой из них, закрытой руками, а голову второй — в тени занавесок кровати, но головы Регины, госпожи де Маран и монаха-доминиканца, знакомых художнику, удивляли разительным сходством. Кроме того, мельчайшие подробности обстановки комнаты Кармелиты, довольно точно указанные ему Жаном Робером, делали из этого рисунка что-то невыразимо чудесное, что-то магическое, сверхъестественное в глазах Регины.

Она взглянула опять на художника. Петрюс усердно работал или делал вид, что усердно работает.

— Вот тебе вода, сестра,— заговорила маленькая Пчелка, входя в павильон на цыпочках, чтобы не расплескать ни капли из стакана, который держала в руках.

— Потом,— снова заговорил художник,— кроме этого визита к маленькой Розе, кроме этой акварели, сделанной по моей фантазии, я узнал еще неожиданную новость, с чем искренне и поздравляю вас, мадемуазель: я говорю о вашем браке с графом Раппом.

В безмолвной тишине, последовавшей за этими последними его словами, Петрюс мог слышать, как нервно застучали зубы девушки о край стакана, который она поднесла было к губам и который тут же отдала назад Пчелке каким-то почти судорожным движением, пролив на платье половину воды, бывшей в стакане.

Но, сделав над собой невероятное усилие, она ответила ему:

— Это правда.

И только. Более — ни слова!

Но вместо слов она привлекла к себе ребенка с таким видом, как будто чувствовала себя настолько слабой, что искала опоры даже в беспомощном детстве, то есть в воплощенной слабости, и прижала свою голову к белокурой головке девочки.

С этой минуты в павильоне воцарилась такая тишина, что можно было слышать, как распускались почки на цветущих розах.

Да и что бы могли они сказать друг другу?

Самые нежные звуки, самые гармоничные слова не в силах были бы передать и сотой доли тех сладостных, пленительных ощущений, какими сопровождался тихий разговор их взаимно чувствующих сердец.

Это молчание было, действительно, невыразимо успокоительно для молодых людей; оно давало им минуты безграничного счастья, радость тем более сильную, блаженство тем более очаровательнее, что оба предчувствовали на дне этих восторгов и блаженства глубокое и неизбежное страдание.

Как признавался Петрюс своему дяде, они любили друг друга любовью, для выражения которой недоставало слов на языке человеческого. И потому вместо песен, в которых изливают свою любовь птицы, их страсть, как у цветов, испарялась в благоухании, и они жадно упивались этими роскошными и сладостными испарениями.

К несчастью, в тот самый момент, когда сердца их, уже соединенные во взаимном ощущении дивного рая, парили на верху беспредельного счастья, дверь павильона с шумом растворилась, и на пороге появилась маркиза де ла Турнелль.

Появление ее самым безжалостным образом сбросило на землю влюбленных-мечтателей.

Петрюс привстал при входе маркизы, но совершенно напрасно: маркиза не заметила его или сделала вид, что не заметила, впрочем, быть может, внимание ее было отвлечено маленькой Пчелкой, которая подбежала к ней, чтобы подставить свой лобик для поцелуя.

— Здравствуй, милая малютка, здравствуй!— заговорила она, целуя ее и направляясь к Регине.

Регина протянула ей руку, приподнявшись на стуле.

— Здравствуйте, дорогая племянница!— продолжала маркиза, переходя от одной сестры к другой.— Я только что из столовой. Мне сказали, что вы сегодня едва заглянули туда. А мне хотелось непременно вас видеть, так как я имею сообщить вам кое-что весьма важное.

— Если бы я знала, тетушка, что вы сделаете нам удовольствие сойти к завтраку,— отвечала девушка,— я, конечно, подождала бы вас, но я думала, что вы захотите и сегодня, как вчера, остаться в уединении и будете завтракать у себя.

— Да я только для вас и сошла сюда, любезная племянница! Я сделала это только ради вас и по весьма важным причинам...

— О, Боже! Вы почти пугаете меня, тетушка!— проговорила Регина, стараясь улыбнуться.— Что же такое случилось?

— А случилось то, что монсеньер Колетти уведомляет меня письмом, что вчера, в страстную среду, вас не видели в церкви.

— Это совершенно верно, тетушка,— так как в это время я была у постели одной из моих подруг.

— Сегодня монсеньер говорит свою проповедь о наступлении страстей Господних, и надеюсь, что вы будете присутствовать при этом.

— Я просила бы вас, тетушка, передать мое извинение монсеньеру, я не намерена выходить сегодня. У меня было вчера такое страшное горе, я была так сильно потрясена, что до сих пор еще не могу оправиться. Мне необходимо спокойствие, и я никуда не пойду сегодня.

— А!— ядовито протянула старая маркиза.

— Да,— продолжала Регина с твердостью в голосе и во взгляде, не допуская никакой возражений,— я намерена даже удалиться к себе сейчас же после сеанса, так как вы видите, тетушка, что я собираюсь позировать,— и, кстати, поэтому позвольте вам заметить, что вы совсем закрыли меня собою: господин Петрюс меня не видит.

— Ах, вот что!— произнесла маркиза.

И, обернувшись к художнику, она добавила:

— Извините меня, господин художник, я не заметила вас. Как поживаете вы все это время,— с понедельника?

— Прекрасно, сударыня.

— Тем лучше! Можешь вообразить, любезная племянница, как я была удивлена, встретив господина Петрюса Гербеля у генерала де Куртенэ, у которого я была, чтобы напомнить ему, что третьего дня во вторник — мой день.

— Я не понимаю, тетушка, что же вас могло тут поразить. Мне кажется, нет ничего удивительного видеть племянника у его дяди.

— Вы это знаете?

— Я знала, что мосье Петрюс Гербель де Куртенэ — племянник генерала графа Гербеля де Куртенэ.

— Ну, а я вот этого совсем не знала... И я всегда бываю удивлена, когда узнаю, что какой-нибудь живописец принадлежит к фамилии, предки которой некогда восседали на троне.

— Надеюсь, сударыня,— вмешался Петрюс,— что столь религиозная особа, как вы, по-видимому, ставит святых апостолов выше всех земных императоров и королей?

— Почему вы на это надеетесь?

— Я должен заметить госпоже маркизе де ла Турнелль, что она отвечает вопросом на вопрос, с которым имел честь обратиться к ней виконт Петрюс де Куртенэ.

Как ни была надменна и резка маркиза, она все же почувствовала некоторую неловкость.

— Разумеется,— ответила она,— я ставлю святых апостолов выше всех императоров и королей, потому что они последователи самого Иисуса Христа.

— В таком случае, маркиза, если святой апостол Лука был тоже живописец, то почему же не быть им и одному из потомков государей?

Маркиза закусила губу.

— Ах, благодарю вас,— заговорила она,— вы мне напомнили действительную причину моего прихода — я совершенно позабыла, что пришла совсем по другому поводу.

Ни Петрюс, ни Регина не отвечали ей.

— Я пришла спросить у вас,— продолжала маркиза, обращаясь к молодому художнику,— спросить, скоро ли будет готов портрет графа Раппа?

Регина опустила голову. Из груди ее вылетел вздох, похожий на стон.

Петрюс слышал вопрос маркизы де ла Турнелль, видел движение Регины, но не понял значения ни того, ни другого.

— Однако, что же такого необыкновенного в моем вопросе?— проговорила маркиза, заметив молчание обоих молодых людей.— Я спрашиваю вас, господин Петрюс, подвигается ли портрет графа Раппа?

— Я, право, не понимаю, что именно угодно слышать от меня маркизе,— ответил Петрюс, в сердце которого начинало уже закрадываться смутное подозрение.

— Вы правы: я действительно не ясно выразилась. Я несколько преждевременно называю портрет Регины портретом графа Раппа, так как на самом деле портрет этот сделается собственностью графа Раппа только в тот день, когда мадемуазель Регина де Ламот Гудан станет графиней Рапп. Однако, принимая во внимание, что это будет не раньше как дней через десять или даже через неделю...



— Прошу извинения, маркиза,— страшно бледнея, начал Петрюс,— значит, портрет, который я пишу теперь, предназначается господину Раппу?

— Ну, разумеется, это будет главное украшение брачной комнаты.

При этих словах на лице художника отразилось такое бурное волнение, что маркиза, заметив это, сказала ему:

— Что с вами, господин живописец? Можно подумать, что вам сейчас сделается дурно.

И в самом деле Петрюс, стоявший неподвижно, с блуждающим взором, с каплями холодного пота на лбу, напоминал собой статую отчаяния.

Маркиза оглянулась потом на племянницу, желая обратить ее внимание на поразившую ее бледность молодого человека, но каково же было ее удивление, когда она увидела, что Регина была сама так же бледна, как будто один и тот же удар поразил и ее, и молодого художника.

Маркиза де ла Турнелль была женщина очень опытная.

Она тотчас же угадала все, что произошло между молодыми людьми, и, поглядывая поочередно то на того, то на другую, она повторяла сквозь зубы одно и то же многозначительное восклицание:

— Вот оно что! Вот оно что!..

И затем, взяв за руку Пчелку,— из опасения, как бы девочка, несмотря на свой возраст, не уразумела значения этого немого страдания молодых людей, она повела ее с собой, сказав Регине:

— Мне не о чем более спрашивать вас, милая племянница. Я узнала теперь все, что я хотела знать.

И она вышла.

Едва опустилась за нею портьера, как у художника вырвался крик...

— А!..— заговорил он, вынимая из кармана маленький кинжал, который он имел обыкновение всегда носить с собой,— так этот портрет, над которым я работал с такой любовью, был для него, для графа Раппа, для этого низкого негодяя!.. Но этого не будет!.. Я могу быть жертвой его счастья, сообщником же его я никогда не буду!

И, всадив кинжал в полотно, он рассек его сверху донизу.

Регина слышала треск раздираемого полотна, и этот

звук вызвал в ней такое ощущение, как будто не ее портрет, а она сама была поражена кинжалом, пронзившим ее сердце.

Вся еще мертвенно бледная, с закинутой назад головой, как будто лишенная сознания и воли, она нашла в себе еще столько силы, что протянула руку художнику.

— Благодарю, Петрюс!— произнесла она.— Именно так хотела я быть любимой.

Петрюс вне себя бросился к этой протянутой руке, осыпал ее безумно-пламенными поцелуями и бросился вон из павильона.

— Прощайте навек!— прокричал он.

Ответом ему были рыдания. Регина лишилась чувств.

Теперь мы оставим Регину де Ламот Гудан и Петрюса Гербеля в их отчаянии и перенесемся в Вену,— взглянуть, что происходило там вечером во вторник немецкой масленицы 1827 года.

#### XIV

### БЕНЕФИС СЕНЬОРЫ РОЗИНЫ ЭНГЕЛЬ

Во вторник на масленицу 1827 года, около шести часов вечера, Вена представляла собой необыкновенное зрелище.

При виде густой толпы, наводнившей улицы, приезжему человеку трудно было догадаться, с какой целью спешит население Штаубентора, Леопольдштадта, Шоттентора и Мариягильфа,— всех городских предместий, направляясь к одному и тому же центру, которым служила, по-видимому, Дворцовая площадь.

Между тем, публика спешила не ко дворцу. Правда, тысячи экипажей, украшенные гербами знаменитейших домов Германии, заполнили соседние с дворцом улицы, но городское население волновалась не по случаю тезоименитства императора, рождения, свадьбы, кончины, похорон, не по поводу победы или поражения.

Нет, вся эта толпа спешила в Императорский театр, где в этот вечер был назначен бенефис знаменитой танцовщицы Розины Энгель.

Европейская известность знаменитой танцовщицы, слава о ее красоте, таланте и о ее добродетельной жизни вполне оправдывали торопливость венской публики. Кроме того, ходили неопределенные слухи, будто это ее последнее представление в столице Австрии, так

как она собирается в Россию, которая с этих пор уже начала отнимать у Западной Европы ее лучших артистов. Другие даже говорили, что она имеет серьезное и положительное намерение покинуть сцену, так как в скором времени вступает в брак с одним гессенским принцем.

Наконец, некоторые, надо сознаться, что их было меньшинство — утверждали, что она идет в монастырь.

Следовательно, было множество причин, объяснявших ту поспешность, с которой венское население стремились к театру. И в самом деле, все торопились так, как обыкновенно сбегаются на какое-нибудь зрелище, которое больше уже не приведется посмотреть.

Между тем публика торопилась понапрасну: уже неделю тому назад все места были разобраны, и если бы в театральный зал можно было поместить еще тридцать тысяч человек, то и тогда в нем не осталось бы ни одного свободного места. Можно себе представить разочарование тех, кто приехал из Мейдлинга, Гитцинга, Баумгартена, Бригиттенау, Штадтау и с других городских окраин, за пять лье в окружности. Явившись сюда в полном туалете, не успев дома пообедать, они узнали, что свободных мест более нет.

Крик негодования и гнева вырвался из груди каждого при известии, что весь театр уже занят. Ропот, поднявшийся у Разводной площади, донесся до Пратера, и раздраженная толпа, по всей вероятности, произвела бы какой-нибудь уличный беспорядок, если бы в эту минуту подъехавшие придворные экипажи не остановились у театрального подъезда. Появление их было плотиной, заставившей бушующее море войти в свои берега.

Толпа — мы здесь главным образом разумеем австрийскую толпу — обыкновенно не злопамятна. Однако у нее всегда есть потребность покричать, и так как присутствие императорской фамилии помешало ей разразиться проклятиями, то она вознаградила себя криками: «Да здравствует император!» и, подобно Рюи Блазу — этому вечно живущему поэтическому образу, — удовольствовалась взамен спектакля созерцанием выхода из экипажей сперва Его Величества, а потом всех принцесс, герцогинь, эрцгерцогинь и придворных графинь.

Подобное зрелище, без всякого сомнения, очень занимательно. Тем не менее, мы предпочитаем ожидать прибытия знаменитых особ, составляющих предмет нашего внимания, сидя удобным образом в кресле

театра, куда наше звание драматурга, объявленное контролю, предоставляет нам свободный доступ и где в самых дверях огромное серебряное блюдо приглашает эту избранную публику внести свою лепту в пользу бенефициантки.

В обыкновенные дни зал Императорского венского театра не отличается особенным изяществом, но в этот вечер он имел поистине совершенно волшебный вид и напоминал собою внутренность арабского дворца, где игра сверкающих и переливающихся алмазов и жемчугов сливалась с благоуханием женщин и цветов. Всюду, куда ни посмотришь, одни белые лица и нежные плечи, среди которых не темнели резким пятном мрачные фигуры и темные костюмы мужчин. Это была масса распустившихся цветов, между которыми нигде не просвечивало черного древесного ствола. Можно было подумывать, что какое-то воспроизводящее божество задумало собрать здесь все, что было прекрасного в старом мире, и образовать новый, волшебный.

В императорской ложе, находившейся около авансцены с правой стороны и состоявшей из трех частей, которые по желанию можно было соединить в одну или разъединить, сидели десять дам. Все они были молоды, белокуры и прекрасны, и все были одеты в одинаковые кружевные платья, их голову и грудь покрывали цветы, на которых, подобно каплям росы, сверкали бриллианты. Все эти десять дам или, лучше сказать, все эти десять молодых девиц, так как самой старшей было не более двадцати пяти лет, по своей молодости, по своей грации и красоте так были похожи друг на друга, что их можно было принять за десять сестер. Все они как бы олицетворяли собою первые весенние дни мая.

Напротив императорской ложи, т. е. с левой стороны, около авансцены, как бы во втором цветнике, красовались семь принцесс, семь вновь распустившихся цветов молодой баварской ветви.

Ложи, находившиеся рядом с императорской австрийской и королевской баварской, представляли собою целый геральдический лес, в котором перекрещивались генеалогические ветви всех княжеских гессенских древ.

Между тем публика обращала свое внимание главным образом не на австрийскую императорскую ложу, не на королевскую баварскую и не на ложи, вмещавшие в себя живую геральдику Германии; не игра бриллиантовых уборов, не благоухание цветочных венцов,

не улыбки розовых губ очаровывали взоры и возбуждали чувство удивления и даже восторга, нет. Ложа, находящаяся посредине театра, напротив сцены, обыкновенно предназначалась для адъютантов императора, и всеобщее внимание приковывали сидевшие в ней два красивых иностранца.

И, в самом деле, пусть каждый представит себе человека с веером в руке, в белой кашемировой одежде, затканной золотом и жемчугами; вокруг его шеи — газовый шарф и отовсюду, как звезды из-за облаков сверкают роскошнейшие драгоценные камни; на голове парчовая чалма, с которой ниспадают павлиньи перья из изумрудов, сняет прикрепленный надо лбом крупный бриллиант с голубиное яйцо. Это был красивый индус сорока пяти или сорока восьми лет с черными, как смоль, усами и бородой; по величественной осанке его можно было принять за независимого индийского князя или раджу Богхилькунда или Буделькунда, а по богатству наряда — за духа алмазных копей.

Вокруг него — позволю себе употребить здесь чисто индийское сравнение, так как перед нами рисуется картина Дели или Лахора — вокруг него, словно звезды вокруг месяца, четыре девушки с черноватыми веками, шафранным цветом лица, блестящими глазами, которые при свете тысячи огней сверкают, как глаза хищных животных среди ночной темноты; четыре молодых индианки, из которых старшей не было еще и пятнадцати лет, окутанные газом и белым бухарским кашемирсом.

Позади раджи — так величали иностранца — шесть молодых индийцев в шелковых тканях зеленого, голубого и оранжевого цветов тех ослепительно-ярких оттенков, которыми само солнце окрасило эту гигантскую палитру — Индию — и в которую Веронезе, казалось, обмакивал свою кисть.

Наконец, в самой глубине этой огромной ложи неподвижно стояли восемь слуг с длинными бородами, в длинных белых одеждах из бумажной ткани и в чалмах золотистого и пурпурного цвета.

Один из них, исполняющий при радже должность герольда, именовался чупарасси, название, происшедшее от длинного красного шарфа, перекинутого через левое плечо и укрепленного на правом боку. На этом шарфе висела большая золотая бляха, на которой были начертаны по-персидски имена, титулы и достоинства его повелителя. Остальные носили название делийских

каркаросов, мадрасских томулов, а один — бенаресского пундита. Все эти титулы соответствуют званию камергера и телохранителя.

При белизне кружевных нарядов, блиставших в вечернем освещении, как снег под солнечными лучами, эта яркая, разноцветная индийская ложа казалась зеленеющим оазисом среди снежных вершин Гималаев. Воображению зрителей, ослепленных яркостью ее красок, невольно рисовались как в панораме города Индии. Глазам представлялись поочередно дворцы, гробницы, мечети, пагоды, террасы, водопады — все волшебства древней индусской архитектуры.

Посредине этого индийского города в миниатюре, в первом ряду этой ложи, по правую руку того человека, которого, по его царственно-азиатскому виду, можно было принять за индийского принца, сидела одна личность, о которой мы еще ничего не сказали. Эта личность по своему европейскому черному костюму с офицерским орденом Почетного легиона представляла рядом с индийцем странную противоположность.

При внимательном взгляде на костюм раджи эта противоположность не показалась бы слишком разительной, потому что в складках его белой одежды виднелась такая же розетка, как и на груди европейца.

Никто положительно не знал, кто такие эти два человека, явившиеся сюда из страны сновидений. Повсюду, в театре или на гулянье, в одной ложе и в одном экипаже, оба они держали себя на совершенно равной ноге.

Вот какие слухи ходили на их счет.

Раджа из «тысячи и одной ночи», свита которого походила на свиту царя Соломона, встречающего царицу Савскую, этот набоб, обращавший на себя все взоры зрителей и, особенно, зрительниц, был, как было уже сказано, человеком лет сорока пяти или сорока восьми, с синими глазами цвета эмали, с благородной, приятной, выразительной и располагающей наружностью горного индийца, со стройным гибким станом и изящными манерами, свойственными жителям равнин Индии.

Говорили, что в 1812 году он навлек на себя гнев императора Наполеона за то, что осмелился явно протестовать против похода в Россию. Не желая в начале своей карьеры оставаться в бездействии или же последовать примеру Моро и Жомини и стать в ряды неприятелей Франции, он отправился в Индию и предложил свои услуги Рунжет Сингху, который сам из простого

офицера превратился в раджу или магараджу, иначе сказать, сделался независимым правителем Лахора, Пенджаба, Кашмира и других малоизвестных стран Гималаев между Индом и Сетледжем.

Новый эмигрант, имени которого никто не знал, известно было только, что он уроженец Мальты, был представлен командующим инфантерии генералом Вентура генералу Алларду, командовавшему кавалерией. Вскоре Рунжет Сингх назначил его начальником всей артиллерии с жалованьем сто тысяч франков в год.

Но не эти деньги положили основание несметному богатству этого человека: чисто индийская легенда приписывала этому богатству другой источник. Рассказывали, что однажды лахорский правитель прибыл в Пенджаб на смотр войск, находившихся под командой мальтийского генерала, а тот приказал воздвигнуть для короля трон, с высоты которого ему было бы удобно следить за стройными и ловкими маневрами, к которым начальник артиллерии успел менее чем за три года приучить войска, находившиеся под его командой.

После смотра Рунжет Сингх, восхищенный всем увиденным, пожелал наградить своего генерала, удвоив его жалованье, однако, тот заметил с улыбкою, что такая щедрая награда может возбудить в его сотоварищах зависть, и осведомился, не позволит ли ему король просить себе другой милости.

Рунжет Сингх в знак согласия утвердительно кивнул головой.

Тогда мальтиец попросил подарить ему тот клочок земли, на котором разостлан был ковер, находившийся под его тронем, т. е. пространство земли величиною в двадцать пять квадратных футов.

Раджа, конечно, исполнил это желание.

Дело в том, что ковер был разостлан над алмазной копью. И вот этот генерал Рунжет Сингха сделался таким богачом, что был теперь сам в состоянии, как говорили, содержать всю армию раджи численностью в тридцать — тридцать пять тысяч человек.

Через семь или восемь лет после поступления мальтийца на службу лахорского короля, добавляет индогерманская легенда, ко двору Рунжета Сингха явился некий корсиканец, бывший офицер наполеоновской армии. Он, как и все, исходившее из Европы, был принят чрезвычайно благосклонно, и раджа, не дожидаясь даже просьбы со стороны прибывшего, предложил ему занять

должность или в армии, или в администрации. Однако европеец, как ходили слухи, сам обладал огромным капиталом, врученным ему будто бы императором на острове Святой Елены, поэтому отказался от сделанных ему предложений.

Вот этот-то новоприбывший корсиканец, как говорили, и был тем самым человеком в черной одежде с красной ленточкой в петлице, с бледным цветом лица, густыми черными усами и глубоким пронизательным взглядом, который теперь сидел в ложе, справа от великолепного индийца, и невольно обращал на себя внимание своим высоким челом, гордым мужественным видом, свойственным человеку, вся жизнь которого была долгой непрерывной борьбой за идею.

Но с какой целью эти люди приехали в Европу? Носились слухи, будто они искали союзников против Англии, так как Рунжет Сингху нужна была только поддержка одной из европейских держав, чтобы начать в Индии всеобщее восстание.

В Вене, по их словам, они ожидали прибытия сына раджи, молодого принца, подававшего блестящие надежды, который из-за болезни остался пока в Александрии.

Приехав в столицу Австрии, они предъявили Меттерниху рекомендательные грамоты за подписью лахорского раджи, и удостоились со стороны императора Франца такого же пышного и дружественного приема, с каким в 1819 г. был встречен персидский посланник Абдул Гассан-хан.

Представление ко двору индийского генерала и его свиты произошло с необыкновенной торжественностью и пышностью. Он поверг к стопам Его Величества богатейшие подарки, присланные раджой и состоявшие из портрета лахорского короля в драгоценной раме из китайского нефрита, из шелковых и кашемировых тканей и из жемчужных и рубиновых ожерелий. В скором времени дворец, предназначенный императором для его жительства, с утра до вечера стали осаждать придворные, являвшиеся сюда от имени своих жен, сестер и дочерей с поручением нежнейшим образом пожать руку набобу, чтобы выжать из этих рук побольше бриллиантов, изумрудов и сапфиров, которые так из них и сыпались.

Теперь, надеюсь, станет понятным, если оставить в стороне живописную сторону, почему все взоры прикованы были к ложе посланника лахорского магараджи.



## XV

### ИНДИЙСКИЙ МИРАЖ

Между тем, эти два человека, сосредоточившие на себе всеобщее внимание, в противоположность толпе, казалось, были совершенно равнодушны и к благородным принцессам, сидевшим в первых рядах, и ко всем прочим прекрасным зрительницам. Взоры их безразлично блуждали по ложам, и можно было, скорее, подумать, что они старались разглядеть самые отдаленные уголки театра в надежде увидеть там кого-то, или еще не приехавшего, или же так старательно скрытого, что все усилия его отыскать были напрасны.

— Право, чем больше я смотрю, тем меньше вижу, у меня даже в глазах зарябило,— проговорил индеец на делейском наречии, на котором оба друга говорили как на родном языке.— А вы, Гаэтано, видите что-нибудь?

— Нет,— отвечал человек в черной одежде,— но мне сказали, что он непременно будет на этом представлении.

— Не захворал ли он?

— Ну, при его железной воле даже опасная болезнь его не удержит... Наверное, он сегодня будет здесь, даже если бы пришлось нести его сюда на носилках. Я даже почти уверен, что он уже здесь, но не официально, а сидит в какой-нибудь из закрытых лож бенуара. Подумайте, возможно ли, чтобы он пропустил бенефис женщины, которая не отказала ему в том, в чем до сих пор отказывала всем без исключения?

— Ваша правда, Гаэтано, он или уже приехал, или же придет. Вы говорили, что имеете новые сведения о Розине.

— Да, генерал.

— И такие же благоприятные, как и прежде?

— Даже еще благоприятнее.

— Любит она его?

— Обожает!

— Бескорыстно?

— Милый мой генерал, есть женщины, которые отдаются, но не продаются...

— Известно вам что-нибудь из прошлого этой девушки... то есть этой женщины, хотел я сказать.

— Да, это целая история, но она вовсе не относится к нашему делу. Видите ли, пока Розина была еще совсем

маленькая, ее мать, или, по крайней мере, женщина, слышавшая ее матерью,— сама Розина, кажется, ничего не знает верного на этот счет,— вела Бог весть какую жизнь. Когда девочка стала подрастать и все заметили ее необычайную красоту, то захотели извлечь из нее выгоду. Тогда-то во избежание ожидавшей ее участи, малютка покинула свою мать — ей было всего одиннадцать лет — и пристала к цыганскому табору. Тринадцати лет она дебютировала в Гренадском театре, потом в Севилье и Мадриде и, наконец, приехала в Вену с рекомендательным письмом от австрийского посланника в Испании к антрепренеру императорских театров. Заметьте, генерал, что я передаю вам не историю ее жизни, а просто перечень ее приключений.

— И что же вы видите во всем этом?..

— Достойнейшую, благороднейшую и самоотверженную сторону этой женщины.

— Так вы думаете, что можно ей довериться?

— Я, по крайней мере, доверился бы.

— Ну, если вы доверяете ей, то само собой разумеется, что и я доверюсь, или, вернее сказать, что я уже доверился, потому что письмо написано и лежит вот здесь, в кошельке. Но вот вопрос: настолько ли она умна, чтобы понять всю важность нашего предприятия?

— Женщины, генерал, понимают сердцем. Раз она любит, то этого вполне достаточно, чтобы она позаботилась о славе и величии любимого человека. Без сомнения, она поймет!

— Скажите, пожалуйста, при том строгом и тайном надзоре, который учрежден над ним — как вы объясняете то, что эту девушку свободно допускают к нему на свидание?

— Ему шестнадцать лет, генерал, и полицейский надзор, как бы он ни был строг, в известных случаях принужден смотреть сквозь пальцы на шестнадцатилетнего юношу, который, как говорят, слишком рано развился и по своей страстности не уступит и двадцатипятилетнему мужчине. К тому же она с ним видится только в Шёнбрунне, куда ее приводит дворцовый садовник под именем своей племянницы.

— Да, и бедные дети воображают, что он предан им, тогда как, по всей вероятности, он вполне предан полиции.

— Очень может быть... Надо их предупредить, что это нужно сохранять в глубокой тайне...

— Об этом есть приписка в моем письме.

— Так как я имею возможность добраться до него без посредничества посторонних...

— А уверены ли вы, что не заблудитесь ночью в этих огромных садах Шенбрунна?

— В 1809 году я там жил вместе с императором, и он на острове Святой Елены вручил мне план Шенбрунна.

— В таком случае нужно еще, кроме этого, надеяться на случай, на провидение да на Бога,— промолвил генерал голосом почти убежденного человека.— Но почему его до сих пор нет в театре?

— Во-первых, ничто еще положительно не доказывает, что его здесь не было. Бедное дитя ведь воображает, что его тайная страсть никому не известна, и потому не решается занять место в ложе эрцгерцогов из опасения как-нибудь выдать свои чувства: юношеское сердце ведь не умеет их скрывать. Во-вторых, как я уже сказал, очень может быть, что он здесь инкогнито. В-третьих, наконец, он, как уверяют, не особенно любит музыку. Притом, желая доказать прелестной Розине, что приехал исключительно для нее одной, он, по всей вероятности,— лучше сказать, почти наверное,— пропустит оперу и явится только к балету.

— А и в самом деле, это весьма возможно, Газтано. Только бы он не захворал настолько, что не в состоянии будет выйти из дому!

— Опять-таки эта несчастная мысль тревожит вас?

— Да, мне приходят в голову ужасные мысли, милый Газтано... Он такого слабого здоровья, а, между тем, злоупотребляет своими силами, как самый крепкий человек.

— Мне кажется, что эту слабость здоровья слишком преувеличивают, точно так же, как преувеличивают и его невоздержанность. Мне необходимо самому повидаться с ним, тогда, по крайней мере, я буду знать, в чем дело — в эти годы, говорю я, жизненные соки прорываются наружу, и всякое молодое деревце покрывается первыми листочками.

— Однако, Газтано, вспомните, что сказал третьего дня его доктор. Вы при этом служили мне переводчиком, следовательно, не могли позабыть его слов, сказанных по поводу его необыкновенной энергии и чрезвычайной слабости его организма, ведь это и вас ужаснуло столько же, сколько и меня. Он напоминает высокий, но непроч-

ный тростник, который уже при легком ветерке гнется к земле и дрожит... Ах, как жаль, что нам нельзя его увезти с собой в Индию, где он возмужал бы и окреп на солнце, подобно гигантскому бамбуку, презирающему всякие ураганы!

Только генерал произнес эти слова, как капельмейстер поднял свой жезл и начал увертюру к «Дон Жуану», этому образцовому произведению немецкой музыки. Оба друга спокойно выслушали оперу с начала до конца, несмотря на беспокойство, причиняемое им отсутствием того лица, которое они ожидали с таким нетерпением.

Мы немного поясним читателю, если прибавим, что лицо, столь нетерпеливо ожидаемое, было то знаменитое и несчастное дитя, при самом рождении своем получившее титул римского короля и грамотой от 22 июля 1818 года возведенное императором Францом II в сан герцога Рейхштадтского — глубоко исторический титул, от названия владений, которые должны были сделаться австрийским уделом наследника Наполеона.

Итак, тот, кого с таким нетерпением ожидали индийский генерал и его друг, был герцог Рейхштадтский; девушка же, на которую они возлагали свои надежды, была знаменитая Розина Энгель, прелестная танцовщица, из-за которой, как мы видели в начале этой главы, во всей Вене происходило такое волнение.

По окончании «Дон Жуана», вызвавшего весьма слабые рукоплескания, так как публика при всем своем уважении к образцовым произведениям, большей частью забывает прошлое для настоящего, тишина, царствовавшая во время представления, разом нарушилась смешанным гулом тысячи голосов, напоминавшим жужжание пчел или щебетанье птиц, когда они приветствуют появление утра своими звонкими веселыми головами.

Антракт длился около двадцати минут, в продолжение которого оба иностранца вновь осмотрели поочередно все ложи, но ни в одной из них не нашли молодого принца.

Капельмейстер дал знак начинать увертюру балета, и при звуках оркестра занавес снова взвился.

Сцена представляла предместье индийского города с башнями, пагодами и изображениями Брахмы, Шивы, Вишну и Лакшми, богини милосердия; в глубине, под сводом темно-голубого неба, виднелись золотистые берега Ганга.

Толпа девушек в белоснежных длинных одеждах приблизилась к рампе, и полилась дивная мелодия. Это был гимн алмазу Ненуфар, который, по сказаниям жителей Тибета, ведет прямо в рай Будды всех, кто его воспевает.

При виде азиатской декорации и при звуках напева той индийской песни, которую пастухи поют хором, возвращаясь вечером со своими стадами с пастбища, оба друга сейчас же поняли, в чем будет состоять представление. Это была полуопера и полубалет с содержанием, заимствованным из старой индийской повести поэта Калидасы, переведенной около этого времени у нас во Франции под заглавием «Признательность Сакунталы». Один венский молодой поэт, участвовавший в пышной встрече индийского генерала и его свиты, возымел деликатное намерение устроить ему приветствие, оживив в его памяти песни, костюмы, танцы и синеву небес его родины.

Оба друга были тронуты и в то же время приведены в смущение такой торжественностью, где они некоторым образом играли роль героев. Когда хор при пении последней строфы гимна обратился в их сторону, как бы намекая, что последние слова относятся к ним, взоры всех устремились на их ложу, несмотря на присутствие самого императора и всех немецких принцев, раздались громкие крики «браво!» Публика, позабыв почтить власть официальную, столь почитавшуюся в то время, особенно в Вене, почтила поэтическое могущество и силу богатства, и таинственности, которые всегда и везде производят чарующее впечатление.

Но вот толпа, составлявшая хор, расступилась и в середине ее, как букет в вазе из алебаstra, появилось около тридцати танцовщиц, а в самом центре их, как роскошнейший цветок всего букета, возвышавшийся на целую голову над всеми прочими цветами, стояла сама царица алмей, эта богиня красоты и грации, этот цветок, воплощенный в женщине, носившей имя Розины Энгель.

Последовал единодушный крик восторга и взрыв неистовых рукоплесканий. Из всех лож, из оркестра, даже из партера, как ракеты благовонного фейерверка, полетели тысячи букетов и усыпали весь пол сцены. Это был блестящий, благоухающий жертвенник, где алмен казались жрицами, а Розина Энгель — самим божеством.

Кто путешествовал по Италии, тот хорошо знаком

с аплодисментами и восторженными криками «браво», которыми толпа приветствует своих любимых артистов, но мы утверждаем, что никогда еще ни в Риме, ни даже в Неаполе не раздавалось более громких, более единодушных и более заслуженных рукоплесканий.

С этой минуты и спектакль, и зрители, все эти эрцгерцоги, принцы, принцессы и придворные, все было позабыто. Самый театр и сам зал исчезли — все две тысячи человек без различия сословий и титулов перенеслись в очарованный край Индии. Двухчасовое созерцание генеральской ложи превосходным образом подготовило публику к путешествию по этой чудной стране. В продолжение балета та аристократическая и интеллигентная часть венского населения, которая находилась теперь в императорском театре, обратилась в индийцев и готова была пасть ниц перед богиней Розиной, совершившей это чудное превращение.

Занавес опустился среди рукоплесканий и снова был поднят по требованию публики, вызывавшей сеньору Розину Энгель.

Сеньора Розина Энгель снова появилась.

И тут уже посыпался не дождь, а целый ливень, целая лавина, целое наводнение цветов. Букеты всевозможных форм и размеров, можно даже сказать, различных стран, так как некоторые из них были произведением лучших венских оранжерей, падали вокруг бенефициантки благоухающим потоком.

Но, странная вещь! Среди всех чудес всемирной флоры Розина Энгель, казалось, обратила внимание на одно только приношение, на единственный букет, который она и подняла своей дивной рукою. Это был небольшой букетик из фиалок, с белоснежным, только что распустившимся розаном посредине.

По всей вероятности, букет этот был приношением какой-нибудь робкой, боязливой души, подобно фиалке скрывавшейся в тени и издававшей только свое благоухание, не обнаруживая своего венчика.

Как известно, фиалка символ застенчивости и скромности; белый розан — невинности и целомудрия. Очевидно, существовала какая-то связь между посланным букетом и тою, кому он был предназначен.

По крайней мере, прекрасная Розина была, очевидно, такого мнения, потому что, подняв букет, она поднесла его к губам, взглянула на ложу, почти скрытую под сводом, откуда этот букет был брошен, и опять

с нежностью посмотрела на цветы: не имея возможности поцеловать их своими губами, она, казалось, целовала их своими глазами!

Оба иностранца внимательно следили за всеми подробностями этой сцены. Глаза их, как и глаза танцовщицы, были устремлены на таинственную ложу, и в ту минуту, как сеньора Розина Энгель поднесла букет к своим губам, индийский генерал ухватился за руку своего друга:

— Он здесь!— воскликнул он по-французски, совершенно позабыв, что его могут слышать.

— Да, вон в той ложе,— отвечал человек в черной одежде на лахорском наречии.— Ради Бога, генерал, говорите только на хинди.

— Ах, да, ваша правда,— отвечал тот на этом же языке.

И, отпустив руку в карман своей широкой одежды, он прибавил:

— Кажется, теперь уже пора и нам бросить наш наццер прекрасной Розине.

Наццером в Индии называется дар, приносимый подчиненным своему начальнику.

Наццер генерала состоял из мускусного мешка, сделанного из кожи кабарги; эта драгоценная редкость Тибета издает необыкновенно сильный запах, который опять обратил на индийца общее внимание публики, отвлеченное на минуту ложей, откуда был брошен букет.

Генерал, сняв с руки бриллиантовый браслет, продел в него мускусный мешок и бросил все это сеньоре Энгель, у которой невольно вырвался крик изумления при виде блестящих алмазов чистойшей воды, сверкавших как водопад при солнечных лучах.

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

### I

#### ЧТО БЫЛО В НАЦЕРЕ ИНДИЙСКОГО ГЕНЕРАЛА

Когда церемония была окончена, как наивно выражается легенда о Мальбруке, «все пошли спать: кто — один, кто — с женою».

У дверей уборной артистки сеньоры Розины Энгель стояла толпа посланников, принцев, маркграфов и банкиров, точно придворные в прихожей королевы.

Для того чтобы сеньора Розина сняла свой костюм, смыла румяна и белила и надела капот, требовалось время, и они всегда ожидали ее. Однако в этот вечер ожидание длилось значительно дольше обыкновенного. Аристократическая изнеженная толпа, сжатая в узком коридоре, начинала задыхаться и роптать, и в этом ропоте, хоть с виду он был и несравненно мягче и деликатнее ропота толпы черни, в сущности, сказывалось то же нетерпение.

Вдруг, к общему удовольствию, дверь приотворилась. Но вместо прекрасной фигуры артистки в неширокую щель выглянула плутоватая мордочка французской камеристки. Она кивнула головой и с той развязностью, которая отличает весь благородный класс французских горничных вообще, а горничных актрис в особенности, объявила:

— Господа, сеньора Розина очень сожалеет, что заставляет вас ждать, но она не совсем здорова и просит вас, если вы непременно хотите остаться, подождать еще минут десять, пока она отдохнет немножко.

Поднялся новый взрыв нетерпеливого говора. Десять минут ожидания в этом узком душном пространстве были истинной мукой для рафинированных дипломатов и могли вызвать опасные приливы крови к головам толстых финансистов.



Ропот все усиливался.

— Ах, вы, кажется, недовольны, господа? — вскричала Мартон. — Так, пожалуйста, не стесняйтесь, каждый волон делать, что хочет! Кто хочет — оставайтесь, а не хотите, так еще лучше, — уходите.

— Прелесть, прелесть, — восторгалось несколько голо-сов, подделяваясь под французское произношение.

— Хорошо, на десять минут мы согласны, но ни секунды больше! — объявил толстый банкир, очевидно, не привыкший давать потачки своим подчиненным.

— Отлично, отлично! Это ваше дело, и если сеньоре понадобятся еще десять или даже двадцать минут, она у вас спрашивать не станет, а сделает, как сама вздумает. Надо же ведь отдохнуть человеку, черт возьми! — вскричала мадемуазель, запирая дверь.

Замок щелкнул самым выразительным образом.

Но задержка в приеме придворных у Розины произошла вовсе не вследствие ее усталости или желания переодеться. Одетая она была уже давно, но взгляд ее случайно упал на браслет, обхватывавший мускусный мешок индуса. Она взяла его, приоткрыла и увидела лежавшее в нем письмо. Ценность его обертки и оригинальный способ доставки породили в ней желание прочесть его тотчас же.

Артистка прочла письмо, задумалась, перечитала еще раз и задумалась еще сосредоточеннее. Несколько раз она принималась разглядывать подпись, потом свернула письмо, положила обратно в ароматичный мешок и прицепила к поясу.

Ей хотелось еще несколько разобраться в мыслях, которые породило в ней это письмо, а приход толпы поклонников рассеял бы ее, и она решила сказать им, что хочет остаться одна.

Когда прошло еще десять минут, она позвала горничную и велела ей впустить посетителей.

Из-за двери раздавалось нечто, подобное рычанию зверей при приближении укротителя. Розина встала и полупрезрительно улыбнулась.

Толпа, как вода через плотину, хлынула в комнату через дверь, которую отперла перед нею горничная.

Артистка небрежно опустилась на диван. Каждый, как бы в какой-то процессии, проходя мимо, целовал ее руку. На утомленную девушку сыпался град пошлейших любезностей, весь смысл которых сводился, впрочем, к одной и той же неизменной фразе:

— Вы прекрасны, как амур, и танцевали, как ангел! Розина слушала их рассеянно. Мысли ее были далеко, а голоса их с непонятными ей словами доносились до нее, как жужжание пчелы доносится до слуха розы.

Однако под цветами льстивого красноречия, которое рассыпали перед нею все эти люди, таились змеи ревности, по временам злобно подымавшие из-под них свои шипящие головы.

И — странное дело! — всю эту ревность вызывал вовсе не драгоценный наццер, который охватывал ее руку, сверкая тысячей огней, и не ароматичный вышитый мешок, блестящий на ее кушаке.

Всю эту бурю скрытой злобы породил небольшой букет из фиалок, который каждый искал и не находил между десятками букетов, валявшихся на креслах и диванах, да тот взгляд, который бросила артистка на ложу, из которой он вылетел. Она спешно подняла его и радостно поднесла к губам. И вот эти-то, по-видимому, совершенно ничтожные мелочи и были отмечены и перетолкованы на самые различные лады, и на безукоризненную репутацию молодой девушки, до сих пор составлявшую лучший цветок в ее венке, пала в этот вечер первая тень.

Маркиз Гиммель, один из самых упорных поклонников артистки, попросил позволения посмотреть браслет, сверкавший на ее руке, потом с удивлением и восторгом рассматривал мешок, сделанный из кожи мускусной крысы, которая при жизни, вероятно, никогда не предполагала, что после гибели ее мех будет вышит шелком, золотом и жемчугом и очутится на поясе одной из прелестнейших женщин Европы. Наконец, при первом удобном случае он как бы вскользь спросил Розину, знает ли она таинственную личность, которая бросила ей букет из фиалок?

Девушка нагнулась к нему и почти шепотом ответила:

— Это был мой духовник, маркиз.

— Как, ваш духовник?

— Ну, да. Только не старый, а новый.

— Ничего не понимаю!

— А между тем, это очень понятно вообще, и для вас в особенности. Ведь вы сами разбили мою решимость поступить в монастырь. Мой ангажемент окончательно решен сегодня, а мое послушничество начинается завтра. Естественно, что мой духовник хотел посмотреть, что я делаю, и вообще, по возможности, познакомиться с личностью своей новой послушницы.

Старый граф д'Асперн, не слыжавший ее ответа маркизу, спросил ее о том же самом.

— Вам, граф, я могу сказать правду, потому что вы особенно старательно распространяете слух, будто я выхожу замуж, — сказала она. — По правде сказать, знаю, за что вы оказываете мне эту злую услугу, потому что я люблю вас все-таки больше, чем остальных. Ну, так вот видите, граф, этот букет от моего жениха. Белая роза есть символ моей добродетели, а фиалка олицетворяет его скромность. Нюхайте фиалки, граф, и старайтесь запомнить их аромат.

Наконец, один из секретарей русского посольства, молодой граф Ершов, пристально взглянул ей в лицо и тоже спросил о букете.

— Вот это прекрасно! — вскричала она громко. — Да вы серьезно меня об этом спрашиваете?

— Разумеется, совершенно серьезно, — ответил граф.

— Значит, вы сами хотите сделать этих господ свидетелями наших интимных условий?

— Простите, но я вас не понимаю! — возразил московский денди.

— Хорошо. Господа, вот в чем дело! Вы ведь знаете, что меня приглашали в императорский театр в Петербурге?

Одни ответили, что знают, другие, что — нет.

— Это приглашение должен был мне передать граф Ершов. Условия в высшей степени выгодные, но граф хотел сделать их еще заманчивее и предложил мне вдобавок и свое сердце. Я все не решалась принять ни того, ни другого. Тогда он сказал: «Если сегодня вечером, прекрасная Розина, вы примете самый скромный из преподносимых вам букетов, это будет означать, что вы принимаете приглашение и позволение проводить мне вас до Петербурга». Теперь я решилась принять одно из предложений и предоставляю скромности графа угадать, которое именно. Я подняла букет из фиалок потому, что считала его самым скромным из всех остальных.

— Значит, вы уезжаете в Петербург? — вскричало несколько голосов.

— Если не уеду в Индию, куда меня опять зовет Рунжет Сингх в королевский театр Лахора, что вы можете видеть даже по великолепному посланию, которое мне препроводил его посланник сегодня вечером.

— Значит, ваш ангажемент? — спросил маркиз Гиммель.

— Спрятан вот здесь, в этом мускусном мешке,— ответила артистка.— Не показываю его вам потому, что он написан на хинди. Но завтра я прикажу перевести его и, если условия такие, как я надеюсь, я назначу людям, желающим меня видеть, свидание на берегах Инда или в Пенджабе. Но так как до Петербурга отсюда тысячу лье, до Лахора — целых четыре, а времени мне терять нечего,— продолжала она,— то вы позволите мне проститься с вами и обещать вам, что я никогда не забуду доброты, с которой вы относились ко мне.

Она с прелестной улыбкой сделала безукоризненный в хореографическом смысле реверанс всему славному собранию и пошла к выходу. Поклонники проводили ее шумной толпой до театральной площади, то есть до подножки ее кареты, в которую она прыгнула, как колибри в свое гнездышко.

Кучер дернул вожжами, и все шляпы поднялись над головами, точно их сорвал неукротимый смерч.

Карета покатила через Августинерштрассе и Крюгерштрассе к Зейлерштадту, где был отель артистки.

## II

### ИСТОРИЯ ОДНОГО РЕБЕНКА

Если бы один из зрителей, вышедших из театра, боясь слишком резкого перехода от только что пронесшихся перед ним волшебных картин к убогой правде обыденной жизни, вместо того чтобы направиться домой, вздумал пройти к замку Шёнбрунн, чтобы полюбоваться чудной, залитой лунным светом панорамой, то увидел бы в одном из окон левого флигеля замка ярко освещенную фигуру молодого человека лет шестнадцати. Он стоял, облокотившись на подоконник, и, по-видимому, наслаждался расстилавшимся перед ним видом.

В сущности, этот юноша-ребенок смотрел вовсе не на картину ночной красоты, а только на дорогу, ведущую от Шёнбрунна к Вене, и напряженно прислушивался к любому малейшему звуку, доносившемуся до него со стороны города.

Зритель, глядя на его фигуру, одетую в белый мундир австрийского полковника, был бы поражен его исполненной грусти красотой. В своей задумчивой позе он казался или влюбленным, ожидающим первого свидания, или по-

этом, ищущим в ночной тишине вдохновения для своих первых стихов.

Этот юный блондин был тот самый человек, которого тщетно разыскивали двое индусов в течение всего длинного вечера, проведенного ими в королевском театре.

Даже уж из этого ясно, что он не был поэтом, разыскивавшим в звездах тайну творения, а просто юным влюбленным, который жадными глазами смотрел на залитую лунным светом дорогу, как атласная белая лента, вьющаяся между Шёнбрунном и Зейлерштадтом.

Потому ли, что он устал от долгой неподвижности, или ему показалось, что он слышит отдаленный шум, но он выпрямился, и тогда фигура его стала видна во весь рост. Он был слишком высок для своего сложения, походил на молодой хилый тополь и, действительно, оправдывал те опасения, которые высказывал по его поводу индийский генерал.

Историю этого странного и печального юноши лучше всего передал Виктор Гюго в нескольких строках одного из своих стихотворений.

Где барабанный бой, внушавший дробью скорой  
Страх и отчаянье простертым королям?

Где пчелы мантии? Где император сам?

Вновь Бонапартом стал Наполеон Великий.

Как будто римлянин, пронзен парфянской пикой,

Он бредит, весь в крови, плающей Москвой.

«Стой!» — говорит ему английский часовой.

Сын — в габсбургском плену, жена — в чужих

объятых!

Сам вывалян в грязи...

Орленка, единственного сына Наполеона, заперли в клетку, в которую обратили замок Шёнбрунн, расположенный на берегу Вены в двух с половиною лье от столицы Австрии.

Он вырос, имея перед глазами прекрасную нанораму, под тенью роскошного сада, ведущего к шавильону Глорьетты. Бассейны, статуи и оранжереи этого сада напоминали Версальские, а кабаны, олени, лани и дикие козы, привольно жившие в чащах, могли дать понятие о Сен-Клу и о Фонтенбло. Он вырос, глядя на прелестные деревеньки Мейдлинг, Грюнберг и Гейтцинг, как группы дач расположившиеся вокруг замка. Сначала он лишь с трудом мог произносить эти иностранные названия, но потом, постепенно забывая Медон, Севр и Бельвю, наконец, привык к ним.

Между тем и у этого измученного ребенка с изломанной судьбой бывали моменты чрезвычайно ярких и живых воспоминаний, которые проносились в его мозгу, как вспышки молнии среди ночи.

Например, он помнил, что в детстве носил имя Наполеона и звание короля Римского. Но с 22-го июля 1818 года его стали звать Францем и дали ему титул герцога Рейхштадтского.

— Отчего это все зовут меня Францем? — спросил он однажды у своего деда, императора австрийского, который, играя с ним, качал его на колене, — мне все казалось, что меня зовут Наполеоном.

Вопрос был поставлен весьма прямо, а отвечать на него было довольно затруднительно.

Император с минуту подумал и сказал:

— Да видишь ли, тебя больше не зовут Наполеоном по той же причине, по которой не называют больше и королем Римским.

Ребенок тоже задумался, но, вероятно, ответ не удовлетворил его.

— Так почему же меня не называют больше королем Римским, дедушка? — спросил он.

При этом вопросе дед смутился еще больше, чем при первом, и хотел было ответить опять уклончиво, но сообразил, что лучше всего раз и навсегда поразить ум ребенка недоступным его пониманию соображением.

— Ведь ты знаешь, что меня называют не только императором австрийским, но еще и королем Иерусалимским, хотя и Иерусалим принадлежит вовсе не мне, а туркам, — сказал он.

— Да, знаю, — ответил ребенок, напряженно следя за мыслью деда.

— Ну, вот видишь, — продолжал император, — ты настолько же король Римский, насколько я король Иерусалимский.

Неизвестно, или ребенок не понял до конца то, что ему говорили, или понял слишком хорошо, но он опустил голову и никогда больше об этом не заговаривал.

Одному Богу ведомо, какими путями сложилось в его детской душе представление о славе его великого и несчастного отца.

Однажды знаменитый князь де Линь, один из умнейших и храбрейших дворян восемнадцатого столетия, приехал навестить императрицу Марию-Луизу, бывшую в то время в замке Шёнбрунн вместе с сыном:

— Господин маршал князь де Линь.

— Это маршал? — спросил ребенок обращаясь к своей гувернантке, мадам де Монтескье.

— Да, маршал, монсеньёр.

— Значит, один из тех, которые изменили моему отцу?

Ему объяснили, что он ошибается, что князь, напротив, очень храбрый и честный воин. С тех пор он очень привязался к старому маршалу.

Однажды, еще в пору детства, он стал рассказывать князю, как его поразили торжественные похороны генерала Дельмотта и как понравились дефилировавшие войска.

— В таком случае, ваше высочество, — сказал князь, — я скоро доставлю вам еще большее удовольствие в этом роде, потому что похороны фельдмаршала составляют самую великолепную из военных церемоний.

И князь действительно сдержал свое слово и месяцев через пять или шесть предложил мальчику это зрелище: десять тысяч воинов в полном боевом вооружении сопроводили тело умершего фельдмаршала.

Примерно в то же время княжна Каролина Фюрстенберг в кругу близких людей и в присутствии герцога Рейхштадтского говорила о событиях и виднейших именах той эпохи. О ребенке или забыли, или думали, что он не поймет разговора взрослых, так как ему было всего шесть лет.

Между прочим, генерал Соммарива назвал троих человек, которых признавал величайшими военными гениями своего времени.

Вдруг мальчик, слушавший его очень задумчиво, поднял голову и вмешался в разговор.

— А я знаю еще одного, которого вы не назвали, генерал, — сказал он.

— Это кого же, монсеньёр? — спросил генерал.

— Моего отца! — с силой выкрикнул мальчик.

Он быстро повернулся и убежал.

Генерал пошел за ним и привел его обратно.

— Вы сделали прекрасно, что выразились так о вашем отце, — сказал он, — но убежать вам не следовало.

Несмотря на свой новый титул герцога Рейхштадтского и несмотря на остроумное сравнение, сделанное дедом, сопоставившим титулы короля Римского и Иерусалимского, он никогда не мог забыть величия своего рождения.

Какой-то из эрцгерцогов показал ему одну из тех ма-

леньких золотых медалек, которые были вычеканены по поводу его рождения и раздавались народу после его крестин. На ней был изображен его бюст.

— Знаешь, кто на этой медали, Рейхштадт? — спросил эрцгерцог.

— Я,— в то время, когда я был королем Римским,— ответил ребенок, не задумываясь.

С пяти лет, т. е. с возраста, с которого обыкновенно начиналось обучение принцев австрийского дома, стали обучать и сына Наполеона. Главное руководство этим делом было поручено графу Морицу Дистриштейну; предметами военными занимался капитан Форести, а всем остальным — поэт Коллен, брат Генриха Коллена, автора трагедий «Регул» и «Кориолан» и сам автор трагедии «Граф Эссекс».

В пять лет принц-герцог говорил по-французски, как парижанин, и именно с парижским акцентом.

Решено было выучить его также и немецкому языку, но он проявлял к нему такое отвращение, что оно еще и доньше служит в Австрии поговоркой. Напрасно всячески доказывали ему, насколько выгодно будет для него знать язык страны, которая стала теперь его родиной, ребенок продолжал стоять на своем и упорно говорил только по-французски и по-итальянски.

Чтобы победить это упрямство, пришлось обещать юному герцогу, что немецкий язык будет для него только языком разговорным и что обыкновенно он будет пользоваться французским.

Довольно ясно определившийся к этому времени характер его составляли сочетание доброты и гордости, твердости и благоразумия. От природы он был упрям и обыкновенно начинал с того, что горячо восставал против всякой непривычной ему мысли, но потом, однако, всегда отступал перед различными доводами. С низшими он всегда бывал добродушен, с учителями своими — нежен. Однако и доброта, и нежность его были всегда сдержанны и как бы скрыты; нужно было почувствовать, что они таятся в глубине его души, и углубиться в нее за ними, как опускается водолаз в пучину морскую за драгоценной жемужиной.

Любовь к правде была доведена в нем до такой крайности, что он терпеть не мог сказок и басен.

— Это уж потому не может быть хорошо, что этого никогда не бывало,— говорил он.

Но не того мнения был учитель его Коллен, который,



как истинный поэт, всегда витал в мире фантазий, и он усердно боролся с желанием ребенка интересоваться только тем, что было в самом деле. Наконец, ему показалось, что он нашел соответствующее средство. Однажды он взял принца с собою и объявил ему, что собирается сделать длинную прогулку. Взобравшись на зеленеющие горы, которые высятся над замком Шёнбрунн, они слегка отдохнули, а потом медленно спустились в узкую долину, от которой высокие горные гребни скрывают вид и на Вену, и на дунайские равнины, так что горизонт ее составляли лишь вершины, висящие со всех сторон уступами, в виде амфитеатра.

В этой долине есть уединенная хижина, построенная в стиле тирольского шале, за что и носит название «Тиролер Хауз».

Учитель стал показывать ученику все чудные красоты дикой и уединенной природы и вдруг, не предупреждая о том, правда это или только творчество гениальной фантазии, рассказал ему историю Робинзона Крузо, которая так сильно пробудила его фантазию, что он вообразил себя в пустыне и сам предложил учителю попробовать сделать инструменты, необходимые для удовлетворения первых потребностей жизни. Они вместе тотчас же принялись за дело и недели в две выкопали грот, который и теперь еще показывают путешественникам под названием «грота Робинзона Крузо», сделанного сыном Наполеона I.

В восемь лет принца начали учить древним языкам. Коллен умер, и назначенный на его место барон Обенгауз дал мальчику Тацита и Горация. Но он слышал, что отца его сравнивали с Цезарем, а потому тотчас же отказался и от историка, и от поэта, а с жадностью набросился на «Комментарии» Цезаря.

Все это была история древняя, но гораздо труднее было приступить с ним к истории новой: ко всему тому, что предшествовало революции, сопровождало ее и за нею последовало.

Это дело было поручено Меттерниху.

Что именно рассказывал юноше знаменитый дипломат, каким светом освещал он некоторые факты и которые из них скрывал совершенно, осталось для нас тайной. Ясно одно, что скрывать от него все было невозможно, да и сказать все — едва ли возможнее: он слишком хорошо видел, что вокруг него происходило; но, вообще, это было лишь нечто туманное, темное, и взор его прони-

кал во все это не глубже, чем взор путника в бездну, на мгновение освещенную блеском молнии.

Но, так или иначе, упрямый склад ума герцога Рейхштадтского и то боготворение, с которым он относился к памяти отца, чрезвычайно осложняли дело ученого дипломата.

Поэтому, как только при дворе разнесся слух о зарождающейся страсти юноши к Розине Энгель, тотчас же был отдан приказ предоставить ему в этом отношении полнейшую свободу, в надежде, что это хоть несколько развлечет его упорный ум, вечно устремленный на вещи, которых ему лучше бы вовсе не знать. Однако то, что окружающие считали не больше, чем мимолетным увлечением, скоро приняло те широкие и глубокие размеры, как и все то, на что устремлялось пламенное воображение этого юноши. Фантазия, каприз, увлечение сложились в серьезную страсть. И вот в силу этой страсти стоял он теперь, в холодную январскую ночь, у открытого балкона, вместо того, чтобы лежать в своей теплой постели, и по временам так сильно кашлял, что все тонкое тело его вздрагивало, как молодой тополь под руками сильного дровосека.

Увы, тот дровосек, который потрясал юный тополь, назывался смертью. Через пять лет она погубила его вдали от могучего дуба, который когда-то заслонял своей тенью всю Вселенную.

На минуту несчастный мученик судьбы схватился за грудь и выпрямился во весь рост.

Может быть, это движение было в нем вызвано шумом, послышавшимся со стороны Вены и заметно приближавшимся к Шёнбрунну, который был, в сущности, ни чем иным, как стуком кареты.

И, действительно, вскоре на дороге замелькали два огонька каретных фонарей.

Теперь принц был уже совершенно уверен. Он запрыгал, как школьник, захлопал руками и несколько раз повторил по-французски:

— Господи! Слава Тебе! Это она! Это она!

### III

## ДЖУЛЬЕТТА У РОМЕО

Несколько минут, однако, казалось, что герцог Рейхштадтский ошибся, потому что карета не остановилась

у замка, а прокатила по направлению к Гейтцигу и исчезла в стороне Мейдлинга.

Но герцога, очевидно, это не смутило, потому что он пробежал через зал в свою спальню, в которой некогда спал его знаменитый отец, и, остановившись в небольшом будуаре, выходявшем окнами в сад, прильнул своим вспыхнувшим лицом к холодному стеклу.

Он простоял так минут десять. Вдруг калитка в частный сад отворилась, в нее вошли две фигуры и исчезли под сводом черной лестницы.

Несмотря на то, что обе эти фигуры были одеты простыми рабочими, принц, очевидно, ожидал именно их, потому что тотчас же отскочил от окна и бросился на лестницу, приложил ухо к двери и внимательно прислушался.

Несколько минут он стоял неподвижно, словно статуя, потом на лице его появилась светлая улыбка. На лестнице послышались чьи-то легкие шаги, вероятно, хорошо ему знакомые, потому что он не стал дожидаться, пока они поднимутся до самого верха, а стремительно отпер дверь и крикнул:

— Розина! Моя Розина!

В его широко распростертые объятия радостно бросилась девушка в живописном костюме тироляки.

Несмотря на это переодевание, всякий узнал бы в ней красавицу-бенефициантку, которая в этот вечер блистала в Вене и так спешила отделаться от своих поклонников.

Отделавшись от них, она поспешила домой вовсе не за тем, чтобы отдохнуть от утомительного вечера. Едва очутившись в своем будуаре, она быстро, точно актриса во время антракта, сбросила платье, так же быстро оделась в прелестный тирольский костюм. Предосторожность эта была совершенно не лишней, так как у подъезда стояло несколько экипажей, владельцы которых, не задумываясь, поехали бы за нею. Но Розина, чтобы обмануть их, нарочно приказала служанке не тушить огня в своей спальне, окна которой выходили на улицу, так что наиболее замерзшие при помощи той силы воображения, которая свойственна всем влюбленным вообще, могли согреться лучами, вырывававшимися сквозь преднамеренно небрежно опущенные занавески.

В маленьком переулке, в который выходил черный ход, Розину ожидала ее карета. Она быстро впрыгнула в нее, и кучер, которому приказания были отданы, очевидно, заранее, погнал лошадей крупной рысью.

На передней скамейке кареты лежала меховая шуба. Девушка взяла ее и закуталась.

Мы уже знаем, что карета проехала мимо замка Шёнбрунн в сторону Мейдлинга и остановилась только шагах в ста от него, у домика старшего дворцового садовника. Дверь его стала, как бы по волшебству, открываться по мере ее приближения и, как только девушка вбежала в нее, мгновенно захлопнулась.

— Скорей, скорей, милейший Ганс! — сказала она человеку, который ее ожидал. — Я сегодня опоздала. Принц, верно, уж заждался. Пойдемте скорее! — торопила она.

Она сбросила шубу на руки огромного австрийца, который, очевидно, ничего не понимал из этой смеси французского с немецким.

— Смотрите, сударыня, простудитесь, — наставительно пробасил он.

— Во-первых, милейший Ганс, постарайтесь не забывать, что я вовсе не сударыня, а ваша племянница, вследствие чего я не могу расхаживать с вами в чернобурых лисицах. Во-вторых, я не певица, а танцовщица, следовательно, насморк мне вовсе не мешает. Забочусь же я больше всего о том, чтобы не заставить принца дожидаться, потому что он, наверно, простудится. Итак, милейший дядюшка, берите все ваши ключи от всех ваших ворот, решеток и оранжерей и идите!

Ганс громко расхохотался, взял ключи и пошел.

Розина, опираясь на его руку, быстро прошла частный сад императора и очутилась в парке.

Ганс имел доступ не только в сады и парк замка, ключи от которых были всегда у него, но и в сам дворец. Ни один из часовых никогда не посмел бы загородить ему дорогу, а следовательно, и шедшая с ним под руку племянница имела право пользоваться всеми привилегиями дяди.

Таким образом, Розина очутилась в апартаментах принца, который обнял и увлек ее, предоставляя Гансу запереть за ними дверь и расположиться ожидать в прихожей, так как он это находил для себя более удобным.

Молодая пара, обнявшись, дошла до спальни и опустилась рядом на диванчик, который стоял в простенке между двумя окнами. Герцог был мертвенно бледен и едва переводил дыхание, но девушка дышала счастьем и полнотою жизни.

При свете канделябра, горевшего на камине, она заме-

тила бледность своего избранника и обняла его еще крепче.

— О, мой милый герцог! — сказала она, несколько раз целуя его в лоб, как бы затем, чтобы стереть с него капли холодного пота. — Что это с вами? Вы недорогов?

— Нет, мне теперь лучше, — ведь ты здесь, Розина, — ответил юноша. — Но ты так опоздала, а я так тебя люблю.

— Разве это значит любить меня, ваше высочество? Вы так рискуете своим здоровьем, оставаясь на вредном ночном воздухе. Ведь вы сами несколько раз обещали мне не ждать меня на этом проклятом балконе.

— Да, я даже клялся тебе в этом, Розина, и всегда начинаю с того, что стараюсь сдержать слово... Но в одиннадцать часов я еще могу стоять у запертого окна... вот если бы ты приехала в одиннадцать, то сама застала бы меня там.

— В одиннадцать? Но ведь вы же знаете, ваше высочество, что в это время балет только кончается.

— Разумеется, знаю, но в одиннадцать часов мне начинает казаться, что я жду тебя целые сутки, а иногда и двое суток, и поэтому в одиннадцать часов я берусь за ручку двери, в полночь отпираю окно... Ну, ...и выхожу из терпения, и даже сержусь на тебя до тех пор, пока не слышу стук твоей кареты.

— Ну, и тогда? — спросила она, улыбаясь.

— Тогда я прислушиваюсь к звуку твоих шагов, и каждый из них отдается в моем сердце, я отпираю дверь... протягиваю руки...

— Ну, и тогда?

— Тогда я счастлив, Розина, — закончил принц разбитым и тихим голосом больного ребенка, — тогда я так счастлив, что мне кажется, что я умру от счастья!

— О, мой царственный красавец! — вскричала девушка, гордая и счастливая чувством, которое внушала.

— А сегодня я тебя и ждать почти совсем перестал, — продолжал принц.

— Что же вы думали, что я умерла?

— Розина!

— Неужели вы думаете, что потому, что вы принц, то можете любить Розину больше, чем она вас любит? Тем хуже для вас, потому что, предупреждаю вас, в этом случае я вам первенства не уступлю.

— Так, значит, ты очень любишь меня, Розина? — проговорил юноша, которому, наконец, в первый раз

после ее прихода, удалось вздохнуть полной грудью.— О, повторай мне эти слова как можно чаще, чтобы я мог вполне насладиться ими! Они дают мне силу дышать свободно, они исцеляют меня!

— Какой вы ребенок! Вы еще спрашиваете, люблю ли я вас! Вот и видно, что ваша полиция устроена хуже, чем у вашего царственного отца, иначе вы не предложили бы мне такого вопроса.

— Да, ведь эти вещи, Розина, часто говорятя вовсе не из сомнения, а только ради того, чтобы слышать это чудное: «Да! Да! Да!»

— Ну, раз так: да, да, я люблю вас, мой красавец-герцог! Вы меня ждете, вы сомневаетесь, когда я не еду... Да неужели вы думаете, что я сумею прожить один день, не повидавшись с вами? Разве вы не составляете мою единственную мысль, мою мечту, всю жизнь мою? Разве все время, которое я провожу вдали от вас, не наполнено воспоминаниями о вас? Как могло вам прийти в голову, что я сегодня не приеду?!

— Я этого не думал, а только боялся.

— Злой! Ведь должна же я была поблагодарить вас за ваш милый букет. Я весь день думала о той минуте, когда получу его и заранее наслаждалась его ароматом!

— А где он? — спросил принц.

— Где? Вот прекрасный вопрос! — вскричала девушка, вытаскивая из-за корсета увядший, но все еще ароматный букетик.

Она нежно поцеловала его, а принц вырвал его у нее из рук, чтобы сделать то же самое.

— О, мой букет! Мой букет! — вскрикнула она.

Принц, улыбаясь, отдал ей его обратно.

— Вы сами собрали его? — спросила она.

Рейхштадт хотел было ответить отрицательно.

— Нет, нет! Молчите! — сказала Розина.— Я ведь отлично знаю вашу манеру группировать цветы. Я даже оттуда, из Вены, видела, как вы расхаживали по оранжеям, которые возле конюшни, собирали фиалки и раскладывали их по мху, чтобы они не завяли от тепличной жары и от теплоты ваших рук... А, кстати, какие у вас горячие руки!

— Это ничего, не беспокойся! Я, кажется, никогда не чувствовал себя так хорошо, как теперь.

— Ну, скажите, ведь вы так и составляли букет, как я говорю?

— Да.

— А если бы вы знали, какими глазами я смотрела на него, какими поцелуями я его осыпала!

— О, моя прелесть!

— Когда я умру, ваше высочество, положите мне в гроб на подушку два пучка фиалок. Тогда мне будет казаться, что вы станете всю вечность смотреть на меня вашими прекрасными голубыми глазами.

Болтая таким образом, они представляли собой как бы полнейшее олицетворение чистой любви, но больше всего напоминали Ромео и Джульетту.

#### IV РЕВНОСТЬ

Вдруг лицо герцога омрачилось.

Глаза его остановились на драгоценном бриллиантовом браслете, охватывавшем руку девушки, затем перешли на ароматический мешок, который висел у нее на поясе.

Он негромко вскрикнул и схватился за грудь.

Розина принялась ласкаться к нему еще жарче, но он продолжал сидеть возле нее печальный и угрюмый.

Она заметила его слабый крик, но все еще продолжала улыбаться и старалась развеселить его.

Наконец, она, по-видимому, решилась поставить вопрос прямо.

— В вашу голову забралась какая-то мысль, которую вы от меня скрываете,— сказала она, ласково поводя пальцем по его лбу,— но я вижу ее на вашем лице так же хорошо, как увидела бы сорную траву посреди поля роз.

Рейхштадт горько вздохнул.

— Ну, скажите же мне, что вы думаете? — спросила Розина.

— Я ревную! — ответил он.

— Ревнуете? — кокетливо повторила артистка.— Признаюсь вам, я так и думала!

— Вот видишь!

— Ревнуете! — повторила Розина уже совершенно иным тоном.

— Ну, да,— ревную.

— К кому же это, позвольте спросить?

— Прежде всего ко всем на свете.

— О, это не так опасно, потому что ревновать ко всем — значит не ревновать вовсе.

— А еще к кому-то...

— Верно, к самому Господу Богу, потому что, кроме вас, ваше высочество, я люблю только Его.

— Нет, не к Богу, а к человеку.

— В таком случае, — вашей собственной тени?

— Не смейтесь над моей мукой, Розина!

— Над мукой? Значит, вы ревнуете меня даже до боли... А! В таком случае надо эту боль уничтожить сейчас же! Скажите прежде всего, кто это?

— Он был сегодня в театре.

— В таком случае, то, что вы говорите, совершенно верно. Сегодня в театре у вас действительно был соперник.

— Вы в этом сознаетесь?

— И этот соперник объяснился мне в любви самым натуральным образом.

— Как его зовут, Розина?

— Публика, ваше высочество.

— Ах, да я и без этого знаю, что весь город поголовно влюблен в вас! — вскричал Рейхштадт с заметным нетерпением, — но я говорю о человеке, на которого вы смотрели такими страстными глазами, что я, право, не прочь придраться к нему из-за первого пустяка и проучить его.

Розина расхохоталась.

— Держу пари, что вы говорите про индуса! — вскричала она.

— Разумеется, о нем. Он так нагло восхищался вами в своей ложе.

— Отлично, отлично, продолжайте, ваше высочество! Я вас слушаю.

— О, не смейся, Розина! Говорю тебе, я ревную серьезно. Он не сводил с тебя глаз все время, пока ты была на сцене, а когда шла опера, он зевал по сторонам, точно и пришел в театр только для того, чтобы рассматривать людей, которые сидят в ложах.

— И кого же это он искал, по-вашему? Уж не меня ли?

— А ты, злая девочка, иногда отворачивалась от меня и смотрела на этого набоба. А когда ты вышла на вызовы, — какой драгоценный подарок бросил тебе этот Лахорский раджа?

— Вот, можете посмотреть, — ответила девушка, поднимая руку на один уровень с глазами юного герцога.



— Да я уж и так узнал эти бриллианты. Они так сверкнули в театре, что ослепили даже меня в моей ложе... О! Мой бедненький букетик, что за жалкий предмет представлял ты наряду с ними!

— А где был этот букетик фиалок, ваше высочество? Принц улыбнулся.

— А где индийские бриллианты? — продолжала девушка. — На мне, но только потому, что я не хотела отделять их от кошелька, который был мне передан вместе с ними.

— В таком случае, зачем вы не оставили этот кошелёк дома?

— Потому что в нем лежит одно письмо.

— От этого человека?

— Разумеется, от него.

— И он смеет писать тебе, Розина? Послушай, не мучь меня больше! Видела ты его когда-нибудь раньше сегодняшнего вечера? Ты его знаешь? Ты любишь его? Ты его любишь?

Эти последние слова вырвались у него с таким выражением муки, что отозвались в самой глубине сердца артистки.

Лицо ее мгновенно приняло серьезное выражение, и в голосе уже не слышались потоки шутливости.

— Когда говоришь с вами, Франц, всякий пустяк обращается в дело серьезное, — сказала она. — Продолжать мою шутку в виду вашей муки было бы жестоко. Я знаю или, вернее, догадываюсь о причинах, которые порождают ваши совершенно неосновательные подозрения, и считаю себя обязанной уничтожить их как можно скорее. Да, Франц, ваша правда, — этот человек действительно смотрел на меня весь вечер... Только... не дрожите так... Дайте мне кончить... Поверьте мне, что в свойствах взглядов этого человека женщина никогда не ошиблась бы. Взгляды его были вовсе не страстными, а скорее, преданными и умоляющими.

— Но ведь он писал же, писал вам! Вы сами сказали мне это сейчас.

— Я и теперь повторяю, что он писал мне.

— И вы прочли его письмо.

— Я прочла его сначала один раз, ваше высочество, а потом еще во второй и в третий.

— Но что же сделала бы ты в таком случае с моим письмом, Розина?

— Ваше письмо, ваше высочество? Я перечитываю ваши письма не раз и не два, а беспрестанно.

— Прости, Розина, но одна мысль, что есть на свете человек, который осмеливается писать тебе,— приводит меня в бешенство.

— И это даже раньше того, как вы узнаете, по какому поводу он мне писал? Бедный вы безумец!

— Ну, да, сумасшедший, если хочешь! Но человек, сошедший с ума от любви! Слушай, чудная избранница моего сердца, не мучь меня дольше! Мне становится так душно, будто здесь совсем нет воздуха.

— Да ведь я же говорила вам, что уже прочла его письмо, и я привезла его с собой единственно затем, чтобы показать его вам.

— Так давай же скорее!

Принц нетерпеливо протянул руку к ароматическому мешку.

Девушка схватила ее и горячо поцеловала.

— Разумеется, сейчас я дам вам его,— сказала она,— но только такое письмо нельзя брать в руки в гневе.

— Так говори скорее, как мне его взять, только не мучь дольше, а то я, право, кажется, умру!

Но Розина, вместо того, чтобы отдать письмо, положила руки на лоб и на сердце принца, как это делают магнетизеры.

— Успокойся, вечно кипящее сердце, остынь, разгоряченный мозг,— сказала она.

Но тотчас после этой шутки опустилась на колени.

— Теперь я стану говорить не с избранником моего сердца, принцем, а с Наполеоном, королем Римским,— продолжала девушка.

Юноша вздрогнул и выпрямился.

— Что с тобой, Розина,— проговорил он,— каким именем ты меня назвала?

Артистка продолжала стоять на коленях.

— Я называю вас тем именем, которое вы получили перед людьми и перед Богом, государь! — сказала она.— И имею счастье передать вашему величеству это прошение от одного из самых храбрых генералов вашего отца.

Все еще продолжая стоять на коленях, она достала из ароматического мешка письмо, которое в нем лежало, и подала его Рейхштадту.

Он нерешительно взял его.

— И ты думаешь, что мне следует прочесть его? — спросил он.

— Не только следует, государь, но вы должны это сделать!

Принц достал платок, вытер холодный пот, выступивший на его побледневшем лбу, развернул письмо и прочел: «Сестра моя!»

— Значит, он ваш брат, Розина?

— Читайте, читайте, государь! — твердила девушка, все еще не вставая с колен.

Принц опять опустил глаза на письмо.

«Индусы, придавая своей богине доброты Лакшме все прелести красоты телесной, хотели этим выразить, что быть доброй и некрасивой невозможно и, наоборот, что красота наружная непременно связана с добротой душевной.

Наши поэты глубоко веруют в то, что красота есть только внешняя эмблема доброты душевной. Так точно и я, любясь вашей красотой, увидел сквозь нее, как сквозь чистейший кристалл, сокровища вашей души».

Принц остановился. Все, что он прочел до сих пор, было не больше и не меньше, чем только льстивое вступление, которое сбивало его с толку. Он вопросительно взглянул на Розину.

— Продолжайте, умоляю вас! — сказала Розина.

«Нас обоих с вами, дорогая сестра, — продолжал принц, — воодушевляет одинаковая нежность и преданность к одному и тому же человеку, или вернее, ребенку. И вот эта-то общность чувства и установила между нами, несмотря даже на полное наше незнакомство, нечто вроде братства, правами которого я и намерен воспользоваться.

Одно из этих прав, дорогая сестра, состоит в том, чтобы бывать у вас как можно чаще и говорить о нем с вами как можно больше, — говорить о его здоровье, которое меня тревожит, о его будущности, за которую я опасаюсь, и о его настоящем, которое надрывает мое сердце. Я хочу вместе с вами найти единственно верный путь для этой жизни, которую исказила беспощадная судьба.

Мы вместе должны сделать все на свете не только для его счастья, но и для его славы.

Эта цель составляет мое единственное желание, мой единственный помысел со времени смерти его отца. Ради нее я переплыл моря, объехал половину земного шара и объеду и другую половину, беспрестанно рискуя жизнью.

Итак, вы понимаете, дорогая сестра, что планы у меня предначертаны великие!

Живя за четыре тысячи лье от него и ничего не желая для самого себя, я задумал заменить его теперешнее имя Франц его настоящим именем Наполеон. Позвольте же мне надеяться, что с вашей помощью я снова возложу на голову сына корону отца. Я решился на это непоколебимо, и если для его восшествия на престол Франции нужен миллион рук, то я сумею их найти.

Человек, который последовал за его отцом сначала на остров Эльбу, а затем и на Святую Елену, едет теперь к нему, чтобы переговорить с ним о его отце, от имени его отца. Имя этого человека можно употреблять вместо слов «верность и преданность», и может быть, оно известно даже и самому принцу, несмотря на заточение, в котором его держат. Человека этого зовут Гаэтано Сарранти, и планы мои ему вполне известны. За мною постоянно следят, и я не могу сделать ни одного шага тайно, а поэтому Сарранти сделает для меня все, что для меня невозможно. Устройте для него свидание с принцем, но это свидание должно произойти непременно ночью и в глубочайшей тайне.

Имейте в виду, что при этом мы рискуем не только нашими головами, что сравнительно было бы ничтожно, но счастьем и судьбой Наполеона II, короля Римского.

Мы не говорим вам: «Найдите средство ввести нас к принцу», у нас это средство есть, но просим вас устроить, чтобы принц согласился принять Сарранти на другой день и в тот же час, в который он прочтет это письмо.

Если принц разрешит Сарранти явиться к нему, подойдите к третьему окну от угла, с той стороны замка, которая выходит в сторону Мейдлинга, раздвиньте занавеску и три раза поднимите и опустите свечу. Иного извещения мы у вас не просим.

В ожидании этого ответа, которого мы ждем с большим трепетом, чем осужденный на смертную казнь ждет своего помилования, братски обнимаю вас, дорогая сестра, и остаюсь вашим преданным другом.

*Генерал граф Лебастард де Премонт.*

P. S. Еще одно, крайне важное замечание: принц, несомненно, знает, каким тайным, но непрерывным и бдительным надзором он окружен, а потому попросите его быть как можно осторожнее. Пусть он не доверяется никому на свете, кроме вас и нас, не исключая даже садовника, которого вы считаете преданным и который каждый вечер проводит вас в замок».

Герцог Рейхштадтский поднял голову.

К концу чтения голос его дрожал от сильнейшего волнения, но перед подписью он буквально вскрикнул. Он давно знал, что Лебастард де Премон был одним из храбрейших генералов наполеоновских времен.

Розина была также глубоко тронута действиями этих сильных духом людей, которые приехали из Индии, чтобы увидеть сына своего бывшего повелителя, не обращая внимания ни на поразительную бдительность полиции, которой была в то время наводнена вся Европа, ни на ту беспощадную строгость, с которой обращалось австрийское правительство со всеми, кто имел какое-либо отношение к Наполеону.

Артистка продолжала стоять на коленях, и по лицу ее текли слезы умиления. Она невольно вздрагивала при мысли, что тот самый человек, которого она только что видела свободным и спокойным, когда он сидел в своей ложе, как величавое индийское божество в своем кáпище, мог очутиться за это письмо в каком-нибудь темном каземате, может быть, даже в Шпильберге.

Особенно трогало ее то доверие, с которым эти два человека отнеслись к ней, презренной плясунье, парии общества, признавая в ней честную и великодушную женщину.

В глубине души она дала себе клятву оправдать это доверие, всеми своими силами содействуя осуществлению их планов.

## V

### ТРИ ВОСПОМИНАНИЯ РЕЙХШТАДТА

Розина очнулась от своего раздумья только тогда, когда почувствовала, что принц взял ее за руку и поднял с колен.

Она взглянула ему в лицо.

Он был взволнован не меньше ее и поднял глаза к небу, а по лицу его катились крупные слезы.

— О, святые слезы сына, падающие на могилу отца! — вскричала она. — Да будете вы залогом счастья Франции! Как я люблю вас в эту минуту, мой красавец герцог! Как вы мне дороги! Плачьте, плачьте, пока мы одни! Ваши слезы, как фиалки, расцветают лишь в тиши и уединении.

Говоря это, она горячо целовала его омытое слезами лицо.

Он отвечал ей страстными ласками, но заметно было, что в это же время его занимает какая-то иная мысль.

— Да, да, честная, добрая, великодушная девушка, — говорил он, — только при тебе могу я плакать от жалости.

— О, мой герцог!

— Да ниспошлет тебе Бог счастье за все те блаженные часы, которые я провожу с тобою, за всю жизненную силу, которую ты вливаешь в меня своим присутствием! — продолжал он, не отирая слез, которые, видимо, облегчали ему грудь. — Ты говоришь, что я могу плакать только при тебе; да, но только при тебе могу я и забыть мои воспоминания, с тобой одной могу я говорить и об отце, и о Франции!

Розина поняла теперь, каким путем может достигнуть своей цели.

— Твой отец? Франция? — повторила она. — Так ты их помнишь? Так говори же, говори мне о них. Ведь я тоже, как и ты, с тоскою мечтаю о матери и о родной стороне.

— Да, — сказал юноша, и прекрасные глаза его остановились и расширились, как бы устремляясь в прошедшее, — да, я помню отца, но один только момент. Это было ночью. Я проснулся, как просыпаешься всегда, когда чувствуешь возле себя кого-то, кто тебя любит. Возле моей постели стояли моя мать, герцогиня Пармская...

Последние слова он произнес с глубокой горечью.

— И мой отец, — продолжал он, — император Наполеон.

При этом имени он величаво поднял руку.

— Он наклонился и поцеловал меня. Я обхватил его шею руками и тоже поцеловал его. И странное дело! Когда я вспоминаю это, мне все кажется, что я поцеловал статую.

— Но этот поцелуй так свеж в твоей памяти, что ты как бы ощущаешь его и теперь?

— Да.

— Так береги же, береги это святое воспоминание!

— Разумеется, не забуду, — ответил юноша с печальной улыбкой и опять взял руками за грудь, — потому что мне от него ведь только это и осталось. Ты себе представить не можешь, Розина, как он был хорош! Как древнее божество, как Александр, как Август!

— Говорят, что ты на него похож.

— Да, как бесплотная мечта на бронзовую статую... Нет, — прибавил он с горечью, — у меня глаза матери...

да и волосы тоже. Я австриец, и зовут меня Францем.

— А я говорю тебе,— возразила девушка,— что ты француз и зовут тебя Наполеоном. Ну, будем же говорить о твоём отце и о Франции.

— Да об отце я уж сказал тебе, у меня осталось одно это воспоминание. В то время он уходил в тот великий поход 1814 года, в котором вся слава осталась на стороне побежденного. Я часто думал, что отец похож в этом случае на Ганибалла. Сципион победил его, а он все-таки остался в глазах истории выше своего победителя.

— Да, он выше Сципиона, выше Цезаря, выше Карла Великого, выше всех! О, герцог, какой пример!

— Пример этот так велик, что подавляет меня, и это-то и приводит меня в отчаянье! Знаешь, что? Мне часто думается, что судьба поставила меня возле этой колоссальной фигуры, такой трагической и печальной, именно затем, чтобы она выделялась еще рельефнее: точно так же, как художники рисуют у подножия пирамид египтян, чтобы показать величие строения и ничтожество человека.

— Да, но все-таки араб может залезть на пирамиду, хотя высота каждой ступеньки, ведущей вверх, два фута.

— Нет, мне это не удастся, Розина. Нет у меня силы на то, чтобы стать великим человеком.

Он утомленно опустил на диван.

— У меня нет силы даже на то, чтобы быть счастливым.

Девушка прилегла у его ног. Ей хотелось навести его на более веселые мысли.

— Ну, а что ты помнишь о Франции? — спросила она.

— О Франции у меня сохранилось два воспоминания. Один раз — кажется, это было в день моего рождения в 1814 году и за неделю перед тем, как я, может быть, навсегда уехал из Парижа — погода стояла прекрасная. Мы с мадам Монтестье поехали кататься в карете. Вдруг я увидел массу цветов и принялся кричать, чтобы мне их дали. Карету остановили и пошли за цветами, а я стоял у окошка и заметил в нижнем этаже одного дома юную девушку и молодого человека. Они сидели у окна и работали: она делала цветы, а он — часы.

— А я всегда думал, что цветы делает Бог,— сказал я.

— Разумеется, Бог, ваше высочество,— подтвердила мадам Монтестье.

— Нет, не он один, а еще и женщина! — возразил я и указал на девушку.

Мадам Монтестье улыбнулась, а я продолжал смотреть и слушать. Девушка напевала песню, а молодой человек подхватывал только припев. Но вдруг им, вероятно, кто-нибудь сказал, что в карете сижу я и слушаю их, потому что они перестали петь, бросили работу и стали кричать:

— Да здравствует король Римский!

А я рассердился и тоже закричал:

— Я хочу, чтобы они пели!

Но карета уже покатилась.

— Веришь ли, Розина, я и теперь вижу их, как живых, у того окна и часто потом разговаривал о них с мадам Монтестье. Пока я был ребенком, она говорила мне, что то были брат и сестра, но потом я понял, что они любили друг друга... Они пели, как жаворонки... И знаешь, Розина, я с радостью согласился бы делать часы, но только не здесь, а в Париже, и чтобы ты сидела возле меня, делала цветы и пела ту песню, от которой у меня осталось лишь смутное воспоминание. О, если бы ты знала, сколько бессонных часов провел я, напрягая свою память, чтобы вспомнить эту бесхитростную песню!

— Начните, герцог, может быть, я подберу.

Рейхштадт несколько раз пытался пропеть начало мотива, но тотчас же сбивался на третьей или четвертой ноте.

— Если бы мне удалось припомнить мотив, то я, наверно, припомнил бы и слова! — вскричал он. — Я искал эту песню повсюду, — во всех музыкальных магазинах Вены, в Германии и даже через посольство во Франции.

— Неужели вы не помните даже названия?

— Нет, да я и слышал ее, вероятно, не всю, а всего два или три куплета. Я рассказал тебе это затем, Розина, чтобы ты видела, что я не забыл свою родину.

— Как мне хотелось бы узнать эту песню!

— Да, очень может быть, что, в сущности, это что-нибудь ничтожное, — сказал принц, — но признаюсь, я этого не думаю... Все это мне как-то до боли дорого... даже то маленькое окно, у которого молодой человек делал часы, а его милая пела:

*N'imites pas la pâquerette,  
Et fuis les yeux... les...*



Розина вскрикнула и подбежала к роялю.

— Куда ты? — спросил герцог.

— Подождите, ваше высочество! — ответила она.—  
Неужели это только случай?!

Она пробежала пальцами по роялю и после блестящей прелюдии заиграла мотив, под который негромко пропела:

N'imites pas la p<sup>â</sup>querette,  
Et fuis les regards du matin...

— Она, она и есть! — радостно воскликнул Рейхштадт.— Так, значит, ты знаешь мою песню. Спой ее всю!  
Девушка продолжила:

Sur les gazons, la p<sup>â</sup>querette,  
Aux premiers rayons du matin,  
Entr'ouvre d'une main coquette,  
Les plis blancs de sa collerette,  
A tous les passants du chemin...

— Так? — спросила она.

— Да, да, разумеется, это! — подтвердил принц.— Хотя этого первого куплета я не слышал,— они спели его, вероятно, раньше моего приезда. О, моя Розина, недаром я говорил, что все мое счастье, все мои радости в тебе. Ведь для того, чтобы пропеть человеку в шестнадцать лет ту песню, которую он слышал, когда ему было всего три года, надо быть его сестрой. Право, я, должно быть, брежу, думая, что знаю тебя всего несколько месяцев, а в сущности мы воспитывались вместе... во Франции. Ну, пой, я тебя слушаю.

Розина продолжала:

N'imites pas la p<sup>â</sup>querette,  
Et fuis les regards du matin?..  
Dans les pr<sup>é</sup>s verts, la marguerite,  
Se prom<sup>è</sup>ne coquettement;  
Le vent se met <sup>à</sup> sa poursuite,  
L'enlace, et la pauvre petite  
Expire aux bras de son amant...  
N'imites pas la marguerite,  
Et fuis jusqu'au souffle du vent!

— Вот, вот! Помню, помню! — кричал принц, хлопая в ладоши от радости.— Пой, пой, Розина!

Девушка опять запела.

Au fond des bois, les violettes,  
Chastes, dérobent leur beauté,  
Ne disant qu'aux herbes diserètes  
Le secret de leurs amourettes,  
Pendant les belles nuits d'été...  
Au fond des ombreuses retraites,  
Fuyons ensemble, o ma beauté \*)!

Рейштадт повторял за ней каждую строку, каждый куплет и успокоился только тогда, когда выучил всю песню наизусть.

Но девушка скоро спохватилась, что упустила из виду свою главную цель и взглянула на часы. Было без десяти минут два, а между тем генерал Премонт или Сарранти, или, может быть, оба вместе нетерпеливо ждали условленного сигнала в окне.

Необходимо было перевести разговор снова на Францию.

— Однако вы обещали мне рассказать еще одно из воспоминаний о вашем детстве, и я от вас без этого не отстану! — сказала она.

— О, это относится к тому времени, когда нам пришлось переезжать в Рамбуйе, так как к Парижу подходил неприятель, — заговорил Рейхштадт, печально опуская голову. — Мать моя сказала мне: — Поедем, Шарль. Но я ни за что не хотел ехать и кричал: — Нет, нет, я никуда не хочу! Хочу жить в Тюильри!

Я цеплялся за занавески моей кровати, за портьеры и все продолжал кричать:

— Не хочу, не хочу ехать!

Меня, разумеется, вынесли насильно. Но я уже тогда предчувствовал, что вижу Тюильри в последний раз, и предчувствие мое вполне оправдалось.

— Так что же, ваше высочество? Подумайте, теперь у вас есть возможность не только снова увидеть Тюильри, но даже опять поселиться там.

---

\* Перевод всей песни. Белая подснежника кокетливой рукой распахивает блузочку, как только утра свет коснется земли, и каждый из прохожих ее хоть тут же рви. Не делай как подснежника! С лучами не шути! Малютки маргариточки, как дети, разбежались по всем нашим лугам, но ветер — парень буйный — за ними вдруг погнался, схватил руками грубыми. О, бедная малюточка, с ветрами не шали! В лесной тени таинственной фиалка нежно-скромная в красе своей растет и только травкам скромненьким про ночи лунные да про любовь шепчет. Бежим и мы, краса моя, в те чащи безопасные!

Она вскочила, подбежала к условленному окну, раздвинула занавеску и три раза взмахнула свечой.

Рейхштадт хотел было остановить ее, но тотчас же сдержался:

— Ну, пусть будет, что будет! — проговорил он. — Так или иначе, а судьба свое возьмет! Благодарю тебя, Розина.

Минут пять спустя, на дороге от Мейдлинга к Вене послышался топот во весь дух пронесшейся лошади.

## VI

### «НА МОИХ ОКНАХ НЕТ РЕШЕТОК, НО...»

Даже это минутное усилие воли снова утомило принца. Сын императора мгновенно исчез в нем, и место его опять заступил слабый и болезненный ребенок. Он опять лег на диван, и его бледная голова опустилась на колени Розины.

Она понимала его слабость и ласкала его, как мать, или, вернее, как старшая сестра.

Она чувствовала перед этим человеком беспредельный восторг и безграничную преданность. Ей казалось, что он — ее собственное творение, для которого она и мать, и сестра, и раба.

Между тем он размышлял о решении, которое только что принял и начинал пугаться его. Первый раз в жизни задумал он без разрешения князя Меттерниха и деда встретиться с посторонним человеком. У него самого никогда не хватило бы на это нравственной силы, если бы его не поддержала, не вдохновила и даже не вынудила любимая девушка.

Ему начинали видаться все трудности предстоящего дела, и как он ни верил в ум, ловкость, храбрость и преданность птенцов своего отца, но невольно содрогался и за себя, и, в особенности, за них, думая, что завтра в этот же час, вместо того, чтобы наслаждаться упоительной негой любви, ему предстоит говорить как мужчине, воину, дипломату и будущему государю о бегстве, заговорах и битвах с серьезным и суровым генералом.

— О чем вы думаете, ваше высочество? — спросила Розина.

Но он продолжал молчать, потому что пугался даже своих собственных мыслей.

Она повторила свой вопрос еще несколько раз.

— О чем я думаю, Розина? — сказал он, наконец. — О безумии этих двух человек.

— Об их безумии, ваше высочество? Мне кажется, скорее, об их безграничной преданности.

— Если я называю их безумными, Розина, то только по неисполнимости дела, которое они задумали.

— Для человека, который твердо, всей душой захотел чего-нибудь, ваше высочество, нет ничего невозможного. Помните, мы читали с вами вместе историю одного французского узника, Латюда, который три раза бежал из тюрьмы: два раза из Бастилии и один раз из Венсенна?

— Да, ты, может быть, и видела, как узники выходят из тюрьмы, но никогда не видела, как туда входили друзья.

— Эти войдут!

— Может быть. Но ведь их увидят, донесут на них и арестуют... Ты ведь не знаешь, как меня стерегут.

— Но они знают, потому что сами пишут вам, чтобы вы никому не доверялись.

— Если мне вздумается покататься по Дунаю, шагах в ста непременно оказывается рыбак, который чинит свои сети, и лодка его отчаливает от берега в одно время с моею. Он делает вид, что вовсе не замечает меня, а, в сущности, не спускает с меня глаз. Он как будто вовсе и не знает меня, но если я подхожу и заговариваю с ним, у него вырываются слова: «ваше высочество», «мон-сеньёр».

— Неужели вы думаете, что я всего этого не знаю?

— Если я еду на охоту, увлекусь погоней за оленем, и случайно или нарочно затеряюсь в чаще наших тенистых лесов, и хоть на минуту захочу вздохнуть свободно, не как обездоленный принц, а как частный человек, шагах в двадцати от меня непременно раздастся песня дровосека, который как будто беззаботно связывает свою вязанку. И ведь видно, что он здесь не работал, а поджидал меня, что веревка, которой он связывает дрова, — лишь петля для моих ног, и я поневоле спохватываюсь и сознаю, что для меня деревья не дают тени и лес не может дать уединения.

— И это для меня не новость, ваше высочество.

— Если иногда в душную летнюю ночь для меня становится невыносимо оставаться в этих пыльных комнатах с их толстыми обоями и мне захочется подышать влажной свежестью парка, я непременно встречаю какого-нибудь запоздалого лакея, который как будто испуганно

бежит вверх по лестнице, когда я по ней спускаюсь. Потом у дверей вскакивают люди и делают мне «на караул». В такие минуты я буквально дохожу до отчаяния от того, что я принц, вечно принц, днем и ночью принц, и я бросаюсь прочь с аллея и дорожек в глубину леса. И ты, может быть, думаешь, Розина, что там мне удастся оставаться одному? Ничуть не бывало! Я ясно слышу позади себя треск ветвей, вижу издали, как толстый ствол дерева разделяется надвое, и отделившаяся от него тень скользит по пятам за мною. Я и в лесу такой же пленник, как и в своих апартаментах. Моя тюрьма только несколько шире других тюрем: в ней не двадцать шагов, а три лье в окружности. На моих окнах нет решеток, но зато горизонт мой огражден огромной непроницаемой стеной.

— Да, все это правда, ваше высочество, и это знают все. Но ведь если бы задача этих людей не была бы так трудна, опасна, почти не осуществима, то и заслуга их не была бы так велика.

— Да они от нее и не откажутся! — проговорил юноша, скрывая свою надежду под видом сомнений.

— Ваше высочество, как верно то, что вы сделали мне сегодня недовольное лицо, когда я пришла, так же верно и то, что этими вашими словами руководит не убеждение, а опасение.

— Я тебя дурно встретил?

— О, какое злое лицо бывает у вас иногда!

— Мне было просто грустно, Розина.

— Скажите лучше, что вы ревновали.

— Ну, да, я ревновал.

— Фи, ваше высочество, ревность — вещь очень дурная. Предоставьте это принцам австрийского дома. Вы француз, значит, и любите, как любят французы.

— А разве ты знаешь, как любят французы, Розина?

— Разумеется, нет! Но я слышала, во Франции ревность считается величайшим оскорблением, какое только можно нанести женщине.

— В этом, несомненно, есть доля истины, Розина, но то, что верно вообще, не может относиться к тебе, так как ты не француженка, не немка, не испанка, не итальянка, хотя в тебе есть все лучшие черты, которые Господь даровал нежному полу каждой из этих прекрасных стран. Какая ты красавица! — продолжал юноша, обвивая ее стан руками и жарко целуя ее. — Как должна была тебя любить твоя мать!

— Боже великий,— вскричала девушка, взглядывая на часы,— ведь уж пятый час! Прощайте, ваше высочество!

— Уже?

— Как уже?

— Ведь осталось еще целых три часа ночи.

— Когда же вы будете спать? Когда станете отдыхать? А ведь в отдыхе вы всегда так нуждаетесь. Наконец, говорю вам заранее, если вы меня теперь не отпустите, я завтра не приеду.

— Ты ошибаешься, Розина, не завтра, а сегодня вечером.

— Завтра, ваше высочество, потому что на сегодняшней вечер намечено ваше свидание с Сарранти. Не забывайте этого.

— Да, но если он почему-либо не явится?

— Я буду знать об этом заранее, потому что в двенадцать часов дня ко мне приедет генерал.

— А как же узнаю об этом я?

— Я вам напишу.

Рейхштадт побледнел.

— Да кому же можно доверить такое письмо? — пролепетал он.

Девушка призадумалась.

— Я, по крайней мере, такого человека не знаю! — продолжал растерявшийся принц.

— А я знаю! — вдруг просияла Розина.

— Это кто?

— Потрудитесь идти за мною.

Она взяла его под руку и повела в маленький будуар, прилегающий к спальне. То была маленькая комнатка футов в десять. Окна ее выходили на юг и скрывались под массой комнатных цветов и деревьев с проволочными сетками, за которыми в эту минуту спали десятки птиц, самых редких пород и всевозможных цветов.

Посередине комнаты стояла большая клетка из розового дерева с затейливой китайской крышкой.

Это была маленькая тюрьма посреди большой, в ней проживали голуби.

При звуке шагов вошедших молодых людей одна голубка из породы турманов высунула голову из-под крыла и, сверкая своими блестящими глазками, протянула свой розовый носик.

Она смотрела на Франца и Розину с таким выражением, будто хотела сказать:

— Ну, вот и хорошо, что вы пришли. Мы вас знаем, вы нам зла не сделаете.

— Ну, и что же дальше? — спросил герцог.

— Неужели вы не понимаете, о каком гонце я говорю, ваше высочество?

— А! Теперь понял!

— Уж не боитесь ли вы, что и этот вас предаст?

— Розина, ты настоящая волшебница!

Рейхштадт отпер клетку и взял голубку в руки.

— Не плачь, птичка — говорил он. — Я беру тебя отсюда ненадолго, ты завтра вернешься в свою клетку, а я, клянусь небом, с радостью вылетел бы из своей, чтобы на веки остаться там, где ты сейчас будешь!

Он поцеловал голубку в ее черную, точно бархатную шейку и передал ее Розине.

Та взяла ее, поцеловала в то же самое место и быстро спрятала под плащом.

Они условились, что голубка должна возвратиться с ответом около часу, а принц станет поджидать ее у окна. На прощание Розина заставила Рейхштадта поклясться, что он не станет больше ожидать ее на балконе, а сама поклялась ему, что придет к нему на следующую ночь и пробудет с ним до рассвета...

## VII

### ЯВЛЕНИЕ

На другой день или, вернее, вечером того же дня, герцог Рейхштадт, несмотря на клятву, которую он дал Розине, опять стоял у того же окна, выжидая, впрочем, не ее, а Сарранти, так как голубка прилетела в замок в час дня и принесла весть, что он явится ровно в полночь.

Было половина двенадцатого. Через полчаса юноше предстояло очутиться лицом к лицу с человеком, который был преданнейшим слугою отца, а после его смерти решился служить сыну с почти безумным самоотречением.

То ли утомившись ожиданием, то ли просто от холода студеной февральской ночи в три четверти двенадцатого Рейхштадт вернулся в комнату, запер окно, тщательно задернул занавеску, сел на диван, подпер голову руками и глубоко задумался.

О чем думал этот несчастный?

Пронеслись ли перед ним картины его однообразного, как течение реки, детства? Или виделся ему прикованный к скале, с растерзанным сердцем Прометей Святой Елены?

Даже комната, в которой он сидел, должна была напоминать ему об отце.

Наполеон I жил в ней два раза: в первый раз в 1805 году после Аустерлица, во второй — в 1809 году после Ваграма.

С тех пор прошло восемнадцать лет, но расположение комнат осталось неизменным, да еще и поныне они представляют три больших покоя: приемную, туалетную и комнату, роскошно убранную лепной работой, позолотой и драгоценнейшими произведениями индийского и китайского искусства.

Стены приемной еще и поныне украшены портретами королей Франциска Лорренского, Иосифа, Леопольда и царствовавшего в то время императора, который был изображен ребенком возле матери, а в углу стояла довольно хорошо исполненная статуя Осторожности.

Спальня приходилась третьей в этом ряду комнат, а позади нее была только маленькая уборная.

Входная дверь в спальню приходилась как раз напротив уборной, в задней стене которой было вделано огромное зеркало в резной золоченой раме. Довольно темная, но в торжественном стиле мебель была обита зеленой шелковой материей, затканной желтыми цветами с золотистым оттенком. Эти фантастические цветы по какому-то странному совпадению напоминали пчел.

Вдоль стены тянулся диван. Кровать приходилась напротив камина, над которым висело второе зеркало.

На этом диване некогда сидел и Наполеон; на этой кровати спал и он; это зеркало отражало и черты победителя Ваграма и Аустерлица.

Да, это помещение само собой должно было постоянно вызывать Рейхштадта на раздумье. Однако за несколько минут до полуночи он встал и принялся тревожно шагать взад и вперед по комнате, и раза два вслух спросил сам себя:

— Да как же он придет?

По временам на лице его появлялась улыбка недоверия.

— Да и придет ли он вообще? — прошептал он.

В то мгновение, когда у него вырвался этот вопрос, послышалось шипение, которое в больших старинных часах обыкновенно предшествует бою, и вслед за ним раздался первый удар полуночи.



Юноша вздрогнул. Ему вспомнилось, что это была как раз излюбленная пора призраков и выходцев с того света.

Он подошел к камину и прислонился к нему. У него подкашивались ноги. Дверь в приемную приходилась теперь влево от него, дверь в уборную — справа. Зная, что в уборной другой двери нет, он инстинктивно оставил глаза на дверь в приемную.

Когда прозвучал и замер последний удар часов, он быстро обернулся.

Ему послышалось, что в уборной что-то треснуло.

Затем как будто кто-то осторожно прошел по паркету.

Рейхштадт был окончательно озадачен, потому что считал, что в уборной нет и быть никого не может.

Однако звук шагов становился настолько явственным, что ему скоро пришлось преобразиться. Он инстинктивно схватился правой рукой за эфес шпаги, а левой хотел было отодвинуть портьеру.

Но прежде, чем он успел к ней прикоснуться, она заколыхалась. Юный герцог отпрянул, как ужаленный. Перед ним, между двумя темными полосами раздвинутых занавесей стояла сухощавая фигура человека с поразительно бледным лицом. Он явился из комнаты, в которой не было второго выхода.

— Кто вы такой? — спросил герцог, с быстротою молнии выхватывая шпагу из ножен.

Таинственный человек молча сделал два шага вперед, вовсе, по-видимому, не заботясь о смертоносном клинке, который сверкнул в руке юноши, и почтительно опустился на одно колено.

— Я тот, кого ваше высочество изволили ожидать, — проговорил он.

— Тише! Тише! — вскричал принц.

Он протянул Сарранти руку. Тот схватил ее и осыпал горячими поцелуями.

— Тише! Тише! — твердил испуганный юноша. — И не называйте меня высочеством!

— Но как же называть мне сына и наследника великого императора Наполеона, моего повелителя? — спросил Сарранти, все еще не поднимаясь с колен.

— Ну, просто принц или монсеньёр, так, как меня называют все здешние!.. Но, прежде всего, скажите мне, ради Бога, как вы сюда попали?

— Прежде всего, монсеньёр, позвольте мне доказать вам, что я именно тот человек, которого вы ожидали,

и что я дерзаю говорить с вами от имени вашего отца.

— О! Я, разумеется, не знаю, ни кто вы, ни как и откуда вы пришли, но я вам верю.

Сарранти вынул из кармана какую-то бумагу, тщательно завернутую в другую.

— Позвольте мне, монсеньёр, начать с того, что я предъявляю вам мое рекомендательное письмо,— сказал он.

Рейхштадт взял бумагу, снял с нее обертку, вскрыл ее, и первым, что он увидел, был локон черных шелковистых волос.

Он мгновенно понял, что это были волосы его отца.

Две крупные слезы скатились из его глаз. Он поднес их к губам и поцеловал с выражением беспредельной нежности и горя.

— Это святыня! — проговорил он.— Это единственная осязаемая вещь, которая осталась мне от отца! Я никогда с нею не расстанусь.

Эти слова были произнесены с таким выражением, что Сарранти вздрогнул. Сын его земного божества осуществлял все его мечты: он был достоин своего великого отца!

Корсиканец поднял на юношу увлажнившиеся от прилива чувств глаза.

— В эту минуту я вполне вознагражден за всю мою преданность, заботы и труды! — проговорил он.— Плачьте, плачьте, монсеньёр! Не стыдитесь, вы плачете слезами льва!

Герцог схватил руку Сарранти и, молча пожимая ее, поднял глаза на его суровое, мужественное и омытое слезами лицо.

— Неужели отец мой не поручил вам обнять меня вместо него? — спросил он.

Сарранти вскочил на ноги, обхватил юношу обеими руками. Крепкий дуб и юный тростник зарыдали вместе.

Успокоившись от этого подъема чувств, Сарранти показал Рейхштадту, что локон прикрывает текст короткого письма.

— Это от отца? — спросил юноша.

Сарранти медленно и почтительно кивнул головой.

— И писал это сам отец?

Сарранти молча поклонился.

— Я раз двадцать просил у матери, чтобы она дала мне хоть несколько слов, написанных его рукой! — вскричал Рейхштадт.— И она всегда отказывала мне в этом!

Он с каким-то богопочтением поцеловал бумагу и,

очевидно, руководствуясь только инстинктом сына, прочел письмо, которое едва ли разобрал бы кто-нибудь посторонний:

*«Многолюбимый сын!*

*Человека, который передаст тебе это письмо и локон, который к нему присоединен, зовут Сарранти. Он собрат мне по сражениям и товарищ по изгнанию, и ему-то и поручаю я осуществление моих заветнейших мыслей и драгоценнейших надежд. Выслушай то, что он станет говорить тебе, так, как бы ты слушал самого отца твоего, и прислушивайся к его советам, как ты прислушивался бы к моим собственным.*

*Отец твой, который живет только ради тебя,*

*Наполеон».*

— Значит, тогда он был еще жив! — вскричал Рейхштадт. — Все это написано его собственной рукой! Так будьте же моим вторым отцом, и я стану любить вас, как вы того достойны! Обнимите меня еще раз, Сарранти!

— Да, да, — продолжал он, прижимая к груди соизгнанника своего великого отца. — Я стану исполнять ваши советы так же свято и точно, как если бы они исходили от того, кто уже умер, но кто, именно и вследствие своей смерти, и теперь видит и слышит нас, и даже, может быть, стоит между нами.

Произнеся эти слова, принц с каким-то страхом протянул руку к самому темному углу комнаты.

— Но все-таки прежде всего скажите мне, как вы сюда попали?

— Соболаговолите последовать за мной, монсеньёр, — ответил Сарранти, подводя юношу к свету и показывая ему другую бумагу, на которой был начерчен план с надписями, сделанными почерком императора.

— Это что такое? — спросил Рейхштадт.

— По всей вероятности, вам известно, монсеньёр, что вы живете в тех самых апартаментах замка Шёнбрунн, в которых жил и ваш покойный отец.

— Да, я это знаю, и, признаюсь, это обстоятельство составляет для меня предмет и горечи, и утешения.

— Потрудитесь взглянуть на этот план, монсеньёр. Вот прихожая, гостиная, спальня и уборная и вот все подробности, не исключая расположения дверей и мебели.

— Да ведь это план той самой части замка, где мы стоим теперь!

— Да, монсеньёр, и начерчен он по памяти вашим августейшим отцом, десять лет спустя после того, как он здесь жил.

— Я начинаю понимать, какую услугу оказал вам этот план, если вы сумели войти из парка в эту уборную. Но как вы это сделали?

Сарранти взял с камина свечу и направился к двери уборной.

— Соблаговолите пойти за мною, монсеньёр,— сказал он,— и вы увидите все это вашими собственными глазами.

Принц покорно пошел за человеком, который внушал ему немалую долю страха как существо сверхъестественное.

Уборная по-прежнему имела совершенно уединенный вид.

— Ну и что же? — спросил принц с нетерпением.

— Соблаговолите подождать один момент, монсеньёр.

Сарранти подошел к зеркалу, осветил всю его раму, обведа ее зажженной свечой и нажал на один из выступов резьбы. Вся рама с зеркалом тяжело повернулась на каких-то невидимых петлях и открыла начало лестницы.

Принц подошел к ней с величайшим удивлением.

— Что это значит? — спросил он.

— Это значит, монсеньёр, что когда император Наполеон жил здесь в 1809 году, все прихожие и приемные его были постоянно заполнены просителями и поклонниками. Постоянная же необходимость отвечать на просьбы посетителей и улыбки льстецов настолько утомляла вашего августейшего отца, что он, чтобы воспользоваться хоть иногда свежестью и простором здешних садов, приказал проломить эту дверь и эту лестницу, которые ведут в уединенную оранжерею, в которую никто и никогда не ходит. Всю эту работу произвели приближенные, офицеры императора, так как он желал, чтобы о существовании ее никто не знал, кроме его тени, которая, может быть, приходит иногда навещать ваше высочество.

— Так, значит... — проговорил окончательно озадаченный принц.

Он не посмел окончить начатой фразы.

— Это значит, монсеньёр, что лестница, устроенная отцом, может послужить для сына.

— И в то время, когда ее делали, меня еще не было на свете.

— Всеведущее око Бога провидит в самую вечность, монсеньёр, и тайны Его прописаны в книгах судеб зара-

нее. Но если пути их проявляются так осязаемо, то смертным остается только следовать по ним.

Юный принц протянул Сарранти руку.

— Что бы ни судил мне Бог, я противиться воле Его не стану! — проговорил он с глубоким чувством.

Сарранти запер потайную дверь, пропустил принца обратно в спальню и прошел за ним.

— Теперь я гораздо спокойнее, — сказал Рейхштадт. — Потрудитесь начать, я вас слушаю.

Он дружески положил руку на плечо Сарранти и прибавил:

— Говорите совершенно смело и не торопясь. Вы сами понимаете, что мне необходимо знать все, что касалось его и его планов относительно меня.

## VIII

### ДЕЛЕНДА КАРТАГО!

— Когда-то, ваше высочество, были в мире два города, которых отделяло один от другого целое море, — начал корсиканец, — но, тем не менее, им казалось, что для них двоих тесна вся Вселенная. Три раза они, как Геркулес и Антей, вступали в смертельный бой, и борьба окончилась только тогда, когда один из них пал под игом другого. Те города были Рим и Карфаген. Рим был воплощением мысли, Карфаген — факта.

В этой смертельной борьбе факт покорился разуму. Точно то же произошло с Англией и Францией. У вашего достославного отца была только одна заветная мысль: разрушить Карфаген! *Delenda Cartago!*

Ради этой идеи совершил он свой поход в Египет, ради нее поставил лагерь в Булони, ради нее заключил Тильзитский мир, ради нее завязал войну с Россией.

Была одна минута, когда ему показалось, что цель его достигнута. Это произошло тогда, когда на Неманском мосту он пожимал руку царя Александра.

В тот же вечер оба императора стояли у двух особых столов, на которых были раскинута карты всей Вселенной.

Один из них смотрел на них смутно, небрежно и даже бросил на них перчатку. Другой пожирал их жадным взором и переворачивал дрожащей рукой.

Эти два человека делили между собою шар земной. Нечто подобное происходило и за тысячу лет перед тем,

между Октавием, Антонием и Лепидом; теперь то же самое повторяли два императора — Александр и Наполеон.

— Итак,— говорил ваш отец своим мягким и повелительным голосом,— пусть север принадлежит вам, а юг — мне. Вам: Швеция, Дания, Финляндия, Россия, Персия и Индия до Тибета, а мне: Франция, Испания, Италия, Рейнская Конфедерация, Далмация, Египет, Йемен и Индия до Китая. Мы, Александр и Наполеон, станем живыми полюсами земного шара и будем поддерживать его равновесие.

— А Англия? — рассеянно спросил Александр.

— Англия должна погибнуть, как погиб Карфаген. Не станет Индии, не станет и Англии, а Индию мы поделим между собою.

По лицу царя скользнула улыбка сомнения.

Наполеон заметил это.

— Вы находите осуществление этого плана трудным, почти невозможным только потому, что вы никогда не задавались этой мыслью,— сказал он.— Но что касается меня, то это — моя давнишняя и заветнейшая мечта, и с той минуты, когда мы с вами пожали друг другу руки, Англия погибла.

— Я слушаю, ваше величество,— ответил Александр.— Зная силу вашего слова, буду очень рад, если вы возьмете на себя труд переубедить меня.

— Это очень легко сделать,— сказал ваш отец,— но для этого нужно знать Индию такой, как она есть, а не такой, какой она кажется. Надеюсь, вы не откажетесь посвятить этому обзору, от которого зависит участь всей Вселенной, с четверть часа времени. А я в эти четверть часа изложу вам результаты пятнадцатилетних трудов.

— Эти четверть часа составят одно из славнейших воспоминаний моей жизни, ваше величество,— ответил Александр с утонченной любезностью.

— Постараюсь быть кратким,— начал император.— Ваше величество, вероятно, согласится со мною, что владычество Англии в Индии — владычество деспотическое.

— Даже более, чем деспотическое,— это гнет.

— А каждый деспотизм может держаться или на любви, или на страхе.

Александр улыбнулся.

— А иногда и на том, и на другом вместе,— сказал он.

— Но чаще всего на последнем. Спросите райю, который сидит, скорчившись, у дверей жалкой хижины, где

семья его валяется в навозе; спросите земледельца, который завидует жизни домашнего скота, спросите безработного ткача, так как все рынки завалены английским коленкором и кисеей; спросите мусульман, которые с гневом и трепетом видят, как англичане в сапогах и чуть не верхом на лошади входят в их святилища; спросите, наконец, весь народ индийский, любит ли он англичан? — и райи, и мусульмане, и хлебопашцы, и ткачи, и брамины в один голос ответят вам: «Смерть рыжим людям, которые приплыли к нам из-за моря со своего неизвестного острова!».

— А разве лучше относятся они к своим афганским князьям? — спросил Александр.

— Да, тысячу раз — да! Князья афганские всегда жили в самой стране, в ней же тратили свои огромные доходы, а из них некоторая часть выпадала и на долю бедного народа. Но пришлые англичане остаются в Индии жить временно, как весенняя куколка в своем коконе, а как только у них отрастают золотые крылья, они улетают.

— Но если ненависть к англичанам действительно так велика, как говорит ваше величество, то отчего же в Индии возмущения происходят лишь изредка?

— Потому что в Индии вообще возможны только местные возмущения, а никак не поголовные воздействия. Для великой, единой революции всей страны нужно уничтожить ту разность интересов, ненависть и различие в верованиях, которые разделяют тамошнее население. Общее восстание в Индии невозможно потому, что если бы две секты соединились вместе для возмущения, то можно быть уверенным, что накануне открытия действий одна из них непременно изменит другой. И это будет продолжаться до тех пор, пока тамошние народы будут предоставлены самим себе. Совершенно иначе сложилось бы дело, если бы в него вмешалась какая-нибудь иная европейская сила и напала на Англию в недрах Индии. Разве индусы остались бы тогда верны англичанам? Разумеется, нет! Они тотчас же объединились бы с их врагами, кто бы они ни были и откуда бы и зачем ни пришли. Для человека, который, подобно мне, пятнадцать лет мечтает об Индии, вся эта часть Азии представляется ничем иным, как огромным бассейном, в котором покоятся обломки пятнадцати цивилизаций и развалины пятнадцати государств. Это нечто вроде общественного праха. И если его оставишь так, в нем окажется множество разрушающих атомов; но если засеять и обра-

ботать его надлежащим образом, в нем разведутся и начнут действовать все элементы плодородия. Чего не доставало до сих пор в этом странном и пестром общественном конгломерате? Объединяющего духа, будь то национальность или общая религия. Ему не достает того, что создали Дюплекс и Бюсси, эти два непризнанные Францией гения. Но если бы туда пришел человек энергичный, смелый, предприимчивый, как Александр, если бы он сумел ослепить массу блеском своих успехов, он создал бы из нее народ, нацию! Подвижная поверхность Индии обратилась бы в твердый непроницаемый панцирь. Вы не верите этому, ваше величество? Так взгляните на вашу собственную Неву. Ребенок, сидя в лодке, без труда рассекает ее волны веслами; но вдруг налетает с полюса северный ветер, и воды могучей реки обращаются в твердый кристалл, перед которым бессильны и огонь, и вода, и железо. Поверьте мне, ваше величество, что Англия, оказавшаяся сильнее Типу Султана, Хайдар Али, Саваджи или Амир-Хана, окажется бессильной перед великаном, равным ей по силе, когда он придет бороться с нею на пространствах Индостана. Столкновение этих двух гигантов породит бурю, избородит землю, потрясет атмосферу. Тогда и поднимутся те холодные вихри, о которых я только что говорил вам, и всюду начнут свою объединяющую, сковывающую работу. И тогда горе Англии! Только тогда поймет она весь ужас ненависти, которую к себе внушила, и чем дольше будет продолжаться борьба, чем больше будет разрушений, битв, измен, тем больше станет возрастать толпа ее врагов и тем дальше погонит волна, спускающаяся от Кабула в Бенгалию, своих бывших притеснителей. Она загонит их всех на их же корабли, которые тоже обратит в бегство, а сама с радостью снова овладеет своими исконными портами: Мадрасом, Калькуттой и Бомбеем.

— Вы меня просто поражаете, ваше величество! — проговорил император Александр.— Когда вы не делаете чудеса, то мечтаете о них.

— Но если вы решитесь содействовать мне, то это не будет ни чудом, ни мечтой. Известно ли вам, какое количество войска содержит Англия в Индии?

— Шестьдесят тысяч человек, если не ошибаюсь.

— Да, при этом вы принимаете в расчет и войска, составленные из местного населения. Но я их в виду не имею. Чисто английского войска в Индии всего двенадцать тысяч человек,— это достоверно. Но прибавим, если вам



угодно, даже вдвое, и признаем двадцать четыре тысячи. Сорок же тысяч сипаев считать нечего.

Александр опять улыбнулся.

— Однако все-таки прибавим и их, хотя бы для памяти, — сказал он.

— Извольте. Итак, сорок тысяч местного войска и двенадцать английского составляют пятьдесят две тысячи человек. Но послушайте, ваше величество: Индия всегда будет принадлежать тому, кто приведет в нее больше европейских войск. И вот что нам следует сделать: тридцать пять тысяч человек русского войска спустятся вниз по Волге до Астрахани и пойдут к Астрабаду ожидать соединения с французскими войсками. Тридцать пять тысяч французского войска спустятся вниз по Дунаю до Черного моря. Здесь они пересядут на русские суда, которые доставят их до Таганрога. Отсюда они доберутся сухим путем до Дона, а оттуда — в Царицын, из Царицына — по Волге в Астрахань, а затем в Астрабад. Таким образом оба корпуса пройдут этот огромный путь почти без утомления. Из Астрабада они двинутся через Хорасан и Кабул уже прямо в Индию.

— Причем, им придется переходить большую Соляную пустыню.

— Я эту пустыню знаю, и это уж мое дело провести через нее наш огромный караван.

— Разве вы думаете лично предводительствовать этим походом?

— Разумеется! — ответил Наполеон.

Александр слегка побледнел, так поразил его этот чисто французский ответ.

— Но кроме пустыни, там предстоит преодолеть еще множество препятствий, — заметил он.

— Вы, вероятно, думаете об Афганистане, география которого еще вовсе не известна, а дикое население которого, наверное, станет сопровождать наш поход всевозможными разбойничьими проделками?

— Разумеется.

— Я это предвидел и устранил препятствие заранее. Я отправил одного из своих генералов к одному из мелких владельцев Белуджистана, Лахора, Синда или Малова. Он должен обучить тамошние войска европейскому строю и подготовить нам союзника, который пойдет впереди нас, расчищая нам путь, а мы взамен этого предоставим ему владычество над всеми теми пространствами, которые он таким образом пройдет.

— Прекрасно, ваше величество. Итак, вы очутитесь в Пенджабе. Но каким же продовольствием вы станете снабжать свою армию?

— Ну, пока у вас будут деньги, а в Тегеране и Кабуле сахокары, т. е. банкиры, об этом нам заботиться нечего. Там мы найдем уже совершенно готовый и прекрасно организованный комиссариат, созданный вековым опытом всех завоевателей, стремившихся овладеть Индией.

— Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать, и откровенно признаюсь в этом,— сказал Александр.

— В таком случае я должен сообщить вашему величеству, что по всему индостанскому полуострову уже целые века рассеяно цыганское племя, называемое «бринджари». Вся хлебная торговля Индостана находится преимущественно в их руках. Они навьючивают быков и верблюдов, формируют колоссальные караваны и проходят с ними огромные пространства. В 1791 году они снабжали продовольствием армию лорда Корнваллиса во время войны с Типу Султаном. Народ этот преимущественно кочующий и в походах очень удобный, потому что живет большей частью в палатках и, кроме того, никогда не пьет воды из реки или прудов. Они незаменимы при переходах через пустыни, потому что с поразительным чутьем умеют разыскать каждую каплю воды, на каком бы расстоянии или на какой бы глубине она ни была. И вот эти-то люди, которые всегда держатся строжайшего нейтралитета и стремятся только продать свой хлеб, да наняться в перевозчики, и станут нашими пособниками.

— Да, но они станут в то же время служить и англичанам.

— Разумеется. Но в моих видах на победу я и не рассчитываю на голод или жажду врага, а только на наши пушки.

Александр закусил губы.

— Теперь перед нами остается еще Инд,— сказал он.

— То есть переправа через него?

— Да.

Наполеон улыбнулся.

— Ошибочное сведение, что Инд составляет препятствие, способное задержать неприятельское вторжение в страну, распущено английскими писателями,— сказал он.— Они утверждают, будто английская армия, сконцентрировавшись на левом берегу, может задержать самую сильную армию на свете. Я приказал исследовать Инд

от Дера-Измаил-Хана до Аттока. Глубина его оказывается от двенадцати до пятнадцати футов, быстрота течения — не больше одного лье в час. Таким образом, для человека, который переправлялся через Рейн, Неман и Дунай, Инд как бы вовсе не существует.

Император всероссийский сидел какое-то время в состоянии растерянности перед величием этого гения.

— Дайте мне опомниться, ваше величество,— сказал он.— Этот мир, который вы вдруг подняли передо мною, как древний Атлас, подавляет меня. Я просто задыхаюсь!

— И я тоже,— перебил рассказчика Рейхштадт.— Я чувствую то же, что чувствовал русский царь, и тоже прошу вас, дайте мне перевести дух.

Он высоко поднял глаза и руки к небу и прибавил:

— О, мой отец, мой отец! Как велик ты был!

Бывший товарищ императора по изгнанию нарочно и вел свой рассказ так подробно, чтобы произвести на юношу именно это впечатление. Он хотел заставить его понять все величие отца и те обязанности, которые налагаю на него великое имя, унаследованное им.

Рейхштадт был действительно подавлен. Он покачал головой, встал и принялся шагать взад и вперед по комнате.

Вдруг он остановился перед Гаэтано.

— И этот человек умер! — вскричал он.— Умер, как всякий другой смертный!.. Только с еще бóльшим страданием,— вот и все. Огонь, его воодушевлявший, потух, и никто не видел, чтобы на небе засияло новое солнце... О, да как же в этот день не померкло небо и не погрузилась вся Вселенная во мрак?

— Он умер, глядя на ваш портрет, ваше высочество, и несколько раз повторял: «Чего не сделал я, то сделает мой сын».

Принц печально покачал головой.

— Кто же посмеет прикоснуться к делу гиганта?! — вскричал он.— Кто, нося имя Наполеона, скажет Франции, Европе, всему миру: «Теперь мой черед!» О, Сарранти, та гениальная голова разбита самим Творцом, а что касается меня, признаюсь, я опускаю глаза при одной мысли о том, чего станут ожидать от Наполеона II!.. Однако... продолжайте.

— Царь не осуществил расчетов вашего отца, и эта Индия, которой он хотел овладеть, как второй Александр, ускользнула из его рук, но не изгладилась из его памяти. Я сам раз двадцать видел, как он, сидя над картой Азии,

водил пальцем по путям великих вторжений в Индию.

Если к нему входил в это время кто-нибудь из приближенных, он говорил:

— Вот посмотрите-ка, по этому пути от Газни до Дера-Измаил-Хана Махмуд побывал в Индии в период с 1000 до 1021 года ровно семнадцать раз с армиями в сто и сто пятьдесят тысяч человек и ни разу не нуждался в провианте. В свой шестой поход, в 1018 году, он дошел до Канауджа на Ганге, что находится в ста милях к юго-западу от Дели, и вернулся в свою столицу через Мутру. На эту громадную экспедицию он употребил всего три месяца! В 1020 году он направился на Гуззерат, чтобы разрушить там храм Сомно, и сделал в направлении Бомбея такую же легкую прогулку, как и до Калькутты. По этому же пути до Дера-Измаил-Хана прошел, отправившись из Хорассана, и Магомет Гури, когда хотел в 1184 году завоевать Индию. Он наводнил область Дели армией в сто двадцать тысяч человек и заменил династию Махмуда Газневи своей собственной. Почти этим же самым путем ходил в 1396 году и Тимур Хромой. Он выступил из Самарканда, оставил Балк вправо, спустился через долину Андезаб по направлению к Кабулу, оттуда — на Атток и в Пенджаб. В 1525 году Бабур перешел через Инд, несколько ниже Аттока, в том месте, где переправился бы через него и я, и всего с пятнадцатью тысячами человек завладел Лахором и Дели. Этим же самым путем воспользовался и сын его, Гумаюн, когда его лишили отцовского наследства, а он отвоевал его с помощью афганцев. Наконец, здесь же прошел и шах Надир, когда в бытность свою в Кабуле узнал там, что посол его городов, Джеллалабад, был растерзан туземцами. То, что он сделал в отмщение за смерть одного человека, я хотел бы сделать, чтобы отомстить за угнетение целого мира. Он с оружием в руках прошел мимо всех горных племен, перебил все население провинившегося города, направился по пути, сослужившему службу уже стольким армиям, спустился на Кибер, Пешевар и Лахор и овладел Дели, который и отдал на трехдневное разграбление.

— Да, я прошел бы именно так! — продолжал он, проводя рукою по лбу. — Я перешел Альпы после Ганнибала и пройду через Гималаи после Тамерлана...

— Со временем вы сами узнаете, ваше высочество, какую ясность, доходящую почти до осязательности, приобретает постепенно план, который человек долго вына-

шивает в своем воображении. После вашего рождения ваш отец достиг апогея своего счастья. У него оставалась тогда только цель: заставить царя силой сделать то, на что он не мог подвигнуть его словами. 24 июня 1812 года император объявил России войну, но решение о ее начале он принял гораздо раньше,— ровно за год до объявления. В мае император призвал к себе в Тюильри генерала Лебастарда де Премона, на преданность которого мог вполне положиться.

Для всех причина русского похода составляла тайну, и называли его не иначе, как второй польской войной. Секрет свой император открыл только генералу Лебастарду де Премону.

— Генерал,— сказал он ему,— вы должны ехать в Индию.

Генерал подумал, что впал в немилость, и побледнел, но император протянул ему руку и сказал:

— Если бы у меня был брат, такой же умный и храбрый, как вы, генерал, то поручение, которое я теперь возлагаю на вас, я передал бы ему. Но выслушайте меня до конца, а затем — имеете право даже и отказаться.

Генерал поклонился.

— Для вашего величества я с радостью отправлюсь на край света,— сказал он.

— Вы поедете в Индию и поступите на службу к одному из магараджей Синда или Пенджаба. Вашу храбрость и организаторский талант я знаю, значит, через год вы будете генерал-аншефом тамошней армии.

— И что же я должен сделать, государь?

— Вы станете ожидать меня.

Генерал пошатнулся от удивления. Император так много думал о своем плане, что считал его уже осуществленным.

— Ах, да! — заметил он, улыбаясь.— Вы не знаете моего плана, а необходимо, чтобы вы знали его, генерал.

На столе перед ним лежала его любимая карта Азии.

— Подойдите,— сказал он.— Так вам будет понятнее. Я объявляю войну России, перехожу Неман с пяти-соттысячной армией и двумястами пушек и вступаю в Вильну, не сделав ни единого выстрела. После этого я возьму Смоленск и двинусь по направлению к Москве. Под стенами старой столицы я дам большое сражение вроде Аустерлица, Эйлау или Ваграма, уничтожу русскую армию и вступлю в город и там-то и продиктую условия мира. Этот мир будет началом войны с Англией, но войны,

которая будет вестись в Индии. Настанет день, когда вы услышите, что человек, владычествующий над стомиллионным населением на востоке, который увлекает за собою почти половину христианского мира и владения которого занимают девятнадцать градусов широты и тридцать градусов долготы, подступает к Хорассану, чтобы завоевать Индию. Тогда скажите вашему радже: «Этот человек — мой повелитель и ваш друг. Он идет сюда, чтобы поддержать прочность тронов индустанских властителей и уничтожить англичан от Персидского залива до устьев Инда. Зовите всех князей, ваших братьев, к восстанию и через три месяца Индия будет свободна!».

Генерал Лебастард де Премон смотрел на вашего отца с восторгом, доходившим почти до ужаса.

— Теперь, когда вы знаете мой план русской кампании, — продолжал император, — я раскрою вам план похода на Индию. Англия, разумеется, или выступит против меня, или же станет ожидать меня с пятьюдесятьютысячной армией, из которой тысяч восемнадцать или двадцать будет англичан, а остальные — туземцы. Повсюду, где я ни встречу эту англо-индийскую армию, я стану вступать с нею в бой, а повсюду, где встречу европейскую пехоту, стану оставлять за собою линию резерва, чтобы поддерживать линию передовую, если она дрогнет под натиском английских штыков. Но там, где будут попадаться сипаи, можно будет идти на эту дрянь, не обращая на нее внимания. Их можно заставить разбежаться просто кнутом или бамбуковой палкой. А раз они разбегаются, собрать их и построить нет уже никакой возможности. Англичане станут защищаться отчаянно. Я их знаю, — у них такой же девиз, как у 57-го полка: «Стою до смерти!» Мне предстоит дать второе большое сражение или в Лудианахе на Сетледже, или под Пассипутом, где уже белеет столько костей. Но при этом мне придется иметь дело всего с восемью или десятью тысячами европейцев, так как остальные будут перебиты в первом бою. Это будет делом нескольких часов и затем — все кончено! Для того, чтобы выставить против меня свежие силы, Англии потребуется целых два года, — один на формирование армии, второй — на ее обучение. Эти два года я проведу в Дели, восстановлю престол Великого Могола и подниму его знамя. Эта мера привлечет на мою сторону восемнадцать миллионов мусульман. Затем я подниму священное знамя Бенареса, объявлю его раджу свободным, и за меня, как один человек, станут тридцать мил-

лионов индусов по всей длине течения Ганга, Джумны и Брамапутры. Я наводню Индостан прокламациями самого поджигательного свойства. Моими апостолами будут факиры, дервиши, йоги, календеры, и все они станут от моего имени возвещать восстановление независимости Индии. Над своими орлами я выставлю надпись: «Мы пришли не завоевать, а освободить. Мы хотим восстановить справедливость между всеми. Индусы, мусульмане, раджпуты, гауты, маратхи, полигары, райи, набобы, изгоняйте притеснителей, берите обратно то, что вам принадлежало! Воспряньте, как было при Тимуре и Надире, и почерпните в долинах Индии и богатство, и жажду мести!» Из Дели, вместо того, чтобы идти на Калькутту, которая обратилась лишь в торговый центр с жалким трусливым населением, я двинусь через Агру, Гвалиори и Гандейх в Бомбей, вооружая население, устраивая раджиутские конфедерации, возвращая им их прежних вождей или ставя новых из их же семей. После взятия Бомбея я протяну руку к Низаму, превращу в вулкан Мейсур, пошлю одного из своих генералов взять Мадрас, а сам пойду в Калькутту и сброшу это гнездо со всем его населением, крепостями и камнями на дно Бенгальского залива!.. Хотите вы ехать в Индию, старый друг?

Генерал поклонился императору до земли и уехал.

Остальная его история очень проста. Он уехал из Франции под предлогом, что впал в немилость, высадился в Бомбее, пробрался в Пенджаб и встретился там с гениальным человеком — Рунжет Сингхом. Он происходил из незнатного рода, но уже за двенадцать лет до своей встречи с генералом был единодушно избран главой своих соотечественников, возвысил народ сикхов, сумел уберечь его от английского ига и постепенно окончательно воцарился в своем государстве, в состав которого входят Пенджаб, Мультиан, Кашмир, Пешевар и часть Афганистана. Генерал поступил к нему на службу и стал работать, чутко прислушиваясь к вестям со стороны Персии... Однажды он услышал великий шум. То был грохот от падения Наполеона. Он подумал, что все окончено, оплакал своего императора и стал заниматься собственными делами. Но в 1820 году я покинул Францию, поехал к нему и сказал:

— У того, кого вы оплакиваете, остался сын.

— Странное дело,— прошептал принц.— Я даже не знал их имен, а они, живя за три тысячи лье от меня, думали о моей будущности.

Он встал и протянул Сарранти руку.

— Какими бы ни были результаты такой упорной преданности,— проговорил он величаво,— благодарю вас и за отца, и за себя! А теперь скажите, как и когда расстались вы с моим отцом и о чем он говорил с вами в последние минуты?

Сарранти поклонился, как бы говоря, что готов отвечать и на это.

## IX

### УЗНИК СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

— Вы, вероятно, уже знаете, где находится Святая Елена и что она собой представляет, монсеньёр? — начал он.

— От меня столько скрывали, что я прошу вас говорить со мною так, как будто я ничего не знаю,— ответил юноша.

— Это — нагромождение угасших вулканов под экватором. В долинах — климат Сенегала и Гвинеи, но из расселины каждой скалы дует сухой и резкий ветер Шотландии. Для иностранцев, вынужденных жить в этом аду, жизнь продолжается не больше сорока — сорока пяти лет. Когда мы приехали туда, никто не запомнил, чтобы видел когда-нибудь на этом острове старика шестидесяти пяти лет. Мысль отправить туда гостя Беллерофона была истинно английская! Нерон довольствовался тем, что отправил Сенеку в Сардинию, а Октавию — в Лампедузу. Правда, он же заставил задушить ее в ванне, а учителю приказал вскрыть себе вены, но это все-таки было человечнее.

На острове жил тюремщик, и тюремщика этого звали Гудзон Лоу. Вы, вероятно, не удивитесь тому, монсеньёр, что видя, как страдает ваш отец, я задумал устроить его бегство. С этой целью я сошелся с одним американским капитаном, который привез нам из Бостона письма от вашего дяди, экс-короля Иосифа. Вместе с этим капитаном мы составили такой план бегства, который должен был удасться наверняка.

Однажды я пошел на охоту на диких коз, чтобы добыть императору свежего мяса, в котором он часто нуждался, и встретился с капитаном. Мы забрались в одно ущелье, окончательно договорились обо всех подробностях, и я решил в этот же вечер сообщить все



императору. Но каково же было мое удивление, когда с первых же моих слов он обрезал меня:

— Молчи, дурак!

— Да позвольте же мне, ваше величество, хоть рассказать вам все до конца, а отказаться у вас всегда будет время! — сказал я.

— Но зачем! Напрасный труд! Твой план...

— Что же мой план, ваше величество?

Император пожал плечами.

— Я знаю его не хуже тебя самого.

— Что вам угодно этим сказать?

— Ну, так слушай и постарайся понять. Бежать мне предлагают уже в двадцатый раз.

— И вы все отказывались?

— Разумеется.

Я молча ждал, что будет дальше.

— А знаешь ты, почему я это делал? — спросил император.

— Нет, не знаю.

— Потому что предлагала мне эти побегу английская полиция.

— О, на этот раз, клянусь вам, ваше величество!... — начал было я.

— Не клянись, Сарранти, а лучше спроси у Лас Казеса, кого он встретил вчера вечером в таинственной беседе с Гудзоном Лоу.

— Кого же это, ваше величество?

— Глуп же ты, мой милый! Да твоего американского капитана, который, по-твоему, мне так предан.

— Неужели?

— Уж не изволите ли вы сомневаться в моих словах, господин корсиканец?!..

— О, ваше величество, я уложил бы этого человека, даже не дожидаясь сегодняшнего вечера!

— Вот только этого еще недоставало! Это зачем, чтобы тебя повесили под моими окнами? Ведь тебе не оказали бы даже чести быть расстрелянным! Славный спектакль ты мне доставил бы!

В эту минуту в дверях появился Монтолон.

— Ваше величество, губернатор желает о чем-то переговорить с вами, — доложил он.

Император пожал плечами с выражением беспредельного отвращения.

— Пусть войдет, — сказал он.

Я хотел было уйти, но он схватил меня за пуговицу и удержал.

В комнату вошел сэр Гудзон Лоу.

Император ждал его, не оборачиваясь и не изменяя позы.

— Я пришел к вам жаловаться, генерал,— сказал ему губернатор.

Гудзон Лоу обыкновенно приходил только за этим.

— На кого? — спросил император.

— На господина Сарранти.

— На меня?! — вскричал я.

— Господин Сарранти позволяет себе ходить на охоту,— продолжал Гудзон Лоу.

— Это очень кстати, что вы на него жалуетесь,— перебил его император, ни мало не скрывая своего отвращения.— Я и сам хотел на него жаловаться.

Я смотрел на него с беспредельным удивлением.

— Да?! — протянул Гудзон Лоу, поглядывая на нас обонх.

— Да,— сказал император,— вот этот самый человек, которого вы перед собой видите и который считает себя моим преданнейшим слугою, не понимает, что мне гораздо интереснее и выгоднее жить, страдать и умереть здесь, перед лицом всей Европы и последующих поколений. Этому неблагодарному человеку здесь не нравится, и он поэтому воображает, что и мне здесь нехорошо, и всячески уговаривает меня бежать.

— А! Господин Сарранти уговаривает вас...

— Ну, да,— бежать. Это вас удивляет? И меня также. А между тем это так, и он даже сейчас еще развивал передо мной целый план бегства.

Я буквально дрожал, слушая эти слова.

— Просто невероятно! — вскричал губернатор, разыгрывая, что он очень удивлен.

— И это все-таки именно так, как я уже имел честь вам сообщить. Этот господин уговорился с каким-то американцем, капитаном,— ах, да, с тем самым, с которым вы беседовали вчера вечером! — что они помогут мне бежать, и он только что перед вашим приходом объяснял мне, как и что следует сделать.

Само собой разумеется, что губернатор был удивлен этим признанием гораздо больше, чем хотелось в этом ему признаться; но так как ему секрет этот был известен заранее, то ему и оставалось только верить, хотя причины такой внезапной откровенности императора он все-таки никак не мог понять.

Император тотчас же подметил его смущение.

— Я вполне понимаю, что вас удивляет, почему я выдаю вам тайну одного из моих преданнейших слуг, а его самого предоставляю в жертву вашей совершенно справедливой строгости. Но Сарранти — чистокровный корсиканец, вам, вероятно, известно упорство людей этой породы. Между тем вы уже сделали кое-какую чистку — отослали во Францию четырех или даже пятерых преданных мне людей: Пионтовского, Аршамбо, Каде, Руссо и Сантини. А, между нами, людьми зрелыми, решительными, признающими только волю провидения, Сарранти, воображающий, что может помогать ему творить волю свою, есть не что иное, как причина несчастий. Я уже раз двадцать хотел просить вас отправить его во Францию... Теперь вот представился случай, и я заявляю вам свою просьбу.

Император произнес последние слова таким голосом, что я ошибся, думая, что он дрожит от гнева на меня, а между тем это было только выражением глубочайшего презрения к нашему тюремщику.

Я бросился перед ним на колени.

— Государь! — вскричал я. — Возможно ли, чтобы вы сами требовали изгнания одного из самых преданных слуг ваших? Ведь родина моя там, где вы! В какую бы сторону меня ни отослали, если в ней не будет вас, она станет для меня тягчайшим изгнанием.

Губернатор смотрел на меня с жалостью. Он никогда не был в состоянии понять того, что называл «фетишизмом» по отношению к императору со стороны людей, которые его окружали.

— Да кто же говорит вам, что я сомневаюсь в вашей преданности! Напротив, я в ней глубоко уверен, — ответил мне августейший узник, — эта преданность доходит до того, что вы еще многие годы не примирились бы с жизнью на Святой Елене, если не для себя, то для меня. Благодаря этому вы делаетесь для нас источником не только непрерывных скандалов, но и вечного страха. Каждый раз, когда вы отсюда уходите, я смотрю на вас с тревогой, а когда вы возвращаетесь, я встречаю вас со страхом. Да вот вам для примера даже эта самая минута. Из-за вас такой важный человек, как господин губернатор, взял на себя труд обеспокоить меня визитом, который для него неприятен ровно настолько же, насколько и для меня. И все это только потому, что вы вообразили, будто человеку, который умел жить на бивуаках, как спартанец, питаюсь кусочком хлеба и каким-нибудь

корнем, пробавлялся в Италии блюдом поленты, в Египте — одним пилавом, а в России — и просто ничем, — вы вообразили, что такому человеку необходимо за обедом жарко́е, и отправились охотиться за дикими козами, что, разумеется, возбудило совершенно справедливое негодование господина губернатора. Вследствие всего этого я официально прошу господина Гудзона Лоу отправить вас во Францию. У вас есть сын, которого вы должны воспитывать. Отец гораздо нужнее ребенку, только начинающему жить, чем старику, который смотрит уже в могилу, хотя бы этот старик и был Цезарем, Карлом или Наполеоном. Я употребил слово «старик», разумеется, относительно, потому что в прекрасной стране, где люди не могут жить более пятидесяти лет, человек в сорок семь — уже старик. Итак, поезжайте во Францию, а я — останусь жив или умру — все-таки никогда не забуду, что вынужден был отослать вас только за то, что вы меня слишком горячо любили.

Эти последние слова были произнесены с таким волнением, что, только благодаря их интонации, я начал понимать если не настоящий смысл слов императора, то, по крайней мере, состояние его духа.

Я поднял голову и взглянул ему в лицо, а его прекрасные глаза, устремленные на меня, досказали мне все остальное.

Что касается губернатора, то он не понимал во всем этом ничего, кроме возможности отнять у императора еще одного из его преданных слуг, отсечь еще одну ветвь у могучего дуба, некогда покрывавшего своею тенью всю Европу.

— Генерал Бонапарт серьезно желает отослать этого человека во Францию? — спросил он.

— Разве я похож на человека, который хочет шутить? — возразил император. — Я положительно и серьезно прошу, чтобы меня освободили от Сарранти, который стесняет меня здесь тем, что любит слишком усердно. Понятно?

Такого рода милости тюремщик Святой Елены оказывал своему узнику всегда с величайшим удовольствием. Так и на этот раз он тотчас же объявил, что послезавтра я должен сесть на судно Джеймстоунской компании, которое высадит меня в Портсмуте.

Император сделал мне знак. Я понял, что он желает, чтобы я ушел. Не знаю, что было сказано после меня, но четверть часа спустя после ухода сэра Гудзона Лоу

ко мне пришел генерал Монтолон и сказал, что меня зовет к себе император.

Я вошел. Наполеон был один. Первым моим движением было броситься перед ним на колени. Перед этим человеком все было тростником, который гнулся под дуновением его любви или гнева!

— О, государь! — вскричал я. — Чем мог я заслужить такое распоряжение? Вы прогоняете меня.

Я с мольбой протянул к нему руки.

Но он наклонился ко мне и улыбнулся. О, как несчастлив сын, который знает улыбку такого отца только по чужим рассказам, ваше высочество!

— Поди-ка сюда! — сказал он. — Значит, ты на всю жизнь останешься дураком? Иди сюда и слушай!

Ваш царственный отец всегда, когда бывал в духе и особенно милостив ко мне, то говорил со мною, перемешивая французские слова с итальянскими.

От одной этой фразы я окончательно успокоился.

— Значит, ваше величество переменили намерение отослать меня от себя? — спросил я.

— Напротив, я стою на нем еще тверже, чем когда-либо.

— Следовательно, у вашего величества все-таки есть причина быть недовольным мною, но вам не угодно сказать ее?

— Уж не воображаешь ли ты, несчастный корсиканец, что я взял бы на себя труд хитрить с тобою? Нет, напротив, прямо объявляю тебе, что не могу нахвалиться твоей преданностью.

— А между тем я все-таки должен уехать?! — вскричал я.

— Да и немедленно.

— Но зачем же вы отсылаете меня, ваше величество?

— Заметь, что здесь ты мне бесполезен, а во Франции ты мне можешь пригодиться.

— Наконец, я, кажется, начинаю понимать, ваше величество! — воскликнул я радостно.

— Именно: наконец!

— Приказывайте, государь.

— Твоя правда, — времени терять нечего, потому что никто не может поручиться за то, что тебя сейчас же не схватят.

— Я слушаю, ваше величество, не забуду ни одного вашего слова и не забуду ни одного вашего приказания.

— Ты проедешь прямо в Париж, увидишься с Клозелем, Башелю, Фуа, Ламарком, одним словом, со всеми теми, кто не продался ни иностранцам, ни Бурбонам.

— Что прикажете сказать им?

— Что ты прожил на Святой Елене целый год вместе со мною; что это,— продолжал он с оттенком величайшей горечи,— истинный рай земной, сад, в котором цветы никогда не увядают, деревья вечно зелены и приносят чудные плоды, а светлоструйные ручьи, журча и играя, утоляют жажду сладкогласных птиц.

Я смотрел на него с величайшим удивлением.

— Да разве не так говорили они и даже писали о Святой Елене? Разве они не уверяли, что этот остров, на котором смерть втягивается человеком с каждым его дыханием,— не что иное, как волшебный уголок? Разумеется, это делалось для того, чтобы сын мой думал, что я живу здесь потому, что мне здесь хорошо, что прелести климата заставили меня позабыть обо всем остальном.

— Так зачем же остаетесь вы здесь?! — вскричал я.— Зачем не попытаетесь, по крайней мере, бежать?

— Эх ты, глупец! — проговорил император добродушно.— Да потому, что смерть моя на этом острове будет достойным венцом всей моей жизни. Сидя на троне, я основал бы только династию, а умирая здесь,— я создаю целую религию. Александр, Цезарь, Карл Великий были только завоевателями, но мучеником не был ни один из них. Что дало Прометею его вечную славу? Вовсе не то, что он сделал человека разумным и свободным и не то, что он унес с неба священный огонь, а то, что Сила и Насилие, эти палачи Рока, приковали его к горам Кавказа. Так оставь же меня на моем Кавказе и возвратись во Францию, но возвратись как апостол и возвести все, что ты видел.

— Но вы-то, вы-то, ваше величество!

— Я умру здесь. Это уже решено между мною и Богом. Погубить Англию физически через Индию — мне не удалось, зато я погублю ее нравственно в глазах истории. Теперь дело уже не во мне, Сарранти, а в моем сыне. Я молил о нем как о наследнике, и Бог дал мне его. Я любил его как своего ребенка, но Бог отнял его у меня в одно время с империей, и я забываю империю для того, чтобы думать только о нем. Ради него посылаю я во Францию и тебя. Поезжай и повидайся с моими верными генералами. Они готовят мое возвращение, но они ошибаются. Они смотрят в ту сторону, где солнце

уже заходит, а это опять ошибка. Пусть лучше обернутся туда, где загорается новая заря,— не к Святой Елене, а к замку Шёнбрунн. Но пусть они действуют осторожно, не рискуя скомпрометировать этого несчастного ребенка, и только тогда, когда будут уверены, что имя Наполеона II не пополнит собой списка Астианаксов и Британиков.

Голос и лицо императора приняли при этом выражение такой беспредельной родительской нежности, что я глубоко сожалею о том, что не могу передать ее вам, ваше высочество.

— Ты счастливее меня, Сарранти,— ты его увидишь, ты увидишь голову, на которую я посылаю все мои благословения,— продолжал он.— Это награда, которую я предоставляю тебе за твою преданность. Ты отдашь ему вот эти волосы и это письмо. Ты скажешь ему, что я поручил тебе обнять его, и в тот момент, когда к тебе прикоснутся его губы, ты можешь подумать: «Вот поцелуй, за который император отказался бы от своей славы, узник — от последнего остатка жизни!»

Юноша и воин-фанатик опять горячо обнялись, оба горько рыдая.

Несколько минут оба молчали под влиянием порыва беспредельной любви к одному и тому же человеку. Сарранти опомнился первый и стал пристально рассматривать юношу.

Когда принц поднял голову, глаза преданного слуги сияли радостью,— он был доволен наружностью своего молодого повелителя. Он пожалел в душе, что с ним не было старого генерала Лебастарда де Премона, чтобы и тот мог полюбоваться им.

— Еще раз благодарю вас за все те скорбные радости, которые вы заставляете меня переживать,— сказал принц, пожимая ему руку.— Теперь скажите мне, что было с вами самим с тех пор, как вы расстались с моим отцом.

— Дело не во мне, монсеньёр,— ответил Сарранти,— и с моей стороны было бы преступлением терять дорогие минуты на изложение моей истории.

— Мосье Сарранти,— сказал Рейхштадт мягким, но твердым голосом, от звука которого корсиканец вздрогнул, так он был похож на голос его прежнего повелителя,— минуты, которые вы так боитесь потерять, самые счастливые из всего до сих пор мною пережитого времени, а потому я прошу вас продлить их как можно дольше и ответить мне на все мои вопросы.

Сарранти покорно поклонился.

— Я читал в газетах,— продолжал принц,— что вы были скомпрометированы участием в заговоре, который составлялся с целью возвратить меня во Францию. С тех пор прошло уже лет семь. По некоторым со злым умыслом написанным брошюрам, я узнал имена нескольких мучеников. Прошу вас, расскажите мне правдивую историю их борьбы, жизни и смерти. Не скрывайте от меня ничего! Мне кажется, что ум мой уже способен понять все, а сердце все перечувствовать. Так не смягчайте же горькую правду. Я уже давно мечтаю о такой беседе и давно готов ко всему.

Неутомимый заговорщик подробно рассказал ему о заговоре, вследствие которого он принужден был в 1820 году бежать из Франции, затем заговорил о Пенджабе, о дворе гениального Рунжет Сингха, о своей встрече с генералом Лебастардом де Премоном и о том, как он вестью о существовании сына утешил его горе, вызванное смертью отца. Наконец, он рассказал и о том, что с тех пор у них обоих одна мысль и одна цель, ради которой они приехали в Вену: возвести на престол Наполеона II.

Принц слушал его с восторгом, однако, и не без тревоги.

— Теперь мы стоим лицом к лицу,— сказал Сарранти.

— Но скажите мне, какими средствами располагаете вы для осуществления вашего плана?

— Их два вида, ваше высочество: средства нравственные и средства физические. Наши физические средства заключаются в кредите из дома Акроштейна и Эскелеса в Вене, Гротюса в Амстердаме, Баринга в Лондоне и Ротшильда в Париже, все это вместе составляет сумму, превышающую сорок миллионов. Кроме того, на нашей стороне шесть полковников, ручающихся за преданность своих полков. Два из них войдут в состав парижского гарнизона с 15 февраля. На нашей же стороне и все генералы империи. Что касается средств политических, то в Польше, Германии и Италии скоро вспыхнут страшные возмущения. Нечто подобное должно произойти и во Франции, и тогда...

— Но Франция... Франция? — спросил принц, чтобы заставить Сарранти возвратиться к точке, на которой были сосредоточены его собственные взоры.

— Следили ли вы, ваше высочество, за направлением умов?



— Как мог бы я это сделать, если между мною и правдой постоянно держат темную завесу? До меня доносятся только какие-то проблески да неясные слухи.

— О, в таком случае понятно, что вашему высочеству неизвестно, до чего нам благоприятствует настоящее время. Революция неизбежна, и если она вспыхнет не во имя ваше, то во имя другого человека, принца Орлеанского, или во имя идеи, т. е. республики.

— Значит, Франция недовольна?

— Она больше чем недовольна, она унижена.

— А между тем все-таки молчит и сгибается?

— Да, но как сталь. Франция не простит Бурбонам вторжения 1814 г. и оккупации 1815 года. Последние запалы Ватерлоо еще не сожжены, и французы ждут только случая, предлога, чтобы взяться за оружие. Правительство же точно о том только хлопочет, чтобы дать им этих случаев как можно больше: то своими законами о старшинстве, то угнетением печати, то законами о жюри. Следовательно, потребность возмущения привяжется к первому попавшемуся предлогу, а мы, имея опору в вашем имени, дадим ему и смысл, и направление.

— Но чем вы мне докажете, что во Франции действительно расположены в мою пользу? — спросил Рейхштадт.

— Чем докажу, ваше высочество? О, не будьте же неблагодарны в отношении этой матери, которая боготворит вас! Доказательство?! А непрерывные заговоры, начиная с 1815 года? А голова Дидье, павшая в Гренобле! А головы Толлерона, Пленьи и Ларбонно, отрубленные в Париже, а головы четырех рошельских сержантов, скатившиеся в Греве, Каррон, расстрелянный в Страсбурге, Тан, вскрывший себе вены в тюрьме, Демонкур, бежавший на берега Рейна, Каррель, переправившийся через Бидассоа, Манури, нашедший убежище в Швейцарии, Пти-Жан и Бом, спасшиеся в Америке... Наконец, разве вам неизвестна эта страшная ассоциация, которая зародилась в Германии под названием «иллюминизма», перешла в Италию под именем «карбонаризма» и таится теперь и в Париже под названием «угольщиков».

— Я постараюсь доказать вам, что знаю все это, — сказал принц, — знаю, может быть, смутно, но настолько, насколько мог узнать. Да, я знаю имена всех этих мучеников, но разве все они умирали за меня? Разве некоторые из них агитировали не в пользу герцога Орлеанского? Например, Дидье. Другие же, такие как Демонкур и Каррель, погибли за республику.

У Сарранти вырвалось невольное движение.

Принц подошел к своей библиотеке, достал с потайной, скрытой за другими полки несколько книг и брошюр и вернулся с ними на свое место. Усевшись, он выбрал из них один небольшой том и передал его Сарранти.

Тот взял и вслух прочел заглавие:

«Защитительная речь, произнесенная 29-го августа 1822 года адвокатом Маршанжи перед заседанием ассизов Сены по делу о заговоре в Ла-Рошели».

— Неизвестно, кто доставил мне эту брошюру ровно через восемь дней после произнесения речи,— сказал принц.— И знаете, что я извлек из этого чтения, Сарранти?

— Нет, ваше высочество.

— Для меня стало ясно, что ни в одном из этих заговоров не было определенной, строго обдуманной цели. Я принадлежу к числу людей умеренных и не способен на пылкие увлечения, свойственные французам и корсиканцам. Особенной склонности к позитивным наукам во мне тоже нет, но думаю я математически. Пожалейте меня, что я похож, скорее, на сына севера, чем на южанина,— воск во мне французский, но печать тевтонская. Да, так повторяю вам, во всех этих заговорах не было зрело обдуманной цели. Я и сам вижу, что мысль о революции наполняет все головы, а стремление к свободе волнует все сердца, знаю и то, что хотят свергнуть правление Бурбонов. Но что хотят поставить на его место? Какой порядок водворят после разгрома? Этого я не вижу и не понимаю.

— Не подлежит сомнению, ваше высочество, что теперешние порядки будут заменены империей.

— О, Сарранти! — произнес юноша, покачивая головою.

— Повторяю, что в этом никто не сомневается, ваше высочество,— убежденно повторил Гаэтано.

— Никто, кроме меня,— сказал Рейхштадт,— а в том положении, в котором мы находимся,— это что-нибудь да значит.

— Да, но это наговорили вам дед ваш, Франц II и князь Меттерних.

— Нет, не они, а адвокат Маршанжи.

— Откройте наугад любую страницу, ваше высочество, и сами увидите, с каким восторгом встречалось имя Наполеона II населением Ренна, Нанта, Сомюра, Туара, Вернейля и Страсбурга.

— Хорошо, откроем и посмотрим,— согласился принц. Он взял и раскрыл книгу на первой попавшейся странице.

— Ну, вот вам страница 212-я. Слушайте:

«Определенного решения не состоялось, потому что большинство колебалось в выборе между двумя формами правления...»

— Как видите, я попал неудачно,— сказал Рейхштадт,— перевернем страницу.

Он перевернул несколько листков и снова прочел: «Одни желали республики, другие — империи».

— Ага! Вот видите, ваше высочество,— «а другие империи»,— с живостью подхватил Сарранти.

— Но кто говорит «другие»,— не сказал, что все. Эти «другие» не составляют всей Франции!.. Однако посмотрим дальше. «Одни хотели возвести на престол кого-нибудь из иностранных принцев»...

— Ну, это были плохие граждане своей страны.

— «Другие желали выбрать государя из самой среды народа». Итак, вы сами видите, Сарранти, что на нашу долю остается лишь одна четвертая часть народа. Почитаем дальше. «Таким образом, окончательно определенной цели не существовало, а это обстоятельство неминуемо должно было погубить все дело, потому что прежде, чем приступать к разрушению, необходимо знать, что именно следует созидать».

— Я только что говорил вам это и почти в тех же самых выражениях. Я даже сожалею, что прочел речь этого адвоката, но его мнение только еще больше укрепляет мое. «Для того, чтобы крикнуть: «Долой существующий порядок!», необходимо заранее знать, какой новый строй заменит старый и будет ли он лучше его».

— Разумеется, это ведь не больше, чем перечень партий, но даже и он доказывает, что большинство населения Франции стремится вовсе не к империи.

— Ваше высочество,— с жаром заговорил Сарранти,— я не могу не признать, что мысль, главным образом распространенная во Франции, есть мысль о революции, а главное политическое чувство народа составляет ненависть к Бурбонам. Все стремятся прежде всего разрушить, как человек, мучимый кошмаром, прежде всего старается проснуться. Но стоит только явиться во главе толпы хорошему вождю, и каждый бросится на восстановление того, что он укажет. Что такое государь, избранный из среды народа, если не император? Да что такое

и сама республика, как не та же империя, переряженная в лоскутья избирательства и имеющая во главе того же императора, которого только называют выборным консулом? Что же касается разговоров об иностранном принце, то кого же могут подразумевать под ним, как не вас, ваше высочество? Вы воспитывались на чужой стороне, а как только возвратитесь на родину, тотчас же докажете, что не переставали быть французом. Вы изволили сказать, что судите логично и математически. Тем лучше! Вы находите, что у революции нет определенной цели, а я скажу вам, что ей не хватает только вождя. Накануне 18-го брюмера у нее также не было определенной цели, а на другой день цель эта олицетворилась в лице вашего отца. Повторяю, ваше высочество, что вам сто́ит только назвать себя, и все истинные патриоты Франции поднимутся, как один человек, вам сто́ит только явиться — и все мнения перемешаются и претворятся в одно общее увлечение. Так назовите же себя и явитесь, ваше высочество!

— Сарранти! Сарранти! — вскричал Рейхштадт. — Берегитесь той ответственности, которую вы берете на себя в будущем! Что будет, если мне не удастся, если я разыграю роль Карла-Эдуарда, если я омрачу память о моем отце, если я унижу великое имя Наполеона? Иногда я даже рад, что у меня отняли это имя, благодаря этому оно не померкнет постепенно. Судьба грянула на него грозой, и оно мгновенно потухло среди этой бури! Сарранти, Сарранти, верьте, что, если бы мне дал подобный совет кто-нибудь другой, а не вы, — я не стал бы его слушать ни минуты!

— Ваше высочество! — в свою очередь вскричал корсиканец. — Я в этом случае не больше, чем эхо голоса вашего отца. Он сказал мне: «Выви моего сына из рук человека, который изменил мне», — и я пришел за вами. Император сказал мне: «Возложи на голову моего сына корону Франции», и я являюсь к вам и говорю: «Государь, давайте вернемся в дорогой для нас Париж, с которым вы не хотели расставаться».

— Молчите! Молчите! — прошептал юноша, испугавшись и совета, который ему давали, и титула, которым его величали.

— Да, ваше величество, — продолжал Сарранти, — в этой тюрьме, где вы переживаете такие муки, только и следует молчать. Но близко то время, когда мы при радостных лучах солнца прокричим ваше имя такими

голосами, что его подхватит самый океан и, передавая от волны к волне, донесет до могилы вашего отца. Так взломайте же свои кандалы, ваше высочество, сбросьте свои цепи и — прочь отсюда!

— Сарранти,— проговорил Рейхштадт таким твердым голосом, что было ясно видно, что он решил и от решения своего уже не отступится,— выслушайте меня, добрый, преданный друг. Допустим, что я даже и решусь последовать за вами, но перед таким важным решением необходимо еще о многом и много говорить с вами. Мне необходимо сделать вам еще много возражений, которые вы, по всей вероятности, легко разобьете. До настоящей минуты все мое самолюбие ограничивалось мечтой добыть военную славу в армии. И вот теперь я должен мечтать о троне, да еще о каком,— о троне Франции. Взгляните же на путь, который вы заставили меня пройти в какие-нибудь несколько часов! Какой гигантский шаг мы совершили за короткое время! Дайте мне одуматься и успокоиться в течение завтрашнего дня, Сарранти. За это время, оставаясь в полном уединении, я приучу себя к мысли, что должен взять в руки оружие отца, и надеюсь, что там, где вы теперь видите ребенка, вы найдете уже мужчину. Но сегодня, друг мой, сердце мое переполнено такими противоречивыми чувствами, что я решительно не в состоянии говорить с вами с тем хладнокровием, которое необходимо для принятия такого обширного плана. От имени отца прошу вас, дайте мне только одни сутки на размышление!

— Вы совершенно правы, ваше высочество,— проговорил Сарранти сильно дрожащим голосом.— Признаюсь, что и сам я увлекся. Идя сюда, я хотел говорить с вами только о вашем отце, а вместо того заговорил о вас самих.

— Так до послезавтра, друг

— Да, и в такое же время, ваше высочество.

— Хорошо. Принесите с собой список имен полковников и полков, на которые вы рассчитываете, а также почтовую карту Европы. Мне хочется иметь понятие о расстоянии, которое нам предстоит сделать. Одним словом, приходите с хорошо обдуманном планом побега и изложите его в нескольких строках.

— Ваше высочество, есть одна особа, поехать к которой, чтобы поблагодарить ее, я не смею, чтобы не возбудить подозрений,— сказал Сарранти.— Вы увидите ее раньше, чем я. Умоляю вас: поблагодарите ее от моего

имени и передайте ей, что, кроме вас, моя жизнь принадлежит только ей.

— Хорошо,— ответил принц, слегка краснея.

На прощанье он протянул Сарранти руку, но тот вместо того, чтобы пожать ее, почтительно поцеловал, как целовал на острове Святой Елены руку императора.

## Х

### КОМИССИОНЕР С УЛИЦЫ ФЕР

Улица Фер, прежде называвшаяся улицей Февр, проходила в то время да проходит еще и теперь, так как ее еще окончательно не сломали, между рынком Пуаре и улицей Ленжери, вдоль рынка де'Иноссан параллельно улице Ферроньери. Она представляла собой нечто вроде реки фруктов, цветов и овощей, плывущих между берегов, правый из которых состоял из кабаков, а левый — из мелких рыночных лавчонок. В тот период времени, о котором мы рассказываем, она не была лишена той живописности, которую совершенно утратил наш теперешний, по шнуру вытянутый, набеленный и затянутый в корсет Париж.

Толпа, стремившаяся вдоль нее — с одной стороны под лучами яркого солнца, а с другой — в тени высоких домов, носила тот характер, который поражает на картинах фламандских мастеров.

Было около десяти часов утра. Погода стояла истинно майская,— весна проглядывала всем своим розовым ликом, вырывавшимся из-за мрачной завесы зимы.

Весь рынок во всю свою длину был залит золотым солнечным светом. Толпа бессознательно радовалась этому всеобщему возрождению жизни и оглашала чуткий воздух то веселым говором, то громким криком, то раскатистым, искренним хохотом.

Да и, действительно, было отчего петь, хохотать и кричать. Обыкновенно мрачный, скучный и серый в течение шести месяцев рынок сегодня впервые облекся в свою летнюю одежду подснежников, фиалок и роз. Покупателей, торговцев и прохожих — всех одинаково влекли головки этих благоуханных детей весны.

Более всех наслаждался этим возрождением природы молодой человек, который лежал во всю длину своего высокого роста, прислонясь к стене, между окном и дверью одного кабака и задумчиво смотрел на фонтан де'Иноссан.

Он был с ног до головы одет в черный бархат, а черными прекрасными глазами и небрежной позой, в каждой линии которой сказывалось выражение безграничной неги от солнечного тепла, он напоминал одного из сладострастных лаццарони с набережной Мергеллен или Санта Лючии.

Но при более внимательном взгляде каждый раскаялся бы в том, что принял этого человека за одного из беззаботных неаполитанцев, на лицах которых обыкновенно не отражается ничего, кроме лени и склонности к земным наслаждениям.

И действительно, стоило только взглянуть на мужественную красоту и на выражение прекрасных глаз этого человека, чтобы тотчас понять, что он был не такой комиссионер, какие его окружали. Красота лица, изящество фигуры, наконец, оригинальность роскошного костюма,— словом, все с первого же взгляда обличало в нем того самого таинственного господина Сальватора, которому суждено было стать героем нашего рассказа.

С утра он уже исполнил два или три комиссионерских поручения, в работе он никогда не нуждался и, что особенно характерно, получал ее, по большей части, от женщин. Трудно сказать, почему это складывалось так,— вследствие ли той почтительной, почти униженной вежливости, с которой он обращался с женщинами, или же вследствие его красоты, но большую часть практики Сальватору всегда поставлял прекрасный пол. С другой стороны, совершенно справедливо и то, что все, что ему ни поручалось, он исполнял с замечательным проворством, точностью и тактом.

На взгляд случайного наблюдателя, Сальватор, привольно лежа у стены, просто смотрел на фигуры фонтана, на которые, в сущности, нечего было и смотреть, так все парижане привыкли к ним с детства, или же предавался одному из тех мечтаний, которые делают человека одиноким даже и среди самой густой и оживленной толпы.

Однако для людей, знающих Сальватора, стало бы мгновенно ясно, что он не рассматривал фонтан, не мечтал, а слушал и наблюдал. Он присматривался ко всему, что происходило вокруг него, чтобы в данную минуту суметь найти необходимую разгадку тайны, которая часто превращала его в глазах людей непосвященных в нечто вроде чародея.

Между тем это был человек вовсе не идеи, а дела,

он больше действовал, чем мечтал, а если иногда и казалось, что он мечтает, то в эти минуты он, как искусный машинист, только осмысливал перемену декораций или задумывал какую-нибудь неожиданную выходку, способную произвести нужные ему изменения в сложившейся ситуации.

Кроме того, несмотря на видимое бездействие, ему было бы весьма неудобно предаваться мечтам, если бы даже ему этого и хотелось. Не проходило и пяти минут без того, чтобы кто-нибудь не подбегал к нему и не заговаривал с ним.

— Вам что-нибудь нужно?

— Да.

— Так обратитесь к мосье Сальватору.

— А где он? Я его-то и ищу.

— Да вон он там.

— А! Мосье Сальватор!

И недоумевающий обыватель спешил рассказать оригинальному комиссионеру все свои юридические, медицинские, политические или нравственные затруднения, а у Сальватора был всегда наготове юридический, медицинский или политический совет; так что человек, который к нему обращался, уходил или с необходимыми ему сведениями, или с надеждой, или с утешением.

Он всегда и с одинаковым усердием служил и обывателям своего квартала, и торговцам, и торговкам рынка, и даже прохожим — судьей и экспертом, и доктором, и карателем несправедливостей. Одним словом, мосье Сальватор был Соломоном своего рынка.

Со всех сторон только и слышалось:

— Мосье Сальватор! Мосье Сальватор!

Прохожие, как и Жан Робер, спрашивали одного из гарсонов своего рынка:

— Что это за мосье Сальватор?

Гарсон был, видимо, озадачен.

— Мосье Сальватор, — лепетал он, — ах, Господи!.. Да это и есть мосье Сальватор!

Большого добиться было трудно, и прохожему оставалось довольствоваться только этим ответом.

Но если он настаивал, и если мосье Сальватор был в этот момент на своем постоянном месте, то ему просто указывали на молодого человека, и взгляд его обыкновенно заставлял его в те минуты, когда он старался примирить ссору, подавал милостыню искалеченному нищему или вдове с уродливым ребенком или же выводил на общее



сострадание несколько калек, которые без него не могли бы передвигать ноги.

Таким образом, все население рынка было обязано ему: один — советом, другой — поддержкой, третий — назидательным упреком, так что полицейские комиссары, если не могли ничего разобрать в показаниях своих подчиненных, обращались за сведениями к комиссионеру Сальватору или же — еще того проще — отсылали своих беспокойных клиентов прямо к нему.

Двадцать третьего марта 1827 года, около десяти часов утра, Сальватор лежал и раздумывал в одиночестве, но отдых этот продолжался недолго.

Из дверей кабака, у стены которого лежал Сальватор, вышли молодой человек и девушка. Щеки обоих были красны, глаза светились, как солнечные лучи, которые охватили их, как только они появились в амбразуре двери.

Глаза молодого человека остановились на Сальваторе, который его не видел, так как лежал к нему спиною.

— А! Мосье Сальватор! — вскричал он с удивлением, смешанным с радостью.

— Мосье Сальватор? — переспросила девушка. — Кажется, я уже слышала где-то это имя!

— Можешь даже прибавить, что и видела его в лицо, княгиня, хотя, по правде сказать, ты была очень занята в тот день, а люди видят сквозь слезы неважно.

— Ах, так это было в Медоне! — вскричала девушка.

— Да, в Медоне.

— Хорошо, но скажи же мне, кто такой этот мосье Сальватор? — проговорила она уже шёпотом.

— Как видишь, это просто комиссионер.

— А знаешь что? У этого комиссионера вид очень порядочный.

— К твоим словам я могу прибавить только то, что душой он еще лучше, чем с виду, — прибавил молодой человек.

Он сделал полуоборот и встал напротив комиссионера.

— Здравствуйте, мосье Сальватор! — сказал он, протягивая руку.

Сальватор приподнялся на локте, как паша, которому предстоит дать аудиенцию, и затем, с видом человека, которому по его образованию равны все смертные, спокойно ответил на рукопожатие.

— Здравствуйте, мосье Людовик, — сказал он.

И, действительно, то был доктор Людовик, который

заходил познакомиться с кабаком «Золотые раковины», о котором носились слухи, что там подаются самые свежие устрицы и лучшее шабли во всем Париже.

— Очень рад, что застаю вас среди ваших привычных занятий,— продолжал Людовик.— Мне именно этого и хотелось, чтобы уверовать, что вы не какой-то переряженный принц.

— Я, со своей стороны, тоже очень рад, что встречаю вас,— отвечал Сальватор, впадая в тон любезности Людовика,— рад потому, что пожать руку хорошего, умного, талантливого и сердечного человека — всегда доставляет удовольствие, а кроме того, вы можете сообщить мне некоторые новости и о несчастной Кармелите. Ну, какова она?

Людовик едва заметно пожал плечами.

— Ей лучше,— сказал он.

— Лучше — еще не значит, что она спасена,— возразил Сальватор.

Людовик протянул руку по направлению солнечного луча, который освещал прекрасную головку его спутницы.

— Я надеюсь, что вот это будет больше всего содействовать ее выздоровлению,— сказал он.

— Да, физически — это несомненно,— согласился Сальватор,— но нравственно? Сколько лет потребуются на восстановление здоровья этой бедной девочки?

— То есть, чтобы забыть?

— О, нет! Мне стоило только один раз взглянуть на нее, чтобы знать, что забыть она не способна.

— В таком случае, чтобы утешиться?

— А разве вы не знаете, доктор, что люди особенно скоро утешаются в несчастиях, для которых нет искупления? — спросил Сальватор.

— Знаю. Один поэт сказал:

Ничто не вечно в мире,

И даже горю есть свои пределы!

— Это было мнение поэта. А что думает доктор?

— Доктор думает, почтеннейший мосье Сальватор, что натурам возвышенным не следует презирать чужое горе, как это делают пошляки. Горе есть один из элементов природы, одно из средств усовершенствования в руках Божьих. Сколько людей, поэтов и артистов, осталось бы в неизвестности, если бы их не посетило великое горе или поразительное уродство, Байрон имел несчастье родиться хромым, и Байрон обязан, если не своим гением, так как гений всегда происходит с неба,—

то его проявлением своей хромоте. Кармелита же будет, подобно Байрону, если не великим поэтом, то великой артисткой,— Молибран или Пастой, а может быть, чем-нибудь даже еще бóльшим, потому что ей пришлось страдать. Была бы она счастлива с Колombo? Вот вопрос, на который никто не может дать ответа. Но то, что без него она может быть знаменита,— на это могу смело и утвердительно ответить даже я.

— Да, но покуда?

— А покуда возле нее есть врач гораздо искуснее меня.

— Искуснее вас? Позвольте мне в этом усомниться, доктор. Кто этот врач?

— Молоденькая девушка, которая, к счастью, не знает ни одного слова в медицине, но зато прекрасно говорит все слова самоотвержения, преданности и ласки, которыми скорее всего исцеляют страдающие сердца. Это одна из ее сверстниц по институту Сен-Дени, и зовут ее Фражола.

Сальватор улыбнулся и покраснел, когда назвали имя любимой им девушки.

Но особа, которую держал под руку Людовик, как истинная женщина, не могла выдержать, чтобы он хвалил другую женщину. Она надулась и так крепко ущипнула его, что он невольно вскрикнул.

— Ой, Господи! Да что с тобою, Шант-Лиля? — вскрикнул он.

При этом имени Сальватор, который до сих пор не обращал на спутницу доктора внимания, частью из скромности, частью из небрежности, вдруг повернулся к ней и посмотрел на нее добродушно и ласково.

— Ах, так это вы мадемуазель Шант-Лиля? — сказал он.

— Точно так,— ответила девушка, просяив от гордости, что ее имя известно интересному комиссионеру.— А разве вы меня знаете?

— Я знаю, если не вас лично, то ваше имя и присвоенные вам титулы.

— А! Слышишь, княгиня?! Так вы знаете и ее титулы? Да как же вы их узнали?

— Потому что слышал, как ее прославляли вассалы княгини де Ванвр.

— Это Камилл ее так прозвал,— сказал Людовик.

— Камилл Розан? Вы ничего о нем не слыхали, княгиня? — спросил Сальватор.

— Клянусь честью, ничего не слыхала, да и слышать не хочу! — воскликнула девушка.

— Это почему? Уж не воображаешь ли ты, что я стану ревновать тебя к нему?! — сказал Людовик.

— О, успокойтесь, милостивый государь! Я отлично знаю, что вы мне этой чести не окажете. Ах, графиня де Баттуар говорила правду!

— А что говорила графиня де Баттуар? — спросил Сальватор.

— Она сказала: «Никогда не доверяйся англичанам, — они все дурные, никогда не доверяйтесь американцам, — они все...»

— Ну, дальше. дальше, княгиня! Отлично! Вы этак перессорите Соединенные Штаты с Францией.

— Ах, да! Я совсем было забыла про графиню де Баттуар!

— А где она?

— Она ждет или, по крайней мере, должна ждать меня у заставы Святого Якова. Она перевязывает там раны своего дяди. Ну, бери фиакр и вези меня туда, куда обещал отвезти.

— А! Уж не думаете ли вы, княгиня, что у меня золотые горы?

— Еще бы! У доктора, который лечит миллионеров, денег куры не клюют.

— А в самом деле, мосье Людовик, кажется, жители Ба-Медона и Ванвра готовы построить храм Эскулапу-целителю.

— Верите мне или нет, мосье Сальватор, но я, кажется, оказал человечеству плохую услугу тем, что помешал этому Жерару отправиться на тот свет. Физиономия у него такая отвратительная, что если бы под маской общего благодетеля открылся отчаяннейший разбойник, я этому нисколько не удивился бы.

— Но хорош он или дурен, он все-таки спасен.

— К сожалению, да. А прескверно подчас быть доктором.

— Скажи откровенно, сколько он заплатит тебе за твои три визита?

— Видите ли, княгиня, оставить свой адрес у Жерара я позабыл, а как только окончательно убедился, что он выздоровеет, ходить к нему перестал, так что мы с ним еще не рассчитались.

— Так дай мне право получить эти деньги.

— Хорошо, только не теперь.

— А когда же?

— Когда мы будем расходиться. Это будет моим прощальным подарком.

— Идет! Однако, вон фиакр. Эй извозчик!

Извозчик сделал крутой поворот, подъехал и остановился шагах в четырех.

— Делать нечего, княгиня, приходится исполнять то, чего ты хочешь.

Он обратился к Сальватору и прибавил:

— До свидания, господин комиссионер, как говорят в «Тысяче и одной ночи», потому что я все-таки держусь своего первоначального мнения, что вы переодетый принц.

Сальватор рассмеялся и пожал ему руку.

Шант-Лиля бросила на него один из своих убийственных взоров. Людовик заметил это.

— А, княгиня! — вскричал он с поддельным гневом.

— Так что ж такое! — ответила она. — Я лгать не умею. Этот комиссионер такой хорошенький и, ей-Богу, не обещай я быть тебе верной целых три недели, — уж я знаю, какую комиссию я бы ему поручила...

— Куда же вас везти? — спросил извозчик.

— Распоряжайтесь, княгиня, — сказал Людовик.

— К заставе Святого Якова! — крикнула Шант-Лиля. Извозчик шевельнул вожжами, и фиакр покатился.

## XI

### ОТ ЧЕГО ПОГИБЛА ТРОЯ

Когда Людовик и Шант-Лиля исчезли за углом улицы Сен-Дени, Сальватор увидел, что из одной из темных трущоб, в которые, кажется, стыдится заглянуть само солнце, к нему направляются две мужские фигуры, в которых он по запаху табака, водки, чеснока и валерьяны даже с закрытыми глазами узнал бы поставщика кошек для трактиров, дядю Жибелотта и его друга, слугу и сотрудника, тряпичника Крючконогого.

Давно замечено, что каждое ремесло накладывает на характер человека, им занимающегося, известный отпечаток. Тряпичники же уже по самому ремеслу своему составляют самое дно общества. Между ними часто попадаются преступники и проститутки.

Но что особенно располагает их к нелюдимости, так это злоупотребление спиртными напитками, которое они доводят буквально до невероятия. Водка имеет для тряпичника и его жены, — а у этого странного животного тоже есть самка, — привлекательность непреодолимую. Они отказывают себе в пище, лишь бы иметь воз-

можность удовлетворить свою страсть к пьянству. Они воображают, что этот огненный напиток поддерживает их не менее твердых веществ, и принимают искусственное возбуждение, порождаемое алкоголем, за действительную силу, тогда как, в сущности, он только обжигает желудок.

Вследствие такого непомерного употребления водки, все остальные вина начинают им казаться слабыми, и если тряпичники иногда и пьют их, то непременно горячими, с приправами из перца, лимона и корицы, к великому отчаянию кабатчиков, которые, хотя и получают деньги от своей практики, но не могут без негодования смотреть на подобную изысканность среди такой нищеты.

Уже из одного этого понятно, что в душу тряпичника трудно проникнуть какому-нибудь более возвышенному чувству, кроме самых первобытных животных потребностей, и что тряпичник, дружески относящийся к другому человеку, хотя бы то и был даже убийца кошек, составляет своего рода чудо.

Да, в сущности, и Крючконогий был вовсе не так привязан к дяде Жибелотту, как это могло показаться. Скорее всего, это была та дружба, которая существует между медведем и его вожаком, между кошкой и мышью, между волком и ягненком, между жандармом и узником, между судебным приставом и должником.

Крючконогий был действительно должником Жибелотта и должником на огромную сумму, если принять во внимание, что средний дневной или, скорее, ночной заработок не превышал двадцати су, а долг его Жибелотту доходил в то время почти до невероятной суммы: ста семидесяти пяти франков и четырнадцати сантимов капитала и процентов вместе.

Правда, Крючконогий стоял на том, что получил только семьдесят пять ливров и девять су, протестовал против десятичной системы и ни за что не хотел принять ее, и, кроме того, уверял, что в составе этой суммы получил три монеты по тридцать су из олова и две по пятнадцать су — из жести.

Но, тем не менее, даже признавая сумму, которую считал справедливой сам тряпичник, все-таки невольно приходил в голову вопрос, каким образом Жибелотт мог дать ее товарищу, несмотря на всю свою бедность?

Прежде всего надо сказать, что промысел его был несравненно доходнее промысла тряпичника. Каждая убитая кошка доставляла ему от двадцати до двадцати

пяти су, а если попадалась хорошая, ангорская, то и тридцать. Кроме того, в кошке ничего не пропадает: мясо обращается в кролика, шкура — в соболя.

Считая, что Жибелотт убивал по четыре кошки ежедневно, мы можем предположить, что он зарабатывал по пять франков в день или по сто пятьдесят в месяц, или тысячу восемьсот франков в год. Из этих тысячи восьмисот франков он всегда мог отложить тысячу, так как жизнь обходилась ему чрезвычайно дешево.

Трактирщики, которым он доставлял кошек, охотно давали ему кое-какие обрезки говядины или телятины, потому что Жибелотт, как и все великие охотники, не ел дичи, которую убивал. Относительно одежды издержки его были также невелики, так как шкурки его жертв шли на выделку костюма, который он носил бесценно зимой и летом.

Следовательно, Жибелотт был богат, настолько богат, что носилась слухи, будто он держит меняльную лавку и играет на бирже.

Но несмотря на всю бедность Крюконового, у него было нечто, чего не было у Жибелотта, — у него была любовница.

Каким образом девица Бебе Рыжая убежала из одного из трактиров бульвара и соединилась с Крюконогим, особенного интереса не представляет. Однако так или иначе, этот Крюконогий был любовником девицы Бебе Рыжей, портрет которой долго красовался на Таматавском бульваре между бенгальским тигром и нумидийским львом, что доставляло публике величайшее удовольствие, а царице Таматавской значительные доходы, так как она, опередив Мартена и Ван Амбурга в искусстве укрощать зверей, три раза в день входила к ним в клетки, каждый раз рискуя быть ими съеденной. Но с тех пор, как мадемуазель Бебе Рыжая исчезла из зверинца, ее портрет исчез с площади.

Но что же побудило ее к этому двойному исчезновению?

Догадок и слухов по этому поводу было много, но самым распространенным и правдоподобным был тот, будто в один прекрасный вечер мадемуазель Бебе ошиблась и вместо своего ридикюля запустила руку в хозяйскую выручку, а потом тихонько выбралась из барака и была такова. Царица Таматавская подняла по этому поводу большой шум и хотела даже потребовать, чтобы префект разыскал беглянку. Но в самом балагане ока-

зался добродетельный дух, который позаботился о ее свободе и безопасности. То был господин Флажолле, человек, у которого не было ни земель, ни домов, ни капиталов, но который от этого не менее важно расхаживал по улицам Парижа, побрякивая пятифранковыми монетами.

Кто же был этот человек?

Он был управляющим и доверенным лицом царицы Таматавской, ее графом Эссексом, если сравнить ее с Елизаветой Английской, ее Риццио, если сравнить с Марией Стюарт.

У ее величества была даже наследница, родословную которой было бы легко изобразить, если бы подобного рода генеалогические исследования со стороны отца не были строго запрещены законом. Звали эту счастливую наследницу мадемуазель Мюзетт.

И вот этот-то господин Флажолле и дал царице совет не поднимать шума из-за пустяков.

— Хорошо,— сказала она,— пусть заработает себе петлю да веревку в другом месте. Я так даже очень рада, что за каких-нибудь несколько десятков франков отделалась от такой гадины.

Но так как мадемуазель Бебе не знала о великодушном решении, принятом относительно ее, то сочла благоразумным спрятаться, хотя бы на первое время. Вскоре затем в квартале Святого Якова разнесся слух, что у Крючконогого есть любовница и что он ревнив, как африканский бей или тунисский султан, и прячет ее ото всех на свете, но проверить этот слух не оказывалось возможным, так как окна берлоги Крючконогого выходили во двор.

Мадемуазель Бебе, которой нельзя было для развлечения даже поглазеть на улицу, сильно скучала, а так как выходить она опасалась из-за того, чтобы не встретиться с другой рыжей, которая могла арестовать ее, то и проводила часть ночи, пока Крючконогий ходил на работу, стоя у окна и слушая, что делается во дворе.

Жибелотт, проходя на охоту за кошками мимо дома, в котором жил Крючконогий, заметил свет в его окне и стал подкарауливать.

Наконец, он увидел затворницу.

Произошла сцена, которая, если бы в ней участвовали Ромео и Джульетта, была бы верхом поэзии и изящества, но так как то были только Бебе Рыжая и Жибелотт, то мы и обойдем ее молчанием.



Однако результатом этой сцены было то, что на другой день, завтракая с тряпичником, Жибелотт предложил ему, чтобы он переехал в одну из его двух комнат. Комната была меблированная, а цену за нее хитрый кошачий охотник просил ровно такую же, какую тряпичник платил за свою немеблированную конуру. Это, разумеется, соблазнило его, и он с радостной благодарностью перешел из родных пенатов вместе с мадемуазель Бебе к своему великодушному товарищу.

К концу месяца Крючконогий, который сначала просто блаженствовал на новой квартире, начал заметно тревожиться. Мадемуазель Бебе как истинно нежная подруга спросила его о причине этой тревоги. Крючконогий признался ей, что ему нечем будет заплатить Жибелотту за комнату.

Мадемуазель Бебе сначала призадумалась, а потом объявила, что сама устроит это дело с Жибелоттом, чем навела Крючконогого на новую тревогу.

Но так как дело действительно уладилось, и Жибелотт о деньгах не заговаривал, то Крючконогий перестал о них и думать не только в первый, но и во все последующие месяцы, так что это вошло у него даже в привычку, — и кончилось тем, что он вообразил, что нашел даровую квартиру.

Но дело не ограничивалось даже и этим. Очень часто, в холодные дождливые ночи, когда Крючконогий возвращался домой мокрый, переязбший и с пустыми руками, так что мадемуазель Бебе не могла быть от своего сожителя в восторге и принималась кричать, Жибелотт при первых же звуках ее голоса стучался к жильцам, входил и, видя их расстроенные лица, говорил:

— Ну, ну, чего вы? Плач и скрежет зубовный из-за того, что не удалось набрать тряпок?! Ну так что ж? Зато кролики ловились сегодня хорошо, а ведь старые друзья — не турки какие-нибудь.

— А чем же это доказывается, что они не турки? — спрашивал Крючконогий, который был скептиком, как истинный тряпичник.

— Скажи-ка, доволен ты будешь, если я дам тебе взаймы тридцать су?

— Известное дело — гораздо довольнее, чем теперь.

— Ну, так на тебе, довольствуйся, будь счастлив, вот тебе пятнадцать су.

— Да ведь на пятнадцать-то су и счастье будет наполовину!

— Ничего! Да ты проешь сперва хоть эти. Ну, а не будешь совсем счастливым, так мы там посмотрим.

Крючконогий уходил, покупал себе вместо твердого счастья счастья жидкого, выпивал всю свою долю наслаждения и возвращался домой, до того отягченный счастьем, что падал под его бременем или на углу, или у фонарного столба, или же на первых ступеньках лестницы.

Жизнь, которую устроил ему Жибелотт, очень нравилась Крючконогому, но человек предполагает, а дьявол располагает! Одна неожиданная катастрофа, как карточный домик, разрушила счастье, которое тряпичник считал прочнее скалы.

Месяца три или четыре дело шло очень хорошо. Но в тот вечер, когда произошла драка между Людовиком, Петрюсом, Жаном Робером и Крючконогим, Жибелоттом и Лелонгом, друзья, возвратившись домой, помятые и избитые, с величайшим удивлением увидели в своей квартире двух жандармов в оживленной беседе с мадемуазель Бебе. Оказалось, что она обогатила соломенную набивку своего матраца двумя серебряными приборами, которые украла у соседнего часовых дел мастера, зайдя к нему отдать в починку часы, полученные ею в подарок от Жибелотта.

Увидя друзей, она выразительно подмигнула им. Они, понурясь, поплелись за нею и видели, как она вошла в казарму д'Урсин, куда жандармы впустили ее первую, вероятно, из уважения к ее прелестям.

При этом Крючконогий пришел в последнюю степень отчаяния и стал просить друга, чтобы тот дал ему пятнадцать су, хотя и сомневался, чтобы на такую ничтожную сумму можно было залить такое громадное горе. Так как он был истинный христианин, то и хотел попытаться подчиниться воле Божьей с подобающей покорностью.

К несчастью, прекрасной и миролюбивой Рыжей Бебе между ними не было, и Жибелотт вместо того, чтобы поспешить утешить друга, не только отказал ему, но еще и объявил, что сам очень нуждается в деньгах и требует, чтобы он отдал ему как можно скорее свой долг с присоединением двенадцати процентов на всю сумму, что составляет сто семьдесят пять франков и четырнадцать сантимов.

Это требование уплаты породило между друзьями охлаждение, от охлаждения они перешли к ссоре, а от ссоры готовились перейти к процессу, который, разумеется,

был бы опасен для свободы Крючконогого, но с ними случайно повстречался Варфоломей Лелонг. Он только за неделю перед тем вышел из больницы Кошен, совершенно оправившись от последствий своего падения и, разговорившись с друзьями, дал им совет и сделал предложение. Совет состоял в том, чтобы они, вместо того, чтобы судиться, пошли к Сальватору, а он уж, наверно, сумеет решить, кто из них прав и кто виноват. Предложение же было еще того приятнее. Жан Бык, Варфоломей Лелонг желал отпраздновать свое выздоровление и предложил друзьям пройти в трактир «Золотые раковины», распить несколько бутылок бургундского.

Вот почему Жибелотт и Крючконогий, бывшие вчера врагами по той же причине, которая погубила и великую Трюю, и поссорила двух петухов Лафонтена, подходили к кабаку и к Сальватору, опираясь друг на друга так крепко и прочно, точно их никогда не разъединяла ни одна слабость или страсть человеческая.

## ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

### I

#### ДВЕНАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ ДЯДИ ЖИБЕЛОТТА

Друзья прошли мимо Сальватора и, точно забыв, что он должен быть посредником между ними в чрезвычайно важном для них обоих деле, ограничились только тем, что почтительно раскланялись с ним.

Сальватор, который *вовсе* и не подозревал, какой высокой чести они собирались его удостоить, ответил им легким кивком головы.

Они вместе вошли в кабак, остановились у входа и стали глазами искать Варфоломея Лелонга, но его в зале не оказалось.

— Ну что, — сказал Крючконогий, — не пойти ли нам, пока его нет, рассказать наше дело мосье Сальватору?

— Да я и сам этого хочу, — ответил Жибелотт, которому, видимо, этого *вовсе* не хотелось, — да только я думаю, не лучше ли сначала выпить по стаканчику за три су?

— Это-то не худо, да только уж плати ты, — у меня ночь сегодня была не доходная.

— Разумеется! — согласился Жибелотт. — Два стаканчика водки и «Конституционнель»! — крикнул он гарсону.

Тот подбежал, налил до краев две рюмки водки, подал Жибелотту газету и отошел, унося с собою и графин.

— Ты это что ж такое делаешь? — остановил его Жибелотт.

— Я? — переспросил гарсон.

— Ну да, ты.

— Как что? Я подаю вам то, что вы спрашивали. Вы сказали: две рюмки водки и «Конституционнель», — я вам и принес.

— А графин уносишь?

— Понятно, уношу.

— Так я тебе скажу, ветрогон ты этакий, что так с гостями не поступают.

— А как же надобно поступать с гостями?— спросил гарсон.

— Умные гарсоны делают только заметку на графине, до каких пор отпита водка, ставят его на стол и уходят а счет сводят уж потом.

— Понятное дело, что счет сводят уж потом!— подхватил Крючконогий самым убедительным тоном.

— А кто из вас будет платить?— спросил гарсон.

— Я,— сказал Жибелотт.

— Ну, так это другое дело.

Он опять поставил графин на стол.

— Послушай-ка ты, блюдолиз,— сказал Крючконогий.

— Это вы мне говорите?— спросил гарсон.

— Я хотел сказать тебе, что ты не особенно вежлив.

— Это вы насчет чего?

— Ты сказал: «Ну, так это другое дело».

— Ну, и сказал. Что ж тут такого?

— А то, что я тебе повторяю: это невежливо. Есть люди, которые сумеют не хуже господина Жибелотта заплатить за твой графинчик водки.

— Очень может быть,— согласился гарсон.— Да только это дело не мое, нам — как прикажут.

— А кто же тебе это приказал?

— Хозяин.

— Мосье Робине?

— А то кто же?

— Мосье Робине запретил тебе отпускать мне в кредит?

— Запретить он мне не запретил, а только велел по-давать вам на чистые деньги.

— А! Так это дело другое

— Что ж, вам так больно нравится?

— Известное дело. Тут честь не затрагивается

— Значит, она у вас не больно нежная.

— За твое здоровье, старый друг!— сказал Жибелотт.

— За твое здоровье, дядя Жибелотт,— ответил Крючконогий.

Они чокнулись и выпили по стаканчику, каждый по-своему. Крючконогий швырнул его себе в горло, точно письмо в почтовый ящик, а Жибелотт — мелкими глотками, с чувством, с толком и с расстановкой.

— А видел ты вчерашний биржевой бюллетень?— спросил Жибелотт.

— Ты никак забыл, что я и читать-то не умею,— ответил Крючконогий.

— Ах, да,— презрительно протянул Жибелотт.

— Вчера пятипроцентные стоили 100 франков 75 сантимов,— сказал сосед в черном сюртуке, с засаленным галстуком, при медной цепочке и вообще подозрительного вида.

— Покорнейше вас благодарю, мосье Бон д'Амур,— ответил Жибелотт.

Он налил Крючконогому еще стакан.

— Значит, сегодня они опять упадут,— продолжал он.

— Еще бы! Даю за то руку на отсечение!— подтвердил Крючконогий, протягивая руку к стакану.

— А! В таком случае мне надобно покупать!— сказал Жибелотт тоном опытного биржевика.

— Что ж, и я купил бы!— хвастливо проговорил тряпичник.

Он лихо закинул голову и отправил второй стакан за первым. Жибелотт тотчас налил ему третий.

— Заметил ты, как нам поклонился этот Сальватор?— спросил он.

— Нет, не заметил,— ответил Крючконогий.

— Просто в пот меня вогнал!.. Воображает себя царем комиссионеров и важничает!

— А мне сдается, что он считает себя и еще того почище,— заметил Крючконогий.

— Будь я на твоём месте, я согласился бы уладить наше дело по-семейному, не вмешивая между старыми друзьями третьего человека,— сказал Жибелотт, наливая тряпичнику четвертый стакан.

— Да я что ж? Я согласен. Только, по правде сказать, как заговоришь про эти дела, так жажда и замучает!

— Так выпьем еще!

Жибелотт взял графин и налил Крючконогому, у которого уже посоловели глаза, пятый стакан.

— Да, так вот я и говорю, что ты должен мне сто семьдесят пять франков четырнадцать сантимов.

— А я,— возразил Крючконогий, который еще не совершенно утратил способность к вычислениям,— я говорю, что должен тебе всего семьдесят пять ливров и десять су.

— Да это ты говоришь потому, что считаешь только капитал.

— Совершенно верно,— согласился Крюконогий, протягивая стакан,— я считаю только капитал.

Жибелотт налил ему еще водки.

— Но ведь если присчитаешь проценты, то и выйдет ровно сто семьдесят пять франков четырнадцать сантимов.

— Нет, ты стой! Ты скажи мне прежде, как это могло вырасти из семидесяти пяти ливров в какие-нибудь семь месяцев?

— Не в семь, а в восемь.

— Ну, ладно, в восемь! А все ж даже с процентами не возрастет на сто франков четырнадцать сантимов.

— А вот сейчас увидишь. Ты переехал ко мне восемь месяцев тому назад...

— И как я был тогда счастлив!— перебил Крюконогий, вспоминая, как легко перепали ему тогда от Жибелотта монеты по пятнадцать су.

— И я тоже был тогда счастлив!— сказал Жибелотт, вспоминая, что вместе с Крюконогим к нему переселилась и красавица мадемуазель Бебе Рыжая.— Что, братец, делать! К старости все под гору идет, все становится меньше!

— Это-то что уж и говорить! Только вот одни долги к старости увеличиваются.

— Так ведь это от процентов,— подхватил Жибелотт.— Вот я и говорю, ты переехал ко мне восемь месяцев тому назад и должен был платить по пять франков в месяц.

— Верно.

— Отлично! Ну, и с первого же месяца ты мне не заплатил ничего.

— Это чтобы с самого начала не заводить дурных привычек.

— Ну, пятью восемь — сорок.

— Верно! Только ведь я уже целый месяц не живу у тебя.

— Да, а зачем ты оставил в своей комнате старый сапог? Я из-за него и жильцам ее не отдавал.

— Вот пустяки! Взял бы да и выбросил!

— Ты, я вижу, ловкач! Это затем, чтоб ты потом сказал, что у тебя в нем лежало двадцать тысяч франков, а я их украл.

— Да уж ладно,— пускай будет восемь месяцев,— согласился Крюконогий,— а я завтра за сапогом приду.

— Ну, уж нет! Пусть он у меня в залог останется.

— Как же это? Значит и квартира будет за мной?

— А ты заплати мне мои сто семьдесят пять франков и четырнадцать сантимов, тогда и сапог бери, и квартира не за тобой будет.

— Да ведь ты же знаешь, что у меня и одного су, а не то что ста семидесяти франков нет.

— Так не мешай сводить счета.

— Своди, да только наливай.

Жибелотт добродушно налил ему седьмой или восьмой стакан, а Крючконогий потерял последнюю способность считать.

— Ну, так вот,— продолжал Жибелотт,— все семь месяцев по пяти франков составляют сорок. Сверх того, тридцать пять франков пятьдесят сантимов ты получил от меня в разное время деньгами.

— Ну, положим...

— Значит, все-таки получил. Ведь не станешь же ты отпираться?

— Не стану. Я ведь и говорю, что должен тебе семьдесят пять ливров и десять су. Я скажу это же самое каждому, кто спросит, а хочешь, так закричу, даже хоть с крыши.

— Ну, хорошо. А двенадцать процентов с семидесяти пяти франков и пятидесяти сантимов?

— Двенадцать? Это что ж такое? Ведь законные всего пять.

— Но ты забываешь, любезнейший... Ведь тут еще риск.

— Это верно!— вскричал с одобряющим движением руки тряпичник,— про риск я забыл.

— Значит, на двенадцать процентов ты согласен?— спросил Жибелотт, снова наполняя стакан друга.

— Соглашаюсь,— протянул тот уже совершенно заплетающимся языком.

— Следовательно, и выходит: в первый месяц — двенадцать процентов составляют девять франков два с половиной сантима, которые с семьюдесятью пятью франками пятьюдесятью сантимами составляют восемьдесят четыре франка пятьдесят два сантима.

— А! Значит это выходит уже помесечно!

— Что?

— Да твои двенадцать процентов.

— Понятное дело.

— В таком случае, это составляет по сто сорок процентов в год.

— Да. А риск-то?



— Верно! Риск!— подтвердил все больше и больше пьяневший Крючконогий.

— То-то же! Теперь ты и сам понимаешь, что должен мне сто семьдесят пять франков четырнадцать сантимов.

— О! Сто сорок со ста в год! Право, удивляюсь, как это я не должен тебе еще больше!

— Нет, больше этого ты мне ничего не должен!— сказал Жибелотт.

— Право, удивительно!

— Значит, ты теперь признаешь, что должен мне сто семьдесят пять франков четырнадцать сантимов?

— Да неужели тебе ста-то семидесяти пяти франков без всяких сантимов мало?

— Хорошо, так и быть! Четырнадцать сантимов сбросим!— великодушно согласился Жибелотт.

— Нет-с, сударь!— гордо возразил Крючконогий.— Я милостей не принимаю. Оставьте и сантимы.

— Ну, вот, дружище, ты даже не хочешь больше говорить мне ты!— огорчился Жибелотт.

— Да, я теперь вижу, что с моей стороны было просто глупо считать вас за друга.

— Да говорю ж тебе: ну, скинем четырнадцать сантимов.

— Нет, нет и нет! Я не хочу их скидывать.

— Ну, так проедем их.

— Я есть не хочу, а пить — пожалуй.

— Так будем пить.

— Вот это годится.

-- Значит, ты больше на меня не сердишься?— спросил Жибелотт, радушно наполняя стакан своей жертвы.

— Нет, не сержусь, я пошутил... а в доказательство.

— Ну, ну, какое доказательство?

— Вот оно!..

— Молчи! Оставь! Не надо мне никаких доказательств...

— А если я хочу их дать.

— Хорошо! Так признай, прежде всего, те сто семьдесят пять франков, которые ты мне должен,— сказал кошачий охотник, вынимая из кармана бумагу.

— Это что же такое? Ведь я и писать-то не умею.

— Так поставь крест.

— А доказательство мое такое,— с пьяным упорством продолжал Крючконогий,— что если ты дашь мне десять франков, я признаю твои семьдесят пять.

— Ловко! Да я уж и так сколько тебе передавал.

— Ну, хоть пять.  
— Невозможно.  
— Три франка!  
— Нужно прежде свести старые счета.  
— Сорок су.  
— Бери перо и ставь крест.  
— Ну, хоть только двадцать су? Что же это за человек, который готов потерять друга за какие-нибудь двадцать су!

— Ладно! Вот тебе двадцать су!— согласился Жибелотт.

Он достал кошелек и вынул из него монету в пятнадцать су.

— Ага! — вскричал Крючконогий.— Я наперед знал, что ты этим окончишь.

— Ну, вот и ты сделай свое,— сказал Жибелотт, по подвигая ему бумагу.

Крючконогий только хотел начать выводить свой крест, как какая-то тень заслонила ему свет. То был Сальватор.

Он протянул из-за окна руку, схватил бумагу, на которой Крючконогий собирался поставить знак, который у простонародья считается важнее всякой подписи, разорвал ее на мелкие клочки и бросил на стол семьдесят пять франков и пятьдесят сантимов.

— Вот деньги, которые он был вам должен, Жибелотт,— сказал он.— Теперь я буду его кредитором.

— А! Мосье Сальватор!— вскричал тряпичник, наклоняясь над столом.— Вы заводите себе такого должника, какого мне иметь, ей-Богу, не хотелось бы!

В это время с улицы послышался чей-то прелестный, серебристый голосок, который составлял впечатляющий контраст с пьяным хрипом Крючконогого.

— Мосье Сальватор,— говорила девушка,— будьте так добры, отнесите это письмо на улицу Варрен, № 42.

— Все тому же третьему клерку мосье Баратта?

— Да, мосье Сальватор. Будет и ответ. Вот вам пятьдесят сантимов.

Сальватор с улыбкой взял письмо и деньги и быстро пошел вниз по улице, а Жибелотт остался в таком удивлении, которое равнялось разве только его радости, что он получил свои семьдесят пять франков обратно.

## ЧИТАТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МОСЬЕ ФАФИУ

В тот момент, как Жибелотт подбирал и прятал деньги, окончательно опьяневший Крючконогий начинал храпеть, а Сальватор, бросив на стол такую солидную для простого комиссионера сумму, как семьдесят пять франков, ушел по поручению девушки, в дверях трактирного зала появился Варфоломей Лелонг под руку с мадемуазель Фифин, той самой женщиной, которая, по словам Сальватора, имела такое громадное влияние на жизнь этого великана.

На первый взгляд, в наружности мадемуазель Фифин не было ничего, что оправдывало бы такое неотразимое влияние, за исключением разве того таинственного закона, по которому люди физически сильные так охотно подчиняются существам слабым. Это была высокая девушка, лет двадцати или двадцати пяти. Между прочим, нет ничего груднее, чем определить возраст женщины из простонародья в Париже, так как все они старятся раньше времени от нищеты и разврата. Лицо у нее было бледное, глаза тусклые, волосы белокурые. Для светской женщины они составили бы прелестное украшение, но у нее висели безобразно-неряшливо. Шея ее была тонка, но с красивым поворотом, несмотря на худобу. Руки — античные, но скорее белые. Светская модница стала бы их беречь и холить так, что ими одними составила бы себе славу. Вся фигура ее, окутанная шерстяной шалью и несколько поношенным шелковым платьем, двигалась плавно, мягко и беззвучно, как змея или сирена. Казалось, что, если бы оставить ее без опоры, она согнулась бы, как молодой тополь под напором ветра. Но что особенно характеризовало ее, так это какое-то ленивое изящество, которое действительно не лишено было известной прелести, что доказывалось и увлечением Жана Быка.

Великан был горд и счастлив. Лицо его сияло довольством. По равнодушию или просто по капризу мадемуазель Фифин соглашалась появляться с ним на публике лишь изредка и не иначе, как тогда, когда он предлагал свести ее в театр. Мадемуазель Фифин обожала спектакли, но соглашалась сидеть только в оркестре или в первой галерее, что стоило целого рабочего дня любящего Жана Быка, а потому и лишало его возможности часто доставлять ей такое аристократическое развлечение.

У мадемуазель Фифин уже издавна была одна заветная и гордая мечта — «поступить в тياتер», как произносила она название боготворимого ею храма искусства. Но, к несчастью, у нее не было необходимой протекции, а кроме того, и некоторая особенность в произношении, немало вредила ей во мнении директора. Не получив ни первых, ни вторых ролей, мадемуазель Фифин довольствовалась положением статистки и, может быть, ее устроила бы эта скромная доля, если бы Жан Бык не объявил ей, что не желает, чтобы любимая им особа была публичной плясуньей, и что он переломает ей ребра, если она не оставит свои проклятые подмостки. Мадемуазель Фифин много смеялась над этой угрозой, потому что знала, что Жан Бык ей ничего не переломает, а что, наоборот, если она захочет, то согнет его в бараний рог. Раз десять приходил он в бешенство и поднимал на нее руку, которая уничтожила бы ее одним взмахом, но мадемуазель Фифин только взглядывала на него своими тусклыми глазами и спокойно говорила:

— Отлично, отлично! Бейте женщину! Это так благородно!

И рука великана мгновенно опускалась, точно подрубленная.

Жан Бык гордился своей силой и, за исключением трех случаев, когда будучи или очень пьяным, или сильно возбужденным ревностью, бросался на стеснявшие его главные препятствия, никогда не обращал внимания на мелочи, которые с легкостью мог бы сокрушить вдребезги.

Впрочем, кроме моментов опьянения и ревности, у Жана Быка были и другие минуты, в которые неудобно было иметь с ним дело, и это было тогда, когда на него нападало если не раскаяние, то угрызение.

Лет десять тому назад Жан Бык под именем Варфоломея Лелонга женился на одной кроткой, честной и работающей женщине, с которой и прижил троих детей. После шести лет счастливой супружеской жизни он встретился с мадемуазель Фифин, и с этого дня началась для него бурная жизнь, которая, не делая счастливым его самого, составила истинное несчастье его жены и детей, видевших его только тогда, когда он бывал утомлен или не в духе.

Жан Бык вполне понимал, что жена любит его серьезно, тогда как мадемуазель Фифин не дает себе даже труда представить, что его любит, потому что, если она и была способна полюбить кого-нибудь, даже до безумия, то это, наверное, был бы никто иной, как актер.

В связи с этим невольно возникает вопрос, каким образом мог Варфоломей Лелонг любить женщину, которая его вовсе не любила, и как могла мадемуазель Фифин оставаться возле человека, к которому была совершенно равнодушна? Но вопрос этот мог бы разрешить разве что многомудрый Декарт. Странное явление это, наверно, испытывал каждый из нас хоть один раз в своей жизни. Впрочем, один из моих друзей был однажды в таком же состоянии, и я спросил его:

— Да скажите, ради Бога, что вас связывает, если вы друг друга не любите?

— Как вам сказать? — ответил он. — Вероятно, мы слишком ненавидим друг друга для того, чтобы расстаться.

У мадемуазель Фифин был от Варфоломея Лелонга ребенок. Варфоломей боготворил его, и именно благодаря этому ребенку, она и владела этим колоссом, заставляя его гоняться за ним, как заставляет рыболов рыбу гоняться за приманкой. В те дни, когда она бывала зла и неизвестно почему хотела довести великана до отчаяния, она говорила ему своим певучим голосом:

— Твоя дочка?.. Да о какой же это дочке ты говоришь? Ты и права-то не имеешь ее так называть, — ты ведь женат и признать ее законной не можешь. Да и кто тебе сказал, что родилась она от тебя? Она и лицом-то на тебя не похожа!

И этот великан, этот лев, этот носорог бросался на пол, катался, грыз в отчаянии доски и кричал:

— Ах, она бесстыжая! Ах, несчастная! Она смеет говорить, что мой собственный ребенок — не мой!

Мадемуазель Фифин смотрела на обезумевшего человека мутными глазами бессердечной женщины. Злая улыбка раздвигала ее тонкие губы и обнажала ее острые, как у гиены, зубы.

— Ну, так что ж, — говорила она, — уж если тебе так интересно, я прямо говорю тебе, что девчонка родилась не от тебя!

После этих слов Варфоломей Лелонг мгновенно обращался в Жана Быка. Он вставал на ноги, рыча, как дикий зверь, бросался на эту женщину с тонкими руками и в неистовстве заносил над нею кулаки.

Но она стояла перед ним, не шевелясь.

— Славно, славно! — говорила она. — Ну, что ж, бейте, бейте женщину!

Тогда Жан Бык запускал руки в свои собственные волосы, с бешеным ревом одним ударом ноги распахивал

дверь, бросался с лестницы — и тогда горе всем богатырям севера и великанам юга, которые попадались ему на пути! Одна беспомощная слабость могла остановить его в безумном порыве.

В один из таких вечеров и повстречался он с Жаном Робером и его друзьями в кабаке Бордые.

Как уже известно, приключение это окончилось бы для него апоплексией, если бы Сальватор не догадался вовремя пустить ему кровь, а потом отправить в больницу Кошен.

Восемь дней тому назад он вышел из больницы, случайно встретился с Крючконогим и Жибелоттом, посоветовал им обратиться за разрешением их спора к Сальватору и пригласил их в трактир «Золотые раковины».

В тот момент, когда Варфоломей вошел в трактир, один из его гостей был уже в состоянии невменяемости. Крючконогий храпел, мертвецки пьяный.

Фактически налицо был один Жибелотт.

Варфоломей приказал накрыть три прибора, подошел к храпевшему, как труба, Крючконогому, протянул над ним руку и торжественно произнес знаменитые слова: — Слава тебе, несчастная храбрость!

Между тем гарсон накрыл на стол и подал устрицы, а мадемуазель Фифин, которой трудно было угодить, не переставала ворчать.

— Ого, как вы требовательны, прелестное дитя! — заметил Жибелотт.

— Ах, да уж не говори! — вскричал Варфоломей, закидывая руки за голову и сжимая зубы. — Это все потому, что она пришла сюда со мною! Вот если бы она была теперь со своим мерзавцем Фафиу, то дохлая кошка показалась бы ей лучше, чем фазан с трюфелями в Роше де Канкал, если бы угощал им ее я.

— Ну, вот еще глупости какие! — проговорила своим певучим голоском мадемуазель Фифин. — Еще и восьми дней не прошло с тех пор, как я обедала на бульваре Тампль.

— Верно!.. А с тех пор, как я вышел из больницы, твоей ноги там не было!.. Ну, а добрые-то люди говорили мне, что без меня дня не проходило, чтобы ты там не вертелась, и что в барачке сквера Коперника не было завсегдатая более постоянного, чем ты.

— Что ж? И может быть! — ответила мадемуазель Фифин с той беззаботностью, которая всегда приводила Жана Быка в бешенство.

— О если бы я только мог прекратить это! — прорычал плотник, уродуя в руке железную вилку, точно то была какая-нибудь зубочистка.

Он всем корпусом повернулся к Жибелотту и продолжал:

— А главное, что меня бесит, так это то, что она всегда влюбляется в каких-то чудаков, которых и мужчинами-то назвать нельзя! Это какие-то недоноски, до которых мне просто дотронуться стыдно! Ну, так и видишь, — стоит его тронуть, — так и раздавишь! Честное слово! Эх, Жибелотт, кабы ты только посмотрел на этого Фафиу, ты, наверное, сказал бы то же самое, что и я: «Это что ж такое? Разве же это мужчина?»

— Что же такого?! Ведь вкусы бывают разные! — заметила мадемуазель Фифин.

— Значит, ты говоришь, что любишь его? — вскричал Жан Бык.

— Вовсе я этого не говорила! Я сказала только, что вкусы бывают разные.

Жан Бык зарычал, как дикий зверь, и разбил свой стакан о плиты зала.

— Что это за стакан такой? — вскричал он, обращаясь к гарсону. — Ты никак вообразил, что я привык пить из бабьих наперстков. Принеси мне кружку!

Гарсон давно уже привык к выходкам Жана Быка, так как он был одним из постоянных посетителей трактира. Он побежал к буфету, принес кружку, в которую входило, по крайней мере, полбутылки, и принялся подбирать осколки стакана.

Жан Бык налил свою кружку до краев и выпил ее залпом.

— Отлично! — заметила Фифин. — Вы славно начинаете! Минут через двадцать придется вас тащить домой, как мертвое тело, потом вы станете спать часов десять или двенадцать, а я в это время схожу прогуляюсь по бульвару Тампль.

— Ну, разве же после этого есть у нее хоть частичка сердца? — спросил Варфоломей, обращаясь к Жибелотту. — И ведь как говорит, так и делает!

— Да, отчего же и не сделать? — заметила мадемуазель Фифин.

— Ну, что если бы у тебя была такая жена, Жибелотт? — спросил Варфоломей. — Что бы ты с ней сделал?

— Я? Да взял бы ее за задние лапки и — трах!

— Так можно поступать только с кошками! — про-

ворчала мадемуазель Фифин.— Попробуйте только вы оба!

— Гарсон, вина!— крикнул Жан Бык.

В ту самую минуту, как между Варфоломеем Лелонгом и мадемуазель Фифин завязался этот горячий разговор, вдоль улицы Сен-Дени шел человек весьма странной наружности. Он был поразительно высок и худ, шея у него была не короче ручки гитары, нос курносый, как охотничий рожок, глаза мутные и навывкате, как у барана, волосы цвета горчицы. Все прохожие при первом взгляде на него раздражались невольным хохотом, и этот хохот провожал его вдоль всей улицы Сен-Дени, несмотря на комичную серьезность его оригинальной фигуры.

Но что делало его еще смешнее, так это какая-то трехрогая шляпа на голове. Это было нечто вроде тех треуголок, которые последующее поколение видело только в числе исторических древностей или в силу традиции на голове Жанно.

Однако сам этот чудак держал себя, как гробовщик, который не считает себя обязанным быть грустным, потому что грустны другие. Так и он не считал себя обязанным принимать участие в общем хохоте, а шел в своей треуголке среди смеющейся толпы, как идет человек цивилизованный среди удивляющейся толпы дикарей.

Подойдя к двери «Золотых раковин», он остановился перед крючком, обыкновенно заменявшим отсутствующего комиссионера, в высшей степени комично снял шляпу одной рукой, а другой схватил себя за клок своих соломенных волос.

— Ну вот, так и есть! Его здесь нет!— пробормотал он.

Он влез на стоявшую рядом лестницу и огляделся. Сальватора не было видно нигде. Толпа, увидя, что он лезет на лестницу, тотчас же образовала круг, точно собиралась поглазеть на какое-нибудь гимнастическое представление. Он обратился к своим зрителям и спросил у них, где Сальватор, но никто не мог ответить.

Тогда ему очевидно пришло в голову, что красавец комиссионер вошел в трактир.

— Экая я телятина!— сказал он громко, хлопая себя ладонью по лбу, быстро спустился с лестницы и подошел к двери «Золотых раковин».

Когда он проходил мимо окна, длинная фигура его отбросила на стол тень, которая заставила Варфоломея Лелонга обернуться так порывисто, будто его укусил скорпион.



— А! Я не ошибся!— вскричал великан.

Глаза его мгновенно переметнулись от окна к двери и впилась в нее, как прикованные.

— Пусть только сунется! Пусть только сунется!— повторял он шепотом.— Я ведь не искал его, а он сам лезет!

Почти в это же мгновение человек, который возбудил в нем такую бурю гнева, появился в дверном проеме и, как черепаха, стоя на улице, протянул шею в зал, видимо, отыскивая кого-то своими бессмысленными глазами. Жан Бык вообразил, что он ищет мадемуазель Фифин и побледнел, как мертвый.

— Фафиу!— прорычал он, едва переводя дух.

Он тяжело и медленно повернулся к Фифин и язвительно прибавил:

— Ах, вы потому и решились прийти сюда со мною, что назначили ему здесь свидание!

— Так что ж! Очень может быть!— ответила мадемуазель Фифин нараспев.

Жан Бык слегка вскрикнул, одним прыжком очутился возле Фафиу, схватил его за ворот и принялся трясти из всех сил. Несчастный не успел даже отшатнуться.

Но сообразив всю опасность своего положения, он принялся кричать.

— Мосье Варфоломей! Мосье Варфоломей! Да, ей-Богу же, я пришел не за ней! Я даже не знал, что она здесь.

— Так зачем же ты пришел сюда, тюфяк ты соломенный?

— Да вы меня давите! Даже сказать не даете!

— Ну, зачем ты сюда пришел?

— К господину Сальватору.

— Врешь!

— А-а! Да вы меня задушите!.. Помогите! Караул!

— Говори: зачем пришел!

— К господину Сальватору!.. Караул!

— Я тебя спрашиваю, к кому ты пришел?!

— Ко мне!— проговорил позади Фафиу мягкий, но твердый голос.— Выпустите этого человека, Жан Бык!

— Это, вероятно, мосье Сальватор?— спросил великан.— Так или нет?

— Разве вы не знаете, что я никогда не лгу? Говорю вам: выпустите этого человека!

— Ну, хорошо, что вы пришли вовремя, господин Сальватор,— проговорил Варфоломей Лелонг, выпуская свою жертву и вздыхая так шумно, что такого вздоха не

устыдился бы даже самый почтенный из четвероногих быков, — а то господину Фафиу никогда не есть бы больше хлеба, а господину Галилею Копернику, зятю Зозо Северного, пришлось бы разыгрывать свои фарсы без своего соломенного чучела.

Он с презрением повернул к себе спиной убогого человека, которого считал своим соперником в сердце мадемуазель Фифин, и предоставил ему возможность спокойно выйти из зала следом за Сальватором.

### III

#### МОСЬЕ ФАФИУ И МЭТР КОПЕРНИК

Сальватор вышел из трактира и расположился на своем обыкновенном месте у стены. Фафиу шел следом за ним, распуская свой галстук, чтобы вздохнуть свободнее.

— Эх, господин Сальватор, как я вам обязан, — говорил он, — ведь вот уже во второй раз вы спасаете мне жизнь! За это я, коли понадобится, готов служить вам по гроб жизни.

— Смотри, Фафиу, поймаю на слове! — сказал Сальватор.

— Богом вам клянусь, что тогда на свете будет счастливый человек, и человеком этим буду я.

— А я ждал тебя, Фафиу.

— В самом деле?

— И даже настолько, что, думая, что ты не придешь, хотел написать тебе письмо.

— Это верно, господин Сальватор, — я опоздал, — да только, видите ли, я застал Мюзетту одну, а как только она одна, я всегда принимаюсь говорить ей, как я ее люблю.

— Так, значит, ты любишь всех женщин на свете, развратник!

— Совсем нет, мосье Сальватор, — я люблю только Мюзетту, и это так же верно, как то, что меня зовут Фафиу.

— А мадемуазель Фифин?

— Да я ее вовсе не люблю! Это она меня любит и бежит за мной повсюду, а я, — стоит мне ее завидеть на одной стороне улицы, — бросаюсь бежать на другую.

— Советую тебе делать это каждый раз, когда ты встретишь Жана Быка, потому что ведь не могу же я поспевать всегда вовремя, чтобы высвободить тебя из его рук.

— Да, уж нечего сказать! Вот грубый человек! Ну, да я на него не сержусь!.. Знаете... когда человек ревнует...

— Значит, и тебе приходилось ревновать?

— Да-с! Как тигр царицы Таматавской.

— Так ты говоришь, что любишь Мюзетту?

— До смерти люблю! Да вы только посмотрите на меня: ведь эта любовь съедает весь мой жир.

— Но если ты ее так любишь, почему же ты на ней не женишься?

— Мать ее не позволяет.

— В таком случае тебе следует поступить как мужчине и твердо отказаться от этой женщины.

— Ну уж нет-с! Отказаться от нее? А впрочем... Я стану ждать.

— Это чего же?

— А того, чтобы ее маменьку съели!.. Ведь без этого не обойдется.

Сальватор едва заметно улыбнулся при этом наивном признании.

Но заключать на этом основании что-нибудь дурное о Фафиу было бы несправедливо. Он был хороший, честный человек и состоял постоянным участником представлений господина Галилея Коперника.

Приглашен в труппу он был за пятнадцать франков в месяц, да и те получал в четыре месяца раз. Но сверх своего ангажемента он исполнял Жанно, Джилля, Жорисса и вообще все роли, которые подходили к его оригинальной наружности.

Но ампула его не ограничивалось даже и этим. Он был парикмахером и гримером всей труппы, которая состояла из восьми человек, считая и директора. Господин Галилей Коперник играл Кассандра; мадемуазель Мюзетта — Изабеллу; а он сам, Фафиу, играл Джилля, враждующего с красавцем Леандром, что составляло для него источник невыразимых терзаний, так как он был сам влюблен в Изабеллу и в то же время вынужден беспрестанно слышать, как любимая им девушка говорила другому разные нежности, которые казались ему оскорбительными.

Справедливость требует сказать, что когда они оставались одни, то вполне вознаграждали себя за подобное сценическое лишение: Фафиу расточался в нежностях, а красавец Леандр выслушивал от Изабеллы вблизи все то, что ему приходилось слышать на сцене только издалека.

Бедный Фафиу в высшей степени нуждался в этой любви, которая составляла для него и величайшую радость, и величайшее горе его жизни. Он был совершенно одинок в мире. У него не было ни отца, ни матери, ни дяди, ни тетки, ни молочного брата. С самой ранней юности он не знал ни родственной, ни случайной семьи. Мэтр Галилей Коперник, проезжая однажды мимо горы Святой Женевьевы, увидел, как он кувыркался на улице, пришел в восторг от этого природного таланта и решился развить его. Он взял ребенка к себе и ради приманки накормил его таким ужином, какого тот даже во сне не видал. Фафиу составил себе на этом основании, может быть, даже несколько приукрашенное представление о жизни акробатов и покорно позволил выгибать и вывихивать себе кости, готовясь к роли клоуна.

Сначала они показывали фокусы на улицах Парижа, а потом пробрались в провинцию, а оттуда — и за границу. Таким образом, посетили они все главнейшие столицы Европы, занимаясь по дороге, кстати, и зубодерством, и глотали сабли, и ели пылающую паклю.

Но аппетит разыгрывается во время еды, даже когда ешь пылающую паклю, — и они задумали, вместо того, чтобы шататься по свету, вернуться в Париж и основать свой собственный театр и, вследствие этого решения, в 1825 году получили от полиции разрешение построить на бульваре Тампль деревянный балаган.

С этого времени они ежедневно давали представления, состоявшие из всевозможных фарсов итальянских и ярмарочных балаганов, меняя программу только два раза в год: во время поста для людей набожных давались мистерии, а во время каникул для детей — феерии.

Но все, о чем мы до сих пор говорили, было лишь пустяками, которыми заманивали публику внутрь балагана. И действительно, с ее стороны было бы постыдной неблагодарностью не наслаждаться даровыми представлениями и не зайти посмотреть чудеса, которые дядя Галилей Коперник приготовил для своих зрителей внутри балагана. Мне лично пришлось несколько раз бывать там, и справедливость обязывает меня сказать, что зрелище, которое там открывалось, без сомнения, стоило двух су.

То был целый мир чудес: великаны и карлики, альбиносы и женщины с бородами, эскимосы и баядерки, людоеды и инвалиды с деревянными головами, обезьяны и летучие мыши, ослы и лошади, слоны без хо-

ботов и верблюды без горбов, череп колоссальной черепахи и скелет китайского мандарина, шпага, которой Фердинанд Кортес завоевал Перу, труба, через которую Христофор Колумб впервые увидел Америку, пуговица от знаменитых штанов короля Дагобера, табакерка Фридриха Великого и трость Вольтера, наконец, живая жаба, найденная знаменитым естествоиспытателем Кювье. Одним словом, то была истинная сокровищница редкостей из всего царства природы и всех чудес мира.

Для целой комиссии ученых потребовался бы целый месяц труда на то, чтобы составить один только перечень всех удивительных вещей, которыми был сверху донизу набит балаган дяди Галилея Коперника.

Вследствие всего этого царица Таматавы, показывавшая в соседнем балагане льва и тигра, несмотря на величие своей бумажной короны и поясов из раковин, не нашла возможным отказать дяде Галилею Копернику, когда он попросил мадемуазель Мюзетту перейти в его труппу.

За тридцать франков в месяц царственная наследница владений на островах ветра должна была представлять снаружи балагана Изабеллу, а внутри его — стыдливую Суссанну между двумя грешными старцами.

Для того, чтобы придать этому ангажементу еще больше веса, мосье Флажоле подписался на контракте сразу же под подписью самой царицы Таматавы, скромно именуя себя опекуном.

С помощью восьми актеров, в числе которых был и он сам, дядя Галилей Коперник ухитрялся выводить перед публикой, по крайней мере, сто или полтораста различных личностей: слепцов, которые прозрели всего за десять минут до представления; немых, которым только что каким-то чудом возвратили дар слова; сержанта императорской гвардии, которого нашли замерзающим на огромной льдине на Березине и которого привез оттуда его собственный брат; плешивого человека, у которого с помощью помады, изобретенной самим владельцем балагана, росли на глазах у публики рыжие волосы на плечи; матроса, который был прострелен навывлет в Графальгарском сражении и которого следовало спешить увидеть, так как доктора объявили, что ему остается всего только три года, два месяца и восемь дней жизни; человека, который был чудесным образом спасен во время кораблекрушения «Медузы» акулой, для которой он и приехал выхлопотать у правительства пожизненный пен-

сион за спасение погибающих; наконец, всех знаменитых мужчин, знаменитых женщин и знаменитых детей, знаменитых лошадей, знаменитых ослов. Все это помещалось в шестидесяти квадратных футах, а посреди расхаживал сам дядя Галилей Коперник, артист, гадалщик, канатный плясун, фокусник, комедиант, зубодер и проч., и проч. Он был вездесущ, принимал участие во всем, и сам показывал свои чудеса, приправляя их комментариями, приспособленными к пониманию всех посетителей, были ли то дворяне, солдаты, ремесленники, моряки или нищие.

Сам дядя Галилей Коперник, знавший все искусства и ремесла, говоривший на всех языках и наречиях, будь то литературное, духовное, юридическое или даже воровское, признававший всех людей всех классов, званий и профессий за братьев и товарищей, а турок, немцев, англичан, испанцев, русских за соотечественников, и своей собственной особою представлял среди своих редкостей немалую редкость. Одним словом, это был беззаботнейший проходимец, в котором была масса задатков, способных при хорошем направлении сделать из него гения, но так как они были представлены случаю, то из него и вышел только акробат.

Само собой разумеется, что Фафиу воспользовался уроками такого великого учителя, но так как был беднее его талатливостью, то, дошедши до известной границы искусства, остановился и никак не мог переступить через нее. Коперник долго упорствовал в том, чтобы научить его чему-нибудь большему, и непременно хотел сделать его вторым собою и хоть помощником, но, наконец, и сам убедился в невозможности этого. Однако он был не такой человек, который стал бы кормить своего ближнего даром, не извлекая из него пользы, потому и в отношении Фафиу он решился воспользоваться его глупостью и наивностью и сделать из него какое-то чучело, шута горохового.

Множество артистов сходились от заставы Перона, из предместья Рул, из Одеона и вообще из самых отдаленных концов Парижа, чтобы послушать его тирады, которые трещали дюжинами, как петарды и хлопушки в дни народных праздников под ногами прохожих.

Когда Коперник и Фафиу (Кассандр и Джилль) были на сцене, между ними тотчас же завязывался перекрестный огонь таких острот, колкостей, шуточек, глупостей, игры словами, неожиданных вопросов и нелепых ответов,

что они могли рассмешить даже англичанина в сильнейшем припадке сплина, а публика буквально надрылась от хохота.

Но что всего страннее, так это то, что тут комик вовсе не подозревал своих достоинств,— он совершенно не знал сам себя. Он не понимал своего таланта, как многие умные люди не подозревают, что они умны. Как только он всходил на подмостки, он переставал быть Фафиу и превращался в Джилля, и говорил с Кассандром именно так, как говорил бы настоящий лакей со своим господином, не подыскивая ни интонации, ни выражений,— покорно, естественно, нагло,— смотря по обстоятельствам, и в этом-то и состояла его сила.

#### IV

### УСЛУГА ЗА УСЛУГУ

Ум Фафиу был действительно до того наивен, что часто доходил до крайних пределов глупости, но сердце у него было превосходное. Товарищи часто издевались над ним, часто срывали на нем сердце, но в душе все искренне любили его. Сам же он был чрезвычайно склонен к серьезным привязанностям и в особенности способен к глубокому чувству благодарности.

В течение предшествовавшей чрезвычайно холодной зимы бедные акробаты провели около месяца без всякого дела, едва зарабатывая су по десять в день. Сальватор узнал об этом и выручил их средствами, только ему одному известными. Самым наивным, добрым, благодарным из всей труппы оказался тут Фафиу. Каждый день после визита к Мюзетте, которая жила на площади Сент-Антре де з'Арк, он отправлялся к Сальватору и спрашивал его, не может ли оказать ему какой-нибудь услуги?

Дело шло таким образом целых три месяца. Между двенадцатью и часом дня, если только Сальватор был на своем месте, к нему приходил Фафиу. Этим-то обстоятельством и объясняется то впечатление, которое он произвел своим появлением на улице Сен-Дени, и то, что он не обратил на это ни малейшего внимания. Фафиу каждый день непременно приходил спросить своего благодетеля, что он может для него сделать, а тот неизменно ласково отказывался от его услуг. Наконец, у обоих это обратилось в привычку.

Найдутся, может быть, люди, которые возразят, что улица Фер приходится по пути от бульвара Тамплъ к площади Сент-Андрэ з'Арк, но я, как человек, хорошо знающий характер Фафиу, во имя справедливости возражу им: если бы Сальватору вздумалось переселиться даже к заставе Трона, то честный и благодарный Фафиу нашел бы время являться к нему ежедневно и туда.

При этом, однако, невольно рождается вопрос: каким образом человек с таким сердцем мог горячо желать, чтобы лев растерзал царицу Таматавы только затем, чтобы он мог жениться на мадемуазель Мюзетте. Ответом на это может быть только та истина, что любовь — одна из страстей, которые доводят человека до безумия, слепоты и зверства. Страстно влюбленный Фафиу именно ослеп и осатанел по отношению к женщине, которая держала в руках его судьбу и не позволяла ему сделаться счастливым иначе, как с тем условием, чтобы он зарабатывал никак не меньше тридцати франков в месяц.

Между тем Фафиу уже в течение пяти лет зарабатывал всего по пятнадцать франков в месяц, да и те получал так неисправно, что весь его заработок равнялся не больше чем пяти франкам ежемесячно.

Таким образом, свадьба Фафиу была отложена, употребляя ученое выражение дяди Галилея Коперника, «до греческих календ», а Фафиу приходил в отчаяние, бессилен и, наконец, доходил до зверского желания, чтобы царицу Таматавы сожрали львы и тигры.

Этими несколькими чертами вполне выясняется и характеризуется отношение к Сальватору и делается понятной фраза, которую он всегда повторял ему:

— Господин Сальватор, клянусь вам честью Фафиу: если я могу вам на что-нибудь пригодиться, располагайте мною как своей собственностью.

Зато когда Сальватор, в течение трех месяцев постоянно отказывавшийся от его услуг, сказал ему:

«Хорошо, может быть, я и поймаю тебя на слове», — Фафиу пришел в истинный восторг и радостно воскликнул:

— Тогда вы сделаете счастливым человека, мосье Сальватор, и счастливец этим буду я.

— Я и так рассчитывал на твою добрую волю, Фафиу, — ответил Сальватор, улыбаясь, — особенно после нашего разговора насчет мадемуазель Мюзетты. И, по правде сказать, даже распорядился тобой заранее.



— Ах, так говорите, говорите скорее, господин Сальватор! — заторопил Фафиу, глубоко тронутый его доверием. — Ведь вы знаете, что я готов служить вам телом и душою.

— Знаю, Фафиу. Ну, так слушай же.

Одной из особенностей Фафиу была способность придавать своему носу и ушам, по крайней мере, сорок восемь различных форм и положений. Он тряхнул головой, непомерно расставил уши и проговорил:

— Я слушаю, господин Сальватор.

— В котором часу начнется у вас представление?

— Да ведь их бывает два.

— Ну, так в какие часы бывают они оба?

— Первое — в четыре часа дня, а второе — в восемь вечера.

— Гм! В четыре часа слишком рано, а в восемь слишком поздно.

— Экая досада! А переменить этого уж никак нельзя! У нас такое правило.

— Послушай, Фафиу, необходимо, чтобы сегодня первое представление началось никак не раньше шести. Видишь ли, несколько человек из моих друзей хотят видеть твой триумф, но они заняты до пяти, а потому и попросили меня передать тебе, чтобы ты оттянул представление до шести.

— Трудно это, черт возьми, господин Сальватор!

— Уж не хочешь ли ты сказать, что это невозможно?

— Этого я вам никогда не скажу, мосье Сальватор! Раз вы сказали, что представление должно быть в шесть, значит, оно так и будет.

— Ты придумал, как это устроить?

— Нет еще, но все-таки придумаю.

— Значит, я могу быть спокоен?

— Можете быть спокойны. Хотя бы меня на куски разрезали, я раньше шести часов на сцену не выйду.

— Спасибо, Фафиу. Но это еще только половина услуги, о которой я хочу тебя просить.

— Тем лучше! Потому что в этом и трудности никакой нет.

— Значит, ты согласен все для меня сделать?

— Все на свете, мосье Сальватор!.. Если бы вы даже захотели, чтобы я сожрал свою тещу, как жру горящую паклю, я пошел бы и проглотил ее.

— Ну, нет. Это значило бы обмануть бенгальского тигра и нубийского льва, которым ты ее предоставил, а слово свое следует держать всегда.

— Так в чем же дело, мосье Сальватор?

— А вот в чем: сегодня вечером ты должен отдать твоему хозяину то, что он дает тебе каждый день.

— Это господину Копернику-то?

— Да.

— То, что он дает мне каждый день?

— Да.

— Да он никогда и ничего не дает мне.

— Ошибаешься! Он после каждого представления дает тебе пинка и всегда в одно и то же место.

— Это ногой-то под зад?.. Это точно, мосье Сальватор.

— Ну, так вот, видишь ли, когда он даст тебе сегодня пинка, ты должен выждать, пока он повернется, и ответить ему тем же.

— Хе?! — вскричал Фафиу, думая, что он не совсем понял Сальватора.

— Да, да, отплати ему тем же! — подтвердил Сальватор.

— Господину Копернику?

— Ему самому.

— Вот это уж совсем невозможно, господин Сальватор! — вскричал Фафиу, бледнея.

— Почему же невозможно?

— Да потому, что он мой директор, да и на сцене всегда играет Кассандра, моего барина. А кроме того, и по контракту этого нельзя.

— Это что значит?

— В контракте у нас так и прописано, что я должен быть брдобреем для всей труппы, представлять шутов, дураков, чучел и получать пинки «коленкой под зад беспрекословно, никогда их не возвращая».

— Гм! Никогда не возвращая,— повторил Сальватор.

— Точно так! Да я вам контракт покажу. Он у меня здесь.

Фафиу вытащил из кармана грязную, засаленную бумагу и подал ее Сальватору. Тот взял и осторожно развернул ее.

— Верно,— проговорил он.— «...никогда их не возвращая».

— Да, да, так там и прописано! Так вот-с, господин Сальватор, лучше прикажите мне умереть, только не нарушать мой контракт.

— Однако постой,— сказал Сальватор,— в контракте

сказано, что Коперник должен уплачивать тебе по пятнадцати франков в месяц, а он, если не ошибаюсь, тебе их не платил?

— Это верно-с...

— А пинки тебе все-таки дает?

— Да-с. Который день по четыре, два — после первого представления, два — после второго.

— Ну, так вот, видишь ли: если он нарушает контракт, тогда и ты можешь сделать то же самое.

Фафиу с удивлением вытаращил глаза.

— Я об этом и не думал-с! — проговорил он.

Несколько минут он постоял в раздумьи, потом покачал головой и сказал:

— Нет, а все-таки лучше прикажите мне умереть, чем нарушить контракт и дать господину Копернику пинка! Это просто невозможно!

— Да почему же, если он тебе не платит?

— А разве вы думаете, что после этого я имею право?..

— Думаю.

— А все-таки нет!.. Он нарушает контракт все-таки меньше, чем я, когда нарушу! Невозможно, господин Сальватор! Лучше уж мне умереть!

— Ну, постой, Фафиу. Давай рассуждать толком.

— Извольте, господин Сальватор.

— Ведь все сцены, которые у вас разыгрываются, вы импровизируете, причем ты, по-моему, проявляешь талант поразительный.

На щеках шута вспыхнул румянец скромного самодовольства.

— Вы очень добры, мосье Сальватор! — сказал он. — А что про импровизацию, так это верно.

— Ну, так что же может тебе помешать симпровизировать пинок точно так же, как ты импровизируешь остроты?

— Но где это видано, господин Сальватор, чтобы Джилль угощал Кассандра пинками?

— Так что ж? Это выйдет еще неожиданнее, а потому еще больше понравится публике.

— О, черт возьми! Это-то верно! — вскричал Фафиу, в котором затронули артистическую жилку. Ему уже слышались взрывы хохота и аплодисментов.

— Ну, так за чем же дело стало? Я даже не понимаю, как ты не можешь решиться на такой пустяк, когда тебя ожидает из-за него целый триумф!

- А если дядя Коперник обидится?  
— Ну, уж об этом ты не беспокойся!  
— Если он меня выгонит за то, что я нарушил один из основных пунктов нашего контракта?  
— Тогда я сам ангажирую тебя.  
— Вы?..  
— Да, я.  
— Значит, вы хотите сделаться директором театра?  
— Может быть.  
— И вы ангажировали бы меня?  
— Да... Я предлагаю тебе тридцать франков в месяц жалованья и, если хочешь, выдам тебе его за год вперед.  
— Так ведь, если у меня будет тридцать франков в месяц,— вскричал Фафиу, совершенно остолебев от радости,— тогда... тогда...  
— Что тогда?  
— Ах, Господи! Ах, Господи!..  
— Ну, что же?  
— Тогда я могу жениться на мадемуазель Мюзетте.  
— Разумеется. Только ты теперь успокойся... Коперник тебя не выгонит, потому что ты самый лучший актер во всей труппе. Да этого еще мало: если ты на другой день потребуешь, чтобы он удвоил твое жалованье, то он и на это согласится. Ты смотри, так и сделай.  
— А если он не согласится?  
— Тогда я сам дам тебе тридцать франков в месяц или, что то же, триста шестьдесят франков в год.  
— Да ведь это целое богатство! Нет, даже больше! Это счастье!  
— Так что же? И ты намерен отказаться от своего счастья, Фафиу?  
— Понятно, что нет, мосье Сальватор! Теперь это дело решенное! По правде сказать, я и сам даже очень рад маленько посчитаться с Коперником. Сегодня же вечером он получит от меня два добрых пинка!  
— Нет, нет, не два! Не увлекайся, Фафиу. Всего только один пинок.  
— Ну, хорошо,— один, да зато такой, что трех стоить будет!  
И Фафиу сделал движение, как человек, дающий страшный пинок.  
— Это твое дело, но все-таки не больше одного!  
— Хорошо, хорошо, один, один... Вам только один и нужен?  
— Да, мне нужен только один.

- Да зачем это вам, черт возьми?!
- Это моя тайна.
- Хорошо. Значит, Коперник получит один пинок.
- Прекрасно!
- Ах, я так и вижу лицо, которое сделает мой патрон! А скажите, пожалуйста, можно мне будет сейчас же после пинка соскочить с подмосток.
- Что ж? Я думаю, что в этом дурного ничего не будет.
- То-то и есть. А я дядю Коперника знаю! В первую минуту он будет готов убить меня.
- Да, но зато тридцать франков в месяц и Мюзетта.
- Правда ваша! За это стоит чем-нибудь рискнуть.
- Ну, так теперь ступай, сообрази свою роль и приладь так, чтобы тебе пришлось дать Копернику пинок между половиной седьмого и семью часами.
- Хорошо, мосье Сальватор. В тридцать пять минут седьмого Коперник получит от меня угощение ниже спины.
- Отлично! Спасибо, Фафиу.
- До свидания, мосье Сальватор!
- До свидания, Фафиу.

Шут почтительно поклонился и ушел, напевая какую-то песенку, бывшую в ходу в ярмарочных театрах. На душе у него было так легко и весело, будто королевский бенгальский тигр и нумидийский лев уже растерзали царицу Таматавы.

А Сальватор, оставшись на своем обычном месте, смотрел ему вслед с совсем иным выражением, чем на Жибелотта и его флегматичного должника.

## V

### ГАЛИЛЕЙ КОПЕРНИК

Подмостки Галилея Коперника были построены на пространстве, которое простиралось тогда да простирается еще и ныне между театром мадам Саки, превратившимся в театр Фюнамброль, до императорского цирка, называвшегося тогда Олимпийским цирком, или цирком Франкони.

Подмостки эти были вышиной в футов пять, а задний план их составлял громадный занавес, на котором были изображены женщина-великанша, белые негры, гиганты, карлики, моржи, сирены, петушиный бой, скорпионы, скелет, играющий на скрипке, Латюд, убегающий из Басти-

лии, Ревальяк, убивающий Генриха IV на улице Фероньер, наконец, маршал Сакс, одерживающий победу под Фонтенуа. Кроме того, множество картин с изображением настоящего и прошедшего было развешано вдоль всех подмостков, и они качались от ветра, как пестрые флаги, так что все заведение дяди Галилея Коперника было похоже на китайскую джонку, плывущую по волнам.

Поверхность подмостков представляла собой площадь футов семь в ширину и футов двадцать в длину и была великолепно освещена четырнадцатью лампами, установленными вдоль ramпы.

Лампионы зажгли ровно в пять часов, что несколько успокоило толпу, уже около часа нетерпеливо ожидавшую начала представления. Но несмотря ни на чад, который добросовестно испускали лампионы, ни на афишу, гласившую, что ровно в четыре часа начнется «большое представление, исполненное господами Фениксом Фафиу и Галилеем Коперником», ни на то, что прошло еще двадцать минут, а на сцене все еще никто не появлялся.

Вероятно, все, принимающие участие в театральной жизни, заметили, что требовательнее всех относятся к актерам зрители, которые заплатили за свои места дешевле других, а авторам известно, что после первых представлений самыми неистовыми и беспощадными критиками оказываются те господа, которые для получения права присутствовать в театре не потрудились даже поднести руку к карману жилета.

По-видимому, на этом же основании и толпа, ожидавшая уже целых полтора часа и потому-то бывшая в этот вечер вдвое многочисленнее обыкновенного, сочла себя вправе протестовать против такого непочтительного отношения к ней криками и ругательствами, бывшими в то время в ходу в лексиконе торговков и нередко даже молодых людей хороших фамилий.

Наконец, в половине шестого господин Галилей Коперник по все возрастающим крикам и по увесистым ударам, раздававшимся в стенах его балагана, догадался, что нетерпение толпы грозит принять опасные размеры, и решил выйти к ней на подмостки.

Но его выход, вместо того, чтобы успокоить волнение, только удвоил его. Несмотря на величественный вид, с которым вышел Коперник, его встретили такими криками и свистом, что несчастный директор театра минут пять не мог произнести ни слова.

Увидев это, он повернулся к своей публике спиной, приложил руки к губам в виде трубы и крикнул что-то внутрь балагана. Вслед за тем из-за занавеса мелькнула белая ручка мадемуазель Мюзетты и что-то подала ему оттуда.

То был ключ от ворот. Коперник взял его и принялся свистеть в него так сильно, что перекрыл этим свист толпы, и озадаченная публика совершенно стихла, а директор все еще продолжал свистеть, точно среди очковых змей.

Так как человек склонен утомляться ото всего и даже от свиста, то, наконец, и Коперник устал, отнял ключ от губ, и вокруг воцарилось полнейшее молчание.

Он воспользовался этим благоприятным моментом, с гордым достоинством подошел к рампе и произнес:  
— Господа и милорды, надеюсь, свистки и крики эти относятся не ко мне?

— Известно, к тебе! К тебе! К Фафиу!

— К тебе! К обоим! — кричала толпа. — Долой Коперника! Долой Фафиу!

— Господа и милорды, — продолжал Коперник, как только толпа стихла, — с вашей стороны было бы несправедливо возлагать всю ответственность за происшедшее промедление на меня одного, потому что я был в костюме Кассандра ровно в четыре часа и был совершенно готов к чести явиться перед вами.

— Так что же ты не являлся, если был готов? — кричали голоса. — Где же ты был? Что ты делал?

— Вы спрашиваете, где я был и что делал, господа и милорды?

— Да, да, где был? Отчего опоздал? Так поступать с публикой нельзя! Вот теперь извиняйся! Извиняйся!

— Почему произошло это замедление, господа и милорды? Вы желаете знать это?.. Признаюсь, я тоже нахожу, что обязан отдать вам этот знак уважения.

— Так говори же! Говори! Нечего маяться!

— Итак, если вы желаете знать причину нашего небывалого опоздания, то я должен сказать вам, что оно произошло вследствие ужасного, потрясающего, неслыханного несчастья, случившегося с вашим любимцем-артистом, а нашим сотрудником и другом, Фениксом Фафиу, который, как каждому известно, должен был исполнять роль лакея, роль важнейшую во всей комедии.

В толпе снова послышался шум, который на этот раз доказывал, что она относится вовсе не безучастно к несчастью, постигшему Фафиу.

Коперник показал знаком, что желает продолжать объяснение, и нетерпеливые слушатели поспешили снова смолкнуть.

Коперник выпрямился и продолжал:

— Но какое же несчастье постигло Феникса Фафиу? — спросите вы меня в один голос.— Господа и милорды, с ним случилось такое несчастье, которое может случиться с вами, со мной, с любой дамой, с любым господином, с нашими друзьями и врагами, потому что мы все — люди смертные, как конфиденциально говорил мне однажды князь Меттерних.

— Да, господа и милорды! — продолжал Коперник, пользуясь сочувственным настроением толпы, чтобы завладеть ею окончательно.— Да, ваш артист — любимец Фафиу чуть-чуть сейчас не умер.

При этом известии многие из зрителей и большинство из зрительниц принялись громко вздыхать.

Коперник поблагодарил их знаком руки и поклоном и продолжал:

— Я расскажу вам, господа и милорды, этот факт без всяких прикрас, во всей его потрясающей правде. С некоторых пор все мы стали с тревогой замечать, что Фафиу стал прятаться по углам, что Фафиу был грустен, что Фафиу похудел. Глаза его заметно тускнели, щеки впадали, подбородок загибался к носу, который, как у несчастного отца Обри, с которым мы были приятелями на берегах Миссисипи, видимо, склонялся к могиле. Что было с Фафиу? Какое горе тайно подтачивало этого замечательного артиста? Уж не пострадала ли его грудь от росту? Нет, божественный Фафиу расти давно уже перестал. Или уж не нищета ли заела его артистическую душу? Не ходил ли он по улицам с непокрытой головой за неимением шляпы, не шлепал ли босиком за отсутствием сапог, не зяб ли в одной рубашке, не имея одежды? Нет! Вы сами видели на нем новую треуголку, новые башмаки и новый казакин, потому что все это я приказал ему взять из своего старого платья. Или уж не оплакивал ли наш Фафиу утрату кого-нибудь из любимых родственников? А может быть, хоронил он в чуткой душе своей отца и мать? Не умер ли у него дядя, не оставив ему наследства, или не скончался ли у него племянник, не оставив ему для расплаты свои деньги? Нет, господа и милорды! У Фафиу нет ни отца, ни матери, у него никогда не было ни дяди, ни племянника,— у Фафиу никогда не было семьи! «Но что же



случилось с ним?».—спросите вы меня, господа и милорды. Да, что было, что было с ним?

— Ну, да! Ну, да! Что с ним было, говори!

— С ним было то, что может быть со всеми нами, как с великими, так и с нами малыми, как с бедными, так и с богатыми: у Фафиу было горе сердечное! Фафиу был влюблен!.. Скажу, как некоторые военные говорят: «Это невероятно! У Фафиу нос похож на трубу, а с носом, который похож на трубу, влюбляться невозможно!» На это я отвечаю всем военным людям Франции, начиная от капрала и кончая маршалом, что они кажутся мне людьми очень гордыми, которые слишком свысока относятся к Фафиу: скажите мне во имя справедливости, почему человек с таким носом обречен на лишение всех прелестей жизни? По какому закону, человеческому или божескому, человек, обладающий носом вроде трубы, должен быть лишен всех наслаждений страсти? Я согласен, что по части носа Фафиу создан не совсем хорошо, но зато, за исключением носа, у него есть все остальное, как и у всех остальных людей. И вот только за его курносый длинный нос вы говорите ему: «Пошел прочь!» Фи, господа! Быть не может, чтобы вы говорили это серьезно! Нет, Фафиу не лишен дара любви! А это обстоятельство доказывается уже тем, что я только что имел честь доложить вам, господа и милорды: Фафиу влюблен! — влюблен до исступления! Вот в этом-то, господа и милорды, и была тайна худобы и грусти Фафиу! Но что же придумал, что предпринял он в этом наплыве страсти? Я говорю об этом, дрожа всем телом. Он решался покончить с собою то посредством воды, то посредством пороха или яда. Итак, недостатка в средствах привести в исполнение свое страшное решение у Фафиу не было,— напротив, единственное, что могло затруднить его, так это выбор. Но ведь средство средству — рознь, как дружески говорил мне однажды граф Нессельроде.

Итак, повторяю: прежде всего была у него под рукою река. Ведь каждая река течет для всех и каждого, и Фафиу был в полном праве броситься в нее с высоты моста Нотр-Дам. Но, обдумывая этот способ, он вспомнил, что умеет плавать, и что, следовательно, бросившись в речку, он утонуть не утонет, а насморк схватит непременно. Таким образом, способ смерти, открытый для всех и каждого, для него оказывается невозможным. Было у него огнестрельное оружие,— он мог прострелить себе череп,— но Фафиу вспомнил, что он так боится всяких

взрывов, что в тот момент, когда раздастся выстрел, он непременно убежит со всех ног, так что пуля только пронесется в воздухе, упадет на пол, а его не убьет. После этого ему вспомнился огонь: он мог бы, как Сарданапал, лечь на костер, велеть принести себе туда завтрак, обед и ужин и приказать сжечь себя в то время, когда он кушает. Но при обдумывании этого Фафиу вспомнил, что зовут его Фениксом Фафиу, а он читал у Плиния и Геродота, что фениксы возрождались из пепла, и нашел, что не стоит мучительно умирать в воскресенье, чтобы воскреснуть в понедельник или во вторник. После этого ему оставалась еще веревка, т. е. попросту сказать, он мог повеситься, но когда он остановился на этом выборе, ему вдруг пришло в голову: скольких он осчастливит, оставив им такой драгоценный талисман, как веревка удавленника, и по лицу его скользнула мизантропическая улыбка, и он отказался от этого человеколюбивого рода смерти. Пришлось перейти к грозному, таинственному и неотразимому яду, потому что, господа и милорды, будь то яд Митридата, Ганнибала, Локусты, Борджиа, Медичи или маркизы Бренвиллье, яд все-таки всегда остается ядом, как однажды дружески уверял меня князь Талейран. Итак, Фафиу решился прибегнуть к яду, и когда я увидел, как он пришел, бледный, изможденный и страждущий, то с первого взгляда догадался о его самоубийстве и задрожал всем телом. Приведя свои нервы в некоторый порядок, я с участием спросил его:

— Что это с тобой сделалось, чудак, что ты так долго заставляешь ждать и меня, и публику?

— Мосье Коперник, я прекратил дни свои! — сказал Фафиу.

Эта откровенность тронула мое сердце, но в то же время, признаюсь, я был поражен еще одним обстоятельством. В самом деле, ведь странно услышать от самого человека, что он уже умер! Но так как мне приходилось видеть вещи во сто раз удивительнее этого, я продолжал его допрашивать.

— Но каким образом прекратил ты дни свои? — спросил я голосом чрезвычайно взволнованным и для моего возраста, и для моего положения.

— Я отравился, — ответил Фафиу.

— Чем?

— Ядом.

Признаюсь, этот ответ показался мне верхом драма-

тизма, гораздо выше знаменитого «Quil mougut» древнего Горация и «Моi» Медеи.

— А где же ты взял яд?— спросил я со спокойствием человека, который знает сто тридцать два сорта противоядий.

— В шкафу, в вашей спальне,— глухим голосом ответил Фафиу.

При этих словах меня снова охватил ужас, а борода моя, которую я только что перед тем причесал, ошети-нилась. Я побледнел с головы до ног и опустил на свой центр тяжести.

— Несчастный! — вскричал я.— Да ведь я же запретил тебе даже отпирать этот шкаф.

— Это верно, господин Коперник,— сказал Фафиу замогильным голосом,— но я видел, как вы поставили туда две баночки.

— Но ведь я же говорил тебе, негодяй, что там лежат мышьяковые пастилки, которые я приготовил для шаха персидского, при котором состою главным медиком, против мышей, которые разрушают весь дворец!

— Я это знал! — вскричал Фафиу с дикой энергией.

— И ты все-таки съел одну баночку?

— Нет, я съел две баночки.

— Как, даже и баночки?

— Нет, только то, что в них было.

— Все?

— Решительно все!

Я целых три раза повторил это слово, так как мне казалось, что оно лучше всего характеризует положение, в котором находился Фафиу. Вот это-то обстоятельство, слезы, которые вызвало отравление Фафиу из глаз его товарищей, наконец, еще множество подробностей, о которых не стоит упоминать сейчас, господа и милорды, к величайшему моему сожалению, и принудили нас несколько запоздать с представлением.

Если вы не безжалостны, если в сердцах ваших шевельнулось некоторое волнение во время моего потрясающего рассказа, то вы, вероятно, охотно простите нам наше промедление и позвольте нам снова спокойно приступить к нашему представлению и сегодня же вечером исполнить перед вами, как и объявлено в афише:

## ДВА КРАЙНЕ СМЕШНЫХ ПИСЬМА,

Комедию-шутку в одном акте,

причем Феникс Фафиу станет изображать Джилля, а ваш покорный слуга — Кассандра.

— Но,— скажете вы мне,— толпа ведь всегда склонна

к таким неожиданным вопросам! — каким образом Фафиу, с одной стороны, отравлен, а, с другой, будет исполнять роль Джилля? Ответ на этот вопрос чрезвычайно прост, господа и милорды! При многих дворах Европы мне приходилось отвечать на вопросы гораздо сложнее того, с которым вы сделали мне честь ко мне обратиться. И действительно, вы сейчас увидите, что мне достаточно всего несколько слов, чтобы разрешить эту задачу. Некоторые из вас, вероятно, слышали о поразительной прозорливости Фафиу. Нет человека, который не встречал бы его в переулках, пожирающим яблоки, груши, каштаны. Не подлежит сомнению, что непомерное поглощение всякой непитательной пищи должно иметь огромное влияние на кишечный канал нашего друга. Но входить в подробное исследование этого влияния я не желаю и не могу, за этим мне пришлось бы обратиться к людям, сведущим более меня. Прискорбна для меня только та сторона его, которая отзывалась на моем буфете и которую я способен измерить и без содействия всяких сведущих людей.

Долго и с ужасом смотрел я на разорительные аппетиты моего друга и сотрудника, наконец, нашел, что пора положить им предел, и стал думать, каким способом это сделать? Вы сами понимаете, господа и милорды, что человек, который распивал белое вино со всеми знаменитыми дипломатами континента, не мог не позаимствовать от них некоторой доли их находчивости и гения. Одна иностранка, которой я имел счастье спасти жизнь от одной болезни, когда от нее отказались все доктора, прислала мне в конце прошедшей осени две банки варенья из груш. Однажды в минуту откровенности я признался ей, что это варенье составляет мою слабость. Когда я получил эту посылку, то вспомнил, что обжорливый друг мой Фафиу, приходящий в неистовый восторг от всего съестного, в восторге от этого варенья еще больше, чем я. На этом-то я и решил основать свою ловушку. Я сказал Фафиу под величайшим секретом, что в этих банках лежит мышьяковое желе, которое я приготовил для крыс шаха персидского. Тогда у Фафиу еще не было ужасного намерения отравиться, но он задрожал при виде банок от одной жадности. Однако через некоторое время он впал в любовное отчаяние и вспомнил о моих банках без особенного ужаса, а когда окончательно решился на самоубийство, то стал думать о них с хладнокровием и даже с радостью.

Теперь вы поняли все, господа и милорды. Дойдя до последней степени отчаяния, Фафиу решился на самоубийство и съел две банки варенья по два фунта каждая. Первые признаки заболевания вполне походили на отравление, но благодаря в высшей степени целесообразным средствам, которые я употребил, я, кажется, могу вам поручиться, что жизнь нашего друга Фафиу теперь в полной безопасности, и через несколько секунд мы будем иметь честь начать наше представление. Музыка, начинайте!

Вслед за этим приказанием изнутри балагана раздались звуки тромбона, гобоя, кларнета и еще нескольких инструментов, которые напоминали собою шум в мастерской слесаря.

И вот под эти-то торжественные звуки директор Галлей Коперник низко, но величаво поклонился публике и исчез при громких аплодисментах толпы, которая под влиянием рассказа своего любимого Кассандра снова пришла в хорошее расположение духа. Недаром ведь сказано в Екклесиасте, что в мире есть три наиболее переменчивые существа: толпа, женщина и струя.

В то же время, как музыка с каким-то неистовым усердием возвестила, что столь долго ожидаемое представление должно, наконец, начаться, со стороны Бастилии на бульвар вышло несколько человек новых зрителей. Все они были одеты в тогдашние модные коричневые плащи и тотчас же смешались с толпой.

Человеку ненаблюдательному могло показаться, что между всеми ними нет ничего общего, но для того, кто взглянул бы на них повнимательнее, тотчас стало бы понятно, что они знают друг друга и связаны какой-то общей целью, потому что те из них, которые приходили вновь, делали какие-то таинственные знаки тем, которые пришли раньше. Но это продолжалось не более одного момента, а затем они быстро разошлись в разные стороны, затерялись среди зрителей и, казалось, пришли только затем, чтобы посмотреть на представление, так что никто не обратил на них ни малейшего внимания.

## VI

### ПОПЫТКА ВЗГЛЯНУТЬ НА ФАРС ВБЛИЗИ

Когда режущая уши увертюра, наконец, смолкла, на сцене появились Джилль и Кассандр, то есть Фафиу и Коперник.

Минут десять толпа не могла успокоиться от радостных криков и неистовых аплодисментов.

Оба артиста медленно подошли к рампе и почтительно и низко раскланялись. После этого Фафиу вернулся к заднему занавесу, а Коперник, открывавший сцену, остался у рампы и начал свой монолог. Этот фарс, дословно записанный одним из наших товарищей, представляет образец тогдашней народной литературы, и мы искренне рады возможности представить его нашим читателям во всей его первобытной наивной простоте.

### СЦЕНА ПЕРВАЯ

Кассандр (*задумчиво ходит взад и вперед по авансцене. Джилль стоит в глубине у заднего занавеса*).

Кассандр. Черт бы меня взял, если я знаю, где сыскать лакея, в котором были бы и ум, и честность, и дурной желудок, т. е. три главные лакейские добродетели! Просто, чем дольше живешь, чем дольше существует мир, тем он становится хуже, и хорошие слуги становятся просто редкостью. И в какую только дьявольскую страну они запропастились! Верно, в такую, где нет господ! Доходит до того, что я часто хочу сам нанять себя в лакеи к себе. Вся беда только в том, что я до того скуп, что ни за что не дам себе жалованья, которого заслуживаю, а так как мое первое условие при найме лакея состоит в том, чтобы он кормился, как знает, то я непременно уморю себя голодом. Значит, об этом и думать нечего. (*Оглядывается во все стороны*). Это что там такое?.. Так и есть — лакей! Бежит, как шальной, задрал голову! Эй ты, любезный! Не слышит и все бежит дальше!.. Эй, любезный!.. Хоть бы на камень наткнулся, да шлепнулся бы!.. Эге! Отлично! Так-таки и полетел! (*Идет к Джиллю и помогает ему подняться*). Куда это ты бежишь, мой милый?

Джилль. Да я уж не бегу, а лежу, сударь.

Кассандр (*в сторону*). А ведь верно! У этого парня, видно, ума палата, — я сказал глупость! (*Громко*). Извини, я ошибся во времени. За чем ты это гнался?

Джилль. За птицей.

Кассандр (*в сторону*). А! Так вот почему он бежал, задравши голову! (*Громко*) А как же улетела у тебя птица?

Джилль. Я отпер клетку, а она и вылетела.

Кассандр. А зачем ты отпирал клетку?

Джилль. Потому что там воняло.

Кассандр. Значит, ты живешь в услужении?

Джилль. Нет, сударь! После такой беды я теперь, верно, уже без места! Так что если вам нужен хороший лакей...

Кассандр. Да прежде всего, черт возьми, мне нужно знать, откуда ты?

Джилль. Я из дома.

Кассандр. Я так и думал... Но чей же был этот дом?

Джилль. Одного епископа.

Кассандр. А кем ты был у твоего епископа?

Джилль. Дворецким.

Кассандр. Черт возьми! Это хорошо! Значит, ты и готовить умеешь. Что ты с меня возьмешь?

Джилль. За что?

Кассандр. За то, чтобы служить мне.

Джилль. О! Об этом не беспокойтесь, все, что смогу.

Кассандр. Я тебя спрашиваю, на какую ногу ты хочешь мне служить?

Джилль. Да я стану служить на моих обеих ногах.

Кассандр. Вот это хорошо! Мне кажется, что мы сойдемся.

Джилль. А я так в этом уверен.

Кассандр *(глядя на него)*. Эге-е!

Джилль *(глядя на Кассандра)*. Эге-е!

Кассандр. А ты мне нравишься! И цвет волос у тебя хороший, и нос отличный! Теперь посмотрим, какой ты работник.

Джилль *(поет)*:

Один швейцарец возвращался

С далекой стороны, где немцы жили...

Кассандр. Ты что это такое делаешь?

Джилль. Я пою. Вы спросили, могу ли я петь,— я и запел.

Кассандр *(в сторону)*. Этот парень нравится мне все больше и больше! *(Громко)*. Я не то хотел сказать! Я хотел кое о чем расспросить тебя, чтобы узнать, не совсем ли ты глуп.

Джилль. О, коли только за этим дело стало, так говорите, сударь, расспрашивайте о чем вам угодно. Лучше вашего усердного слуги вам никто не ответит.

Кассандр. Оно, пожалуй, и верно! Говоришь ты очень много. Скажи-ка ты мне, например... Ах, да! Я и забыл спросить,— как тебя зовут?

Джилль. Зовут меня, к вашим услугам, Джиллем.

Кассандр (*в сторону*). Смышленный парень! Ну, так вот объясни-ка мне, мой милый Джилль, как это так рыбы опускаются на дно реки и все-таки не тонут?

Джилль. Да кто ж вам сказал, сударь, будто они не тонут?

Кассандр. Это я и сам вижу. Ведь они опускаются на дно, а потом опять всплывают.

Джилль. Да это совсем не те, сударь! Те так на дне и остаются, а всплывают другие!

Кассандр (*после продолжительного размышления*). Черт возьми! А ведь, может быть, ты и правду говоришь.

Джилль. Угодно вам меня расспросить еще о чем-нибудь?

Кассандр. Разумеется... Скажи, пожалуйста, почему это луна заходит именно в то время, когда восходит солнце?

Джилль. Да это вовсе не луна заходит, когда восходит солнце, а солнце восходит, когда заходит луна.

Кассандр (*с удивлением*). Клянусь честью,— мне это никогда в голову не приходило. Да ты, значит, астроном, Джилль?

Джилль. Точно так-с.

Кассандр. А у кого ты учился?

Джилль. У господина Галилея Коперника.

Кассандр. Человек он великий! Ну, так если ты учился у этого великого ученого, то, наверное, ответишь мне на такой вопрос: справедлива ли была природа, что дала мне только две руки, когда мне росту пять футов четыре дюйма?

Джилль. Да с ослами она поступила еще несправедливее,— у тех четыре ноги и ни одной руки.

Кассандр (*озадачен*). Экая голова! На все ответ готов. (*Подходит к рампе и говорит сам с собою*). Я, в самом деле, напал, кажется, на парня смышленного. Он станет мне верным слугою, а если у него кое-что есть в запасе, то можно будет со временем за него и дочку отдать. (*Громко*). Ну, отвечай-ка мне, Джилль.

Джилль. Я до сих пор только это и делал, сударь.

Кассандр. Это правда... А что, Джилль, ты ведь еще мальчуган?

Джилль. Точно так, сударь!.. Разве только мать ошиблась, когда записывала меня в мэрии мальчиком, а не девочкой.

Кассандр (*в сторону*). Чудак! Не понимает! (*Громко*). Я не то хотел спросить! Ты еще холостой?



Джилль. Холост, как Жанна д'Арк, ваша милость.

Кассандр. Это что же такое значит?

Джилль (*таинственно*). А то, что и я мог бы прогнать англичан.

Кассандр. Что ж, при случае и это может тебе пригодиться. Однако не станем говорить о политике.

Джилль. Точно так, сударь! Давайте лучше говорить о философии, ботанике, анатомии, литературе, о науках, о пиротехнике (*внезапно останавливается*). Кстати, о пиротехнике! Что это там такое?

Кассандр (*глядя по направлению его пальца*).— Это бутылка вина, которую я велел подать, чтобы освежиться.

Джилль. Уже не такие ли вы, как и я, сударь?

Кассандр. Может быть. А ты какой?

Джилль. Я ведь страдаю жаждой.

Кассандр. О, я тоже!

Джилль. Я с радостью раздавил бы бутылочку.

Кассандр (*в сторону*). Преловкая бестия! (*Громко*). Ну, вот мы с тобой так и сделаем, Джилль,— давай пить, болтая, или, если хочешь, болтать, попивая. Ты, кажется, человек основательный!

Джилль. Никак нет-с, сударь! Вот-с последнего сбора виноград...

Кассандр (*в сторону, прерывая его жестом*). Чудак! Не понимает! (*Громко*). Я хотел сказать, что у тебя изъянов, кажется, нет.

Джилль. Нет, только и есть у меня, что мозоли!

Кассандр. Я хочу сказать, что ты собой править умеешь.

Джилль. Править-то? Да я даже в извозчиках не был.

Кассандр (*в сторону*). Надо переменить разговор! Кажется, есть статьи, по которым он слова сказать не умеет. (*Громко*). Ты много служил, Джилль?

Джилль. Точно так, сударь. Оттого я и поистерся.

Кассандр. Так кому же ты служил?

Джилль. Прежде всего — своей родине.

Кассандр. Как! Значит, ты и в солдатах был?

Джилль. Точно так, сударь. Я пробывал три месяца в рекрутах.

Кассандр. Уж не был ли ты и ранен?

Джилль. Точно так-с.

Кассандр. Это куда же?

Джилль. В сердце-с... Поведением моего генерала, сударь.

Кассандр. Что же такое случилось?

Джилль. Да извольте видеть, наш генерал заставил нас исходить долину вдоль и поперек.

Кассандр. Черт, возьми! Может быть, у него насморк был.

Джилль. Ну-с, ходили мы, ходили и никого не встретили! А я-то сдуру и скажи, что наш генерал большую победу одержал.

Кассандр. Это какую же?

Джилль. Да стер с лица земли крестьянские посева. Генерал-то это узнал да и засадил меня в тюрьму.

Кассандр. Он, вероятно, тебя не понял! Ну, и сколько же времени просидел ты в тюрьме?

Джилль. Целых три года, сударь.

Кассандр. В каком же месте возвышался ваш тюремный замок?

Джилль. Он не возвышался, сударь, а унижался.

Кассандр. А! Понимаю! Так что ты был...

Джилль. Точно так, сударь! Под землей.

Кассандр. Я хотел спросить, в какой местности это было?

Джилль. Да так... возле моря.

Кассандр. Возле какого же именно?

Джилль. Возле Средиземного-с.

Кассандр. А! Я тоже знаю один город на Средиземном море... Я тоже бывал...

Джилль. Я тоже, сударь!

Кассандр (*припоминая*). Как его называют?.. Ту... Ту... Ту...

Джилль (*услужливо*). Лон, лон, лон, сударь.

Кассандр. Да, да, да,— Тулон! Так, значит, ты был на галерах, бедняга!

Джилль. Да ведь мало ли что с человеком в жизни не бывает, сударь.

Кассандр. Ну, а еще где ты служил? То есть кому ты служил, кроме своей родины?

Джилль. Служил я еще игрушкой у одной своей землячки.

Кассандр. Ну, и что же? Она заставила тебя познакомиться с отчизной?

Джилль. Точно так-с, сударь. Вот тогда-то я понял, что женщины заставляют нас совершать большие безумства, чем мореплавания.

Кассандр. Ну, послушай, Джилль, ведь после долгой службы ты, верно, скопил кое-что?

Джилль. Точно так, сударь, скопил целую кучу муки да и печали тоже.

Кассандр. Ну, а в другом роде?

Джилль. Да муки во всех родах, сударь.

К а с с а н д р (*в сторону*). Опять не понимает! (*Громко*) Я тебя спрашиваю, есть у тебя кое-что?

Джилль. Да у меня вся одежда кое-чем набита.

Кассандр. Фондами?

Джилль. Да, и штаны тоже.

Кассандр. Ах, да не в том дело! Я говорю: у тебя, верно, завелись деньги?

Джилль. Рад бы я до денег добраться!

Кассандр (*в сторону*). Ничего не понимает! (*Громко*). Да скажи ты мне просто: отложил ты что-нибудь в сторону?

Джилль. А то как же-с? Я отложил в сторону все проказы молодости. Да ведь и нельзя же-с... старится человек...

Кассандр. Что уж и говорить! А все-таки ты не ответил мне на то, о чем я тебя спрашиваю?

Джилль. А-а?

Кассандр. Я тебя спрашиваю, есть ли у тебя капитал?

Джилль. Вы бы так сразу и говорили, сударь! У меня есть после смерти тетки пятьдесят ливров доходу.

Кассандр. Ого! Черт возьми! Пятьдесят ливров! Да знаешь ли, ведь это сумма почтенная!

Джилль. Понятно, что знаю-с!

Кассандр. Я говорю, что это сумма большая, хорошая, серьезная!

Джилль. Я так и понимаю-с. Вы изволите говорить, что это не пустяки!

Кассандр. Джилль!

Джилль. Чего изволите?

Кассандр. Я хочу предложить тебе одну штуку.

Джилль. Какую-с?

Кассандр. Да согласишься ли ты?

Джилль. Понятное дело, соглашусь, если не придется отказаться.

Кассандр. У меня есть дочка.

Джилль. А! В самом деле?!

Кассандр. Честное слово, есть.

Джилль. И она вам собственная, сударь?

Кассандр. Ну, да! Она родилась от моей покойной жены.

Джилль. Значит, она родилась не от вас, а от вашей жены?

Кассандр. То есть, родилась от нас двоих: от меня и от жены. *(В сторону)*. Какой невинный юноша! Ничего не понимает! *(Громко)*. Ну, так вот, у меня есть дочь: молоденькая, чистая, невинная и очень веселая.

Джилль. Значит, это дочь веселая, сударь.

Кассандр. Я уже несколько времени ищу для нее подходящую партию. С тобою я встретился совершенно случайно и делаю тебе такое предложение: хочешь ты, Джилль, быть моим зятем?

Джилль. Так что же? Я, сударь, не отказываюсь.

Кассандр. Да этого мне мало! Ты ведь, однако, и не соглашаешься.

Джилль. Да товар-то ведь надо в лицо посмотреть, сударь.

Кассандр. Я тебе его и покажу.

Джилль. Хорошо. Только вы, сударь, не изволите забыть, что за просмотр денег не платят.

Кассандр. Разумеется, не платят!.. *(В сторону)*. Эге! Юноша-то, видно, бережливый!

Джилль. Ну, а насчет приданого-то как, сударь?

Кассандр. Очень просто, я дам ей столько же, сколько есть у тебя самого, т. е. добрых пятьдесят экю.

Джилль. Так вот вам моя рука, сударь. Это дело решенное.

Кассандр. Значит, я могу позвать мою дочь?

Джилль. Что ж? Зовите.

Кассандр *(кричит)*. Изабелла! *(Джиллю)*. Надеюсь, что останешься доволен!

Джилль. Вы говорите, она хорошенькая?

Кассандр. Она мой живой портрет.

Джилль. Ну, тогда хорошего мало.

Кассандр. Да пойми меня: портрет, но сделан он в исправленном виде.

Джилль. Ну, слава Богу!

Кассандр *(кричит громче прежнего)*. Изабелла! Эй! Изабелла! Всегда приходится охрипнуть, чтобы дозваться эту проказницу! Изабелла!

## СЦЕНА ВТОРАЯ

### Те же и Изабелла

Изабелла *(подходит медленно и шепчет отцу на ухо)*. Я здесь, папенька.

Кассандр. Черт бы побрал дурищу, которая чуть не уморила меня со страху.

Изабелла. Да и вы, папенька, кричите, точно палка, которая потеряла своего слепого!

Кассандр. Отчего же ты не идешь каждый раз, как я тебя зову?

Изабелла. Ну, знаете ли, папенька, кабы я шла каждый раз и всюду туда, куда меня зовут, мне пришлось бы ходить и слишком часто, и слишком далеко. Что же теперь вам угодно?

Кассандр. Смотри!

Изабелла. Это на что же?

Кассандр. Вот на этого красавчика.

Изабелла. На этого мозгляка?

Кассандр. Ну, как ты его находишь?

Изабелла. Вот так харя!

Кассандр. Это твой будущий муж.

Изабелла. То есть как это мой муж?

Кассандр. Да так, как всегда мужья бывают. Я сейчас дал ему слово.

Изабелла. А коли дали, так можете и назад взять.

Кассандр. Что??

Изабелла. Чтобы я пошла за такую жердь сухопарую? Никогда этому не бывать!

Джилль. Я суховат, сударыня, это верно, а только при желании... Ведь все на свете возможно-с.

Изабелла. Ну, знаете, с этакой рожей, если что и возможно, то разве что в больницу попасть.

Кассандр (*Джиллю*). Ну, а ты как ее находишь?

Джилль. Просто прелесть!

Кассандр. Ах ты, бараньи твои рога! Вот мы ее за тебя и выдадим! Останьтесь-ка вдвоем, а ты ее тут ублажай.

Джилль. Эге! Хорош ты, брат! Так, значит, когда мы разойдемся, она будет девица, выдавшая виды.

Кассандр (*уходя*). Экий парень простой! Ничего не понимает.

## СЦЕНА ТРЕТЬЯ

### Джилль и Изабелла

Изабелла. Ах, я несчастная из несчастных! И как это только моя маменька так сплеховала?! Могла ведь, кажется, выбрать мне папеньку и вдруг выбрала этакого!

Джилль. Вот это уж с вашей стороны не хорошо,

мадемуазель Изабелла! Разве хорошо поносить гражданина, который подарил вам жизнь? Что ж тут худого, что он предлагает вас... в жены хорошему человеку?..

Изабелла. Что? Вас мне в жены? Значит, вы моей женой будете?

Джилль. Ну, нет-с... вы, кажется, ошиблись, мадемуазель.

Изабелла. Так или иначе — вас мне в мужья, меня вам в жены — это все равно, а этому не бывать.

Джилль. А если я, с глазу на глаз и положи правую руку на сердце, а левую по шву штанов, признаюсь вам, что как увидел, так и влюбился?

Изабелла. Это в кого же?

Джилль. Да в вас, конечно! Ну, вот смотрите: правая рука на сердце, левая по шву! Я вас люблю до бешенства, купидончик вы этакий! А? Что вы мне на это скажете?

Изабелла. На такое лестное признание я могу ответить точно таким признанием, только наоборот. Мне кажется, что вы должны происходить из благородного рода, и я могу излить вам все чувства моего сердца, как настоящему французскому рыцарю.

Джилль. Говорите, говорите!

Изабелла. Совсем откровенно?

Джилль. Понятное дело, совсем!

Изабелла. Ну, так вот: как только я вас увидела, так и стали вы мне противны.

Джилль. Ах, черт возьми! Ах, дьявольщина!

Изабелла. Перестань-ка на минуту чертыхаться и дослушай меня до конца. Я вас не люблю, с одной стороны, за то, что вы мне противны, а с другой, — потому что я обожаю одного дворянина из хорошего дома.

Джилль. А как зовут моего ненавистного соперника?

Изабелла. Мосье Леандр.

Джилль. А! Я его знаю и помню, как надавал ему оплеух, а он мне и сдачи-то не дал!

Изабелла (*дает ему пощечину*). Так вот получите их от меня и можете расписаться в получении.

Джилль. Ах, черт возьми!.. А знаете ли, я себе на ногу наступать не позволю!

Изабелла. Значит, у вас ноги в мозолях?

Джилль. Нет, так говорится.

Изабелла. О! Со мной, пожалуйста, не церемоньтесь. Для меня ведь это решительно все равно! Я и до

пощечины и теперь повторяю: я обожаю мосье Леандра. Мы начали с ним перемигиваться с августа.

Джилль. А в каком году был этот август? (*Про себя*). Эта девочка — настоящая кошечка.

Изабелла. В 1820! Как видите, не со вчерашнего дня! Ну, откажитесь от нашей свадьбы хоть из великодушия.

Джилль. Ой, ой, ой! Да я сам-то слишком влюбился в вас для этого!

Изабелла. Ну, хорошо, так выбирайте сами! Я скажу вам только одно: если вы на мне женитесь, я вам рога наставлю! Вы так это наперед и знайте! Для вас же хуже! Вы сами заставили меня сказать вам такое неприличное слово. (*Уходит*).

### СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Джилль (*один*). И кто мог бы подумать, что эта девочка-дочка, т. е. собственная дочка этого почтенного старика?!.. Надо ему поклониться хорошенько!

### СЦЕНА ПЯТАЯ

#### Джилль и Кассандр

Кассандр. Ну что, Джилль?

Джилль. Насчет чего, сударь?

Кассандр. Что ты скажешь о моем плоде?

Джилль. Да перезрел он у вас маленько.

Кассандр. Что? Перезрел?

Джилль. Да! Перезрел да и испортился.

Кассандр. Это что значит, милостивый государь?

Джилль. Да то самое и значит, что я вам говорю.

Кассандр. Хорош ты, если можешь клеветать на самую добродетель.

Джилль. А знаете вы господина Леандра?

Кассандр. Еще бы я его не знал! Черт возьми!

Джилль. Ну, так вот этот господин Леандр и обработал ваш фрукт пораньше меня.

Кассандр. Знаю. Да только что это за человек? Так, пустылька какая-то. За то я его и прогнал, он теперь далеко.

Джилль. То есть вы это так думаете?

## СЦЕНА ШЕСТАЯ

### Те же и фактор\*

Фактор (*задирая нос*). Э! Господин Кассандр! Джилль. Он, кажется, вас ищет?

Кассандр. Ты думаешь?

Фактор (*продолжая смотреть вверх*). Господин Кассандр!

Джилль. Слышите, он вас зовет.

Фактор (*по-прежнему*). Господин Кассандр!

Кассандр. Вы ищете господина Кассандра, мой милый?

Фактор. Да вы что глухи, черт бы вас побрал, что не слышите?

Кассандр. Черт побрал вас самих. Это я!

Фактор. Кто вы? Черт?

Кассандр (*в сторону*). Чудак! Он меня не понимает! (*Громко*). Нет, я не черт, а господин Кассандр.

Фактор. Ну, уж и врете! Быть этого не может!

Кассандр. Почему ж так?

Фактор. Потому что на конверте стоит: господину Кассандру, на улице Луны.

Кассандр. Да ведь мы же теперь и есть на той самой улице.

Фактор. Улица-то та, это верно, да тут написано: на пятом этаже, а вы стоите на мостовой.

Кассандр. Это ничего не значит! Я и есть господин Кассандр, с улицы Луны, а теперь только стою на улице.

Фактор. Ну, уж, нет! Вы будете настоящим господином Кассандром, которого мне нужно, только тогда, когда будете на пятом этаже.

Кассандр. Хорошо. Пойдем наверх, там ты мне и письмо отдашь.

Фактор. Пойдемте.

Кассандр (*уходя*). Этот чудак меня решительно не понимает.

## СЦЕНА СЕДЬМАЯ

### Фактор и Джилль

Фактор. А скажи ты мне, любезный, не знаешь ли ты здесь человека, которого зовут Джиллем?

---

\* Фактор (*уст*) — посредник, комиссионер, выполняющий мелкие поручения.



Джилль. Такой молодой, красивый, очень благородного вида?

Фактор. А кто его знает? Может быть.

Джилль. Так вот он.

Фактор. Где?

Джилль. Да перед тобой.

Фактор. Что?!

Джилль. Что же тебе нужно?

Фактор. Так это вас-то и зовут Джиллем?

Джилль. А вы в этом сомневаетесь?

Фактор. Да... Ведь вы сказали, что он...

Джилль. На счастье и аттестаты мои со мною.

Фактор. Это мне на что?

Джилль. Вот там и увидите, кто я такой.

Фактор. Ну, давайте, посмотрим.

Джилль (*вынимает из кармана бумагу и читает*) «Тулон... гм... гм... Я, нижеподписавшийся, смотритель за каторжниками, с приложением казенной печати и своей подписью... гм... гм... сим свидетельствую... гм... гм... ну, да, сим свидетельствую... что предьявитель, по имени Джилль... двадцати двух лет от роду»...

Фактор. Ну, хорошо, дальше.

Джилль (*продолжает читать*). «Ростом пять футов и один дюйм»...

Фактор. Дальше?

Джилль. «Нос вроде трубы»...

Фактор. Хорошо.

Джилль. «Цвет лица землистый».

Фактор. Очень хорошо!

Джилль. «Цвет волос — горчичный».

Фактор. Совершенно верно! Теперь вижу, что вы в самом деле Джилль.

## СЦЕНА ВОСЬМАЯ

### Те же и Кассандр

Кассандр (*из окна пятого этажа*). Эй, ты! Фактор!

Фактор. Сейчас! (*Джиллю*). Дайте мне десять су.

Джилль. Это зачем же?

Фактор. За ваше письмо.

Джилль. За письмо? Это значит, я должен платить за то, что мне кто-то что-то пишет?

Фактор. Понятное дело.

Джилль. Ну, нет! Мне кажется, что тому следовало бы платить, кто имеет честь писать мне!

Кассандр. Эй! Фактор!

Фактор. Сейчас (*Джиллю*). Ну, давайте же пятьдесят сантимов.

Джилль. Да не хочу я вашего письма.

Фактор. Как не хотите?

Джилль. Да так, не хочу и все тут! Ведь в этих письмах иной раз и адские машины бывают.

Фактор. Вы отказываетесь от письма со вложением?

Джилль. Еще бы! Коли со вложением, так ведь от этого оно еще хуже.

Фактор. Тем хуже для вас! Отказывайтесь, если хотите. А тут новости денежные.

Джилль. А! Значит, письмо со вложением, значит, с новостями о деньгах?

Фактор. Да.

Джилль. А я-то все думал, что деньги обозначает восьмерка треф!

Кассандр. Эй! Фактор!

Фактор. Иду!

Джилль. Ну, уж возьмите! Вот вам пятьдесят сантимов.

Фактор. Спасибо.

Джилль. Однако скажите, пожалуйста! Ведь письмо-то написано восемь дней тому назад!

Фактор. Так и что? Оно шло восемь дней из Пантена. Это не много!

Джилль. А на письме написано «спешное».

Фактор. Да те, кто письма пишут, вечно спешат, а те, кто их развозит да носит — никогда.

Джилль. Ну, хорошо, ступай, а то от твоего ящика просто разит.

Фактор. А это я положил туда себе чесноку на завтрак.

Кассандр (*держа в руке длинную тесемку*). Эй! Фактор!

Фактор (*подходя к дому*). Здесь, здесь!

Кассандр. Ну, вот видишь, теперь я, господин Кассандр, на улице Луны, на пятом этаже.

Фактор. Вижу.

Кассандр. Так давай письмо.

Фактор. Нет, сначала спустите мне мои три су.

Кассандр (*бросая деньги*). Получай!

Фактор. Благодарю! (*Привязывает письмо к концу тесемки*). Тащите!

Кассандр. Тяну! (*Он начинает тащить письмо вверх*,

но в это время открывается окно первого этажа, чья-то рука схватывает письмо и исчезает). Эй! Фактор!

Фактор. Что?

Кассандр. Разве вы не видели?

Фактор. Видел.

Кассандр. Мое письмо украли!

Фактор. Когда один вор другого обкрадывает, черту от этого только веселей (*Уходит*).

Кассандр. Чудак! Не понимает! Надо идти на первый этаж и вытребовать свое письмо! (*Запирает окно*).

## СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Джилль (*один*). Вот теперь наедине и посмотрим, что мне тут пишут! (*распечатывает письмо и читает*). «Честь имею сообщить вам, что здоровье третьего внука вашего, Вениамина, восстановлено окончательно. В настоящее время он чувствует себя так же хорошо, как дерево, называемое «очарование». Лучше и вернее выразить свою мысль я не могу» (*останавливается*). Странно!.. Я и отцом-то, кажется, всю жизнь не бывал!.. Как же это я дедом-то сделался?.. Ну, да все равно, может быть дальше объяснится... (*Читает*). «Не настало ли время дать, наконец, ваше согласие на брак, который был совершен уже семь лет тому назад без вашего ведома, хотя бы от того опали ваши седые волосы?» (*опять останавливается*). Ну, вот! Еще того лучше! Теперь оказывается, что я седой? Пусть бы уж писал, что я синий, красный, желтый, черный,— ну, какой угодно, а вдруг — седой!? Это уж черт знает, что такое!.. Однако что там дальше?.. (*Опять читает*). «Разве это не ужасно, что вы, зная, что дочь ваша Изабелла — мать уже троих детей, хотите отдать ее замуж за этого дурака Джилля?» (*останавливается*). О ком же это он?.. (*Читает дальше*). «Долгом считаю сообщить вам, что я получил недавно маленькое наследство в двести ливров дохода, что даст нам с Изабеллой возможность жить вместе, если не в богатстве, то в достатке. Ответьте мне тотчас с курьером. Преданный вам Леандр». (*Задумывается*). Да нет, нет, это просто невозможно, чтобы я, если бы я действительно был отцом моей дочери и, следовательно, дедом ее троих детей, чтобы я после этого вздумал отдать ее за кого-нибудь другого, а не за отца этих трех несчастных малюток. Но с какой же стати этот Леандр смеет говорить, что я отец, а потому еще позволяет себе сомневаться в моей родительской неж-

ности! (*Задумывается, потом вдруг хлопает себя по лбу*). Вот так штука! А что если фактор отдал мне письмо, которое не ко мне написано?! (*Внимательно рассматривает конверт*). Жарномбиллы! Ведь так и есть!.. Не мне!.. Написано: «Господину Кассандру, улица Луны, пятый этаж». Господину Кассандру!.. Ловко!.. Этот старый хитрец хотел женить меня на своей невинной доченьке, у которой только троечка ребяток!.. Чудесно!.. Последнего внука зовут Вениаминчиком!.. Ах, ты, старая bestия!.. Да вот он и сам, своей почтенной персоной! Я тебе теперь ничего не скажу, ну, а самого-то заставлю высказаться!.. Посмотрю, до чего подлец ты есть!

## СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

### Джилль и Кассандр

Кассандр (*входит, читая письмо*). «Честь имею довести до вашего сведения о горькой утрате, которую вы понесли в лице столь любимой вами мадемуазель Аменаиды Лампонис, скончавшейся вчера, на семьдесят шестом году жизни»... (*Останавливается*). Странно! У меня никогда не было тетки!.. Как же она могла умереть? А, впрочем, на свете бывает много удивительных вещей!.. А что там дальше? (*Продолжает*). «Долгом считаю присовокупить при этом, что рассчитывать на сто пятьдесят ливров дохода покойницы вам не следует. Она нашла более удобным лишить вас наследства в пользу приказчика колбасной лавки Сен-Манехульда». (*Останавливается*). Удивительно! Просто поразительно!.. Кажется, эта тетенька, которой у меня быть не могло и которая все-таки существовала, вздумала лишить меня наследства для какого-то... Однако посмотрим дальше. (*Снова читает*). «Тем не менее, не подлежит сомнению, что если вам угодно будет заплатить долги вашей тетушки, простирающиеся до суммы ста пятидесяти тысяч ливров пятнадцати су и десяти денье, то приказчик колбасника в Сен-Манехульде предоставит вам возможность воспользоваться наследством вместо него. Соблаговолите почтить меня вашим решительным ответом по этому делу тотчас же по получении моего письма. Почтеннейший слуга ваш Буден де ла Марн из Сен-Манехульда, Сан-Джикомо-стрит, бывший № 9, ныне № 11». (*Задумывается*). Не понимаю!.. Бывший № 9, т. е., значит, прежний 9, а теперешний 11. Однако что же такое этот нотариус сочиняет? Я и наследник, и не наследник,

и № 9, и не № 9!.. Где он все это выкопал?.. Да и пишет-то как! Будто я, гражданин Парижа, какой-нибудь убогий сен-манехульдец! Не нравится мне это панибратство... однако, ответить ему все-таки придется! (*Задумывается и вдруг хлопает себя по лбу*). А вот что мне пришло в голову: что, если фактор вручил мне письмо, которое не мне писано? (*Рассматривает конверт*). Гм!.. «Господину Джиллю, Тампльский бульвар, под большой стрелкой Кадран Геле». Эге! Значит, этот дурак хвастался наследством, которого еще не видал, как своих ушей. Хорош! Истинный интриган! Однако я все-таки не скажу ему ничего сразу. Посмотрим, до чего он доверется. (*Джиллю, который выжидает молча*). Ну что, Джилль?

Джилль. Ну что, тестюшка?

Кассандр. Хорошие ли новости вычитал ты в своем письме?

Джилль. Какие радостные вести прислала вам ваша депеша?

Кассандр. Ничего себе! Я доволен.

Джилль. А откуда она?

Кассандр. Из Вожирара. Пишут, что сбор винограда будет нынче отличный,— восемь дней подряд идет дождь.

Джилль. Удивительно! Ведь и мне пишут то же самое из Монмартра! Картофель должен нынче уродиться чудесный, потому что вот уже восемь дней стоит засуха!

Кассандр. Джилль!

Джилль. Что прикажете?

Кассандр. Объясни ты мне, пожалуйста, как это так,— одно и то же солнце печет в Вожираре и не показывается в Монмартре.

Джилль. Ах, это очень просто! Вожирар лежит южнее, а Монмартр — севернее. Долины Вожирара иссушены лучами тропического солнца и нуждаются для плодородия во влаге, между тем как снежные возвышенности, соседние с пиком Монмартра, нуждаются для той же цели в солнце. Природа — замечательно логична!

Кассандр. Да, да, порядок изумительный.

Джилль. Велика и прекрасна Вселенная.

Кассандр. Благ и премудр Господь.

Джилль. И тайна его неисповедима.

Кассандр. И как все это продуманно выстроено!

Джилль. И как все неразрывно связано!

Кассандр. Гармония поразительная.

Джилль. Творение премудрое, но поговорим о другом.

Кассандр. О чем же ты хочешь поговорить, Джилль?

Джилль. О вас, тестюшка.

Кассандр. И о тебе, зятюшка. Ты уверен, что получишь наследство от тетки твоей Аменаиды Лампонис?

Джилль. Как, вы знаете великое имя моей маленькой тетеньки, т. е. я хотел сказать маленькое имя моей великой тетки.

Кассандр. Да, знаю.

Джилль. А как вы его узнали?

Кассандр. Это я скажу тебе потом, а ты сначала ответь.

Джилль. А вы, тестюшка, уверены, что выдадите за меня вашу дочку еще невинной?

Кассандр. Неужели ты сомневаешься в чистоте моей единственной дочери?

Джилль. Да не то что сомневаюсь, черт возьми!

Кассандр. Что это значит?

Джилль. А то, что я все знаю, старый ты дурак!

Кассандр. Ну, так и я же все знаю, молодой ты интриган!

Джилль. Что же такое вы знаете?

Кассандр. Нечего тебе прикидываться! Я ведь знаю, что тетка-то тебе ни шиша не оставила.

Джилль. А у вашей дочки Изабеллы есть три сына, и самый младший внучек, Вениаминчик, поправляется.

Кассандр. Что? Ему лучше?

Джилль. Гораздо лучше! И я очень рад, что могу сообщить вам эту приятную новость.

Кассандр. А кто тебе это сказал?

Джилль. Я сам вот в этом письме вычитал. А вы как узнали, что тетка моя умерла?

Кассандр. Вот из этого письма.

Джилль. Отдайте мне мое письмо, а я отдам вам ваше.

Кассандр. Что же? Это дело справедливое! Бери.

Джилль. Пожалуйте и сами получите.

Кассандр *(берет письмо и читает)*.

Джилль *(делает то же самое)*.

В этом месте интерес, возбужденный представлением, в публике достиг высших пределов. Перед балаганом стало до того тихо, что слышно было только дыхание зрителей.

Все чувствовали, что сейчас наступит развязка, и люди в плащах ожидали ее с видимым нетерпением.

Между тем актеры читали свои письма и обменивались яростными взглядами.

Наконец, Кассандр заговорил первым.

Дочитал ты? — спросил он.

Джилль. Да. А вы?

Кассандр. И я тоже.

Джилль. Теперь, значит, вы понимаете, почему я никогда вашим зятем не буду?

Кассандр. Значит, и ты теперь понимаешь, почему я тебе мою дочку не отдам?

Джилль. Ну, а я после этого у вас и служить не хочу.

Кассандр. И отлично! Я поеду к своему зятю, а так как у него есть уже лакей, то второго туда и везти незачем. Пойми, я тебя не выгоняю, Джилль, а просто я тебе отказываю.

Джилль. И ничего мне не дадите?

Кассандр. Ну, если хочешь, могу проронить о тебе слезу сожаления.

Джилль. Да это уж дело известное! Если прислугу отпускают, так ведь не с пустыми же руками.

Кассандр. Ну, да, ну, да! Вот и я тебя отпускаю со всяким уважением к твоим достоинствам.

Джилль. И вам не стыдно, старый вы скряга, что вы заставили меня потерять чуть не полдня, слушая ваши глупости?

Кассандр. Верно, верно, Джилль. Ты мне напомнил одно правило.

Джилль. Это какое же?

Кассандр. Что всякий труд требует вознаграждения.

Джилль. В том-то и дело, сударь!

Кассандр. Есть у тебя мелочь на сдачу?

Джилль. Никак-с нет.

Кассандр (*заходит ему за спину и дает ему пинка*). Так на, получай сполна!

На этом представление было закончено, и Кассандр уже почтительно раскланивался с публикой. Но в эту минуту Джилль тоже забежал ему за спину и дал ему такого пинка, что тот полетел в толпу зрителей.

— Ну, уж нет, сударь, так нельзя! — вскричал он. — Долг ведь платежом красен!

Кассандр совершенно растерялся от удивления, вскочил и начал искать глазами Джилля, но тот уже исчез.

Толпа зашевелилась. Люди в плащах перешептывались между собою.

— Дал сдачи, дал сдачи! — говорили они друг другу.

Они выбрались из толпы и, проходя мимо разных групп, тихо говорили: «Сегодня вечером, сегодня вечером».

Эти слова, как электрическая искра, пронеслись вдоль бульваров. Между тем, люди в плащах направлялись по улицам Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени и Пуассоньер к Сене с таким видом, как будто спешили к заранее условленному месту.

## VII

### ТАИНСТВЕННЫЙ ДОМ

Было восемь часов вечера. На померкшем небе загорались звезды.

В воздухе царила та живительная весенняя свежесть, которая порождает в человеке подъем и духовной, и физической жизни. Такие вечера всегда манят под открытое небо.

Оказалось, что и в Париже были люди, не способные превозмочь этого обаяния весенней природы. По улице Порт взад и вперед расхаживал человек, закутанный в темно-коричневый плащ. При встречах с прохожими он ловко исчезал в подворотнях или за углами домов.

В нескольких шагах от улицы Говорящего ручья и близ переулка де Винь стоял невысокий одноэтажный домик с одной дверью и единственным окном. Очень вероятно, что в нем были и другие двери и другие окна, но с улицы их не было видно.

Проходя мимо этого дома, таинственный человек приостанавливался, оглядывал его и снова возвращался к улице Роллен и, встретясь с таким же таинственным прохожим, который, по-видимому, тоже невинно наслаждался прелестями весенней ночи, произносил только одно слово: «Ничего».

Таинственный прохожий, не останавливаясь, продолжал идти вверх по улице Пост, а он сам продолжал спускаться по ней.

Этот второй незнакомец, поравнявшись с маленьким домиком, так же оглядывал его, прислушиваясь, сворачивал на улицу Говорящего ручья, встречал там третьего прохожего и так же негромко произносил все то же слово:



— Ничего!

После этого он продолжал идти дальше, а только что встреченный им человек, в свою очередь, направлялся к маленькому домику, так же оглядывал его и, дойдя до угла улицы Ульм, встречался с четвертым человеком и так же мимоходом говорил ему:

— Ничего!

Этот четвертый, не останавливаясь, проходил мимо него, вниз по улице Пост, взглядывал на таинственный домик, как делали это и его предшественники, и направлялся к колледжу Роллен, где встречался с первым из прогуливающихся и так же говорил ему то же таинственное «ничего», которое тот впервые произнес, встретясь с первым из таинственных прохожих. Так продолжалась эта ходьба около получаса. Наконец, человек в коричневом плаще, увидев двоих мужчин, шедших вместе, стал спускаться по улице Пост, громко насвистывая каватину из «Джоконды». Этот мотив был в то время очень в моде. Четыре остальных участника таинственного расхаживания подхватили его вполголоса.

Между тем двое мужчин, замеченных ими, подошли к таинственному домику, остановились перед ним и принялись тихо разговаривать.

Через несколько минут к ним подошли еще четверо в коричневых плащах.

Более высокий из двоих, пришедших раньше, пожал каждому из них руку, произнося первую половину самаритянского слова «ламма». Они отвечали ему рукопожатием и произносили последний слог: «мма!». После этого он достал ключ от двери маленького домика, отпер ее, впустил пятерых товарищей, зорко оглянулся по сторонам улицы, вошел сам, и дверь затворилась.

Еще слышен был шум запиравшегося изнутри замка, как первый и второй из таинственных любителей ночной прохлады снова встретились перед домиком и вполголоса обменялись словом:

— Шесть!

После этого каждый из них продолжал идти в свою сторону, по-прежнему встречая таинственных прохожих, которым на этот раз повторяли одно и то же слово «Шесть!».

Через несколько минут перед домом остановилось еще четверо незнакомцев, которые тотчас же осторожно вошли в него. Прогуливающиеся люди, встречаясь после этого между собою, произносили:

— Десять.

Таким образом, от половины девятого до половины одиннадцатого пятеро таинственных наблюдателей насчитали, что в маленький домик вошло шестьдесят человек, которые являлись по двое, по трое и даже вчетвером.

В одиннадцать часов без четверти один из них стал опять насвистывать арию из «Джоконды». Едва он воспроизвел несколько тактов, как из переулка де Винь к нему подошел какой-то человек и спросил:

— Сколько?

— Шестьдесят! — ответили в один голос все подошедшие к нему пять наблюдателей.

— Хорошо.

Он отступил на шаг и, стоя в позе генерала, производящего смотр своей армии, негромко произнес:

— Слушайте все!

Остальные стали перед ним в ряд.

— Папильон пусть станет позади дома, — продолжал начальник. — Карманьоль будет наблюдать справа, а Воль-о-Ван — слева. Лонг-Авуан и остальные останутся со мною. Хорошо ли вы осмотрели все кругом?

— Хорошо! — ответили подчиненные в один голос.

— А вооружены вы надлежащим образом?

— Как следует!

— Не на ветер болтаете?

— Никак нет.

— Карманьоль, ты знаешь, что тебе делать?

— Да, — ответил голос, очевидно, провансальца.

— А ты, Воль-о-Ван?

— Да, — ответил нормандец.

— Карманьоль, нож с тобой?

— Со мной.

— Воль-о-Ван, принес ты крючья?

— Принес.

— Ну, так скорее за дело!

Все трое названных людей исчезли с быстротой, доказывавшей, что прозвища им даны были характеризующие.

— Ну, а мы с тобой, Лонг-Авуан, прогуляемся и побеседуем, как подобает добрым гражданам, — сказал начальник таинственного отряда.

Он достал табакерку в стиле рококо, наслаждался доброй понюшкой, протер очки зеленым фуляром, надел их на нос, заложил руки в карманы и пошел дальше.

Выйдя на улицу Говорящего ручья, он остановился так, чтобы видеть таинственный дом, приказал своим людям рассыпаться в разных направлениях и оставил возле себя только одного, чрезвычайно длинного и сухопарого молодого человека с косыми глазами.

— Ну, вот так,— проговорил он,— теперь мы остались с тобой вдвоем, Лонг-Авуан.

— К вашим услугам, господин Жакаль! — ответил сухопарый великан.

## VIII

### ЛА БАРБЕТ

— Послушай, любезный,— начал Жакаль,— так как ты первый открыл розовый горшок, то очень естественно, что я тебя же прошу дать мне его понюхать. Как ты напал на это? Говори ясно.

— Слушаю-с. Вы ведь изволите знать, что я был всегда человеком твердых религиозных правил.

— Нет, не знал.

— О! В таком случае, я только потерял время!

— Нет, нисколько, потому что ты кое-что открыл... Но вот именно «что»,— я этого и до сих пор не знаю! Однако, так или иначе, не подлежит сомнению, что шестьдесят человек не стали бы собираться в невзрачном домишке на улице Пост для того, чтобы низать жемчуг.

— А все-таки мне будет очень горько, если вы не поверите в мою набожность, мосье Жакаль.

— Убирайся ты со своей набожностью к черту!

— Ну, а все ж таки...

— Да скажи, пожалуйста, что может быть общего с твоей набожностью у дела, про которое я тебя спрашиваю?!

Жакаль, чтобы взглянуть на своего подчиненного, передвинул свои очки на лоб.

— Да как же-с, господин Жакаль,— ведь эти-то самые правила и навели меня на след этого дела.

— Ну, хорошо, толкуй о своих принципах, правилах, вероисповеданиях, да только смотри — покороче!

— Я должен, кроме того, сказать вам, господин Жакаль, что и знакомство я веду всегда с людьми почтенными.

— Ну, при твоём ремесле это дело не легкое! Однако дальше!

— Так вот и подружился я с одной почтенной женщиной, которая отдает на прокат стулья.

— Это все от набожности, верно?

— Именно, именно набожности ради, господин Жакаль!

Жакаль набил себе нос табаком с нескрываемым бешенством человека, которому приходится в силу своего положения изображать, что он верит вещам, в которые он, в сущности, ни малейшей веры не имеет.

— Ну-с, а эта-то самая женщина и живет в переулке Винь, в том доме, в который сейчас пошел Карманьоль.

— В первом этаже? Знаю!

— А! Вы это знаете, мосье Жакаль?

— Знаю и это, и еще много чего... Да, так ты говоришь, что ла Барбет живет в комнате первого этажа.

— Значит, вам имя ее известно?!

— Я знаю, как зовут всех прокатчиц стульев в Париже, где бы они ни торговали,— хоть на бульваре Ганд или на Елисейских полях, или в соборах. Рассказывай дальше.

— Так вот, в одну ночь, когда эта самая ла Барбет только что собиралась начать читать свои молитвы, вдруг она слышит из-за стены возле своей кровати голоса и шаги, а стена-то эта прилегает как раз к соседнему дому. Ходьба и разговоры продолжались целых два часа,— с половины девятого до половины одиннадцатого. Я пришел к ней около одиннадцати, а она и говорит мне, что у нее за стеной, кажется, целый полк учится. Я, было, ей сначала и не поверил,— думал, что это у нее опять галлюцинации, которые иногда у нее бывают.

— Да ну тебя! Говори скорее дело! — с презрительной раздражительностью вскричал Жакаль.

— Однако в один из следующих вечеров мне пришлось ей поверить после того, что я услышал сам.

— Ну, наконец-то! Вот это уже дело!

— В тот день я не дежурил и пришел к ней раньше обыкновенного. Стали мы читать наши молитвы, вдруг я слышу шум,— и в самом деле, точно полк учится! Я, не говоря ни слова, перестал молиться, бросился на улицу и давай осматривать дом, который стоит за стеною возле кровати ла Барбет. Гляжу на окна,— везде темно, подошел к двери да приложил к ней ухо,— тихо, точно в могиле! Так ничего и не добился. Однако на другой день я пришел в эти же часы и спрятался там, где мы стоим и теперь. Простоял я тут целых два часа,— с восьми

до десяти,— опять ничего! Пришел я и на третий день,— то же самое! Наконец, дней через пятнадцать, недели две тому назад, я увидел, как в этот день часа за два вошло человек шестьдесят и приходили они точно так, как и сегодня,— по двое, по трое.

— Ну, и что ты об этом думаешь, Лонг-Авуан?

— Это я-то?

— Ну, да, ты. Ведь быть же не может, чтобы ты не делал хоть какой-нибудь, даже самой глупейшей догадки о том, что в этом доме делается?

— Я готов вам побожиться, господин Жакаль...

Жакаль опять сдвинул очки на лоб и пристально взглянул в лицо своего собеседника.

— Послушай, Лонг-Авуан,— проговорил он,— скажи-ка мне, почему на прошлой неделе ты рассказывал мне о своей находке так, точно под тобой земля горела, а вот уже дня три, как ты всячески стараешься отделаться от розысков, ведь я должен был послать даже в дом, где живет ла Барбет, не тебя, а Карманьоля?

— Говорить вам все по правде, господин Жакаль?

— А если не так, то за что ты от меня жалованье-то получаешь, дурак?

— Дело в том, что на прошлой неделе я думал, что эти люди—заговорщики.

— Ну, а теперь?

— Теперь уже не то.

— Что же ты думаешь?

— Что это, если позволите сказать, сходка преподабных отцов-иезуитов.

— Это почему же ты так думаешь?

— Прежде всего потому, что я несколько раз слышал, как они клялись именем Господа Бога.

Ну, а во-вторых?

— Говорят они на латыни.

— Настоящий ты дурак, Лонг-Авуан!

— Это, конечно, может быть, господин Жакаль, а только я все-таки не понимаю, за что вы меня так обозвали.

— Да потому, что у иезуитов есть достаточно места для сборищ и без этого.

— Это где же, господин Жакаль?

В Тюильри, идиот ты этакий.

— Так кто же эти люди?

— А вот, может быть, сейчас узнаем. Вон идет Карманьоля.

И действительно, к ним беззвучно приближалась какая-то тень.

То был маленький человек с лицом зеленовато-оливкового цвета, с грубым голосом и своеобразным провансальским акцентом тех странных личностей, которые встречаются по побережью Средиземного моря и которые говорят на всех языках, хорошенько не зная даже своего собственного.

— Ну что, Карманьоль? — спросил Жакаль. — Что нового?

— Новое только то, — почти запел он на мотив песни о Мальбруке, — что дырка готова. Стоит ударить еще раза два ломом — и полезай.

Лонг-Авуан слушал его с напряженным вниманием, так как, по его мнению, все дела в доме ла Барбет следовало устраивать ему самому.

— А дырка твоя будет достаточно велика, чтобы в нее мог пролезть человек? — спросил Жакаль.

— Да она величиной с целую дверь. Мы с хозяйкой ее так и прозвали «дверью Барбет»!

— Ах! — воскликнул Лонг-Авуан. — Ведь это как раз в спальне. Экое унижение — начальство мне больше не верит!

— Не шумели вы там, когда проламывали стену? — продолжал Жакаль.

— Зачем шуметь? Слышно было, как муха дышала, пока мы работали!

— Хорошо. Ступай обратно к Барбет и жди меня.

Карманьоль исчез так же беззвучно, как и явился.

Едва дошел он до переулка Винь, как с крыши таможенного дома раздался резкий свисток.

Жакаль вышел из своей засады, сделал несколько шагов к середине улицы и увидел, что на гребне крыши сидел верхом какой-то человек.

Жакаль сложил руки на манер рупора и спросил:

— Это ты, Воль-о-Ван?

— Я самый и есть.

— Ну, что, проберешься?

— Понятное дело, влезу.

— А как?

— Да здесь на крыше сделан стеклянный павильон. Через него я спущусь на чердак, а оттуда посмотрю, как... да и вас подожду.

— Ну, ждать-то тебе придется не долго.

— А сколько?

— Да минут десять.

— Хорошо, пусть будет десять. Значит, когда на церкви Святого Якова пробьет одиннадцать, я и спущусь вниз.

Он исчез.

— Хорошо! — заметил Жакаль. — Карманьоль наблюдает за ним слева, Папильон — справа, Воль-о-Ван проберется в самый дом.

Не сходя с места, на котором стоял, он заложил в рот оба указательных пальца и резко свистнул. Ему ответили с десятков таких же свистков.

Вскоре после этого со всех улиц, примыкавших к улице Пост, стали появляться люди и составили вокруг него группу человек в пятнадцать.

Четверо из них держали в руках дубинки, а четверо следующих были вооружены пистолетами, еще четверо — обнаженными шпагами, а двое остальных принесли факелы.

Сойдясь вместе, они выстроились в следующем порядке: люди с факелами встали впереди, по бокам Жакаля, вооруженные — попарно позади него, а Лонг-Авуан предводительствовал четверыми остальными. Все эти приготовления к осаде произошли без малейшего шума. Жакаль еще раз оглядел людей и сказал:

— Ну, теперь вперед, а тем, у которых такие же набожные сердца, как у Лонг-Авуана, советую молиться, если они боятся.

Говоря это, он достал из кармана кастет, подошел к двери таинственного дома и три раза постучал одним из свинцовых выступов своего опасного оружия.

— Во имя закона, отприте! — крикнул он.

Вслед за тем он прильнул ухом к двери.

Пятнадцать альгвазилов стояли, как статуи, вылитые из бронзы, так что ничто не мешало Жакалю слышать то, что делалось в доме, но там было мертвенно тихо.

Минут через пять Жакаль снова мерно отбил три удара в дверь и опять громко произнес официальное:

— Во имя закона, отприте!

Прислушавшись и еще раз не получив никакого ответа, он сделал то же самое в третий раз, но когда и после этого в доме не появилось никаких признаков жизни, он обернулся к своим людям и сказал:

— Ну, если не хотят отпереть по доброй воле, нам придется сделать это самим.

## IX

### ПРОЧЬ ОТСЮДА!

Двое людей, вооруженных пистолетами, остались на улице, а Жакаль, покрепче обернув вокруг руки веревку своего кастета, сильно толкнул дверь и зашел в дом первый.

Пространство, в котором очутились вошедшие, представляло собой нечто вроде прихожей, метров шесть в длину и метра четыре в ширину. Эта прихожая, а еще того вернее, этот коридор был окрашен белой извештковой краской и заканчивался такой толстой и простой дубовой дверью, что три сильных удара, которые снова сделал по ней Жакаль, прозвучали, точно он бил в гранитную стену.

Да и сам Жакаль стучал только, видимо, для успокоения совести, а после этой формальности тотчас же попробовал взломать дверь, но она оставалась так же глуха, неподвижна и несокрушима, как врата адовы.

— Нет, здесь, видно, нужна катапульта Готфрида Бульонского! — проворчал он. — Дай-ка сюда своих соловушек, Брен д'Асье.

Один из полицейских подал ему связку ключей и отмычек. Но и это средство не помогло. Дверь оставалась неподвижной и была, очевидно, заперта изнутри.

На минуту Жакалю пришло даже в голову, что это вовсе не дверь, а что какой-нибудь художник в минуту скуки или безделья только нарисовал ее на каменной стене.

— Зажгите все факелы! — приказал он.

Когда в коридоре стало светло, как днем, он, однако, убедился, что дверь была самая настоящая.

Другой на его месте, вероятно, или вскрикнул бы от досады и удивления, или как-то иначе выразил бы разочарование. Но Жакаль не повел даже бровью, отдал отмычки и ключи слесарю, достал из правого жилетного кармана табакерку, тщательно перетер табак и с наслаждением затянулся.

Но в самой середине этого приятного занятия его прервал какой-то крик, как бы раздавшийся из глубины дома, и странный шум за дверью. Казалось, что то был стук от падения какого-то тела со значительной высоты и треск черепа, разбившегося о плиты.

— Черт возьми! — вскричал на этот раз Жакаль с



такой гримасой, что трудно было различить, чего в ней больше: жалости, грусти, досады или удивления.— Черт возьми! — повторил он еще раза два или три.

— А что случилось? — бледнея, спросил чувствительный Лонг-Авуан, который наблюдал за лицом Жакаля, но все-таки не понимал, в чем дело.

— А то, что бедный парень ушибся, вероятно, насмерть, — ответил Жакаль.

— Это кто же? — продолжал Лонг-Авуан, сводя свои всегда смотревшие врозь глаза к носу.

— Кто?.. Да кто же, как не Воль-о-Ван, черт возьми!

— Воль-о-Ван разбился насмерть! — пробежал между полицейскими тоскливый шёпот.

— Да, да, я этого очень побаиваюсь! — подтвердил Жакаль.

— Да как же это? Почему вы так думаете?

— Во-первых, мне показалось, что я узнал его голос, когда там внутри закричали, во-вторых, слетел он, должно быть, с высоты футов шестьдесят, о чем можно было догадаться по стуку от падения. А при этих условиях можно держать шестьдесят против ста, что человек, который слетел с такой высоты, или убьется насмерть, или будет к ней очень близок.

После этих слов вокруг воцарилось мрачное мертвенное молчание, затем за дверью послышался опять стук, но на этот раз гораздо более легкий, — точно кто-то соскочил с высоты второго этажа на каменный пол зала, — по крайней мере, так думал Жакаль и остался при своем мнении, несмотря на все возражения Лонг-Авуана.

Несколько десятков секунд спустя из-за двери послышался голос, который спросил:

— Господин Жакаль, это вы?

— Да... А это ты, Карманьоль?

— Я, я!

— Можешь ты нам отпереть?

— Кажется, могу... Да только вот темно здесь, как в печи... Сейчас зажгу.

— Зажги. А соловушки с тобою?

— Я без своих пташечек никогда из дому не выхожу.

Послышался скребущий звук отмычки, вертевшейся в замке, но дверь все-таки оставалась на своем месте.

— Ну, что же? — спросил Жакаль.

— Подождите, сейчас! — ответил Карманьоль. — Тут еще две задвижки.

Слышно было, как он отодвинул их.

— А вот еще и болт... Черт возьми! Да и он заперт  
висячим замком!

— Есть у тебя пила?

— Нет.

— Так я подсуну тебе под дверь свою.

Жакаль нагнул, и ему действительно удалось продвинуть сквозь нижнюю щель под дверью тонкую, как лист бумаги, пилку.

Через минуту послышался звук, с которым обыкновенно сталь перепиливает железо.

Вскоре после этого Карманьоль крикнул:

— Готово!

Болт тяжело ударился о плиту пола.

В то же время дверь широко распахнулась.

— Эге! Хоть не легко далось, а все же на своем поставили! — вскричал Карманьоль, сторонясь, чтобы пропустить начальника полиции и его свиту.

При свете фонаря Карманьоля и двух факелов Жакаль быстро огляделся. Они стояли в просторном зале, но он был совершенно пуст и лишь на самой середине его лежала какая-то темная, бесформенная масса.

Жакаль кивнул головой, как бы говоря:

— Ну, да,— я так и знал.

— Да, да, вы смотрите...— начал было Карманьоль.

— Ведь это он?

— Я узнал его по крику, а потому и поторопился. Я тут же сказал ла Барбет: «Слышала? Это Воль-о-Ван с нами прощается».

— Он уже умер?

— Умер самым прочным образом и больше уже не встанет.

— Вдове его будет назначен пенсион в двести франков! — торжественно произнес Жакаль.— А теперь надо осмотреть этот вертеп.

Зал оказался ротондой в шестьдесят метров в диаметре и столько же в высоту. Выкрашенные простой известкой стены сходились в куполообразный свод, в вершине которого было оставлено для освещения круглое пространство, прикрытое стеклянным павильоном, а пол был вымощен плитой.

Как раз под отверстием проломленного павильона лежало изуродованное тело Воль-о-Вана.

В той стороне, которая соприкасалась с домом ла Барбет, в стене виднелся пролом, футах в двенадцати над полом. В этом проломе стояла со свечкой в руках

какая-то старуха и с любопытством заглядывала вниз.

Признаков, обыкновенно отличающих жилые постройки, здесь не было никаких: ни мебели, ни печей, — везде полнейшая пустота, точно в развалине какой-нибудь циклопской постройки.

Жакаль прошел вдоль стен, пристально разглядывая их, и на лбу у него выступил холодный пот от чувства оскорбленного самолюбия. Теперь не оставалось сомнения в том, что он одурачен.

Он огляделся вокруг и провел взглядом сверху донизу. На потолке не было ничего, кроме проломленного окна, в которое провалился Воль-о-Ван, на стенах ничего, кроме пролома, в который впрыгнул Карманьоль.

Удостоверившись в том, что все дальнейшие подвиги ни к чему не приведут, он занялся трупом Воль-о-Вана, все еще лежавшим в луже крови.

— Несчастный! — пробормотал он, не столько из жалости, сколько из желания хоть чем-нибудь почтить подчиненного, погибшего при исполнении своих обязанностей.

— Просто непонятно, как могла ему прийти фантазия скануть с высоты шестидесяти футов! — заметил Лонг-Авуан.

Жакаль молча пожал плечами, но Карманьоль поспешил за него ответить:

— Фантазия! Понятное дело, что фантазии тут никакой не было, а просто думал человек, что спрыгнет в мансарду, а вместо того хватил прямо на землю. Ну, я бы на такое путешествие не согласился.

— А ты как справился? — спросил Жакаль. — Надеюсь, ты не сделал такой же глупости, какую делает теперь Барбет, стоя в проломе и заглядывая вниз?

— То-то и оно!

— Ну рассказывай, — я слушаю, — проговорил Жакаль, который вовсе не слушал, а только старался выиграть время, чтобы вдуматься в ситуацию и скрыть свое смущение.

— Да ведь всем известно, что мы, жители побережий Средиземного моря, все либо рыбаки, либо матросы.

— Ну, и что же? — спросил Жакаль, не переставая зорко вглядываться во все стороны.

— Что у нас делают, когда собираются удить или хотя бы осторожно войти в порт? Известное дело, надо первым делом вымерить глубину. Ну, вот я это самое и сделал, спустил туда свой лот и, когда увидел, что пол

от меня не глубже, чем футов шесть, то и спрыгнул туда, как акробат, подогнув ноги.

— Ну, мой милый,— сказал Жакаль,— хоть ты и отличный рыбак, а я все-таки побаиваюсь, что на этот раз мы вернемся домой без всякого улова.

— А в самом деле, очень интересно бы узнать, куда делись те шестьдесят молодцов, которые сюда забрались,— заметил Карманьоль.

— А вы их хорошо видели? — спросил Жакаль.

— Еще бы!

— Ну, так они, значит, улетели, высохли, исчезли.

— Этого уж совсем быть не может, мосье Жакаль! — возразил Карманьоль.— Шестьдесят мужчин не могут исчезнуть, как кольцо либо часы в руках у фокусника, если бы даже в это дело вмешался сам черт.

— Черт-то тут есть, а молодцы все-таки пропали! — заметил Жакаль.

— По правде сказать, этот дурацкий свод очень похож на бокал фокусника, а все-таки шестьдесят человек... Тут что-нибудь да не так!

— Да куда они могли деться, господин Жакаль? — наивно спросил Лонг-Авуан, глубоко уверенный, что начальство ошибаться или не знать чего-нибудь не может.

На этот раз Жакаль окончательно потерял терпение.

— Черт возьми! — вскричал он.— Да разве ты, дурак, не понимаешь, что если я чего-нибудь не знаю сам, то не могу объяснить этого и тебе! А вы чего стоите и смотрите на меня дурацкими глазами!? — продолжал он, обращаясь к остальным своим подчиненным.— Ступайте и простучите стены, у кого чем есть.

Полицейские тотчас бросились к стенам, но все их простукивания повсюду давали один и тот же короткий и сухой звук.

— Ну, дети мои,— сказал Жакаль,— кажется, нам надо признаться, что мы нарвались на молодцов похитрее нас самих.

— Или, как говорится, мы в дураках остались! — заметил Карманьоль.

— Однако осмотрим стены еще один раз все вместе,— распорядился Жакаль.

Команда покорно выстроилась в прежнем порядке и двинулась следом за ним.

Жакаль сам простукивал все стены своим кастетом, но после часа бесплодных поисков снова остановился.

Тотчас же состоялся генеральный совет, но так как

уже и заранее было известно, а теперь было даже и очевидно, что в этом доме ни погребов, ни других комнат, кроме прихожей и зала, не было, то все члены совета только и ограничивались утверждениями, что дело это странное, не без греха и т. д. и что за невозможностью его разъяснить остается его только бросить.

Один только Жакаль все еще не терял надежды.

## Х

### ГОВОРЯЩИЙ КОЛОДЕЦ

Двое из команды подняли труп Воль-о-Вана и вынесли его на улицу.

Остальные шестеро все еще оставались в зале.

Жакаль приказал потушить факелы и вышел с Карманьоном и Лонг-Авуаном. Команда уныло поплелась за ними.

Перед домом Жакаль встретил своих караульных и приказал им расхаживать по улице Пост до самого утра.

Начальник полиции был очень задумчив и, низко опустив голову, направился к улице Говорящего ручья.

Но в ту минуту, когда ему нужно было сворачивать туда, он вдруг остановился. Карманьоля, Лонг-Авуан и команда — тоже.

Из-под мостовой совершенно явственно послышались стоны.

Этот-то странный звук и поразил Жакаля. Он стал прислушиваться, чтобы узнать, откуда он доносится.

— Слушайте! — проговорил он.

Все напрягли слух и внимание, одни, неподвижно стоя и затаив дыхание, другие, припав, как индейцы, ухом к земле.

Не было ни малейшего сомнения в том, что где-то глубоко под ними был живой человек, который отчаянно стонал и кричал, но точно определить, где именно он был, оказывалось невозможным.

— Надо мной положительно забавляется какой-то злой колдун! — вскричал Жакаль. — То шестьдесят человек испаряются, как рюмка спирта, то мостовая начинает умолять о помощи, то откуда-то раздаются страшные стоны, точно в «Освобожденном Иерусалиме» Тассо. Дела — истинно непонятные, однако, не следует смущаться, надо доискаться до причины!

После этой речи, сказанной ради поддержания бод-

рости в команде, видимо, приунывшей после смерти Воль-о-Вана, Жакаль снова нагнул и стал опять прислушиваться. Остальные стояли, затаив дыхание, а из-под земли продолжали раздаваться человеческие крики и стоны, принимавшие все большее выражение отчаяния.

Вдруг Жакаль выпрямился и твердо подошел к тому месту, где над уровнем улицы фута на три поднималось нечто, похожее на четырехугольный сруб.

— Вот здесь! — сказал он.

К нему тотчас же подбежал Карманьоля.

— Да, да, совершенно верно! — вскричал он. — Да, впрочем, и удивительного тут нет ничего, ведь это Говорящий колодец.

На повороте с улицы Пост на улицу Говорящего ручья, действительно, существовал заколоченный колодец, от которого она и получила свое название.

В средние века обыватели квартала никогда не решались подходить к нему ночью, да и по самой улице пробирались не без великого страха.

Ходил слух, что многие из самых храбрых горожан и несколько удалых школьников собственными ушами слышали, что из глубины этого колодца раздаются человеческие голоса и пение на каком-то неизвестном языке. Иногда слышались оттуда и удары огромных молотов о колоссальные наковальни или звяканье цепей, которые точно таскали по каменным ступеням.

Впрочем, эта дьявольская отдушина неприятно поражала не одни уши, а также и обоняние, потому что по временам из него несло отвратительное зловоние, насыщенное всяческими миазмами, которыми и объясняли появление чумы и горячки, которые так часто опустошали город в четырнадцатом и пятнадцатом веках.

Что было причиной этих странных явлений, неизвестно и поныне, легенды того времени просто засвидетельствовали этот факт и лишь только слабо намекают на то, что в подземельях Парижа жила целая шайка фальшивомонетчиков, а этот колодец служил им выходом.

Люди же набожные видели в этом странном и таинственном колодце, скорее, одну из милостей Бога, который допускал, чтобы звуки и стоны адские слышались на земле ради устрашения и предупреждения грешников.

Но, так или иначе, несомненно только то, что колодец, из которого доносились такие странные звуки, имел право на название «Говорящего», а также, если в четырнадцатом и пятнадцатом столетиях в нем гремел целый

ад, то не было ничего удивительного в том, что в девятнадцатом из него слышались только стоны.

При этом добавим, что в 1827 году колодец этот был заколочен, потому ли что он высох или же потому, что префект полиции, наконец, внял ропоту встревоженных соседей.

— Открой-ка эту крышку! — приказал Жакаль одному из своей команды.

Но когда тот только подошел к колодцу с клещами, то тотчас же заметил, что замок на нем уже взломан.

Он с легкостью раскрыл дверцы руками.

Жакаль опустил голову в сруб и прислушался.

— Господи, Боже мой! — глухо кричал кто-то из-под земли. — Соверши чудо, о Господи, и спаси верного раба своего!

— Особа там сидит набожная! — заметил Лонг-Авуан и перекрестился.

— Господи! — продолжал голос. — Я исповедаю все грехи мои и покаюсь в них! Дай мне только снова увидеть свет солнца твоего, и я проведу весь остаток жизни, прославляя святое имя твое!

— Странное дело! — сказал Жакаль. — Мне кажется, что я этот голос знаю!

Он опять напряженно прислушался.

Между тем крик продолжался:

— Я отрекись от заблуждений моих, покаюсь во всех преступлениях!.. Я и теперь признаюсь, что всю жизнь свою был ужаснейшим негодяем, но молю тебя, Господи, о помиловании из глубины пропасти.

— Так и есть! Я этот голос где-то уже слышал! — проворчал Жакаль, обладавший относительно звуков изумительной памятью.

— И я тоже! — сказал Карманьоль.

— Если бы Жибасье не был в Тулоне, где ему, вероятно, теплее, чем нам здесь, — продолжал Жакаль, — то я подумал бы, что это он попал в западню.

По всей вероятности, человек, находящийся на дне колодца, расслышал голоса над собою, потому что мгновенно переменял тон и скорее завыл, чем закричал:

— Помогите! Спасите! Убивают!

Жакаль покачал головой.

— Вишь, зовет на помощь! — сказал он, — значит, это не Жибасье, потому что тот, если бы и стал звать на помощь, то только разве тогда, когда вздумал бы сам напасть на себя.

— Помогите! Караул! Спасите! — вопил голос из-под земли.

— Ты живешь в здешнем квартале, Лонг-Авуан? — спросил Жакаль.

— Точно так, — поблизости.

— У вас в доме, верно, есть колодец?

— Точно так.

— Значит, в колодце есть и веревка?

— Точно так, футов в полтораста длиною.

— Так сбегай, принеси ее сюда.

— Извините, мосье Жакаль, да только...

— Она на вороте? Так ведь снять-то ее очень легко.

Лонг-Авуан сделал гримасу, точно хотел сказать:

— Вам-то легко, а мне — не совсем.

— Ну, что ж ты? — спросил Жакаль.

— Иду-с!

Косой повернулся и исчез в переулке.

Между тем человек в колодце продолжал кричать, но уже не тоном кающегося грешника, а злясь, ругаясь, извергая проклятия.

— Да говорят же вам: спасите, черти! Караул! Черт вас побери, помогите! Дьяволы глухие!...

Одним словом, он превзошел даже все те проклятия, которых требовал от Фафиу мэтр Галилей Коперник для большей торжественности представлений.

Жакаль нагнулся в колодец и крикнул в ответ:

— Да подождите же, сейчас! Черт вас самих возьми!

— Ну, и спасибо! Да вознаградит вас Бог! — прогудел узник и мгновенно успокоился.

В это время прибежал Лонг-Авуан, таща с собою веревку, которую он для удобства сложил в виде цифры 8.

— Хорошо, — сказал Жакаль, — а есть у тебя прочный кушак?

— Точно так, есть, мосье Жакаль.

— Ну, так мы тебя за него привяжем да и спустим туда.

Лонг-Авуан отскочил шага на три.

— Да что с тобой? — спросил Жакаль. — Разве ты боишься колодца? Отказываешься туда лезть? Да?

— Нет, господин Жакаль, отказываться я не отказываюсь, да и лезть туда не согласен.

— Это почему?

— Доктор запретил мне лазить в сырые места: я к ревматизму слабость имею, а на дне колодцев сухо не бывает.



— Не знал я, что ты трус такой, Лонг-Авуан! — сказал Жакаль. — Ну, расстегивай свой кушак да давай его сюда. Я сам полезу.

— Да позвольте мне, мосье Жакаль! — вызвался Карманьоль.

— Ты-то человек храбрый, Карманьоль, да только я передумал. Мне почему-то кажется, что на дне этого колодца я узнаю что-то очень хорошее.

— Еще бы! — заметил Карманьоль. — Ведь не даром говорится, что правда на дне колодца живет.

— Да, да, слышал это и я, — подтвердил Жакаль, надевая на себя кушак Лонг-Авуана, который был похож на те, какие носят пожарные, т. е. дюйма в четыре шириной и с прочным металлическим кольцом. — Ну, теперь, ребята, привяжите веревку к этому колодцу да двое, кто посильнее, спустите меня в колодец.

— Позвольте мне, господин Жакаль! — предложил Карманьоль со свойственной ему живостью.

— Нет, нет, нет, братец! — так же живо отвечал Жакаль. — В силу твоего мозга я верю безусловно, но в силу твоих рук — нисколько.

Двое из тех, что несли факелы, невысокие коренастые парни, взялись за веревку, обмотали ее вокруг своих рук. Жакаль влез на край колодца, потом сел на него, захватил с собою свою трость и опустил ноги в глубину.

— Ну, ребята, — осторожно! — сказал он без малейшего волнения в голосе.

## XI

### ТОЛЬКО ГОРА С ГОРОЙ НЕ СХОДЯТСЯ

Оба силача уперлись одним коленом в край колодца и, несколько отставя другую ногу назад, ожидали последних приказаний.

Жакаль поднял очки на лоб и пристально глянул им в лица.

— Ах, да! — воскликнул он, подбрасывая трость под мышку с видом человека, который в последнюю минуту перед отъездом в далекое путешествие вспомнил нечто крайне важное, достал табакерку, тщательно перетер табак и набил себе нос огромной понюшкой. После этого он опять взял трость в руки, по-видимому, придавая ей какое-то особенное значение.

— Ну, теперь готовы? — спросил он.

— Точно так, господин Жакаль.

— Так начинайте, только смотрите, потихоньку, осторожно, потому что в срубе, может быть, есть вода.

Одной рукой он ухватился за веревку повыше своей головы, а другой начал отталкиваться тростью от стенки колодца, чтобы не биться об нее.

— Спускайте веревку помаленьку, а иногда и совсем останавливайте,— говорил Жакаль.

Люди стали опускать его, он медленно исчез в черной тьме колодца.

— Хорошо, хорошо, отлично! — приговаривал он голосом, который скоро стал почти таким же глухим, как голос подземного узника.

Тот, услышав, что к нему приближается помощь, совершенно успокоился.

— Да вы не бойтесь,— доброжелательно ободрял он Жакаля,— здесь не очень глубоко,— всего каких-нибудь сто футов.

Жакаль не отвечал. Мысль, что ему предстоит спуститься еще метров на двадцать, начинала его тревожить. Он силился взглянуть на дно, но вокруг царил мрак непроницаемый.

— Ну, теперь поскорее! — скомандовал он и закрыл глаза.

Веревка пошла заметно быстрее, и минуты через полторы он стоял на дне, которое так напугало Лонг-Авуана своей сыростью.

— Что же вы не сказали мне заранее, что торчите здесь по пояс в воде! — заметил Жакаль невидимому узнику.

— А я, напротив, очень этой воде благодарен,— отвечал тот.— Без нее я сломал бы себе шею. Да это ничего! Вот как раз напротив меня есть мысок. Влезьте на него: там почти что сухо.

Жакаль ошупью последовал этому благому совету.

Очутившись на суше, он почувствовал, что человек, которого он собирается спасти, одной рукой обхватил и крепко сжал обе его ноги и в знак благодарности горячо целовал их.

— Вы меня от смерти спасаете! — говорил он.— С этой минуты я принадлежу вам и душой, и телом.

— Хорошо, хорошо! — ответил Жакаль, чувствуя, как другая рука благодарного узника добирается до его часов.— Скажите-ка лучше, как вы сюда попали.

— Меня избили, обокрали и бросили в колодец.

— Так! Однако, пустите меня!.. А давно вы здесь?

— Да как вам сказать? Человеку в моем теперешнем положении трудно судить о времени. Кроме того, они украли у меня часы. Да, впрочем, если бы они их мне и оставили, я все-таки не мог бы посмотреть, который час.

— Это совершенно верно! — согласился Жакаль. — Но так как вы здесь ничего не увидите и на моих часах, то позвольте мне положить их в такое место, где бы они вас не беспокоили.

— Однако я все-таки предполагаю, — продолжал незнакомец, нисколько не обижаясь на подозрение Жакаля, — что с тех пор, как меня избили, прошло часа полтора.

— А знаете вы, кто вас бил?

— Отлично знаю.

— Следовательно, вы можете отдать этих людей в руки правосудия?

— Ну, уж нет, я этого не сделаю!

— Почему же?

— Потому что это мои друзья.

— А! Теперь и я вас знаю!

— Вы — меня?

— Да! Вы один из моих самых старых знакомых.

— Я?!

— И хотя вы не хотели назвать мне ваших друзей, я попрошу вашего позволения назвать вам ваше собственное имя.

— Вы спасаете меня от смерти, и я ни в чем не могу отказать вам.

— Вас зовут Жибасье.

— А вы еще не спустились в колодец, как я уже узнал вас, мосье Жакаль. Вот так встреча! Ха, ха, ха!

— Да, это правда! А сколько времени прошло с тех пор, как вы вернулись из Тулона, мосье Жибасье?

— Да уж около месяца, любезнейший мосье Жакаль.

— И, надеюсь, вы путешествовали без всяких приключений?

— Действительно, без малейших.

— Ну, и с тех пор вам все время жилось хорошо?

— Да, довольно сносно, вплоть до сегодняшней ночи. Но сегодня ночью меня обокрали, избили и бросили в этот колодец.

— Скажите, пожалуйста, любезнейший мосье Жибасье, как это так: вы слетели с такой высоты и все-

гаки, если не ошибаюсь, остались целы и невредимы?

— За исключением двух-трех царапин ножом, я действительно, невредим, а из того, что я сегодня не сломал себе раз десять шею, я вижу, что Бог еще бережет честных людей.

— Я тоже начинаю так думать! -- согласился Жакаль. Однако все-таки не угодно ли вам будет рассказать мне в нескольких словах, как вы сюда попали?

— С величайшим удовольствием! Но отчего бы не сделать это, когда мы будем там, наверху?

— Там нам нельзя будет говорить так откровенно, как здесь,— там постоянно будут лишние уши, а кроме того, как справедливо выражается Карманьоль...

— Карманьоль?.. Я такого не знаю.

— В таком случае вы с ним сейчас познакомитесь.

— Так что же такое говорил Карманьоль, любезнейший мосье Жакаль?

— Он сказал, что правда живет на дне колодца. А вы сами понимаете, милейший мосье Жибасье, что найди я на дне колодца что-нибудь другое, а не правду...

— Что бы вы сделали?

— Оставил бы свою находку на дне.

— О, мосье Жакаль! Я расскажу вам все, все, все!

— В таком случае, начинайте.

— С чего?

— С вашего бегства. Я знаю, что вы человек находчивый и с живым воображением и потому ожидаю от вашего рассказа множества совершенно новых, романтических, небывалых эпизодов.

— О! В этом отношении, мосье Жакаль,— сказал Жибасье с видом вполне уверенного в себе артиста,— вы останетесь мною довольны. Я жалею только о том, что не могу принять вас более достойным образом... здесь нет даже стула...

— Не стесняйтесь, пожалуйста,— у меня стул с собой. - Жакаль нажал пружину своей трости, и она, как по волшебству, обратилась в складной табурет.

Установив его на мыске, он поднял голову и крикнул:

— Эй, вы там!

— Что прикажете, мосье Жакаль? — ответили сверху.

- Можете там болтать между собою, а обо мне не беспокойтесь,— у меня тут дела.

После этих распоряжений он уселся.

— Начинайте, почтеннейший мосье Жибасье,— ска-

зал он. — Приключения таких людей, как вы, интересуют все общество.

Вы мне льстите, мосье Жакаль.

— Нет, клянусь вам, что говорю правду, только и вас прошу ограничиваться в вашем рассказе только правдой.

— В таком случае я, с вашего позволения, начну.

— Я только этого и жду, мосье Жибасье.

В непроглядном мраке запущенного колодца слышался звук усиленного нюханья табака.

## ХII

### ПЛЮЩ И ВЯЗ

— Вы, вероятно, позволите мне дать этому романтическому приключению соответствующее ему название? Все заглавия имеют ту особенность, что заключают в одном слове главный смысл всего рассказа, поэмы или романа.

— Вы относитесь к делу, как настоящий литератор, мосье Жибасье.

— Мне даже кажется, что я был рожден именно для литературного творчества, мосье Жакаль.

— Да, но, к сожалению, вы не совсем верно направили свой талант. Если не ошибаюсь, вы были однажды приговорены за сочинение фальшивого векселя?

— Не один раз, а два раза, мосье Жакаль.

— А! Однако дайте же название вашему рассказу и рассказывайте скорее, потому что пол в вашей гостиной не особенно сух.

— Я назову его «Плющ и вяз»,— заглавие, заимствованное, если не ошибаюсь, у добряка Лафонтена.

— Это все равно.

— Когда я попал на галеры, то в первое время скучал невыносимо! Не люблю я галер. Как хотите, общество там для меня вовсе не подходящее, да и кроме того, вид страждущих братьев терзает мне душу тоской и жалостью. Я ведь человек уже не молодой, и прежних фантазий о жизни в Тулоне, в этом Ханаане каторжников, у меня уже нет. Теперь я приезжаю на каторгу со скукой и горечью, и прелести для моего воображения она уже не имеет никакой. Когда едешь туда в первый раз, она, как новая любовница, а на второй — это уж ваша старая законная супруга, прелести которой вам давно уже известны и которая вам так надоела, что вы готовы

ее возненавидеть. Так вот и приехал я на этот раз в Тулон почти что в настоящем сплине. Хотя бы послали меня в Брест,— еще туда-сюда! Я Бреста не знаю, и тамошняя жизнь, может быть, освежила бы меня. Да не тут-то было! Как я ни хлопотал, сколько прошений ни подавал министру насчет своего здоровья и желания поправить его брестским климатом, его превосходительство настоял на своем. Так я и угодил на цепь, да, верно, протаскал бы ее, скучая, до самой своей смерти, если бы не один человек. Был он мне товарищем по цепи и такой наивный да добрый, точно такой, каким был я, покуда не увлекся моим безграничным стремлением к свободе.

При словах о доброте и наивности Жибасье Жакаль закашлялся, точно невольно поперхнулся, и, воспользовавшись остановкой, к которым иногда прибегал расказчик, как истинный оратор, сказал ему:

— Я уверен, что если бы Америка утратила свою независимость, то никто, кроме вас, не сумел бы вернуть ей свободу!

— Я и сам так думаю! — самоуверенно согласился Жибасье.— Так вот этот молодой человек, о котором я вам говорил, был моим товарищем по цепи и сущим младенцем, несмотря на свои двадцать три года. Волосы у него были белокурые, личико розовенькое, как у нормандской крестьяночки, лоб чистый, белый, глаза блестящие, даже и звали-то его Габриэлем. И так у нас все его любили, и даже уважали, что прозвали «ангелом галер». Да и голос-то у него был, точно флейта! Я очень люблю музыку, а так как на галерах ее не полагается, то я, бывало, нарочно заставляю его говорить и слушаю его — не наслушаюсь.

— Одним словом, вас влекло к нему что-то непреодолимое,— заметил Жакаль.

— Вот именно! Это было какое-то влечение! Сначала меня привязывала к нему только одна цепь, а потом во мне зародилась к нему симпатия, которая для меня самого была загадкой. Говорил он вообще мало, но в отличие от других людей, если уж говорил, то только для того, чтобы сказать что-нибудь в высшей степени нравственное. Он знал Платона наизусть и часто утешал себя на чужбине тем, что произносил из него целые страницы. Иногда он раздражался целыми потоками речей против женщин, проклинал и унижал их; иногда же, наоборот, принимался превозносить весь женский пол, за исключением одной женщины, которая была, как он

говорил, причиной его фальшивого положения. За то и проклинал он ее с остервенением.

— А за какое преступление был он сослан?

— Да за сущие пустяки, за шалость молодого человека, — за неудачный подлог.

— И на сколько лет его сослали?

— На пять.

— И он хотел отбыть свое время?

— Сначала — да, — он даже называл это искуплением. Но, вероятно, потому, что его называли ангелом, он в один прекрасный день вспомнил, что у него есть крылья, и задумал расправить их и улететь.

— Вы истинный поэт, мосье Жибасье!

— Я мог быть президентом Тулонской академии

— Продолжайте.

— Как только запала ему в голову мысль о свободе, он совсем переменялся и в лице, и в поведении. Прежде он был просто спокоен, а теперь стал такой важный, серьезный; прежде он просто тосковал, а теперь ударился в мрачность. Со мной он стал говорить слова по два в день, — не больше, и на все мои вопросы отвечал коротко, как спартанец.

— А вы, мосье Жибасье, не понимали этой перемены, несмотря на всю глубину вашего ума?

— Напротив, понимал прекрасно! Наконец, однажды вечером, когда мы вернулись с работы, я сказал ему:

— Послушайте, молодой человек, я знаю галеры, как Галилей Коперник знает все европейские дворы. Я жил с бандитами всех оттенков и с каторжниками всевозможных сроков и теперь с первого взгляда на человека могу сказать: «Этот ваш товарищ стоит четыре или пять, или шесть, или десять лет каторги».

— К чему это вы все мне, мосье Жибасье, говорите? — спросил он своим кротким голосом.

Он всегда называл меня «мосье» и никогда не говорил мне «ты».

— Уж лучше называйте меня прямо — милорд, — сказал я ему. — А веду я, мосье, к тому, надо вам сказать, что я физиономист не из последних... Первым я всегда считал и считаю вас, мосье Жакаль.

— Вы очень любезны, мосье Жибасье, но в настоящую минуту, признаюсь, я был бы больше рад грелке, чем вашим любезностям.

— Поверьте, мосье Жакаль, что если бы я меня таковая была, я отказался бы от нее в вашу пользу.

— Я в этом нимало не сомневаюсь, мосье Жибасье. Но, прошу вас, продолжайте.

Жибасье откашлялся и продолжал:

— Итак, я, хотя и не первостатейный, все-таки физиономист,— сказал я Габриэлю,— и докажу вам это тем, что сейчас скажу, о чем вы думаете.

Он стал слушать меня внимательнее.

— Когда вы сюда приехали, вас соблазняла живописность берега и оригинальный вид галер, и вы сказали себе: «С помощью философии и с моими воспоминаниями о Платоне и Святом Августине мне, может быть, и удастся привыкнуть к этой первобытной пастушеской жизни». И действительно, будь у вас темперамент флегматический, вы, может быть, и привыкли бы к ней, как привыкают другие, но вы человек живой, горячий, страстный, вам необходимы свобода и простор, и теперь вы пришли к мысли, что прожить здесь пять лет — значит, потерять их, и притом в лучшую пору жизни. Таким совершенно логическим путем вы пришли к решению, как можно скорее избавиться от судьбы, на которую вас обрекло беспощадное правосудие. Или я не Жибасье, или вы именно об этом и думаете.

— Это правда,— откровенно ответил Габриэль.

— Могу вас уверить, молодой друг мой, что я не нахожу в этой мысли ничего дурного или предосудительного, но позвольте мне сказать вам также, что она занимает вас уже целый месяц. Вы уже целый месяц тоскуете, а мне тоже нет никакой радости иметь на другом конце цепи какого-то пифагорейца. Скажите же мне откровенно, что вы надумали.

— Надумал я только одно: во что бы то ни стало вырваться на свободу,— сказал Габриэль,— а что касается средств и способов освобождения, то я возлагаю все мои надежды на Бога.

— О, мой юный друг, вы еще юнее, чем я думал.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что Бог дает взаймы только богатым.

— Послушайте, не смейте богохульствовать! — закричал на меня Габриэль.

— Сохрани меня, Бог, от такого греха! Но скажите, пожалуйста, когда это вы видели, чтобы Бог занимался подобными делами? Все задатки нашей судьбы лежат в нас самих. Мудрая народная пословица гласит: «На Бога надейся, да и сам не плошай». Правды в этой пословице — бездна! Следовательно, в нашем деле Бог



ни при чем, и нам необходимо самим подыскать средства к бегству, а кроме того, молодой человек, без меня вы не убежите. Вы до того мне симпатичны, что я не отступлю от вас ни на шаг. Не надейтесь расклепать ваши цепи от меня потихоньку. Я всегда сплю одним только глазом. Да и у вас самих сердце хорошее, и вы поймете, что покинуть старого товарища — значило бы быть человеком неблагодарным. Следовательно, не затевайте ничего один, так как мы связаны неразрывно, как плющ и юный вяз, иначе же, мой милый друг, я способен при первой же вашей попытке действовать самостоятельно: донести на вас кому следует.

— Вы напрасно говорите мне все это, мосье Жибасье, — ответил мне мой юнец, — я и сам рассчитывал предложить вам бежать вместе.

— Хорошо, молодой человек. Раз это решено, станем действовать и рассуждать методически. Ваша откровенность мне очень нравится, и я докажу вам это после того, как сообщу вам мои планы и уведу вас за собою, вместо того, чтобы мне следовать за вами.

— Я вас не понимаю, мосье Жибасье.

— Это очень естественно, потому что если бы вы меня понимали, я не дал бы себе труда объяснять это вам. Да вот сейчас увидим, как сами вы относитесь к делу... Знаете ли вы, что прежде всего нужно для побега?

— Нет, не знаю.

— А между тем, в этом вся суть дела.

— Так сделайте милость, скажите.

— Ну так вот, видите ли: тому, кто хочет бежать, нужна прежде всего быстрота.

— А что это такое?

— Этот чудака не знал даже этого!

— Надеюсь, вы не оставили его в таком невежестве, мосье Жибасье?

— О, разумеется! Быстротой, молодой друг мой, — сказал я, — называется футляр из белой жести, из дерева или из слоновой кости, — материал безразличен, — длиной дюймов в десять и толщиной линий в двенадцать, в котором помещается паспорт и тонкая пила с часовой пружиной.

— Да, но откуда же взять такую штуку?

— Найдем!.. Да, наконец, возьмите просто мою. — Я достал свой футляр и показал ему, а он так и вытаращил на меня глаза.

— Значит, мы можем бежать?

— Мы можем бежать ровно настолько, насколько вы можете и теперь прогуляться до того места, где расхаживает часовая,— отвечаю ему я.

— Так зачем же нам в таком случае инструмент! — вздохнул он, а сам приуныл.

— Терпение, терпение, молодой человек! Всею своей чередой. Я хочу провести масленицу в Париже. Я получил одно важное письмо, по которому мне нужно побывать в столице не ранее как недели через две, и предлагаю вам отправиться туда вместе со мною.

— Значит, мы все-таки бежим?

— Это не подлежит ни малейшему сомнению, но не иначе, как со всеми необходимыми принадлежностями, пылкий вы юноша. Скажите, есть в вас храбрость и решимость?

— Есть.

— Хватит у вас духу положить на месте двух-трех молодых, если они станут нам поперек дороги?

Мой тихий Габриэль нахмурился.

— Как же иначе? — продолжал я.— Еще покойный повар знаменитого Лукулла говаривал: «Невозможно сделать яичницу, не разбивши яиц!» Если я говорю вам, что придется мимоходом уложить двух-трех человек, вам следовало бы ответить мне: «Хорошо, мосье Жибасье, милорд Жибасье или сеньор граф Жибасье,— я уложу их!»

— Ну, хорошо,— уложу! — решительным тоном сказал юноша.

— Bravo! — крикнул я.— Вы достойны свободы, и я возвращаю ее вам.

— Поверьте, что я буду вам безгранично благодарен.

— Называйте меня своим генералом и перестанем говорить об этом. А что касается благодарности, то мы потолкуем о ней на более счастливом берегу. Теперь же вот в чем дело: видите вы эту травку?

— Вижу.

— Она досталась мне от одной подруги. Я разделю ее пополам с вами.

Я отдал ему половину и торжественно прибавил:

— Пусть душа моя так же отделится от моего тела, если я не возвращаю вам свободы.

— А что же мне делать с этой травкой?

— Это трава чудодейственная. Вы должны натереть ею свое все тело. Как только вы прикоснетесь ею к

себе, кожа ваша покроется благотворной сыпью, которая будет красна, как бенгальская роза, и станет чесаться сначала немножко, потом больше и, наконец, нестерпимо, но стерпеть это вам все-таки придется.

— Но зачем же это?

— А затем, чтобы подумали, что у вас рожа или какая-то другая болезнь, научное название которой я забыл, и чтобы вас отвели в госпиталь... Раз вы туда попадете — вы спасены.

— Спасен?

— Да, я в очень близких отношениях с одним из госпитальных надзирателей... В остальном положитесь на меня и ждите терпеливо.

— Много я шуток на свете знаю, милейший мосье Жибасье,— сказал Жакаль,— но чтобы бежать из госпиталя, который охраняется целым караулом,— этого я себе даже и представить не могу!

— Я вижу, вы нетерпеливее моего ангела Габриэля, мосье Жакаль,— заметил Жибасье.— Подождите минут пять, и вы все узнаете.

— Хорошо, я стану вас слушать со всем нетерпением, которого достоин такой рассказчик, как вы,— ответил Жакаль, набивая нос табаком.— У мудрого мосье Жибасье всегда чему-нибудь да научишься.

— Как вы скромны, мосье Жакаль!

Жибасье подумал, откашлялся и продолжал:

— Габриэль натерся моей травкой так хорошо, что часа через два был с головы до ног в сыпи. Его отослали в госпиталь. Это было как раз во время медицинского осмотра, и доктор объявил, что у него сильнейшая рожа. На другой день я выкинул такой страшный припадок эпилепсии и бешенства, что зрители подумали, что у меня водобоязнь, и тоже спровадили меня в госпиталь. Напрасно я кричал, умолял, доказывал показаниями товарищей, что никогда никого не кусал,— меня принялись растирать. Для виду я бесился, злился и ругался, а в душе был очень рад. Мой приятель, госпитальный сторож, был предупрежден заранее и расхаживал от меня к Габриэлю и обратно, давая возможность нам переговариваться. Однажды утром этот добряк шепнул мне, что все готово, и мы можем бежать этим же вечером. День прошел, как и обыкновенно. Вы, вероятно, хоть понаслышке, знаете расположение помещений на галерах? Та, в которой лежали мы, примыкала к покойницей и ключ от нее был у моего приятеля. Когда

стемнело, мы пробрались туда. Мебели там, кроме больших черных мраморных столов для мертвых тел, разумеется, никакой не было. Под одним из этих столов мы проломали дыру, из которой можно было спуститься по простыне в морские склады.

Когда все больные заснули, Габриэль, который лежал ближе к покойницей, встал и, как тень, скользнул в нее. Я поспешил следом за ним. На беду, в этот самый день умер один из почтенных ветеранов галер, и тело его положили на один из столов в покойнице. Бедняга Габриэль, пробираясь впотьмах ощупью, дотронулся до него рукою, да так закричал, что чуть-чуть нас всех не выдал. К счастью, я догадался, в чем дело, и тоже ощупью нашел его. Он стоял, забившись в угол, и не мог попасть зубом на зуб.

— Идем, дворянчик! — шепнул я ему.

— О, это ужасно! — стонал он.

— Да что?

Он рассказал мне, что с ним случилось.

— Брось ты все эти поэтические нежности, — сказал я. — Нам нельзя терять и минуты. Идем!

— Не могу... у меня ноги подкашиваются...

— Гром и молния! Это очень неприятно, потому что обойтись без ног, когда надо бежать, дело трудное.

— Бегите один, мосье Жибасье.

— Никогда, дорогой мосье Габриэль!

Я подошел к нему, схватил его, дотащил до пролома, заставил схватиться за простыню и спустил таким же образом, как вас сейчас спустили сюда... Когда он был уже внизу, я привязал один из концов простыни к железной ножке мраморного покойнического стола и спустился к нему сам. Таким образом, мы очутились в морской кладовой, которая помещалась в том же здании, что и лазарет, только была в нижнем этаже, а госпиталь — во втором. Я зажег потайной фонарь и стал отыскивать плиту, на которой мой госпитальный приятель должен был написать мелом букву, чтобы обозначить, что под нею спрятаны два мужских костюма. Вскоре мне бросилась в глаза большая белая «Ж». Это внимание друга так меня тронуло, что на глазах у меня выступили слезы. Я приподнял плиту и увидел целый жандармский мундир с шапкой и вооружением, да сверху того еще парик.

— Один мундир? — спросил Жакаль.

— Да, один... На этом-то я и хотел поиспытать своего товарища и изобразил, что я в отчаянии.

— Только один мундир! — вскричал я.

— Так что же? Одевайте его скорее и бегите! — сказал Габриэль.

— Мне бежать? А вы-то?

— А я останусь здесь, чтобы искупить свое преступление.

— Славный вы, честный товарищ, — сказал я ему. — Для того, что я задумал, только и был нужен один мундир, с двумя я не знал бы, что и делать, но мне хотелось испытать, насколько на вас можно положиться. А теперь помогите-ка мне одеться, если не найдете для себя слишком унижительным разыграть роль камердинера при жандарме.

— А я как же?

— Вы останетесь в том, в чем вы есть.

— В этом самом костюме?

— Да. Разве вы не понимаете, в чем дело?

— Нет.

— Так давайте, я завяжу вам руки.

— Этого я уж совсем не понимаю.

— Я буду жандармом, а вы каторжником, которого пересылают с галер в какую-нибудь другую тюрьму... в какую именно, мы потом придумаем. Этого добра во Франции ведь много. Как только начнет рассветать, мы таким образом отсюда и выберемся.

— А! — сказал он просто.

Было очевидно, что он свою роль понял.

Всю ночь мы просидели на складе, а на рассвете, как только пушка возвестила открытие порта, мы отправились к решетке арсенала. Ее только что отперли, и портовые рабочие входили в нее толпами. Мы вместе с Габриэлем протиснулись между ними и пробрались в ворота так, что нас никто не заметил. Бедняга Габриэль дрожал с головы до ног. Минут через десять мы очутились за городом и направились по дороге в Боссэ.

В нескольких ружейных выстрелах от Тулона мы вошли в лес и не успели сделать и десятка шагов, как три громоподобных пушечных выстрела возвестили городу и окрестным деревням, что с галер совершен побег. Мы забрались в самую густую чащу, закрылись ветвями и листьями и так ждали ночи, чтобы во тьме пройти через крепость Боссэ.

На наше счастье, в то время, как жандармы принялись обыскивать лес, полил проливной дождь. Добравшись почти до нас, они стали ругаться и проклинать

погоду и свою должность и решили лучше провести время в одном из ближайших кабаков. Вскоре вокруг нас все стихло, и мы пробыли весь день спокойно в лесу. Около восьми часов вечера мы снова вышли на дорогу и направились в Боссэ, а к утру были уже в Кюжском лесу. Одним словом, мы возвратились на родину целы и невредимы и, как видите, я, если не считать нескольких царапин ножом да неприятного пребывания на дне колодца, чувствую себя очень хорошо.

— Это просто изумительно, мосье Жибасье.

— Не правда ли?

— Настолько изумительно, что будь я префектом полиции, я дал бы вам патент на устройство побегов и почетную награду. Но, к сожалению, я не префект полиции, а только агент его. Однако и в моем скромном положении я должен признаться, что чувствую в себе такой восторг перед вашей находчивостью и энергией, что еще не знаю, останусь ли верен своему долгу или нарушу его под влиянием своего благоговения перед вами. Впрочем, вероятно, это будет зависеть от степени вашей откровенности со мной. Так позвольте же мне продолжить мои расспросы, хотя бы для того, чтобы проверить слова Карманьоля относительно того, что правда живет на дне колодца. Потрудитесь объяснить мне, почтеннейший мосье Жибасье, как вы сюда попали?

— О, да, здесь отвратительно! — вскричал каторжник, уклоняясь от прямого ответа. — И, право, если бы не удовольствие быть в вашем обществе...

— Вы меня не поняли. Я прошу вас сообщить мне причины и способ, каким вы очутились здесь.

— Ах, это! Так вот видите, мосье Жакаль: я получил наследство в пять тысяч франков.

— Это значит, что вам удалось украсть пять тысяч?

— Нет, я их не украл, а честно заработал в поте лица моего, мосье Жакаль, и это так же верно, как то, что мы с вами теперь в колодце.

— Значит, вы принимали участие, в Версальском деле. Я узнал это по той поразительной ловкости, с которой была заперта дверь.

— Это какое же Версальское дело? — спросил Жибасье с самым невинным видом.

— Вы в какой именно день приехали в Париж?

— В воскресенье на масленой, так что видел даже, как проводили быка, который был в этом году особенно хорош! Говорят, его откармливали на прекрасных паст-

бищах долины Ок. Да здесь нет ничего удивительного. Долина Ок расположена в самых благоприятных условиях, с одной стороны она защищена...

— Если вам все равно, мосье Жибасье, оставим пока долину Ок.

— Очень охотно!

— Скажите-ка лучше, как вы провели воскресенье на масляной?

— Довольно весело, благодарю вас, мосье Жакаль. Мне пришлось встретиться с несколькими старыми приятелями, и мы вдоволь подумались.

— А в понедельник?

— В понедельник я наносил визиты.

— Визиты?

— Да, несколько официальных и один почетный.

— Это было днем?

— Да, мосье Жакаль, разумеется, днем.

— А вечером?

— Вечером?..

— Ну, да.

— Черт возьми!

— Да в чем же дело?

— Впрочем, разве можно в чем-нибудь отказать своему спасителю...— проговорил Жибасье, как бы про себя.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы желаете, чтобы я поднял перед вами темную завесу моей частной жизни. Хорошо. Для вас я сделаю даже и это. В понедельник, в одиннадцать часов, я...

— Этого не нужно! Оставим тайны вашей частной жизни и будем продолжать.

— Тем лучше для меня.

— Что вы делали во вторник?

— О, я предавался самому невинному удовольствию! Я гулял по эспланаде Консерватории с фальшивым носом.

— Но ведь для этого у вас была особая причина.

— Презрение! Мизантропия и больше ничего! Утром я ходил смотреть на участников маскарада, и они показались мне отвратительными! Увы! Вот исчезает еще один из наших хороших старых обычаев. Я, разумеется, не честолобив, но будь я префектом полиции...

— Оставим и это и перейдем к вечеру вторника...

— К вечеру вторника?.. А! Мосье Жакаль, вы опять хотите, чтобы я поднял густую завесу с моей частной жизни.

- Вы были в Версале, Жибасье?
- Я этого и не отрицаю.
- Жакаль как-то странно улыбнулся.
- Зачем вы туда ездили?
- Чтобы прогуляться.
- Вы? Вы ездили в Версаль гулять?
- Да. Я почему-то очень люблю этот город, полный напоминаний о великих королях; здесь какой-нибудь этакий фонтан, там группа...
- Вы были в Версале не один?
- Да разве человек может быть когда-нибудь на земле совершенно один, мосье Жакаль?
- Послушайте, Жибасье, мне некогда выслушивать все ваши глупости! Вы устраивали похищение молодой девушки из пансиона мадам Демаре?
- Это совершенно верно, мосье Жакаль.
- И в награду за это вы получили те пять тысяч франков, о которых только что говорили?
- Теперь вы и сами видите, что я их не украл, иначе, если бы я уже не был приговорен к каторге на всю жизнь, мне, наверное, прибавили бы еще годиков двадцать.
- Ну, и когда девушка очутилась в руках Лоредана де Вальженеза, что с нею случилось?
- Как! Вы знаете...
- Я вас спрашиваю, что случилось с девушкой после того, как мадемуазель Сюзанна вам ее выдала.
- О, мосье Жакаль, если мосье Делаво вас потеряет, это будет великой утратой и для него, и для Франции!
- В третий раз спрашиваю вас, Жибасье, что случилось с девушкой?
- О, что касается этого, то я и сам не знаю.
- Обдумывайте хорошенько то, что вы говорите!
- Клянусь вам честью Жибасье, мосье Жакаль, что мы только посадили ее в карету, а после этого я ничего даже не слыхал о ней. Тешу себя надеждой, что теперь молодая чета совершенно счастлива и что, значит, и я содействовал счастью хотя бы двух своих ближних.
- А вы сами, что вы делали после этого дня? Или вы, может быть, и этого не знаете?
- Я стал очень экономен, почтеннейший мосье Жакаль, и, зная, что золотой ключ отпирает все двери, хотел найти себе в этом умном и трудолюбивом городе Париже какое-нибудь почтенное положение.
- Нельзя ли узнать, какое именно?



— Мне хотелось сделаться менялой... Но, к несчастью, у меня не было достаточного капитала, чтобы купить себе хоть полпая в какой-нибудь конторе. Однако в ожидании того, что, может быть, провидению угодно будет милостиво взглянуть и на меня, несчастного, как выражался мой кроткий Габриэль, я стал каждый день бывать на бирже, чтобы посмотреть, как совершались тайны великих дел. Я понял механизм ажиотажа и устыдился, что так понапрасну растратил свою жизнь! Я понял, что зарабатывать на свое существование этим способом неизмеримо легче, чем так, как делал это я. Мало-помалу я перезнакомился со многими почтенными биржевиками, и они, признавая мою смысленность, чуткость и знание дела, стали обращаться ко мне за советами и отдавали мне некоторую долю своих барышей.

— Ну, и это дело вам удалось?

— Удалось настолько, что через месяц у меня было тридцать тысяч франков чистого капитала, т. е., по крайней мере, вчетверо больше того, что я заработал в течение всей моей трудовой жизни! Имея в руках такое состояние, я сделался совершенно честным человеком.

— В таком случае вас, вероятно, теперь совсем узнать нельзя! — вскричал Жакаль.

Он достал из кармана спички и потайной фонарь, зажег его и поднес к лицу Жибасье. Но он был до того перепачкан тинной и кровью, что его было действительно трудно узнать.

## ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

### I

#### ЖАКАЛЬ ОТКРЫВАЕТ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛИЦ

Жакаль с минуту смотрел на каторжника. Он испытывал видимое удовольствие, сидя против этого искусного игрока с четырьмя тузами в руке.

— Мне, в самом деле, нравится ваше благородное лицо, Жибасье. Годы, как легкие тени, пронеслись, не оставив на нем ни малейшего следа. Но здесь такой мрак, сделайте одолжение, поддержите свечу и осветите: мне нужно написать несколько слов.

Жибасье взял восковую свечу. Жакаль вынул из своего неистощимого кармана записную книжку, вырвал листок бумаги и принялся писать на коленях, приглашая Жибасье продолжать.

— Продолжение моей истории печально,— сказал каторжник.— Когда я был богат, у меня было много друзей, а вместе с ними и врагов. Это состояние, которое я скопил ценою собственных трудов, сделалось достоянием людей, лишенных наследства. Когда я вчера вечером возвращался домой от моего банкира, меня схватили за ворот, исцарапали, избили, ограбили и, в конце концов, бросили в колодец, где я встретился с вами.

Жакаль поднялся, схватил конец веревки, прикрепил к ней только что исписанный клочок бумаги и закричал своим помощникам: «Ташите!» С легкостью ночной бабочки вылетела бумага из колодца на землю, и веревка, освобожденная от излишней тяжести, снова опустилась.

Один из полицейских подошел к фонарю и прочитал: «Я посылаю вам человека, которого вы обязаны сохранить. Препроводите его в госпиталь и не теряйте из виду. Передайте мне, пожалуйста, веревку».

— История ваша очень трогательна, любезный Жи-

басье,— заметил инспектор,— но после стольких бурных часов, проведенных вами, вам нужен отдых. В эту пору ночи еще свежи: позвольте предложить вам более безопасное и в гигиеническом отношении более удобное помещение.

— Вы слишком добры, г-н Жакаль.

— Помилуйте! Между старыми знакомыми...

— В таком случае вы меня обязываете.

— Неужели это вас тяготит?

— Быть может,— сказал Жибасье задумчиво,— труднее принимать услугу, нежели оказывать ее.

— По этому поводу древние написали много прекрасных вещей, Жибасье. Но потрудитесь привязаться покрепче, устройтесь поудобнее.

Жибасье сделал узел на конце веревки, просунул в петлю свои ноги, зацепился руками за веревку и закричал: «Тащите!»

— Счастливого пути, любезный Жибасье! — сказал Жакаль, с живым интересом глядя ему вслед, так как через несколько минут ему предстояло сделать то же самое.— Хорошо,— прибавил он, видя, что каторжник исчез в воздухе.

Веревка снова опустилась. Жакаль зацепил крючок за пояс, удостоверился, что пряжки крепко застегнуты, и, закричав: «Тащите!», в свою очередь, стал подниматься. Но едва поднялся он на десять метров, как снова закричал:

— Стой, стой!

Веревка остановилась.

— Ба, какую чертовщину вижу я там!

И действительно, трудно было разобрать, что за фантастическое зрелище предстало перед ним. Через огромную щель, образовавшуюся в боковой стенке колодца, взгляд Жакаля устремился на мрачные своды, ниши, отделенные друг от друга широкими полосами тени и света. Свет падал от десятка фонарей, укрепленных на столбах, и освещал группу из шестидесяти человек, находящуюся в двухстах шагах от Жакаля.

Люди эти собрались, казалось, для решения очень важного вопроса, судя по тому, как они толпились около оратора, который говорил с жаром и энергично жестикулировал.

— Вот так штука,— проворчал Жакаль.— Что это за люди и что они там делают?

В самом деле, при свете фонарей,— если бы не их

обыкновенные костюмы,— их вполне можно было принять за сказочных волшебников, собравшихся для своего колдовства.

Жакаль вынул из кармана очки. Образцовое произведение инженера Шевалье, очки эти достигали в объеме шести или восьми дюймов. Жакаль всегда носил их с собою. Благодаря этим превосходным очкам, Жакаль заметил, что лицо каждого из участников ночного тайного собрания выражало полнейшее удовольствие и сосредоточенное внимание, но или у оратора был слабый голос, или он сознательно говорил тихо, или расстояние, на котором находился Жакаль от этой группы, было слишком велико, только, как он ни напрягал свой тонкий слух, ему не удалось расслышать ни слова.

Впрочем, некоторые лица казались Жакалю знакомыми, но, тем не менее, он затруднился бы назвать их по имени или же определить род их занятий. Одетые в длинные темного цвета сюртуки, застегнутые до самого подбородка, с длинными густыми седыми усами, они походили на старых воинов. Те, у которых не было усов,— а их была меньшая часть,— были просто мирные граждане, и по их лицам можно было догадаться об их профессиях. Жакаль знал этого честного лавочника с улицы Сен-Дени, другого он где-то встречал. Словом, каждый из этих людей был ему небезызвестен.

Привяжем себя к веревке Жакаля: она достаточно прочна, чтобы выдержать нас двоих, а может быть, даже и троих, любезный читатель, и постараемся получше рассмотреть обстановку, где происходила вышеописанная сцена.

Случалось ли вам проходить мимо винных погребов и заглядывать в эти длинные туннели, которые называют погребями? Глядя из одного конца в другой, вы видите светлое пятно в конце этих исполинских сводов, и, кажется, понадобится вечность, чтобы пробежать эту длинную темную аллею, которая отделяет вас от полосы света. То же самое видел Жакаль перед своими глазами: необозримые подземные ходы, оканчивающиеся перекрестком, который освещался фонарями и где толпились в эту минуту люди.

— Ах, черт возьми! Я понимаю! — вскричал вдруг Жакаль, ударив себя по лбу. Жест этот был резок и силен, что Жакаль едва не потерял равновесие, веревка сильно заколебалась, очки Жакаля упали на дно колодца, но его это не смутило, он пошарил в кармане, вынул

футляр, а из него — вторую пару очков и насадил их на лоб вместо того, чтобы надеть их на нос; стекла этих очков были зеленого цвета, тогда как в первых они были темно-синими.

— Понимаю,— повторил Жакаль.— Я знаю, где прошли эти шестьдесят молодцов! Мы находимся в катакомбах... Хе! Хе! Г-н префект полиции, а вы полагали, что знаете все входы и выходы!

В самом деле, Жакаль говорил правду. Тот свод, который расстилался перед его глазами и завершался перекрестком, составлял угол необозримого мрачного подземного хода, простиравшегося от Монружа до Сены и от Ботанического сада до улицы Гренель. Что же касается до обвинения префекта полиции, претендовавшего на знание всех выходов, то Жакаль был не прав. Проходы эти могли зависеть от воли жителей левого берега: чтобы образовать новый проход, достаточно, например, в предместьи Сен-Марсель прокопать отверстие от двадцати пяти до тридцати футов.

В ту минуту, когда Жакаль, к своей великой радости, хотя немного поздно, сделал это важное открытие, он вдруг услышал оглушительный крик «браво» и вслед за тем возглас:

«Да здравствует император!»

— Да здравствует император? — повторил Жакаль, прислушиваясь к шуму.— Никак они с ума сошли: уже шесть лет прошло, как император умер.

И как бы для того, чтобы прояснить эту мысль, он полез в карман, вытащил из него табакерку и с яростью всунул в нос щепотку табаку.

— Пожалуй, кричите,— продолжал Жакаль,— но я повторяю вам, что император умер, и Беранже даже сложил по этому случаю песенку.

Жакаль знал все песни Беранже и собрался было уже запеть песенку, как в третий раз толпа закричала: «Да здравствует император!»

Затем все присутствующие разместились плотнее, кроме одного, который остался стоять и, по-видимому, собирався сказать речь.

— А почему бы и мне не послушать, что скажет этот оратор? — подумал Жакаль и, подняв голову вверх, закричал: «Спустите-ка меня пониже на один фут да держите крепче».

Приказание его было исполнено тотчас же. Тогда с помощью трости, которой он упирался о боковые стены

колодца, он привел веревку в колебание, подобно маятнику стальных часов. С помощью этого толчка он достиг щели колодца и встал ногами на ту самую почву, где находились люди, тайные замыслы которых ему так хотелось узнать. Встав на твердую почву, он отстегнул от кушака веревку, зацепил ее за камень и, наклоняясь к колодцу, закричал своим помощникам:

— Слушайте, дети, не трогайтесь с места до тех пор, пока я вам не прикажу.

И затем тихими шагами приблизился к перекрестку, где проходило собрание бонапартистов.

## II

### ЖАКАЛЬ УЗНАЕТ, ЧТО ОН ОШИБСЯ И ЧТО ИМПЕРАТОР ЖИВ

При приближении к этому месту по телу Жакаля, помимо его воли, пробежала нервная дрожь. Хотя Жакаль не был трусом, но бывают случаи, когда окружающий мрак наводит страх на самого мужественного человека. То же самое было и с Жакалем, но это был прежде всего человек, строго преследовавший свои цели и ревностно относившийся к исполнению своих обязанностей. Кроме того, он был любопытен, и ему во что бы то ни стало хотелось разузнать, что это были за люди, собравшиеся в подземелье и кричавшие: «Да здравствует император!»

Храбрость Жакаля не доходила до дерзости. Приняв необходимые предосторожности, он сел в углубление, которое, как ему казалось, было безопаснее, нежели тот столб, в тени которого он скрывался до сих пор. Вынув на всякий случай из ножен кинжал, который всегда носил с собою, и видя, что оратор собирается говорить, он открыл во всю ширину свои глаза и насторожил уши. Послышался шепот нескольких голосов, а вслед за тем раздался торжественный, звучный голос оратора, по первым словам которого Жакаль понял, что он не пропустит ни одного слова.

— Братья,— сказал он,— теперь я дам вам отчет о моем путешествии в Вену...

— В Вену? — пробормотал Жакаль. — В какую: в Австрии или в Дофине?

— Я возвратился в прошлую ночь,— продолжал оратор,— и по приказанию нашего начальника созвал вас

сегодня вечером на это экстренное собрание, чтобы сообщить вам очень важное известие.

— Экстренное собрание? — повторил Жакаль. — Действительно, собрание это не походит на те, которые мне приходилось видеть до сих пор...

— Два человека, имена которых достаточно назвать, чтобы вызвать у вас воспоминание об их преданности делу, находятся в Вене уже шесть месяцев. Это генерал Лебастард де Премон и Сарранти.

— О, о! — пробормотал Жакаль. — Эти имена мне знакомы! Сарранти... Лебастард де Премон! Сарранти? Значит, он возвратился из Индии. Ну, если бы честный Жерар был жив, он мог бы увидеть убийцу своих племянников! Да, черт возьми, дело становится интересным...

И, рискуя выдать себя, Жакаль всунул в нос огромную шепотку табаку.

Оратор продолжал:

— Они переплыли море, чтобы помочь нам в нашем предприятии. Генерал де Премон жертвует для нашего дела всем своим состоянием, т. е. он предлагает нам миллионы, а Сарранти, на которого наследник великого императора вполне полагается, охраняет его и следит за ним!

Радостные возгласы пробежали по собранию.

— Наше намерение, — говорил оратор, — состоит в том, чтобы похитить принца, привезти его в Париж, постараться устроить это дело таким образом, чтобы приезд принца в город и народные возмущения совпали по времени, затем пусть по всем перекресткам и площадям разносится его столь уважаемое чернью имя, и с помощью этого имени возбудятся сердца всех оставшихся неизменно верными покойному императору.

— Уф! — проворчал Жакаль. — Теперь я понимаю, что они были правы, когда кричали: «Да здравствует император!»

— Принц, как вы знаете, находится в замке Шёнбрунн под самым тщательным надзором австрийской полиции. Ропот негодования послышался в толпе.

— Вот дураки-то! — опять заметил Жакаль. — Они не довольны полицией г-на Меттерниха... Впрочем, разве подобные люди уважают что-нибудь!

— Он живет в этом замке, и подходить к нему ночью строжайше запрещено. Также недоступно ему и сношение с внешним миром. Под окнами его и повсюду постоянно ходят часовые, но не для того, чтобы оказы-

вать ему почет, достойный сына Наполеона, а для охраны австрийского пленника.

Ропот снова поднялся в группе заговорщиков.

— Таким образом, с этой стороны приблизиться невозможно. Вы знаете, братья, что все мои попытки до настоящего дня были бесплодны. Необходимо, чтобы тень нашего великого императора помогла нам отворить двери темницы его сына.

Раздались шумные аплодисменты. Но оратор призвал к молчанию.

— Т-с, тише! — раздалось со всех сторон.

— Снабженный инструкциями самого императора, один Сарранти может иметь доступ к наследнику престола. Все попытки способствовать бегству принца были бесплодны, и после долгих соображений мы решились остановиться на следующем. Герцогу позволено каждый день прогуливаться верхом два или три часа, ему случалось иногда опаздывать и возвращаться домой к ночи. Он условился с Сарранти, что после полудня выйдет на свою обыкновенную прогулку, но вместо того, чтобы возвратиться, соединится с генералом де Премоном, который будет ожидать его в карете с 20 вооруженными людьми у подножья Зеленой горы.

— Мы безостановочно проследуем за ними по всему пути. Это удастся, так как для посланника Рунжет Сингха приготовлены сменные лошади, которые быстро доставят нас на место. День этот зависит от того, как скоро будут деньги. Сарранти приедет в Париж сутками раньше прибытия принца. Приезд его послужит сигналом для восстания в Париже и других главнейших городах Франции.

Это становилось настолько интересным, что Жакаль даже позабыл о своей табакерке.

— Если мы минуем благополучно первую станцию, бояться больше будет нечего: на всем протяжении дороги от Баумгартена до границы приготовлены хорошие лошади. Следовательно, с этой стороны опасности не будет. Только нам нужно, как можно скорее, принять решение. Еще несколько месяцев, и мы можем лишиться твердой опоры, чтобы осуществить наш проект. Несмотря на цветущее здоровье наследника престола, на нем отразились все следы страданий, которые он пережил в течение нескольких лет.

Заговорщики удвоили внимание. Что касается Жакаля, то он, казалось, замер на месте.



— На одном из этих перекрестков, в этих подземельях,— продолжал оратор,— будет устроено центральное собрание. Я прошу вас сегодня же выбрать уполномоченного депутата для осуществления нашего проекта. Лишний день, час, минута — и все пропало... Через неделю, по всей вероятности, Сарранти будет в Париже. Действуйте же скорее, будущность Франции зависит от решения, которое примем мы — представители нашей партии.

Все столпились вокруг оратора, как офицеры, выслушивающие приказ командира.

— Черт возьми! — шептал Жакаль. — Признаюсь, очень бы мне хотелось знать, о чем вы будете беседовать на этом центральном собрании, но каким образом устроить это? — Жакаль огляделся кругом. Местность обширная. Разве только воздуха не хватит! — Однако какое удобное и спокойное местечко выбрали эти заговорщики, которых я считал сумасшедшими... А! Они снова заняли свои места. Посмотрим, какое решение вы примете...

Но, к несчастью, Жакаль, хотя и снова весь превратился в слух, ничего не мог расслышать.

Теперь говорил тот, которого он видел, когда еще не спустился в катакомбы, а висел на веревке. Этот человек, казалось, был главой организации, которую случайным образом удалось открыть полицейскому. Он один стоял посреди группы и, подозвав к себе только что кончившего говорить оратора, вполголоса передавал ему что-то, что не достигало уха Жакаля. Но по волнению, пробежавшему по собранию, он вполне понял смысл этих слов.

Затем говоривший кивнул головой, точно поблагодарил своих братьев, взял фонарь и исчез в гроте, к великому огорчению Жакаля.

Во всяком случае исчезновение его легко было объяснить. Жакаль отлично знал карбонариев и понял, что именно этот человек и был выбран представителем общества.

Но не все читатели, полагаю, знакомы с устройством древнего общества карбонариев. Постараемся охарактеризовать его в нескольких словах.

Республиканцы Неаполитанского королевства, на престоле которого находился Мюрат, воспламененные ненавистью к французам и к Фердинанду, удалились в ущелья Аbruццов и образовали союз или лигу под именем карбонариев (угольщиков), имевшую целью свержение чужеземного ига в Италии.

В 1819 году этот итальянский союз сильно увеличился, так как к нему присоединились парижские патриоты, и эта лига обратила на себя внимание правительства Реставрации.

Одно событие привело всех в удивление.

За попытку убийства карбонарий Кверини попал под суд. При дознании обнаружилось, что он намеревался умертвить одного карбонария, который выдал тайну этой ассоциации. Уведомленный магистратурой об этом процессе, министр юстиции приказал его приостановить. «Преследованиями и крутыми мерами нельзя действовать на эту лигу,— писал министр,— члены ее никого не боятся, так как свои действия считают вполне законными». Ассоциация угольщиков принадлежала к числу самых распространенных, и потому министр опасался преследованиями вызвать беспорядки в многочисленных отделениях ее в Париже и в остальных департаментах. Решено было принять меры предосторожности.

Убежищем французских карбонариев служила кофейня на улице Копо. Жубер и Дюжье, содержатели этой кофейни, после заговора 19-го августа 1820 года — в то самое время, когда Сарранти покинул Париж,— отправились искать убежища от преследования полиции Реставрации. Принятые в число членов общества карбонариев, они, в свою очередь, известили своих друзей об основании союза неаполитанских карбонариев.

Несколько молодых людей — а их было около десяти человек — условились ввести в это общество всех недовольных, подчинить одной власти и тем положить основание обществу французских угольщиков.

Бавар, начальник союза, Бюше и Флоттир взяли на себя труд несколько изменить устав союза итальянских карбонариев, как этого требовали нравы и обычаи Франции. Принялись за дело, и вот как они видоизменили главнейшие правила этого статуса для французских угольщиков. Все общество разделялось на три ложи, или отделения: высшее, центральное и частное. В высшем — сосредоточивалась, так сказать, верховная власть, эта власть была абсолютная, тайная, число членов центрального и частного отделений было не ограничено. Каждые двадцать человек составляли особую ложу. Перед глазами Жакаля находилось собрание из шестидесяти человек, следовательно, тут было три ложи.

Каждая ложа выбирала из среды своих членов президента, цензора, казначея и депутата. Целью их всех

было усовершенствование существующего порядка. Здесь предлагали и обсуждали новые реформы, а главной целью каждого карбонария было изгнание иезуитов и освобождение от ига...

Сторонники Бонапарта, орлеанисты и республиканцы соперничали между собой, и если бы Жакаль имел глаза Аргуса, то увидел бы, что в глубине катакомб, в углу, противоположном тому, где находились бонапартисты, были зажжены фонари орлеанистов и республиканцев. Каждая частная ложа, как мы уже говорили, имела депутата, который был обязан наблюдать за центральным отделением, которое, в свою очередь, состояло из 20-ти членов, также с президентом, цензором, казначеем и депутатом. Депутат центральной ложи выбирался для наблюдения над высшей, состоявшей из знаменитых военных и парламентских мужей того времени. Здесь были собраны члены высшей ложи, едва знавшие друг друга. Назовем главнейших из них. Тут были: Лафайет, Аржансон, Лаффит, Мануель, Буонаротти, Дюрок, де Шонен, Мерилу, Барт, Тест, Баптист, Руэ, Буанвилье, двое Шефферов, Бавар, Кошуа-Лемер, де Корсель, Жак Кёхшин и другие. Члены эти, сторонники различных партий, преследовали одну и ту же цель, они ненавидели старшую ветвь бурбонской династии. Об этом мы поговорим поподробнее в свое время, теперь же будем продолжать наш рассказ.

После ухода депутата поднялся невообразимый шум, каждому хотелось говорить, и каждый стремился перекричать другого. Шум и беспорядок начался ужасный.

— Ого-го! — бормотал Жакаль. — По-видимому, они думают, что власть уже в их руках. Кажется, и ждуть не хотят!

Через полчаса после начала этой сумятицы в глубине подземелья показался свет, а вслед за тем появился и депутат. Окинув взором все собрание, он произнес только одно слово, но это слово, как *quos ego!*\* Нептуна, сразу привело в спокойствие всех.

— Решено! — сказал он.

Раздались аплодисменты, а затем крики: «Да здравствует император!» На этом собрание закончилось, и люди стали исчезать в подземелье. Спустя минуту опять под этими мрачными сводами воцарилась гробовая тишина.

---

\**Quos ego!* (лат.) — Я вас!

— Больше мне, кажется, здесь нечего делать,— подумал Жакаль, которому стало жутко среди этого мрака и безмолвия.— Поднимемся-ка наверх, на землю. Я и без того долго заставил ждать себя моего друга Жибасье.

И Жакаль, убедившись, что он один, зажег свой карманный фонарь и направился к той щели колодца, через которую ему удалось увидеть заговорщиков, которых он принял сначала за сумасшедших.

— Эй! — закричал он.— Вы еще ждете?

— А, это вы, г-н Жакаль, а мы уже начали о вас беспокоиться.

— Благодарю вас, Улисс, вы очень осторожны,— ответил Жакаль.— А крепка ли веревка?

— Будьте покойны,— разом ответили шесть агентов, дожидавшихся его у колодца.

— Ну, так тащите меня! — сказал Жакаль, прикрепив крючок к кушаку.

Его начали быстро поднимать наверх.

— Если бы я промедлил еще полчаса, то, пожалуй, меня бы загрызли крысы в этом проклятом подzemелье,— сказал Жакаль, ступив на мостовую Карла X.

Полицейские агенты участливо окружили Жакаля.

— Хорошо, хорошо,— сказал тот.— Я чувствительно благодарю вас, но не будем терять времени... Где Жибасье?

— В больнице, вместе с Карманьоном, которому приказано не выпускать его из виду.

— Хорошо,— сказал Жакаль.— Возьми с собою лестницу, Лонг-Авуан, закрой крышку колодца. Остальные отправляйтесь все вперед и через полчаса будьте в префектуре.

Маленькая группа молча пустилась в путь. Они достигли госпиталя в ту минуту, когда Жакаль, с превеликим удовольствием наполнив свой нос табаком, предавался самым приятным размышлениям.

— Когда я думаю об этом сборище, мне кажется, что благодаря моим хорошим распоряжениям мы наслаждались тишиной и спокойствием, а эти идиоты, иезуиты, думают захватить власть в свои руки, а с ними заодно действует этот честный человек, наследник престола.

В это время по звонку полицейского агента дверь госпиталя отворилась.

— Хорошо! — сказал Жакаль, опуская очки на нос,— подождите меня в префектуре.

С этими словами он исчез в госпитале.

В это время на башне собора Нотр-Дам пробило четыре часа.

### III

#### СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТ ВО СНЕ

В глубине одной из обширных палат госпиталя, рядом с комнатой сестры милосердия, лежал около двух часов тот изнуренный каторжник, который известен нашим читателям под именем Жибасье. Когда его раны, которые не были опасны, были перевязаны, он заснул от усталости, чувствуя необходимость в отдыхе вследствие большой потери крови.

Он лежал лицом к входной двери, а спиной к товарищу, сидевшему в углу комнаты. Судя по лицу последнего, казалось, что он шептал молитвы о спасении души Жибасье. Этот господин был наш знакомый Карманьоль.

Карманьоль очень строго исполнял свои обязанности, хотя и обходился с каторжником с нежностью брата или, по крайней мере, с заботливостью сестры милосердия. Но Жибасье не требовал неослабного внимания, так как уже два часа спал и, казалось, проспит еще более. Пользуясь этим, Карманьоль вынул из своего кармана и принялся за чтение маленького томика в красном переплете, озаглавленного «Семь чудес любви». Мы не можем сообщить вам содержание этой книги, так как она была написана на провансальском наречии, но скажем, что она произвела сильное впечатление на Карманьоля: его нижняя губа опустилась, глаза заискрились, и все лицо сияло блажеством. В эту минуту дверь в кабинет отворилась, и на пороге показалась сестра милосердия. Окинув взглядом комнату и с братской нежностью взглянув на больного, она тихо удалилась, видя, что Жибасье еще спит. Но, несмотря на ее осторожность, скрип двери разбудил Жибасье. Он открыл сначала левый глаз и посмотрел напротив, затем открыл правый — и посмотрел налево. Убедившись, что никого нет, он протер глаза и поднялся с постели.

— Уф, — произнес он, — мне снилось будто я лежу избитый на улице Счастья. Что бы мог значить подобный сон?

— А я вам могу его объяснить, г-н Жибасье, — отвечал Карманьоль, сидевший за ним.

Жибасье быстро обернулся и увидел провансальца.

— А! — сказал он. — Я теперь припоминаю, что сегодняшнюю ночь я имел удовольствие провести с вами?

— Совершенно верно, — подтвердил Карманьоль.

— Позвольте вас спросить: я имел честь разговаривать с моим земляком?

— А мне показалось, — заметил Карманьоль, — что вы уроженец севера.

— О, нет, — философски ответил Жибасье. — Та страна может быть названа родиной, где мы приобретаем друзей. Действительно, я уроженец севера, но предпочитаю юг. Тулон — моя вторая родина.

— В таком случае, почему вы покинули ее?

— Как вам сказать? — грустным тоном возразил Жибасье. — Я поступил как блудной сын: мне хотелось видеть людей, насладиться жизнью. Словом, хотелось дать самому себе отдых на несколько месяцев.

— Но мне кажется, ваша первая попытка неудачна.

— Я стал жертвой своей честности. Я поверил в дружбу, которой не существует! Но, позвольте, вы сказали, что можете объяснить мой сон. Разве вы принадлежите к разряду ясновидцев?

— Нисколько. Сейчас вам объясню, почему я могу разгадать ваш сон. Некоторое время я занимался с академиком де Монмартом, который хорошо знаком с хиромантией. Кроме того, у меня довольно подвижная психика, и я склонен к лунатизму.

— В таком случае удовлетворите мою любознательность, любезный друг, и растолкуйте мне сон. Мне снилось, что ко мне приближается Фортуна и так поспешно, что я не могу никуда от нее скрыться. Наконец, она меня настигла и толкнула, вследствие этого я упал. Она приблизилась ко мне и хотела раздавить меня своей тяжестью, и это непременно бы случилось, если бы добрая сестра милосердия не открыла дверь и тем самым прервала мой сон. Что же это означает?

— Очень обыкновенную и простую вещь, — сказал Карманьоль. — Ваш сон мог бы объяснить и ребенок. Это означает, что с сегодняшнего дня вас начнет преследовать счастье.

— О! — сказал Жибасье. — Могу ли я поверить этому?

— Конечно, так же, как фараон поверил Иосифу и как императрица Жозефина — госпоже Ленорман.

— Но когда же это случится?

— Завтра или сегодня вечером, а может быть, и через час. Кто знает?

— Но почему не сейчас, любезный друг? Если это счастье зависит от нас самих, то было бы безумием терять час.

— В таком случае не будем терять его...

— Неужели, в самом деле это зависит от меня?

— Конечно, ни от кого больше, кроме вас.

— Ах, любезный друг, я так разбился от этого падения, что не могу ничего сделать. Сделайте это от моего имени.

— С удовольствием.

Карманьоль встал, спрятал в карман книгу «Семь чудес любви» и, полуоткрыв дверь, через которую входила сестра милосердия, сказал несколько слов, которых Жибасье не мог расслышать, и торжественно вернулся в комнату.

— Ну что? — спросил Жибасье.

— Я исполнил ваше поручение, — ответил Карманьоль, садясь на свое место.

— Когда же явится счастье?

— Оно придет в лице одной особы.

— Следовательно, нужно быть потерпеливее? — сказал Жибасье, взглянув на серьезное лицо Карманьоля, который перестал шутить.

— Вам не придется долго ждать. Вот оно! Я узнаю его по твердой поступи.

— О! О! Мне кажется, что у него очень крепкие сапоги.

— Конечно, ведь ему нужно было совершить большой путь, чтобы прийти к вам.

При последних словах Карманьоля дверь отворилась, и Жибасье увидел Жакаля в дорожном костюме, т. е. в плаще и толстых сапогах.

Жибасье смотрел на Карманьоля взглядом, который как бы спрашивал: «Это-то и есть счастье?»

Карманьоль указал глазами на Жакаля и кивнул головой.

Жакаль сделал Карманьолю знак удалиться, тот повинился и вышел из комнаты, бросив значительный взгляд на своего собеседника.

Оставшись наедине с Жибасье, Жакаль осмотрелся, желая убедиться, что в комнате никого не было, и, взяв стул, пристроился у изголовья больного.

— Вы, конечно, ожидали моего прихода, любезный Жибасье? — начал Жакаль.

— Я солгал бы, если бы стал это отрицать, любезный

Жакаль. Кроме того, вы сами обещали навестить меня, а когда вы обещаете, то никогда не забываете исполнить обещанное.

— Забыть друга — было бы преступлением, — сказал Жакаль поучительным тоном.

Жибасье ничего не ответил и только наклонил голову в знак согласия. Было ясно, что он сомневался в словах Жакаля и приготовился к обороне.

Со своей стороны, Жакаль употребил в дело все искусство, чтобы поймать в сети свою жертву. Это он называл опытностью.

Жакаль первый начал разговор.

— Ну, как вы поживаете?

— Довольно плохо!

— Хорошо ли о вас здесь заботятся? Всем ли вы довольны?

— Мне очень удобно, и я вам очень благодарен, любезный Жакаль.

— В таком случае вы не правы, жалуясь на судьбу. Находиться в теплой и сухой комнате гораздо приятнее, нежели на сырой земле, на дне колодца.

— Я так и думаю, — заметил Жибасье.

— О, добрейший Жибасье, — продолжал полицейский, — чем мне еще доказать, что я ваш искренний друг?

— Г-н Жакаль, вы не поняли меня. Позвольте же объяснить значение моих слов.

— Объясните, пожалуйста, — сказал Жакаль, с жадностью всовывая в нос щепотку табаку. — Я вас слушаю.

— Я действительно чувствовал себя очень плохо, но в настоящую минуту я совершенно здоров, добрейший Жакаль.

— В таком случае чего же вам еще нужно?

— Меня беспокоит моя будущность.

— Что вы, любезный Жибасье, разве можно заглядывать в будущее? Оно для нас закрыто.

— Тогда я не скрою от вас, что меня беспокоит и мое прошлое.

— Чего же вы опасаетесь?

— Пока я нахожусь здесь, я в безопасности и вполне спокоен, но...

— Но что дальше?

— Я боюсь, что в ту минуту, когда мне придет фантазия удалиться отсюда, может обнаружиться какое-



либо препятствие или, наоборот, несмотря на мое желание остаться здесь, я принужден буду покинуть это убежище.

— Я могу вам только дать совет: оставайтесь здесь, если вам здесь удобно, но я знаю ваш непостоянный характер, да кроме того, о вкусах не спорят. Я предпочитаю говорить с вами откровенно.

— О, добрейший г-н Жакаль, вы представить себе не можете, с каким интересом я вас слушаю!

— В таком случае позвольте вам сообщить одну новость: вы свободны, любезнейший Жибасье.

— Что? — переспросил Жибасье, приподнимаясь с постели.

Вы свободны, как птица, или, как человек, у которого умерла жена.

— Г-н Жакаль!

— Свободны, как ветер, облака, словом, — вы совершенно свободны.

Жибасье покачал головою.

— Как! — воскликнул Жакаль. — Неужели вы недовольны? Или вы сомневаетесь еще?

— Я свободен, свободен? — повторил Жибасье.

— Да, вполне!

— Я это слышу, но...

— Что, но?

— Но при каких условиях, любезнейший Жакаль?

— К чему вам это нужно знать, любезный Жибасье?

— А разве не нужно?

— Я продаю вашу свободу за бесценок!

— Это значит, вы злоупотребляете вашим положением?

— Чтобы я, Жакаль, стал торговать независимостью моего друга, я, который был всегда к вам так привязан, что моим постоянным желанием было находиться около вас, никогда не терять вас из виду! Ведь когда я однажды не имел о вас долго известий, то пришел в отчаяние. Вы сомневаетесь во мне, хотя я спас вас и облегчил все трудности плена!

— Вы хотите сказать, что вытащили меня из колодца?

— Вы не доверяете человеку, который с братской нежностью заботится о вас, — продолжал Жакаль, не смутясь словами Жибасье. — Чтобы я стал пользоваться вашим настоящим положением, положением моего несчастного друга. Ах, Жибасье, Жибасье! Вы меня этим оскорбляете!

И Жакаль, вынув из кармана красный шелковый платок, поднес его к лицу не для того, конечно, чтобы вытереть слезы, которых не было, но, чтобы высморкаться.

Слезливый голос Жакаля, обвинявшего Жибасье в неблагодарности, казалось, смягчил последнего, и он отвечал ему с такими же плачущими интонациями.

— Я нисколько не сомневаюсь в вашей дружбе, любезный Жакаль. Разве я могу забыть те услуги, которые вы мне оказали? Если бы я был способен на это, то заслужил бы название презренного циника, у которого нет ни сердца, ни чувств. Я должен бы был отрицать существование добродетели и святой дружбы... Нет, благодарю вас, Жакаль, в груди моей еще таится то святое чувство, которое мы называем дружбой. Не обвиняйте меня, но послушайте: если я обратился к вам с этим вопросом, то это случилось потому, что я не доверяю себе.

— Ну же, успокойтесь и говорите яснее, любезнейший Жибасье.

— Ах! — вздохнул каторжник. — Я великий грешник, г-н Жакаль!

— Что же? Даже в Писании сказано, что и святые иногда грешили по семи раз на дню.

— Бывали дни, когда я грешил четырнадцать раз, г-н Жакаль.

— Но ведь, надеюсь, вы и не причислены к лику святых? Действительно, вы впадали в ошибки...

— Ах, если бы я только впадал в ошибки...

— Я не предполагал, что вы такой великий грешник, Жибасье.

— Увы! Что делать...

— Может быть, вы двоеженец?

— Ну, что такое — двоеженец! В наше время вы найдете сколько угодно и многоженцев.

— Может быть, вы убили вашего отца и женились на своей матери, как древний Эдип?

— Все это могло легко случиться, г-н Жакаль, хотя Вольтер говорит, что Эдип, этот кровосмеситель и отцеубийца, не считал себя виновным, напротив, он считал себя даже добродетельным.

— Ну, что касается вас, то ваша добродетель, кажется, подлежит некоторому сомнению, хотя вас нельзя назвать ни кровосмесителем, ни отцеубийцей.

— О, Жакаль, меня, как я уже вам сказал, более беспокоит мое прошедшее, нежели будущее.

— Но почему же, черт возьми, не довериться мне, любезнейший Жибасье?

— Если вас это интересует, то я скажу вам. Я боюсь злоупотребить свободой, коль скоро получу ее.

— Каким образом?

— Каким угодно, г-н Жакаль.

— Но однако ж?

— Например, я боюсь попасть в какой-либо заговор.

— А! В самом деле? Черт возьми! А ведь это довольно важное обстоятельство, Жибасье.

— Даже более того.

— Посмотрим, объяснитесь же.

И Жакаль уселся на стуле так удобно, как будто знал, что разговор продлится не один час.

#### IV

### ПОРУЧЕНИЕ ЖИБАСЬЕ

— Что делать, добрейший г-н Жакаль? — продолжал Жибасье со вздохом. — Я уже миновал тот возраст, когда человек наслаждается несбыточными мечтами юности.

— Прекрасно! Сколько же вам лет?

— Мне около сорока, добрейший г-н Жакаль, но, судя по моему лицу, мне можно дать пятьдесят или шестьдесят.

— О! Я знаю, как вы умеете маскироваться. Мне известен ваш талант! Вы великий актер, Жибасье, я это знаю, и вот почему я рассчитываю на вас.

— Вы, кажется, предлагаете мне ангажемент, добрейший г-н Жакаль? — спросил Жибасье, с улыбкой глядя на своего собеседника; ему казалось, что он проник в тайные замыслы Жакаля.

— Мы после поговорим об этом. А теперь продолжим начатый разговор. Итак, сколько вам лет?

— Я уже вам сказал, что мне скоро будет 40. Это тот возраст, когда честолюбие великих мужей достигает своего апогея.

— Да, а вы честолюбивы?

— Не без этого, признаюсь вам.

— Вы желали бы составить себе состояние?

— Но не для себя...

— Желали бы занять место в государстве?

— Служить моему отечеству всегда было моим пламенным желанием, но у меня недостает на это смелости.

— Это непростительно человеку, знающему основательно свод законов.

— Не только наш свод законов, г-н Жакаль, но и других стран.

— Когда же вы приобрели столько сведений?

— В свободное от занятий время...

— Ну, и каков же результат ваших знаний?

— Я пришел к тому убеждению, что Франция нуждается в новых реформах.

— Например, вопрос о смертной казни...

— Леопольд Тосканский, философ, разработал этот вопрос в своих владениях.

— Совершенно справедливо, но на другой же день сын убил отца, а это преступление, какого не бывало более четверти столетия до этого.

— Однако это еще далеко не все, что я изучил

— Вы, без сомнения, изучили и науку о финансах?

— Изучал. И нашел положение финансов во Франции в самом плачевном состоянии. За два года долги дошли до невероятной цифры.

— Ах, не говорите мне об этом, любезный Жибасье

— Нет, отчего же? Сердце мое сжимается, когда я подумую об этом, а между тем...

— Что?

— А между тем, если бы последовали моему совету, государственные кассы были бы полны денег.

— А мне казалось, любезнейший Жибасье, что если бы какой-либо негоциант отдал вам на сохранение свою кассу, то наверняка нашел бы ее пустой...

— Добрейший Жакаль, можно быть плохим казначеем и в то же время отличным наблюдателем.

— Но вернемся к вопросу о финансах, любезнейший Жибасье. Итак, вы, может быть, знаете средство, как помочь злу?

— Я боюсь сказать вам лишнее...

— Вы думаете, нужно сменить министров, не так ли?

— Нет, нужны реформы.

— О! — воскликнул Жакаль. — Как был бы счастлив Его Величество, если бы он слышал вас!

— Да, но на другой бы день после свободно высказанного мною мнения относительно реформ меня бы арестовали, произвели обыск и вскрыли мои письма, чтобы проникнуть в тайны моей жизни.

— Эге! — заметил Жакаль.

— Это было бы сделано, и вот причина, которая

заставляет меня держаться в стороне от всяких заговоров... Между тем...

— Заговор, любезнейший Жибасье? — спросил Жакаль, приподнимая очки и пристально глядя на каторжника.

— Ну да... Мне делали по этому поводу очень лестные предположения, которыми я могу похвастать.

— Вы о многом умалчиваете, Жибасье.

— Это потому, что мне хотелось бы, чтобы мы понимали друг друга.

— Но также и не выдавали друг друга.

— Именно.

— Мы можем еще побеседовать, так как у нас есть время...

— А! Следовательно, вы спешите?

— Не очень.

— Надеюсь, что не я вас задерживаю?

— Напротив, я остаюсь только ради вас. Продолжайте же.

— На чем мы остановились?

— Вы во второй раз упомянули слова «между тем».

— Между тем, говорю я, раз я свободен...

— Разве вы не свободны?

— Я по старой привычке...

— Бойтесь злоупотребить вашей свободой?

— Это именно то, что я хотел сказать. Таким образом, представьте себе, что меня увлекли, — а меня очень легко увлечь.

— Это я знаю, Жибасье. Вы действуете иначе, нежели Талейран: первое ваше движение всегда направлено в дурную сторону, но со временем вы выходите на настоящую дорогу.

— Представьте себе, что я попадаю в какое-нибудь общество недовольных. Что могло бы произойти из этого? Я находился бы между двумя подводными скалами: молчать и рисковать своей головой или пожертвовать долгом чести и донести на моих сообщников... Ах, добрейший г-н Жакаль, — продолжал каторжник, точно спохватившись, что проговорился, — если бы вы чувствовали ко мне некоторую привязанность, вы могли бы многое устроить для меня.

— Скажите, Жибасье, и если я только в состоянии исполнить, то сделаю это с удовольствием. Это так же бесспорно, как то, что солнце освещает нас в эту минуту.

Может быть, Жакаль по привычке употребил это

выражение, но в самом деле солнце в эту минуту освещало Сандвичевы острова.

Жибасье посмотрел за окно, и на его лице появилась ироническая улыбка.

— Итак,— продолжал Жибасье,— если вы действительно хотите что-нибудь сделать для меня, то исполните мою просьбу: позвольте мне отправиться путешествовать, добрейший Жакаль. Я тогда только успокоюсь, когда буду находиться за пределами Франции.

— А куда бы вы хотели отправиться, любезнейший Жибасье?

— Куда угодно, исключая юг.

— А, вам противно видеть Тулон?

— Я предпочитаю Германию. Верьте мне, я не знаком с этой страной.

— Конечно, и вас там не знают. Я понимаю, что вы найдете больше удобств в этой стране... Это верно.

— Я с великой радостью займусь исследованием старой Германии.

— Исследованием содержимого старых немецких замков? И вы были бы счастливы, если бы вам удалось исполнить это намерение?

— День, в который осуществится мое желание, будет счастливейшим днем жизни.

— И вы это говорите чистосердечно?

— Так же верно, как то, что солнечный свет освещает нас в данную минуту, добрейший г-н Жакаль!

В свою очередь Жакаль обернулся к окну и, заметив, что солнце давно скрылось, улыбнулся и сказал:

— Я верю вам и хочу доказать это на деле.

Жибасье весь превратился в слух.

— Итак, вы говорите, любезнейший Жибасье, что ваше пламенное желание состоит в том, чтобы отправиться к берегам Рейна.

— Это действительно так, и я не отступаю от сказанных слов.

— Это вещь очень возможная.

— Ах, добрейший г-н Жакаль!

— Только я не могу вам определить, на ту или на эту сторону Рейна вам придется отправиться.

— Я отдаюсь в ваше распоряжение, и в то же время я не желаю от вас скрывать, что мне бы хотелось...

— Попасть ко мне в доверие, Жибасье?

— Нет, не то. Я вполне вам доверяю: вам нет нужды вводить меня в обман.

— Конечно, нет, я вас достаточно знаю.

— Если бы я вам не был нужен, то вы не стали бы терять со мной столько времени.

— Я никогда не теряю время, Жибасье. По моему костюму вы видите, что я готов сейчас же отправиться в путь. Я знаю, что в мое отсутствие дело мое не прекращается... Я питаю к вам, Жибасье, такую слабость, что с нашей первой встречи только и думаю о том, чтобы сделать что-нибудь для вас.

— О, г-н Жакаль, вы для меня можете сделать очень многое.

— Я это знаю, но у каждого человека есть к чему-либо склонность. Положим, ростом вы не велики, но если и плохо скроены, то крепко сшиты.

— Я служил моделью и получал в день до 10 франков.

— Вот видите! Кроме того, вы сангвиник, следовательно, вы энергичного характера.

— Даже слишком! От этого-то и происходят все мои несчастья.

— Потому что вы сбились с настоящего пути. Встав на другую дорогу, вы могли бы достигнуть цели.

— Эта возможность у меня уже позади.

— Вот видите, я не ошибся. Позвольте вам заметить, Жибасье, вам следовало бы быть великим полководцем, и меня удивляет, почему вы не избрали военную карьеру?

— Я сам не могу объяснить вам этого, г-н Жакаль.

— Но что сказали бы вы, если бы я взялся поправить ошибку и невзгоды судьбы?

— Ничего, г-н Жакаль, так как не понимаю, каким образом можете вы исполнить это?

— Если бы я произвел вас в генералы?

— В генералы?

— Да, желали бы вы быть, например, бригадным генералом?

— Какой же бригадой мог бы я командовать, г-н Жакаль?

— Бригадой безопасности, любезнейший Жибасье.

— Это значит, что вы мне предлагаете просто-напросто быть полицейским шпионом?

— Совершенно верно.

— Отказаться от своей личности?

— Вы обязаны пожертвовать собою для спасения родины.

— Я согласен пожертвовать собою, но, со своей стороны, чем она вознаградит меня за это?

— А какого вознаграждения потребуете вы?

— Вы меня понимаете, любезнейший г-н Жакаль...

— Да, имею эту честь.

— Вы знаете, как я нуждаюсь, я не имею средств.

— Я предвидел и это.

— Соответствующие условия обходятся дорого!

— И вам щедро заплатят за это.

— Теперь позвольте мне сказать вам несколько слов, которые покажут вам, на что я способен.

— О! Я знаю, вы способны решительно на все, генерал!

— Я способен на все прекрасное, как вы сейчас увидите.

— Я вас слушаю.

— От чего зависит величие и благосостояние государства? От полиции, не правда ли?

— Совершенно верно, генерал!

— Государство без полиции то же, что корабль без компаса и руля.

— Это сравнение справедливо и даже поэтично, генерал.

— Поэтому на должность полицейского нужно смотреть как на самую полезную и святую обязанность.

— Я вам не противоречу.

— Но объясните мне, почему на эту столь важную должность выбирают обыкновенно самых дурных, чуть не идиотов? Почему это? Я вам это тотчас же объясню: это происходит оттого, что полиция вместо того, чтобы заниматься важными правительственными делами, увлекается недостойными занятиями.

— Продолжайте, Жибасье.

— Разве вам нужны эти несчастные воры? Вы могли бы оставить их в покое? Неужели они вас смущают? Разве они жалуются на законы, правительство? Разве они зло смеются над вами или выступают против иезуитов? Нет, они вас не затрагивают. Попадался ли вам хоть один вор при раскрытии какого-либо заговора? Вместо того, чтобы оказывать им помощь и протекцию, как людям вполне мирным и безвредным, вместо того, чтобы пропускать мимо ушей их маленькие шалости, вы ловите их и опутываете сетями. Фи, г-н Жакаль, вы находитесь в том блаженном состоянии, когда Адам и Ева вкусили запретного плода по совету дьявола в образе змея. Слушайте, г-н Жакаль, не позже, как



вчера, арестовали... и кого же? — этого кроткого ангела, Габриеля!

— Вашего друга, вероятно... Вас это возмущает?

— Он был голоден, этот честный малый, он пришел в булочную, бедняжка, чтобы купить хлеба. Булочник был зол, так как его поймали на месте преступления: вес его булок был неверен, и на него наложили штраф. Грубым голосом закричал он на бедняка, который, не долго думая, схватил хлеб и, несмотря на отчаянные крики булочника, разом проглотил его. Агенты, вместо того, чтобы арестовать булочника, арестовали Габриеля.

— Ну, об этом мы потолкуем после. Перейдем лучше к заговору. Вам известен лозунг?

— «Да здравствует император!»

— Я вижу, что вы знаете все, что мне известно, Жибасье... Какое же вы вывели заключение из этого лозунга?

— Что спустя месяц, три недели, а может быть, и две, мы можем оказаться под другим правлением.

— Гм! А когда вы будете в состоянии выходить?

— Когда это будет нужно,— отвечал Жибасье.

— Через сутки?

— Я могу выйти гораздо раньше.

— Завтра утром вы отправитесь в Кель. От Лонг-Авуана вы получите паспорт. В Келе вы остановитесь в почтовой гостинице. Вы встретите одного человека, возвращающегося из Вены в почтовой карете. Путешественник этот едет под чужим именем, его настоящее имя Сарранти. Наружность его такова: черные глаза, седоватые усы, остриженные коротко волосы; ему 48 лет. Старайтесь не потерять его из виду. Все средства в вашем распоряжении. Когда я возвращусь сюда, то желал бы знать о месте его жительства и о том, что он предпринимает. Вы получите за это двенадцать тысяч франков, если пунктуально будете следовать моим инструкциям.

— А! Я так и знал, что моя добродетель когда-нибудь вознаградится.

— Все, что вы сказали, совершенно справедливо и даже более: я знаю, что вы вполне оправдываете мое доверие, иначе я не доверил бы вам этого дела. А теперь, любезнейший Жибасье, позвольте пожелать вам доброго здоровья и всякого благополучия.

— О! Теперь я уже совершенно здоров. Желание быть полезным Его Величеству произвело во мне эту чудесную перемену.

Что же касается успеха, то рассчитывайте на меня вполне.

В эту минуту в комнату вошел Лонг-Авуан и что-то тихо прошептал Жакалю.

— Вы знаете пословицу: «Нет той компании, которая бы не расходилась». Дело прежде всего,— сказал Жакаль.— Прощайте. Успехов вам!

И Жакаль быстро простился с Жибасье.

Достигнув паперти Нотр-Дам, он встретил там дорожную карету, запряженную четырьмя лошадьми.

— Ты здесь, Карманьоль? — спросил Жакаль, приотворяя дверцу кареты.

— Да, г-н Жакаль.

— В таком случае оставайся тут.

— Вы хотели отправить меня в Вену?

— Нет! Я переменял намерение.

И обращаясь к Лонг-Авуану, он сказал:

— Третьего дня арестовали одного несчастного, который украл хлеб. Пускай мне о нем сообщат, так как мне нужно с ним переговорить, его зовут Габриелем.

Проговорив это, он бросился в карету и закричал кучеру:

— На Бельгийскую дорогу! Шесть франков на водку!

— Ты слышишь, Жолибуа? — заметил кучер своему товарищу.— Шесть франков!

— Но чтобы ехать как можно скорее,— продолжал Жакаль, выглядывая из кареты.

— Только искры посыпятся! Ура!

И карета исчезла в ту минуту, когда начинало светать.

## V

### МИНЬОНА

Оставим Жакаля и Карманьоля ехать по почтовой германской дороге, установим между ними и нами границу Франции, а сами вернемся на улицу Уэст.

Войдем под ворота, поднимемся на третий этаж только что отстроенного дома и остановимся перед резной дверью.

Теперь как друзья, не стуча, нажмем на ручку двери, и мы очутимся на пороге мастерской нашего старого знакомого, Петрюса Гербея.

Что это была за прелестная мастерская! Это была мастерская живописца, музыканта, поэта и принца в одно и то же время. Каждый, войдя в это время к Петрюсу,

был бы изумлен, удивлен и очарован. Обстановка воздействовала на все чувства сразу, слух услаждался звуками органа, обоняние — запахом алоэ и бенжуана, горевших в турецких курильницах, зрение — тысячей разных художественных и редких предметов, при виде которых разбегались глаза.

В нише окна с цветными стеклами за органом сидел молодой человек лет 28—30 с грустным выражением лица. Пальцы его, блуждая по клавишам, извлекали из них звуки, выражавшие глубокую печаль.

Этот молодой человек, напоминавший собой Вольфганга Моцарта, был наш друг Жюстен. Он уже целый месяц везде наводил справки о Мине и, несмотря на обещания Сальватора, до сих пор ничего не узнал о ней.

Другой молодой человек со смуглым цветом лица, курчавыми волосами, быстрым взглядом, с толстоватыми чувственными губами, был наш поэт Жан Робер. Он позировал для картины Петрюса и переводил стихи Гёте.

Напротив него сидела девочка лет четырнадцати, в любимом ею фантастическом костюме, с золотыми цехинами на шее и на лбу, красивым шарфом вокруг талии, в платье с золотыми цветами, с голыми прелестными ножками и черными, как смоль, волосами, ниспадавшими до земли. Это была Рождественская Роза в костюме Миньоны Гете. Она стояла в такой позе, когда Миньона, с удовольствием танцевавшая для своего друга Вильгельма Мейстера, отказалась протанцевать на улице для своего первого покровителя.

Вильгельм Мейстер сочиняет, пока она танцует, смотрит на нее, улыбается и опять возвращается к своим стихам. Мы сказали уже, что Вильгельма Мейстера изображал наш поэт.

Около Розы лежал на полу Баболен, одетый в костюм испанского шута. Он рассматривал прекрасную картину, которую Петрюс писал на полотне и которую по исполнению можно было поставить рядом с лучшими художественными произведениями.

Петрюс был все тот же полухудожник, полуаристократ, прекрасное и благородное лицо которого нам хорошо знакомо, но теперь оно выражало глубокую тоску, и горькая улыбка мелькала по временам на его губах.

Эта горькая улыбка вызывалась мыслью, не имевшей ничего общего с тем, что он делал и говорил.

— Жан Робер, — спросил он, — закончил ты песню Миньоны? Жюстен ждет.

А мысль, которая вызывала у него горькую улыбку в ту минуту, когда он завершал свою картину, над которой работал три недели, была о том, что в это самое время прелестная Регина де Ламот Гудан венчалась с графом Раппом в церкви Сен-Жермен.

И все-таки было некоторое сходство между тем, что происходило, и картиною Петрюса.

Роза, позировавшая в роли Миньоны, напоминала ему Регину, которую он глубоко любил и которую терял в эту минуту навсегда. Жизнь маленькой цыганки на мгновение озарилась сверкающим отблеском жизни Регины. Чтобы иметь повод хотя бы косвенно ощущать душевную близость с дочерью маршала и женою графа Раппа, Петрюс нашел Розу, с которой он, еще не зная ее, набросал портрет, и с помощью Сальватора добился того, чтобы она ему позировала.

Надо признаться, что никакой художник, никакой поэт, ни даже Петрюс, рисовавший ее, ни Гете, мечтавший о ней,— никто не мог вообразить, а еще менее создать Миньону, подобную той, которая была перед глазами Петрюса. Представьте себе нищее дитя, с его наивной красотой, золотой беззаботностью и, вместе с тем, с задумчивым, меланхолическим взглядом.

Помните ли вы лихорадочную красоту, дрожащую от холода, молодую девушку в лодке, на прекрасной картине Герберта, которая называется «Масария»? Нет, не воображайте ничего, не припоминайте ничего, смотрите только глазами вашего воображения и вы увидите лучшее из того, что вы можете представить себе.

На кого же походила эта Миньона Петрюса? На этот вопрос очень трудно ответить.

Если бы спросили Розу, она сказала бы, что маленькая цыганка на картине, Миньона Петрюса, похожа на фею Кариту или, лучше сказать, на мадемуазель Регину де Ламот Гудан. Тогда как — объясните это, как хотите, читатель,— если бы спросили Регину, она нашла бы несомненное сходство этой Миньоны с Розой.

Что же это значило? Это означало, что Петрюс, рисуя Розу, думал о Регине.

— Ну, вот она и готова,— сказал Жан Робер.

Жюстен повернулся к нему на своем табурете, Петрюс опустил палитру на колени, Роза подошла к Жану Роберу, который окончил перевод трех куплетов песни Миньоны, Баболен приподнялся на локтях.

— Читай, мы слушаем,— сказал Петрюс.

Жан Робер прочел.

При чтении последнего стиха Жюстен вздохнул, Роза отерла слезу, а Петрюс протянул руку Жану Роберу.

— О! Дайте мне скорее эти стихи,— обратился к поэту Жюстен — я думаю, что хорошо переложу их на музыку.

— И вы научите меня петь их, не правда ли? — спросила его Роза.

— Конечно.

Петрюс хотел что-то сказать, но в дверь постучали три раза, и послышался голос Сальватора:

— Ляг здесь, Роланд!

Дверь отворилась, и вошел Сальватор в своем костюме комиссионера.

Роланд остался за дверью.

## VI

### СВИДАНИЕ

Сальватор подходил медленно. Петрюс невольно приподнялся.

— Ну что,— спросил он,— кончено?

— Да,— ответил Сальватор.

Петрюс пошатнулся.

Сальватор быстро подошел, желая его поддержать, но Петрюс постарался улыбнуться.

— Не нужно. Я знал, что это должно случиться,— сказал он.

Затем он провел батистовым платком по своему мокрому лбу.

— Мне нужно вам кое-что сказать,— продолжал Сальватор тихим голосом.

— Мне? — спросил Петрюс.

— Вам одному.

— Так пойдемте в другую комнату.

— Мы тебе мешаем, Петрюс? — спросил Жан Робер.

— Полноте! Мне нужно поговорить с г-ном Сальватором. Я пойду в свою комнату, оставайтесь тут.

И он вышел. Сальватор пошел вслед за ним и запер дверь.

И здесь, потеряв силы, Петрюс упал в кресло и застонал.

— Итак, она, этот ангел, теперь жена ничтожного существа!

Сальватор поглядел на молодого человека, который, закрыв лицо руками, едва сдерживал рыдания и судорожно вздрагивал.

Он стоял перед ним и глядел на него с глубоким состраданием. Затем медленно вынул из кармана маленькое письмо в глянцевитом конверте и подал его Петрюсу.

— Возьмите,— сказал он.

Петрюс отнял руки от лица, тряхнул головой и блуждающими глазами взглянул на Сальватора.

— Что это такое? — спросил он.

— Вы же видите — письмо.

— От кого.

— Я не знаю.

— Но где вам его передали?

— Напротив отеля Ламот Гудана. Мне дала его горничная, которая искала комиссионера и нашла меня.

— Это письмо мне?

— Посмотрите: «Г-ну Петрюсу Гербелю, улица Уэст».

Петрюс быстро взял письмо из рук Сальватора, бросил взгляд на адрес и побледнел, как смерть.

— Ее почерк! — воскликнул он. — Письмо от нее!.. Ко мне!.. Сегодня!.. О, Боже мой! Что может она написать мне?

— Прочтите,— спокойно заметил ему Сальватор.

Петрюс дрожащими руками распечатал письмо. В нем было только две строки, и эти-то две строки он несколько раз пытался прочесть, но кровь прилила к его глазам, и он ничего не видел. Наконец, с большим усилием подойдя к окну, он при последних лучах угасавшего светила прочел эти две строки.

Должно быть, в них было что-нибудь очень странное, так как он два раза повторил:

— Нет, нет, это невозможно! Этого не может быть, это — галлюцинация.

Он схватил Сальватора за руку.

— Послушайте,— сказал он ему,— я дам вам прочесть это письмо, чтобы вы разъяснили мне, не сошел ли я с ума. Однако скажите мне правду. Разве брак из-за какого-нибудь неожиданного случая не состоялся?

— Я знаю только одно,— ответил Сальватор,— что они повенчаны.

— Вы их видели?

— Я видел их.

— У алтаря?

— У алтаря.

— Вы слышали, как священник благословлял их?

— Я слышал, как священник благословлял их. Разве вы не просили меня идти туда и не пропустить ни одной подробности церемонии, проводить их до отеля Ламот Гудана и вернуться к вам с отчетом?

— Правда, друг мой, и вы были так добры, что согласились.

— Если бы я рассказал вам когда-нибудь мою историю,— сказал Сальватор с нежной и печальной улыбкой,— вы поняли бы, что всякий человек, который страдает, может рассчитывать на меня, как брат.

— Благодарю. Итак, вы ее видели?

— Да.

— Все такую же прекрасную, не так ли?

— Но более бледную, чем всегда, может быть, еще бледнее вас. Когда она вышла из кареты у дверей церкви, колени ее подгибались, и я думал, что она упадет. Отец ее, видимо, думал так же и подошел поддержать ее.

— А г-н Рапп?

— Он тоже подошел, но она точно отшатнулась от него и почти бросилась в объятия маршала. Г-н Рапп подал руку принцессе.

— Вы видели ее мать?

— Да, это странное существо! Еще до сих пор она прекрасна, должно быть, когда-то была невообразимо хороша. Необыкновенно бледная, как будто в ее жилах текла не кровь, а молоко,— она поминутно спотыкалась, точно отвыкла ходить...

— Расскажите о Регине...

— Это было единственное выражение ее слабости, которое я заметил. Она быстро овладела собою, дошла твердыми ногами до клироса, где два кресла и две подушки красного бархата с гербами Ламот Гуданов ждали будущих супругов. Все Сен-Жерменское предместье собралось на эту свадьбу, тут же были и ее три подруги из Сен-Дени...

Петрюс схватил себя за волосы.

— О! Бедное создание! — вскричал он.— Как она будет несчастна!

Затем с усилием он спросил:

— Что же дальше?

— Дальше началась обедня. Служба была очень торжественная. Священник произнес большую проповедь, во время которой Регина два или три раза оглянулась.

Я думаю, что она боялась и вместе с тем надеялась увидеть вас.

— Что бы я там делал? — спросил Петрюс с глубоким вздохом.

— Во время проповеди, — продолжал Сальватор, — я вернулся на Бульвар Инвалидов и прождал там возвращения новобрачных. В два часа они приехали. Там также, выходя из кареты, Регина оглянулась вокруг. Я уверен, что она искала вас, но глаза ее встретили меня. Узнала ли она меня? Очень возможно, и мне показалось, что она сделала мне какой-то знак. А, может быть, я и ошибся... Но все-таки я остался ждать... Я ждал час, два. У Инвалидов пробило четыре часа. В это время отворилась калитка около решетки, из нее вышла горничная и посмотрела кругом. Я стоял за деревом, но догадавшись, что она искала меня, — показался. И не ошибся; она вынула из кармана письмо, быстро проговорила: «Отнесите это письмо по адресу» и вошла назад в калитку. Я прочел ваше имя и прибежал сюда.

— Хорошо, — сказал Петрюс. — Теперь хотите ли вы видеть, что в этом письме?

— Если вы считаете меня достойным разделить вашу тайну и способным оказать услугу, — да.

— Прочтите, друг мой, — сказал Петрюс, подавая ему письмо, — и скажите, дурно ли я видел или сошел с ума.

Сальватор также подошел к окну, потому что смеркалось все более и более, и вполголоса прочел:

*«Будьте сегодня вечером от десяти до одиннадцати часов около отеля, к вам выйдут и проведут вас ко мне.*

*Я буду вас ждать. Регина».*

— Ну, теперь что вы думаете об этом?

— Я думаю, что с нею случилось что-нибудь особенное и что Регине нужен защитник и что, считая вас честным и хорошим человеком, она обращается к вам.

— Хорошо, — сказал Петрюс. — Сегодня в десять часов я буду около отеля.

— Не нужен ли я вам?

— Благодарю вас, г-н Сальватор.

— Идите один, но только дайте мне обещание.

— Какое?

— Не брать с собою оружия.

Петрюс подумал с минуту.

— Вы правы, — сказал он. — Я пойду без всякого оружия.



— Главное, будьте спокойны, благоразумны и хладнокровны.

— Я последую вашему совету. Но окажите мне еще одну услугу.

— Говорите.

— Уведите Жюстена и Жана Робера, посадите в карету Баболена и Розу: я должен остаться один.

— Будьте покойны. Я все устрою.

— Увижу ли я вас завтра утром?

— Если вы этого желаете.

— О, да — очень желаю... Я расскажу вам все, что сочту возможным.

— Друг мой, всегда лучше, когда тайну знает одно сердце; сохраните и вашу, если сможете. Арабская пословица говорит: «Слово — серебро, молчание — золото».

И пожав руку Петрюсу, Сальватор ушел в мастерскую в ту самую минуту, когда Роланд, соскучившись в одиночестве, начал визжать и царапать лапами дверь мастерской.

## VII

### ЖАН РОБЕР ЛОМАЕТ ГОЛОВУ

В ту минуту, когда Сальватор входил в мастерскую, Жан Робер нашел, наконец, последнюю ноту для песни Миньоны, у органа зажгли свечи и готовились петь, сочинитель положил свои пальцы на клавиши, и ногу — на педаль.

Но при первых звуках Роланд, любя или ненавидя музыку, начал аккомпанировать жалобным воем и стал настолько сильно царапать дверь, что слушать стало невозможно.

— Ну, — сказал Жан Робер, — кажется, Роланду не хочется ждать у дверей. Пусть он войдет.

— Да, да, пусть войдет. Я хочу его видеть, — подтвердила Роза. — Баболен, пойдй отвори Роланду дверь.

Баболен в восторге от предвкушения знакомства с собакой Сальватора подбежал к двери и отпер ее.

— Иди сюда, Роланд.

Роланд вовсе не нуждался в приглашении, в два прыжка он был около Сальватора. Однако вдруг вместо того, чтобы приласкаться к своему господину, он остановился и стал неотрывно глядеть на Розу.

— Ну, что же ты, Роланд? — спросил Сальватор. — Что с тобой, Роза?

Этот вопрос был задан одновременно собаке и ребенку.

В самом деле, взгляд собаки сделался каким-то особенным, вопросительным, и Роза, на которую был устремлен этот взгляд, смотрела на собаку изумленными глазами, блеск которых перекрещивался с блеском, сверкавшим в глазах собаки.

Два врага, готовые броситься друг на друга, наверное, не могли бы смотреть более пристальным и пылающим взглядом. Между тем это не был гнев, а, скорее, удивление сверкало в глазах собаки, не ненависть, а какой-то радостный страх блистал в глазах маленькой девочки.

Казалось, глаза девочки говорили: «О! Ты ли это, моя добрая собака?». А глаза собаки, в свою очередь, спрашивали: «Ты ли это, моя девочка?».

Затем, как будто узнав, наконец, друга, Роланд бросился к Розе в ту минуту, когда та протянула к нему руки.

Собака и девочка узнали друг друга и упали на пол, обнимая одна другую.

Хотя Сальватор хорошо знал добрый нрав Роланда, но подумав, что собака взбесилась, он топнул ногой и закричал повелительным тоном:

— Сюда, Роланд!

Известно, что Роланд понимал и любил своего господина, все знают, что он слепо повиновался ему, который был не только его хозяином, но и спасителем. Но тут он не слышал, не понимал ничего, а открыл свою громадную пасть, точно хотел укусить ребенка.

Жюстен и Жан Робер также подумали, что собака взбесилась, каждый из них взял оружие и бросился к животному.

Роза предупредила их намерение.

— О,— вскричала она,— не делайте ничего Брезилю!

Никто не мог понять этого крика, но каждый понял, что девочка не подвергалась никакой опасности. Собака то ложилась около нее, то вертелась у ее ног с радостным виггом, который заставил Петрюса выйти из его комнаты.

— Что тут происходит? — спросил он.

— Что-то странное,— отвечал Сальватор,— но ничего опасного.

Он сделал Петрюсу знак замолчать, а Жану Роберу и Жюстену отстраниться. Баболен также отошел.

Ребенок и собака остались одни посреди мастерской.  
— О! Мой добрый, милый Брезиль! — говорила девочка. — Так это ты? Вот где ты! Ты узнал меня? Я также узнала тебя!

Собака, со своей стороны, отвечала лаем, визгом, прыжками, которые доказывали, что она была рада не менее ребенка.

В этой сцене было что-то трогательное и ужасное в одно и то же время.

Вдруг Сальватор, напрасно звавший собаку именем Роланда, вздумал назвать ее Брезилем, как называла ее девочка.

Брезиль обернулся.

— Брезиль! — повторил Сальватор.

Брезиль одним прыжком был около своего хозяина, встал на задние лапы, положил передние ему на плечи, тряс головой с выражением такой радости, что трудно было поверить, чтобы ее могло выражать животное.

— Брезиль! Брезиль! — повторяло дитя, радостно хлопая в ладоши.

— Ты ошибаешься, Роза, — сказал с намерением Сальватор, — мою собаку зовут не Брезиль, а Роланд.

— Неправда. Лучше посмотрите. Сюда, Брезиль!

Собака снова оставила своего хозяина и прыгнула к девочке.

Больше нельзя было сомневаться: Роза и Брезиль знали друг друга. Но когда?

Без сомнений, в то время, о котором эта девочка не могла вспоминать без ужаса и которое произвело на нее такое глубокое впечатление, что она не хотела никогда рассказывать об этом Сальватору, своему лучшему другу.

Любопытство всех присутствующих, даже Петрюса, озабоченного своим собственным положением, было сильно возбуждено.

Жан Робер хотел предложить девочке несколько вопросов, но Сальватор остановил его и сделал знак замолчать. Он припомнил крик, вырвавшийся у Розы в бреду: «О! Не убивайте меня, мадам Жерар!». Он припомнил, что Броканта рассказывала ему, что нашла Розу в поле около деревни Жювизи, что она была в белом платье, испачканном кровью, струившейся из раны на ее шее.

Наконец, он припомнил, сопоставляя события, что в тот же или на другой день, охотясь на равнине близ

Вири, он нашел на краю рва собаку, раненную пулей. Он перевязал рану собаки, залечил ее и, не зная, как ее назвать, дал ей кличку Роланд.

Теперь видно было, что Роланда назвали его настоящим именем — Брезилем и что он знал когда-то Розу.

Оставалось узнать, была ли какая-нибудь связь между Брезилем и мадам Жерар, которая, если верить бреду ребенка, хотела убить Розу.

— Ну, хорошо, — заметил Сальватор Розе. — Так, стало быть, Роланд — не Роланд, а Брезиль?

— Ну, конечно, Брезиль.

— Я верю. Только можешь ли ты сказать мне, где ты знала Брезилия?

— Где я знала Брезилия? — переспросила Роза, побледнев.

— Да, можешь ли ты сказать мне это?

— Нет, нет, — отвечал ребенок, все более и более бледнея. — Я не могу.

— Ну, так я знаю это, — сказал Сальватор.

— Вы знаете? — спросила Роза, широко открыв глаза.

— Да, это было...

— Не говорите, мой добрый друг, господин Сальватор! Не говорите! — закричал ребенок.

— Это было у мадам Жерар.

Роза вскрикнула, зашаталась и упала почти без чувств в объятия Сальватора.

Брезиль жалобно заскулил, так жалобно, что у всех присутствующих дрожь пробежала по телу.

Что же касается Розы, то лоб ее покрылся потом, губы посинели.

Сальватор, испуганный всем происшедшим, сказал:

— Нужно посадить девочку и Баболена в фиакр и отвезти их домой. Кто берет это на себя?

— Я! — сказали разом Жан Робер и Жюстен. — Но почему не вы?

— У меня есть другое дело.

— Могу я идти с вами? — спросил Жан Робер Сальватора.

— Куда?

— Туда, куда вы идете.

— Нет.

— Однако, я думаю, есть что-то романтическое в том, что здесь произошло?

— Больше, чем романтическое, дорогой поэт, тут история, которая кажется мне ужасной.

— Узнаем ли мы эту историю?

— Вероятно, потому что вы в ней играете свою роль.

— Мой дорогой Сальватор,— сказал Жюстен,— не забудьте, что сердце одного из ваших друзей страдает, и если вы что-нибудь узнаете о моей бедной, дорогой Мине...

— Будьте покойны, Жюстен, вы и Мина имеете уголок в моей памяти, в который я помещаю своих лучших друзей.

Пожав руку Петрюса и обменявшись с ним выразительным взглядом, Сальватор взял Розу на руки, так как ребенок, хотя и пришел в себя, не был в состоянии идти, и спустился с нею с третьего этажа, посадил ее в фиакр, приведенный Жаном Робером, и поручил ее Баболену и двум молодым людям.

— Понимаете ли вы что-нибудь во всем этом, Жюстен? — спросил Жан Робер.

— Ничего. А вы?

— Решительно ничего.

Брезиль хотел сначала поместиться в карете с Розой, затем побежал было за нею, но Сальватор остановил его и — странная вещь — скорее уговором, как будто удерживал человека, чем приказанием, как удерживают собак.

Когда карета, увозившая Розу, исчезла, Сальватор спустился в аллею обсерватории и заговорил:

— Пойдем, Брезиль, пойдем со мною. Нужно, чтобы ты помог мне найти убийцу этого ребенка.

Брезиль, как будто поняв его, не последовал за каретой своей маленькой подруги, а только два или три раза оглянулся в ту сторону, где она исчезла, сопровождая свои взгляды, скорее, нежным, чем жалобным рычаньем.

## VIII

### В ПУТЬ — НА ПОИСКИ!

Через десять минут Сальватор был на улице Макон и открывал дверь маленькой столовой, помпейские фрески которой так удивили Жана Робера в первый раз, когда он их увидел.

По звуку отворяемой двери столовой Фражола, вероятно, узнала Сальватора, так как в ту же минуту, как открылась дверь столовой, отворилась дверь спальни, и молодые люди очутились в объятиях друг друга.

Было шесть часов вечера. Обед ждал.

— Мы скоро будем обедать? — спросил Сальватор.— Мне нужно сделать небольшое путешествие.

Фражола опустила руки, которыми она обнимала шею молодого человека.

— Путешествие? — спросила она несколько грустно, но решительно.

— О! Будь покойна, моя дорогая, оно не будет долгим,— завтра утром я буду здесь.

— Теперь нужно узнать, не опасно ли оно? — спросила Фражола.

— Я думаю, что могу ответить: нет.

— Тогда и я могу ехать?

— Нет сомнения.

— Кармелита вернулась сегодня в Париж. Мы с Лидией и Региной наняли ей хорошенькую квартирку, чтобы ей не о чем было беспокоиться, и перенесли туда всю мебель из павильона Коломбо. Мадам Маран даст сегодня большой бал: Регина венчается или, вернее сказать, обвенчалась сегодня утром. Для Кармелиты было бы печально одной провести вечер, и с твоего позволения...

Сальватор остановил ее слова поцелуем.

— Я отправилась бы к ней,— продолжила она, улыбаясь.

— Ступай, дитя мое, ступай.

Несмотря на это позволение, руки Фражолы, обвинявшие шею Сальватора, сжались вместо того, чтобы разжаться.

— Ты хочешь еще что-нибудь спросить? — сказал молодой человек, улыбаясь.— Говори!

— Кармелита все еще страшно печальна, и мне кажется, что если бы я рассказала ей такую же печальную историю, как и ее собственная, может быть, это ее утешило бы.

— А какую историю хотела бы ты рассказать твоей бедной подруге, моя дорогая?

— Мою.

— Рассказывай, дитя мое, рассказывай.

— Благодарю.

— А где живет Кармелита?

— На улице Турнон.

— Что же она будет делать?

— Ты знаешь, у нее чудесный голос.

— Ну, и что же?

— Она говорит, что только одна вещь может, если не утешить ее, то сделать возможной жизнь.

— Она хочет петь? Она права: пенье разбитых сердец особенно хорошо. Скажи ей, что я позабочусь о том, чтобы найти ей учителя пения. Я знаю, какой ей нужен человек, он у меня есть.

— О! Ты, как Фортунат, историю которого ты мне рассказал и у которого в кошельке было все, что он желал.

— Пожелай чего-нибудь, Фражола.

— О! Ты хорошо знаешь, что я хочу только твоей любви.

— И она принадлежит тебе.

— Я хочу только сохранить ее.

И молодая девушка, вспомнив, что Сальватор просил ее поторопиться, поцеловала его и пошла на кухню, а он вошел в спальню.

Через десять минут они оба вошли в столовую. На Сальваторе был охотничий костюм.

Фражола посмотрела на него с удивлением:

— Ты отправляешься на охоту?

— Да.

— Я думала, что охотничий сезон кончился.

— Он, действительно, кончился. Но я отправлюсь на охоту, которая всегда существует,— на охоту за правдой.

— Сальватор,— сказала Фражола, слегка побледнев,— если бы я не верила в провидение, я ни минуты не была бы спокойна, видя, какую странную жизнь ты ведешь.

— Ты права,— согласился Сальватор с торжественностью, которую иногда замечали в нем.— Мне покровительствует Господь, и тебе нечего бояться. Я отправляюсь с Роландом.

— О! Тогда я совершенно спокойна.

Оба сели за стол, обмениваясь улыбками. Во время обеда Сальватор старался удалить Роланда, но у него сорвалось имя Брезиль, и это заставило собаку радостно запрыгать.

— Брезиль? — спросила Фражола с удивлением.— Как Брезиль?

— Да, я узнал о юности нашего друга,— сказал, смеясь, Сальватор.— Он звался прежде Брезилем. Ведь думаешь же ты, что я, прежде чем назваться Сальватором, имел другое имя, а прежде чем стать комис-

сионером, имел другую профессию. С Роландом то же, что и со мною,— каков господин, таков и слуга.

— Ты так же таинственен, как романы д'Арленкура.

— А ты так же хороша и прелестна, как героини Вальтера Скотта.

— Буду я знать историю Роланда?

— Конечно, если он ее мне расскажет.

— Как?! Если он тебе расскажет?

— Да, ты ведь знаешь, что я иногда разговариваю с Роландом.

— Рассказал он что-нибудь тебе о том, что с ним случилось?

— Он сказал мне, что его зовут Брезилем. Не так ли, Роланд, ты ведь сказал мне, что тебя зовут Брезилем?

Роланд раза два или три прокрутился около него, точно желая поймать свой хвост, и весело залаял.

— Знаешь ли ты, куда мы идем, Брезиль? — спросил Сальватор.

Собака заворчала.

— Да, ты угадал.

— Найдем ли мы то, что ищем, Брезиль?

Брезиль опять заворчал и вместо ответа направился к двери, поднялся на задние лапы и стал царапать филенку.

Если бы он ответил Сальватору: «Иди за мною», эти слова не были бы выразительнее.

— Ты видишь,— сказал Сальватор,— Брезиль ждет только меня... Итак, до завтра, моя дорогая. Исполний твою роль утешительницы, а я, может быть, исполню мой долг мстителя.

Эти последние слова заставили вторично побледнеть Фражолу, но Сальватор догадался о ее страхе только по более нежному, чем обычно, поцелую и более выразительному пожатию руки.

Семь часов пробило на башне Нотр-Дам, когда Сальватор вышел на улицу.

Брезиль шел в двадцати шагах перед ним.

В это время, несмотря на то, что оно так близко к нам, было только три способа сделать путешествие в пять лье: пешком, верхом или в карете.

Только в далеком будущем цивилизации виднелся дым железных дорог...

Идти пешком в Жювиси было упражнением для здоровья чиновника, но для такого человека, как Сальватор,



привычного к ходьбе, это упражнение не доставляло удовлетворения.

Охотник всегда смешон на лошади, в особенности на наемной. Сальватор и не думал о том, чтобы ехать верхом.

На площади Пале де Жюстис, напротив виселицы, где выставляли приговоренных к клеймению, стояло что-то вроде брички или кареты.

Сальватор хорошо знал кучера этой кареты, а возница, со своей стороны, прекрасно знал Сальватора. Они скоро сторговались за пять франков.

Сальватор мог располагать каретою для себя и для своей собаки на всю ночь.

Покончив с этим, Сальватор подозвал собаку, которая без церемоний вскочила в карету и, как хорошо воспитанная, растянулась сейчас же под скамейкой.

Сальватор сел, прислонился к углу, вытянул ноги, устроил свое ружье так, чтобы оно не выстрелило от толчков, и попросил кучера ехать.

По-видимому, никакая другая лошадь не была менее расположена повиноваться своему хозяину, как это исхудавшее животное, которому Провидение поручило везти Сальватора на поиски таинственного преступления, подозрение в котором возбудила в нем встреча Розы с Брезилем.

Только после десятиминутной борьбы побежденное животное тронулось в путь.

## IX

### ЧЕРЕЗ ПОЛЕ

Нам было бы приятно пересказать разговор Сальватора, возницы и собаки. Этот рассказ доказал бы еще раз читателю всем известную репутацию Сальватора, но у нас будет много случаев выказать возвышенные качества души нашего героя, и потому мы оставляем в стороне эти подробности.

Приехали в Жювиси. Было уже около десяти часов вечера. Сальватор вышел из кареты, Роланд последовал за ним.

— Вы заночуете здесь, г-н Сальватор? — спросил кучер.

— Возможно, друг мой.

— Должен ли я вас ждать?

— До которого часу думаешь ты оставаться здесь?

— Как придется. Если у меня будет надежда везти вас обратно, я подожду до четырех часов утра.

— Ну, так прекрасно, если ты удовлетворишься той же платой, за которую привез меня.

— Вы хорошо знаете, г-н Сальватор, что я повезу вас обратно ради удовольствия оказать вам хоть какую-нибудь услугу.

— Ну, так решено, жди до четырех часов, и вернусь я или нет в четыре часа, вот тебе десять франков: пять франков за один конец, пять — за другой.

— А если я не повезу вас обратно?

— Тогда пять франков останутся за то, что ждал меня.

— Как вам будет угодно. Я выпью за ваше здоровье, г-н Сальватор.

Сальватор поблагодарил кивком головы, позвал собаку и исчез в маленьком переулке, который вел к равнине.

Через пять минут они были у фонтана Кур де Франс.

Роланд перебежал дорогу и направился к равнине. Сальватор следовал за ним. Роланд перебежал через поле и вел Сальватора ко рву, где семь лет тому назад Сальватор нашел его раненного, окровавленного.

Придя туда, собака легла на землю и глухо зарычала, как бы говоря: «Я помню это место!».

Деревня Жювизи или Кур де Франс стояла на перекрестке, образуемом ныне пересечением двух железных дорог: корбейльской и орлеанской.

Район этот — далеко не живописный. Однако, если пройти сто шагов дальше по берегу Сены, в сторону маленького местечка Шатильон, которое издали казалось одной только хижиной рыбака на берегу реки, открывалось обширное пространство холмов и лесов. Если бы вам пришла охота взять лодку и проплыть вдоль берега Сены, затем повернуть направо, в сторону Этана и Орлеана, вы бы оказались в совсем иной местности. Там вы увидите: Савиньи, знаменитое своим замком, построенным во времена Карла VII; Мортан, известный своим маслом; Вири — своими сырами; десяток маленьких селений, ютившихся на вершинах зеленых холмов или спрятавшихся в долинах, посреди лесов, которые, казалось, сближали их одно с другим. Затем уже вы увидели бы возвышающуюся над всем башню Монтери, которая издали казалась часовым, день и ночь с оружием в руках охраняющим местность. Маленькая речка Орж петляет между всеми этими деревнями.

Между двумя первыми селениями, направо от угла, образуемого теперь постройками железной дороги, и находился ров, который узнал Роланд.

— Да, это было здесь, моя добрая собака. Но мы, однако, пришли сюда не только для того, чтобы узнать это место, не так ли, мой бедный Брезиль?

Собака подняла голову, посмотрела на своего господина, глаза ее сверкали, как два карбункула, и она бросилась вперед.

— Да, да,— прошептал Сальватор,— ты понял, мой добрый товарищ. О! Как неразумны люди в сравнении с тобой! Ступай или, лучше сказать, пойдём, веди меня, я пойду за тобою.

Брезиль пробежал четыреста или пятьсот шагов по дороге в Жювиси, затем остановился перед маленькой хижиной и обнюхал землю. Хижина эта была на тропинке, ведущей к мосту.

Тут Роланд остановился, точно обдумывая что-то.

— Ищи, Роланд, ищи,— сказал Сальватор.

Но Роланд стоял как вкопанный.

— Пойдем, Брезиль,— повторил Сальватор,— пойдём, мой добрый пес.

Имя Брезилия, казалось, вернуло ему мужество.

— Ищи! Ищи! — повторил Сальватор и погладил его. Но Брезиль, как собака, погруженная в серьезные мысли и понимавшая важность решения, которое она должна была принять, казалась равнодушной к голосу и ласкам, которые всегда были ей приятны.

Вдруг она подняла голову, точно озаренная какой-то мыслью, посмотрела на Сальватора, отбежала от хижины и спустилась по тропинке, ведущей к мостику, о котором мы говорили.

Сальватор следовал за нею с быстротою охотника, чувствующего, что собака напала на след.

Собака бежала по дороге, вдоль которой стояли цветущие яблони. Темнота не позволяла видеть эти прекрасные деревья, но воздух был пропитан их ароматом.

Сальватор следовал за Брезилем по этой новой дороге. Брезиль торопливо бежал, не оглядываясь назад, не останавливаясь ни на минуту.

Правда, идя за ним, Сальватор продолжал повторять тихим, но строгим голосом, так возбуждающим чутье собак:

— Ищи, Брезиль, ищи!

Брезиль все шел и шел вперед.

Вдруг луна выглянула из-за черных облаков, и они увидели перед собой решетку парка.

Странная вещь! В ту минуту, когда показалась полная, ясная луна, собака повернулась, посмотрела на небо и жалобно завывала.

Нужно было обладать спокойным мужеством Сальватора, чтобы не почувствовать трепет страха ночью, в часы, когда луна придает всем предметам какой-то фантастический вид и когда изредка слышится только отдаленный лай караульных собак и шелест сухих ветвей и листвы.

Сальватор понял мысль собаки.

— Да, мой добрый Брезиль, да, не правда ли в такую же ночь ты оставил этот дом?.. Ищи, Брезиль, ищи! Мы работаем для твоей маленькой госпожи.

Собака неподвижно стояла перед решеткой.

— Ну, хорошо, я вижу,— сказал Сальватор.— Я вижу, что ты был вскормлен вместе с твоей барышней за этой решеткой, не так ли?

Собака, казалось, поняла его. Она забегала около решетки то вправо, то влево, махая своим длинным хвостом и обнюхивая каждую полосу.

— Ну, Брезиль,— сказал Сальватор,— не можем же мы провести тут всю ночь. Нет ли другого входа? Поищи, мой добрый пес, поищи!

Брезиль, кажется, понял, что тут войти невозможно. Он пробежал вдоль стены шагов полтора, затем остановился, насторожил уши и уперся мордой в камень.

— О! Тут что-нибудь да есть! — прошептал Сальватор.

Он подошел к стене, внимательно ее осмотрел и, невзирая на глубокие тени от ветвей дерева, скрывавшего от него луну, увидел на серой стене заделанное отверстие фута четыре или пять в диаметре.

— Вот хорошо, Брезиль, очень хорошо,— заметил он собаке.— Тут было отверстие, и ты удивляешься, что его нет. Ты вышел через это отверстие, и ты думал вернуться по этой же дороге, но владелец привел все в порядок, не так ли?

Собака посмотрела на Сальватора, будто говоря:

— Действительно, это было так. Что же нам теперь делать?

— Да, что нам делать? — повторил Сальватор.— Кроме того, что у меня нет ничего, чем бы можно было пробить стену, меня обвинили бы еще во взломе, и это

стоило бы мне пяти лет каторжных работ. Это, конечно, не входит в наши намерения, мой добрый Брезиль. Но однако, мой добрый друг, я так же, как и ты, вероятно, хотел бы осмотреть этот парк. Мне кажется, что мы тут что-нибудь найдем.

Рычание Роланда, или, лучше сказать, Брезиля как бы подтвердило эти слова.

— Ну, хорошо, Брезиль, это самое лучшее,— сказал Сальватор, забавляясь как артист и наблюдатель.— Поищи сам какое-нибудь средство, потому что ты сердисься. Я жду, Брезиль, я жду!

Брезиль, казалось, не пропустил ни одного слова из того, что говорил его хозяин и, будучи сам не в состоянии найти способ проникнуть в парк, он указал его.

Он подался назад и бросился вперед с такой силой, что лапы его достигли верхушки стены.

— Ты сама мудрость, мой милый Брезиль! — сказал Сальватор.— Ты совершено прав. Незачем проламывать стену, когда можно перелезть через нее. Возьмем ее приступом, мой добрый пес, ступай первым. Ты, как мне кажется, у себя, и ты должен меня понимать! Ну, скачи! Гоп-ля!..

И своими руками, которыми, как мы знаем, он так энергично расправлялся с Жаном Быком в первой главе этой истории, Сальватор приподнял собаку-великана до верха стены так же легко, как маркиза или герцогиня приподнимает кингс-чарльза к своим губам.

Таким образом собака дотянулась передними лапами до верха стены, но ей нужна была точка опоры, чтобы перескочить через нее.

Тогда Сальватор наклонил голову, уперся в стену, поставил лапы собаки на свои плечи и снова проговорил:

— Скачи, Брезиль, скачи!

Брезиль перескочил.

— Ну, теперь и я полезу.

Укрепив ружье на плече, он подскочил к стене, уцепился за нее руками, затем, помогая себе коленями, достиг того, что с ловкостью, доказывавшей его привычку к гимнастике, сел верхом на стену.

В это самое время он услышал стук лошадиных копыт и увидел быстро подъезжавшего всадника в плаще.

Этот всадник ехал тоже вдоль стены.

Сальватор перевесился своим телом на сторону парка и держался удивительной силой своих рук, только голова

его была видна над стеной. Дерево бросало на него свою тень и мешало всаднику его видеть.

В то время, когда всадник проезжал в четырех шагах от него, луна светила полным светом, и Сальватор смог рассмотреть черты лица молодого человека лет двадцати девяти или тридцати. Они поразили его. Он откинулся назад, соскочил со стены и упал рядом с Брезилем.

— Лоредан де Вальженез!

Затем, после недолгого молчания и неподвижности, непонятных для нетерпеливого Брезилья, он прибавил:

— Черт возьми! Что делает тут мой милый кузен?..

## Х

### ПАРК, В КОТОРОМ УЖЕ ДАВНО ПЕРЕСТАЛ ПЕТЬ СОЛОВЕЙ

Сальватор прислушивался, пока не смолк конский топот, затем осмотрелся вокруг.

Он был в громадном парке, в самой запущенной его части.

Брезиль, казалось, ждал только приказания, чтобы пуститься в путь. Он сидел, но дрожь, пробежавшая по его телу, свидетельствовала о его нетерпении, и его блестящие глаза казались в темноте блуждающими огоньками.

Луна плыла по облачному небу, то освещая ярко всю землю, то скрываясь за мрачными облаками и погружая землю в темноту.

Сальватор, не зная, куда поведет его собака, ждал, когда луна уйдет в облака, что позволило бы ему выйти на просеку.

Этой минуты недолго пришлось ждать.

Мы солгали бы, если бы сказали, что сердце молодого человека не билось сильно. Однако понимание важности причины, приведшей его сюда, делало его спокойным, на его лице нельзя было увидеть отражения тревоживших его мыслей.

Он только снял свое ружье с плеча, осмотрел, как оно заряжено, взвел курки, взял ружье в руку и, пользуясь той минутой, когда земля и небо сделались опять темными, сказал:

— Пойдем, мой добрый пес, пойдем вперед!

Собака бросилась вперед, Сальватор последовал за нею.

Это было не легко: кустарник, заполонивший все углы парка, образовал чащи, в которых дичь нашла бы хорошее убежище, но через которые трудно было пробираться человеку.

Каждый шаг в кустарнике отдавался резким шумом. Это убегал какой-нибудь зазевавшийся заяц или кролик, потревоженный собакой.

Сальватор и собака вышли на дорожку. Она вела к поляне, посреди которой видна была черная поверхность пруда, сверкающая, как серебряное зеркало.

Луна вышла из-за облаков и осветила этот спокойный и глубокий пруд. На его берегах, как неподвижные призраки, стояли статуи мифологических героев.

Брезиль, казалось, спешил приблизиться к этому пруду, но Сальватор, не зная, был ли дом, к которому прилегал этот парк, обитаем или нет, шел по лесу так, чтобы можно было скрыться в чаще при первой же опасности, и удерживал свою собаку, которая, повинувшись его голосу, шла в десяти шагах перед ним.

Было что-то злое во всех предметах, которые бросались в глаза Сальватору.

— Я бы не очень удивился, — шептал он, — если бы узнал, что тут совершилось какое-нибудь ужасающее преступление. Тени тут будто темнее, чем в другом месте, свет бледнее, деревья имеют такой печальный вид, что сердце сжимается. Но как бы то ни было, надо идти вперед.

И когда густое облако снова закрыло луну, Сальватор вышел из леса, остановился и придержал Брезилья.

Перед ним по другую сторону пруда возвышался величественной темной массой замок Вири, освещенный только светом, видневшимся из окна маленького кабинета. Итак, несмотря на запущенность парка, казавшегося девственным лесом, несмотря на заросшие дорожки, замок был обитаем.

Нужно было удвоить предосторожность. Сальватор поглядел вокруг взглядом охотника, привыкшего видеть в темноте, и решил продолжить поиски до конца.

Однако он не был ни в чем уверен, у него были только смутные подозрения, вызванные немим страхом Розы. К чему же эта настойчивость? Зачем идти на поиски неизвестного? Это неизвестное казалось ему чем-то ужасным, и он шел на свои поиски, направляемый таинственным провидением, которое называется случаем,

придающим честным людям сверхъестественную способность предугадывания.

В нескольких шагах от пруда была группа зеленых деревьев. Тут можно было спрятаться. Казалось, что пруд притягивал чем-то Брезиля.

Сальватор, воспользовавшись минутой, когда луна скрылась за облаками, достиг группы деревьев, сопровождаемый Брезилем, которому он приказал идти сзади.

Спрятавшись в тени вяза, Сальватор погладил Брезиля и сказал ему одно слово:

— Ищи!

Брезиль тотчас же бросился к пруду, пропал в тростнике, окружавшем берег, и, миновав заросли, показался вновь. Он плыл с поднятой вверх головою.

Собака проплыла около двадцати шагов. Затем остановилась, описала круг, вместо того, чтобы плыть прямо, и нырнула. Сальватор не терял из виду ни одного ее движения. Человек и собака, казалось, угадывали намерения друг друга.

Через несколько минут Брезиль вынырнул, затем опять нырнул. Однако, как и в первый раз, он не нашел ничего.

Тогда он поплыл к берегу, вышел и сделал пять или шесть шагов, обнюхивая дерн. Затем он поднял голову, испустил тихий, но глухой жалобный вой и побежал к лесу.

Сальватор понял, что Брезиль не без оснований возвращается назад в лес. Он слегка свистнул. Собака остановилась, подалась назад, как лошадь, которой всадник натягивает узду.

Сальватор не хотел терять из виду Брезиля, чтобы не быть вынужденным звать его. Он снова осмотрелся и, видя, что все тихо и спокойно, прошел пространство, отделяющее деревья от леса, также бесшумно, как и прежде.

Брезиль опять побежал. Сальватор пошел за ним, и они снова скрылись в лесу.

Он знал, что все движения собаки, как бы странно они ни выглядели, не были беспричинными.

Войдя в лес, собака и хозяин перешли лужайку, на которой кое-где расцвели первые весенние цветы.

Они вернулись на дорожку, которая раздваивалась в конце. Тут собака остановилась и, казалось, заколебалась. Одна из дорожек вела к огороду, другая — на тропинку, углубляющуюся в лес.

После нескольких минут колебания или, лучше сказать,



размышления, Брезиль избрал тропинку, ведущую в лес.

Сальватор пошел за ним.

Так они шли две или три минуты. Потом собака остановилась и вместо того, чтобы идти по тропинке, вошла в гущу леса, на опушке которого стояла скамейка.

Сальватор тоже вошел под деревья. Тут собака обнюхала ветви и сухие листья, покрывавшие землю. Затем уткнула нос в землю, жадно вдыхая из нее испарения.

— Что ты нашел тут, мой добрый Брезиль? — спросил Сальватор.

Собака пригнула морду к земле, уткнула в нее нос и оставалась неподвижной, точно не слышала вопроса своего хозяина.

— Тут, не так ли? Тут? — спросил Сальватор, опускаясь коленом на землю и дотрагиваясь пальцем до места, которое указало смышенное животное.

Собака быстро повернулась, посмотрела на хозяина своими выразительными глазами, слабо взвизгнула и начала опять нюхать.

— Ищи! — сказал Сальватор.

Роланд, глухо ворча, положил обе свои лапы на то место, которое Сальватор указал пальцем, и начал яростно рыть землю. Было件нятно, что цель его ночных поисков была именно тут, а не в другом месте.

— Ищи! — лихорадочно повторял Сальватор. — Ищи! И собака с той же яростью продолжала рыть землю.

После десятиминутной работы, показавшейся Сальватору целым веком, Брезиль быстро отодвинулся.

Все тело его дрожало.

— Что тут такое, мой дорогой пес? — спросил Сальватор, все еще стоявший на коленях.

Собака посмотрела на него, будто хотела сказать: — Смотри сам!

Сальватор попытался рассмотреть, но луна скрылась, и его глаза напрасно старались проникнуть в темноту, еще более глубокую в выкопанной собакой яме, чем на поверхности.

Он вытянул руку и, достав дно ямы, хотел ощупать рукою то, чего не могли видеть глаза.

Рука наткнулась на что-то мягкое, нежное, шелковистое.

Сальватор вдруг отдернул руку и задрожал так же, как и собака, но только лихорадочнее, ужаснее, точно коснулся змеи. Но он сделал над собою усилие и снова опустил руку на ужасный предмет.

— О,— прошептал он,— ошибиться невозможно: это волосы!

Собака жалобно визжала, человек, покрывшись холодным потом, не решался вытащить эти волосы.

Луна, опять показавшаяся из-за облака, осветила эту фантастическую группу.

В эту минуту собака опять подошла к яме, опустила в нее всю голову, и Сальватор почувствовал, что она нежно лижет волосы, которые он держал в своей руке.

— О,— пробормотал он,— что это такое, мой бедный Брезиль?

Брезиль, не слушая своего хозяина, перестал лизать волосы, под которыми Сальватор нащупал череп, и смотрел на дорогу, скрежеща зубами.

Сальватор тоже поднял голову, но ничего не увидел. Тогда он приложил ухо к земле и услышал шум приближающихся шагов. Он снова поднял голову, и на этот раз ему показалось, что он видит призрак, приближающийся к ним.

Брезиль хотел броситься и зарычать, но Сальватор схватил его за шиворот и заставил замолкнуть.

— Лежи, Брезиль! Лежи! — шептал он.

Он лег рядом с собакой и взял в руки ружье.

Полночь пробила на колокольне Вири, и бой часов пронесся в воздухе, как стон.

## XI

### ОТЧЕГО НЕ ПЕЛ БОЛЬШЕ СОЛОВЕЙ

Призрак продолжал приближаться. Он прошел в трех шагах от Сальватора и сел на скамью.

Одно мгновение Сальватору казалось, что это тень того тела, которое неизвестное преступление положило у его ног. Однако он слышал звук шагов, а тень не настолько тяжела, чтобы ломать сухие ветви.

Это была молодая девушка.

Но только как же столь юная девушка могла бродить в полночь в парке, и одна ли она пришла к этой скамейке?

Луна осветила эту полуночицу, ее взгляд был обращен к небу.

Сальватор мог видеть ее лицо, оно было ему совершенно незнакомо.

Это было голубоглазое существо с белокурыми во-

лосами и почти детским лицом, лет шестнадцати, не более. Ее глаза, обращенные к небу, смотрели пристально, как в экстазе. Только Сальватору казалось, что по ее щекам текут слезы.

Да, и в самом деле, ведь счастливые спят в такие часы!

Роланд лежал спокойно, а Сальватор смотрел, скорее, с удивлением, чем с беспокойством.

Вдруг раздался какой-то крик вдалеке, зов, и чье-то имя пронеслось в воздухе. Молодая девушка вздрогнула и наклонила голову. Сальватор почувствовал дрожь под кожей Роланда.

Он понял, что собака заворчит, приблизился к ней и энергично прошептал на ухо:

— Молчи, Роланд.

Второй зов заставил девушку встать.

Сальватор также не мог улежать на земле. Ему послышалось, что произнесли имя Мины.

Через пять минут, в течение которых девушка, Сальватор и собака оставались неподвижными, как статуи, послышалось ясно — «Мина», произнесенное мужским голосом.

Сальватор поднес руку ко лбу и невольно вскрикнул с удивлением.

Роланд поднял морду с угрожающим видом, но Сальватор успокаивающе положил ему руку на голову.

Несомненно, если бы девушка не была углублена в свои переживания, она поняла бы, что что-то странное происходило около нее.

Одно мгновение девушка порывалась броситься в лес, чтобы скрыться или убежать, но потом она тряхнула головой, точно говоря: «бесполезно», и опять села.

По аллее быстрыми шагами прошел молодой человек, и Сальватор узнал в нем всадника, который проезжал в ту минуту, когда он перелезал через стену.

— О! Провидение! — пробормотал он. — Если бы это была она!

— Мина! Наконец-то это вы! — сказал молодой человек. — Как это вы гуляете одна в такой час, в лесу, в самом густом, в самом диком месте парка?

— А вы зачем в этот час здесь, в этом доме? — спросила девушка. — Ведь было решено, что вы никогда не приедете сюда ночью?

— Мина, простите меня! Я не мог отказать себе в желании увидеть вас. Если бы вы знали, как я вас люблю!

Девушка молчала.

— Скажите, Мина, неужели вы не жалитесь? Эта любовь безумна, я согласен с этим, но она непобедима, и неужели она не заставит вас жалиться? Неужели вы все еще ненавидите меня?

Девушка молчала.

— Разве возможно, Мина, чтобы два сердца бились так близко около друг друга, одно — от сильной любви, другое — от ненависти?

Молодой человек хотел взять ее руку.

— Вы должны, кажется, помнить, что обещали до меня не дотрагиваться, г-н Лоредан, — сказала она, отнимая свою руку.

— Скажите мне, наконец, — сказал он, остановленный этой ледяной гордостью, — почему вы здесь?

— Я легла спать и уже спала... И так же отчетливо, как я вижу вас теперь, я увидела вас отворяющим дверь моей комнаты поддельным ключом и входящим ко мне. Я проснулась. Я была одна, но я догадалась, что вы приедете, встала, оделась, вышла в парк и пришла сюда. Скажите, вы ведь действительно входили в мою комнату с поддельным ключом?

— Мина, простите меня!

— Мне нечего вам прощать. Вы держите меня против моей воли. Я остаюсь потому, что вы сказали: если я убегу, то жизнь и свобода Жюстена будут в опасности. Вы также знаете, на каких условиях я остаюсь, и не исполнили этих условий.

— Но я не могу допустить, чтобы вы знали, что я еду сюда... Чтобы вы предвидели, что я приду к вам...

— Тем не менее это верно.

— Мина, — сказал молодой человек, стараясь казаться спокойным, — возьмите меня под руку и вернитесь домой.

— Пока вы в замке, я не вернусь.

— Мина, клянусь вам, что я уеду, как только вы вернетесь.

— Уезжайте, я вернусь потом.

— Вы будете причиной того, что я, наконец, решусь на крайность! — воскликнул молодой человек.

— Здесь, перед лицом Бога, — сказала Мина, указывая на небо, — вы не осмелитесь, иначе я убью себя на ваших глазах.

— Хорошо, я уйду, потому что вы меня гоните. Но вы еще позовете меня, Мина!

Мина презрительно улынулась.

— Прощайте, Мина... О! Если Жюстен погибнет, не пеняйте ни на кого, кроме себя.

— Жюстена так же, как и меня, охраняет Бог. Злые люди ничего не сделают ему, как не сделают и мне.

— Это мы увидим... Прощайте, Мина.

И молодой человек быстро удалился, бормоча про себя проклятья. Пройдя десять шагов, он обернулся, чтобы посмотреть, не зовет ли его Мина.

Но Мина стояла неподвижно.

Он сделал угрожающий жест и скрылся.

Мина смотрела, как он удалялся, оставаясь холодно неподвижной. Когда она потеряла его из виду, когда замолк шум его шагов в отдалении, когда она думала, что она одна и может поддаться чувству слабости, эта слабость овладела ею, и она почти без чувств упала на скамейку. Слезы, сдерживаемые в продолжение всей этой сцены чувством гордости, полились из ее глаз.

— Боже мой! — вскричала она в отчаянии, поднимая руки к небу.— Боже! Я прошу, чтобы ты простер надо мною твою милосердную десницу! О! Боже мой! Ты знаешь, что не за себя, не за свою жизнь молю я тебя, но за жизнь того, кого я люблю! Делай со мною все, но сжался над Жюстеном! Но, увы, ты так далек от меня, что не слышишь меня!

— Нет, Мина,— возразил Сальватор нежным и трепещущим голосом,— Бог вас услышал и послал меня к вам на помощь.

— Великий Боже! — закричала Мина, вскакивая в ужасе и готовясь бежать.— Кто тут? Кто говорит со мною?

— Друг Жюстена, не бойтесь, Мина.

Несмотря на эти успокоительные слова, Мина опять вскрикнула от ужаса, когда увидела выходящего из-за деревьев человека с громадной собакой.

## ХII

### ОБЪЯСНЕНИЕ

Охваченная ужасом, Мина закрыла лицо руками, но, услышав доброжелательный и приятный голос Сальватора, видя, что он стоит в трех шагах от нее, не смея подойти, чтобы не удвоить ее страх, она тихо опустила руки, посмотрела на Сальватора и переступила пространство, разделявшее их.

— Не бойтесь ничего, мадемуазель,— сказал Сальватор.

— Вы видите, что я не боюсь, поэтому и подошла к вам.

— И вы правы, потому что у вас никогда не было более преданного и лучшего друга.

— Друга? Вы второй раз произносите это слово, а я, однако, вас совсем не знаю.

— Это правда, мадемуазель. Через минуту вы меня узнаете...

— Вы уже давно здесь? — спросила Мина, прерывая Сальватора.

— Я был уже тут в то время, когда вы только подошли к этой скамейке.

— Вы все слышали?

— Я не пропустил ни одного слова из того, что вам сказал г-н Лоредан де Вальженез, ни одного слова из того, что вы ему ответили, и мое уважение к вам и презрение к нему увеличились в равной степени.

— Теперь позвольте задать вам еще один вопрос?

— Вы желаете знать, как я попал сюда?

— Нет, сударь, я верю в Бога, которого я призывала, когда вы появились, я верю, что провидение привело вас на мою дорогу.

Девушка с любопытством посмотрела на охотничий костюм человека, не отражающий его социального положения.

— Я хотела бы знать, с кем имею честь говорить?

— Что вам до того, кто я? Я загадка, разгадка которой в руках провидения. Что касается моего имени, я назову вам то, под которым меня знают. Меня зовут Сальватором, примите это имя как хорошее предзнаменование, оно значит «спаситель».

— Сальватор! — сказала девушка.— Хорошее имя, я верю ему.

— Есть другое, которому вы еще больше доверитесь.

— Вы его уже произнесли, не так ли? Имя Жюстена?

— Да.

— Так вы знаете Жюстена?

— В четыре часа сегодня я был около него.

— О! Скажите же, он все еще любит меня?

— Он вас обожает.

— Бедный Жюстен! Он, вероятно, очень огорчен происшедшим несчастьем!

— Он в отчаянии.

— Да? Но вы ему передадите, что видели меня, не так ли? Вы скажите, что я люблю его, что я не люблю никого, кроме него, и что я умру прежде, чем буду принадлежать другому.

— Я скажу ему все, что я видел и слышал. Однако послушайте: мы должны воспользоваться этим странным стечением обстоятельств, которое в ту минуту, когда я разыскал следы одного преступления, привело меня к другому. Нам некогда терять ни минуты, мне нужно многое спросить у вас, а ночи осталось немного...

Мина села на скамейку и указала Сальватору место рядом с собой.

Брезиль хотел идти под деревья, но повелительное приказание уложило его у ног Сальватора и Мины.

Сальватор рассказал ей всю сцену в пансионе г-жи Демаре, при которой мы присутствовали. Он не скрыл от нее и неудачу, которую они потерпели при этом благодаря Сусанне де Вальженез. Затем сообщил обо всех подробностях розысков, которые он предпринял, чтобы отыскать Мину, розысков, которые до сих пор оставались напрасными. Когда он перешел к рассказу о том мраке и печали, которые царят теперь в жилище Жюстена, откуда улетели свет и радость, он почувствовал, как дрожат руки Мины, и увидел, как из ее глаз потекли слезы.

— Теперь,— закончил он,— дорогая невеста моего Жюстена, вы расскажите мне подробности вашего похищения. Для меня важно знать все, вы это хорошо понимаете. Мы деремся с врагом, у которого есть две вещи, делающие его безнаказанным: богатство и могущество власти.

— О! Будьте покойны,— отвечала Мина,— я прожила сто лет и буду помнить малейшие эпизоды этой страшной ночи...

— Я вас слушаю.

— Я провела весь вечер с Сусанной де Вальженез. Она сидела в кресле у моей постели. Я чувствовала себя нездоровой и лежала, закутанная в большой пеньюар. Мы говорили о Жюстене, время шло быстро. Мы слышали, как пробило одиннадцать часов. Я заметила Сусанне, что уже поздно и что нам пора расстаться.

— Разве ты так сильно хочешь спать? — спросила она.— Что касается меня, то я не хочу. Будем говорить.

Она казалась лихорадочно взволнованной, прислушивалась к малейшему шуму, смотрела на окно, точно

желала увидеть что-то в саду через двойные занавески. Два или три раза я спросила ее:

— Что с тобою?

— Со мною? Ничего,— отвечала она каждый раз...

— Значит, я не ошибался,— прервал ее Сальватор.

— Что же вы думали, мой друг?

— Что она участвовала в похищении.

— Вспоминая сейчас о ее волнении, я также этому верю,— подтвердила Мина.— Наконец, без четверти двенадцать она встала и сказала мне:

— Не запирай твою дверь, милая Мина. Если я не засну, что очень возможно, я вернусь.

Она поцеловала меня и ушла. Я почувствовала, что ее губы дрожали, когда она прикоснулась к моему лбу.

Мне тоже не хотелось спать, но я хотела остаться одна...

— Чтобы перечитывать письма Жюстена, не правда ли? — прервал ее Сальватор.

— Да. Кто вам это сказал? — спросила Мина, покраснев.

— Мы нашли их разбросанными на вашей постели и на полу.

— О! Мои письма! Мои милые письма! Что с ними случилось?

— Будьте покойны, они у Жюстена.

— О! Как бы я хотела иметь их и как мне их недостает здесь!

— Вы их будете иметь.

— Благодарю вас, друг мой,— сказала Мина, пожмая руку Сальватора.

Она продолжала:

— Я перечитывала эти письма, когда пробило полночь, я хотела уже раздеться и лечь. Но в эту минуту мне показалось, что я слышу шаги в коридоре. Я подумала, что возвращается Сусанна. Шаги миновали мою дверь и замолкли.

— Это ты, Сусанна? — спросила я, но никто не отвечал.

Мне показалось, что я слышу, как открылась задвижка садовой калитки и как отворилась дверь, хотя никто не ходил по ночам в темном, густом саду, выходящем на пустынную улицу. Затем, кажется, услышала шепот нескольких голосов. Я приподнялась на постели, прислушалась.

Мои глаза были устремлены на дверь, нужно было



сделать несколько шагов, чтобы запереть ее, и я спустила ногу с постели. Мне показалось, что какая-то рука снаружи ищет ручку моей двери... Я бросилась вперед, но в ту минуту, когда уже собиралась захватить задвижку, дверь быстро отворилась, отбросив в сторону мою руку, и я увидела двух мужчин в масках. За ними, я видела, как призрак, мелькнула женщина.

Я вскрикнула и сразу почувствовала, что меня схватили и зажали мне рот... Я слышала, как заперли мою дверь и задвинули изнутри задвижку. Затем мне завязали платком рот и сжали так крепко, что я не могла и вздохнуть... Думала уже, что задохнусь.

— Бедное дитя! — прошептал Сальватор.

— Кто-то схватил меня, завел мои руки за спину и связал платком. Не знаю, случайно или нарочно свечка была погашена. Я слышала, как отдергивали занавески и отворяли окно. Третий сообщник тоже в маске стоял под окном, в саду. Один из мужчин, что были в моей комнате, поднял меня и передал наружу.

— Вот она, — сказал он.

— Мне кажется, она кричала? — спросил неизвестный в саду.

— Да, но никто не слышал, а если слышали, то барышня на лестнице. Она скажет, что оступилась, что у нее подвернулась нога и что она вскрикнула от боли.

Это слово «барышня» напомнило мне женщину, которую я видела тогда у меня. Как молния, мелькнуло подозрение, что Сусанна является соучастницей и что человек в маске — ее брат. Если это так, мне нечего было бояться за жизнь.

В это время меня перенесли через ограду сада. Тот, кто нес меня, остановился у стены, наверху которой я увидела лестницу. Я почувствовала, что меня поднимают на стену.

Через минуту лестница была перекинута на другую сторону. Карета ждала внизу на этой пустынной улице, которая пролегалa вдоль сада.

Меня спустили вниз с теми же предосторожностями, с какими поднимали. Один из мужчин сел в карету раньше меня, двое других втолкнули меня в нее.

— Не бойтесь, вам не сделают ничего дурного, — заметил мне сидевший в карете.

Один из оставшихся снаружи мужчин запер дверцы кареты, другой сказал кучеру:

— Ступай!

Лошади поскакали галопом. По этим словам: «Не бойтесь, вам не сделают ничего дурного», я узнала голос брата Сусанны, графа Лоредана де Вальженеза.

### ХІІІ ДОРОГА

— Как только мы выехали из Версаля,— продолжала девушка,— граф де Вальженез снял платок, закрывавший мне рот, и развязал руки. Губы мои были в крови, и в продолжение двух недель не проходили синяки от узлов.

— Негодяй! — прошептал Сальватор.

— Мадемуазель,— сказал он мне,— вы видите, что я даю вам столько свободы, сколько могу. Не кричите, не зовите никого; я вам говорю, что в моих руках честь Жюстена, даже его жизнь.

— В ваших? — спросила я с презрением.

— Я докажу вам то, что говорю, а пока даю вам честное слово, что говорю правду.

Затем он не сказал более ни слова. У заставы карета остановилась, и разом отворились обе дверцы. Я хотела выскочить, граф не старался меня удерживать, он только сказал мне:

— Вы знаете, что убиваете Жюстена!

Я не знала, как я его убиваю, но я видела моего похитителя и считала его способным на все. Я вжалась в угол кареты.

Карета проехала через Елисейские поля, переехала Сену и тяжело въехала во двор. Я вышла. Двор был застроен со всех сторон зданиями, кроме одной, где была стена, выходящая на улицу...

— Да, это так! — прошептал Сальватор.

Я взошла на крыльцо.

— Пять ступеней.

— Да. Почему вы это знаете?

— Продолжайте, дитя мое, продолжайте.

— Мы вошли в большой вестибюль. Маленькая дверь открылась передо мною, я ступила на лестницу и поднялась на восемнадцать ступеней...

— Затем еще на одну, составляющую порог комнаты, в которую вас привели?

— Да, так! Я совершенно не догадывалась, где я нахожусь.

— Я знаю — где. Вы были на улице Бак, в отеле,

который маркиз де Вальженез, отец графа, получил в наследство от старшего брата, умершего бездетным,— прибавил Сальватор, делая странное ударение на трех последних словах.

— Да, теперь я думаю, что это так. Затем я очутилась в большой комнате, покрытой коврами, с дубовой мебелью, которая казалась библиотекой: в ней было много шкафов с книгами, стоявших вдоль стен.

— Потрудитесь обождать здесь одну минуту, мадемуазель,— сказал мне граф.— И не бойтесь ничего. Вы здесь у меня, а это значит, что вы вне опасности. Через минуту я вернусь к вам, мне нужно сделать распоряжения, и мы немедленно уедем. Если вам что-нибудь нужно, позвоните: в маленькой комнате есть горничная.

Он вышел, не дожидаясь моего ответа. Как только я осталась одна, мне пришла мысль броситься из окна и разбить себе голову о мостовую. Но единственное отверстие, которое было в этой комнате, если не считать дверей, было в потолке, то есть на высоте пятнадцати футов. Я бросилась на колени и стала призывать Бога, но тогда Он не ответил мне, как ответил теперь вашим голосом, и я залилась слезами. В эту минуту мне пришла в голову мысль написать Жюстену...

Я нашла бумагу, но чернил и перьев не было. К счастью, на столе лежал портфель, в котором нашелся карандаш. Я живо вынула его и написала две строчки... У меня был только один страх, что Жюстен может счесть меня виновной. Что я написала ему, я, право, не помню.

— Я знаю что,— сказал Сальватор,— он получил ваше письмо при мне. Но каким способом удалось вам передать это письмо? Это было для нас темно, и я думаю, что Броканта что-нибудь скрыла от нас.

— Я расскажу вам это в двух словах,— возразила Мина.— Только я написала адрес, как услышала шум шагов. Я спрятала письмо на груди и ждала. Вошла горничная, я отказалась от ее услуг, и она ушла. Почти вслед за нею вошел граф и пригласил меня следовать за ним. Мне оставалось только подчиниться.

Мы спустились по той же узкой лестнице, и я очутилась во дворе, который уже проходила. Внизу у лестницы нас опять ждала карета.

Я совершенно не знаю Парижа, так что не могу сказать, по каким улицам мы ехали. Кроме того, у меня была одна мысль: передать письмо Жюстену. Но как это было сделать? Я попросила графа опустить стекло,

но, вероятно, из боязни, что я буду звать на помощь, он отказался наотрез.

— Я задыхаюсь,— сказала я ему.

— Скоро вам будет достаточно воздуха,— возразил он.

Мы проехали через рынок, въехали в узенькие, плохо мощенные улицы, лошади спотыкались на каждом шагу. Я увидела вдаль маленький дрожащий огонек, который двигался вместе с человеческой фигурой. Мне пришла мысль, что этот человек, вероятно, какой-нибудь тряпичник. Если бы, думала я, бросить письмо, он не замедлит поднять его, и, увидев, какая обещана награда, отнесет письмо по адресу. Но как сделать это, чтобы он услышал или увидел падение письма?.. Карета ехала быстро. Мы подъезжали к заставе, я ясно разглядела женщину. Я вытащила письмо, и, поднося руку к груди, почувствовала цепочку, на ней висели часы, подаренные мне Жюстеном... Бедные маленькие часики! Это было все, что мне осталось от Жюстена... Сколько раз они указывали мне час прихода Жюстена! Они никогда не оставляли меня — ни днем, ни ночью, и я должна была с ними расстаться. Да, но я приносила эту жертву в надежде увидаться с Жюстеном! Я сняла их с шеи, завернула часы в письмо, а цепочку обмотала вокруг него. В эту минуту карета остановилась. Мы подъехали к тумбе, на которой стоял фонарь. Граф опустил переднее стекло и, обращаясь к кучеру, закричал:

— Зачем ты остановился, негодяй?

— Г-н граф,— отвечал кучер,— меня остановил этот фонарь: тут чинят дорогу.

— Вернись назад и поезжай по другой улице.

— Я это и хочу сделать, г-н граф.

Это было милостью неба ко мне! Пока граф наклонился вперед, я протянула руку в открытое окно и бросила маленький сверток на мостовую. Я успела отдернуть руку прежде, чем граф обернулся,— он не видел ничего. Карета развернулась, и при этом движении я заметила, как тряпичница своим фонарем осветила мостовую и подняла мой сверток. С этой минуты я считала себя спасенной и решила вооружиться терпением. Через два часа мы приехали в этот замок, в котором никто не жил лет семь или восемь. Граф за месяц до этого снял его для того, чтобы поместить меня.

— Мадемуазель,— сказал он мне,— вы у себя дома. Вот ваша комната, в нее никто не будет входить, если вы не позовете. Обдумайте хорошенько участь, которая

ожидает вас с этим проклятым школьным учителем, в его конуре на улице Святого Якова в борьбе с ежедневной нуждой, и сравните ее с той, которую предлагает вам человек моего звания, обладающий годовым доходом в двести тысяч ливров, готовый превратить весь мир в ваши владения. Горничная придет, чтобы выслушать распоряжения.

Он вышел. Вслед за ним в комнату вошла женщина и предложила мне ужин. Я попросила принести еду в мою комнату, заметив, что если ночью я захочу есть, то поем. У меня не было никакого желания есть, но я рассчитывала, что мне принесут хоть нож, которым можно защитить себя в случае надобности. И эта надежда осуществилась. Я решила не спать... Нож я спрятала на груди, помолилась горячо Богу и стала ждать.

#### XIV

### НАДЕЖДА НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ

— Ночь прошла спокойно,— продолжала Мина.— Я была так измучена всем происшедшим, что невольно заснула. Правда, через каждые пять минут я с тревогой просыпалась. Наконец, начало светать, и я почувствовала озноб, какой бывает почти всегда после ночи, проведенной без сна. Огонь в камине почти потух, я прибавила дров и согрелась.

Окна моей комнаты выходили на восток. Я подошла к окну, отдернула занавес и открыла окно. Прошло несколько минут, и я услышала, как отворилась дверь. Я обернулась... Это был граф.

— Мадемуазель,— сказал он мне,— я слышал, как вы открыли окно, подумал, что вы встали, и решил прийти к вам.

— Я совсем и не ложилась, милостивый государь,— отвечала я.

— Это совершенно напрасно. Вы здесь в такой же безопасности, как если бы были у своей матери.

— Если бы я имела мать, я наверняка не была бы здесь.

Он замолчал на мгновение.

— Вы любовались парком? В это время года он должен был показаться вам очень печальным, но, говорят, что весною это одна из красивейших окрестностей Парижа.

— Как, весною? — вскричала я. — Неужели вы думаете, что весною я буду еще здесь?

— Вы будете там, где хотите: в Риме, в Неаполе, словом, везде, куда вы позволите следовать за вами человеку, который вас любит.

— Вы с ума сошли! — возразила я.

— Напрасно вы так думаете.

— Разве здесь я нахожусь под арестом?

— Слава Богу, вы не арестованы! Этот дом в вашем полном распоряжении, дом и парк.

— И вы рассчитываете, что благодаря высоким стенам, на которые нельзя влезть, крепким решеткам, которые нельзя сломать, я не убегу?

— Вам не нужно будет перелезть через стены, чтобы бежать: двери открыты с шести часов утра до десяти вечера.

— Но в таком случае, — спросила я, — как же надеетесь вы удержать меня здесь?

— О! Боже мой! С помощью вашего благоразумия.

— Объяснитесь!

— Вы любите г-на Жюстена?

— Да, я люблю его.

— В таком случае, вам не будет особенно приятно, если с ним случится несчастье.

— Милостивый государь!

— И самым большим несчастьем, которое с ним может случиться, будет ваше бегство из этого замка.

— Как так?

— Да. Попробуйте бежать, и через десять минут после того, как я узнаю о вашем бегстве, Жюстен будет в тюрьме.

— В тюрьме? Жюстен? За какое преступление, Боже мой?! Вы хотите меня запугать, но, слава Богу, я еще не безумная, чтобы верить вашим словам.

— Я и не прошу вас верить мне, но докажу вам это...

Я начала бояться, видя его уверенность.

Он вынул из кармана маленькую книжку с разноцветным обрезом.

— Вы знаете эту книгу? — спросил он.

— Это уголовный кодекс, как мне кажется, — отвечала я.

— Да, это кодекс. Возьмите его.

Я взяла книгу.

— Очень хорошо! Откройте страницу 800 уголовного кодекса, книгу III, параграф второй.

— Параграф 2.

— Прочтите.

Я прочла.

«§ 2. Похищение несовершеннолетних.

Ст. 354. Кто обольщением или насильем похитит или заставит похитить несовершеннолетнего, или увлечет его, выкрадет, или переместит, или заставит увлечь, выкрасть или переместить из мест, где они были помещены теми, во власти или распоряжении которых находились, тот подвергается за сие заключению на время...»

Я подняла глаза на графа.

— Продолжайте,— сказал он.

Я продолжила чтение.

«Ст. 355. Если же похищенной несовершеннолетней будет девица моложе шестнадцати лет, то виновный приговаривается к каторжным работам... на время...»

Я начала понимать и побледнела.

— Негодяй,— прошептал Сальватор.

— Вот что будет с г-ном Жюстеном,— холодно сказал граф.

— Но ведь Жюстен меня ниоткуда не похищал, я последовала за ним добровольно. Я могу сказать всем и каждому, что он спас мне жизнь, что я обязана ему всем, что...

Граф прервал меня:

— Этот случай предусмотрен в следующем параграфе,— сказал он.— Читайте!

Я прочла:

«Ст. 356. Когда девица, моложе шестнадцати лет, согласится на похищение и последует добровольно за похитителем, то, если он был совершеннолетний, старше двадцати одного года и более...»

— А г-ну Жюстену,— перебил граф,— было ровно двадцать два года. Я справился о его летах. Продолжайте...

Я продолжала:

«...Старше двадцати одного года и более, то он приговаривается к каторжным работам...»

Книга выпала у меня из рук.

— Жюстен заслуживает награды, а не наказания! — вскричала я.

— Это оценит суд, мадемуазель,— холодно ответил граф.— Но я должен сказать вам заранее, что за похищение несовершеннолетней, за содержание ее у себя, за желание жениться на ней против воли ее родных, зная,

что эта несовершеннолетняя богата,— я должен сказать, что я сомневаюсь, чтобы суд присудил г-ну Жюстену награду за добродетель! Но вот вам еще...

Он вынул из кармана бумагу и развернул ее. На бумаге была государственная печать.

— Что это такое? — спросила я.

— Это приказ об аресте г-на Жюстена, как вы видите, отданный в мое распоряжение. Свобода г-на Жюстена в моих руках. Через час после вашего бегства его честь будет в руках суда.

У меня выступил холодный пот на лбу, ноги подкосились, и я упала в ближайшее кресло.

Граф нагнулся, поднял кодекс и положил его открытым ко мне на колени.

— Возьмите его, я вам оставляю эту маленькую, но содержательную книгу. Подумайте на досуге о статьях 354, 355 и 356, и вы убедитесь, что вам отнюдь не следует бежать.

И, поклонившись мне, он ушел.

Сальватор задумчиво потер лоб.

— Да,— прошептал он,— он сделает, как говорит, негодяй!

— О! Я об этом и подумала,— ответила Мина.— Вот почему я не убежала, вот почему я не писала Жюстену, вот почему я молчу, как будто умерла.

— И хорошо делаете!

— Я ждала, надеялась, молилась! И, наконец, явились вы. Вы друг Жюстена, вы решите, что нужно делать, во всяком случае вы расскажете ему обо всем.

— Я скажу ему, Мина, что вы ангел! — сказал Сальватор, становясь на колени перед девушкой и почтительно целуя ее руку.

— О! Боже мой,— сказала Мина,— как я благодарю тебя за то, что ты послал мне такую помощь.

— Да, Мина, благодарите Бога, потому что провидение привело меня сюда.

— У вас были какие-нибудь подозрения?

— Нет, не относительно вас. Я не знал, где вы, в каком месте вы живете, я думал, что вы вне Франции.

— Чего же вы пришли искать здесь?

— О! Я разыскиваю следы другого преступления, о котором не могу вам рассказать. Но теперь надо сделать то, что нельзя откладывать,— нужно подумать о вас. Все будет сделано в свое время.

— Что же вы решаете сделать для меня?



— Прежде всего нужно, чтобы Жюстен знал, где вы, что вы здоровы, что вы его любите.

— Вы передадите ему это, не так ли?

— Будьте спокойны.

— Но мне,— сказала Мина,— кто мне передаст известие о нем?

— Завтра в этот же час вы найдете его около этой скамейки, а если я не успею доставить вам его завтра, то это будет послезавтра на этом же месте

— Благодарю, тысячу раз благодарю вас! Но уйдите или, по крайней мере, спрячьтесь: я слышу шаги, и ваша собака начинает волноваться.

— Молчи, Брезиль! — сказал тихо Сальватор, указывая ему на кустарник.

Брезиль пошел туда.

Сальватор порывался последовать за ним, когда девушка, подставляя ему лоб, сказала:

— Поцелуйте его, как вы целуете теперь меня.

Сальватор запечатлел на лбу юной девушки поцелуй, такой же чистый, как свет луны, освещавшей его, затем быстро скрылся в кустарнике.

Девушка, не дожидаясь приближавшихся шагов, поспешно бросилась к дому.

Через несколько минут Сальватор услышал женский голос:

— Ах! Это вы, мадемуазель? Граф, уезжая, приказал мне сказать вам, что ночь очень холодна и что вы можете простудиться, гуляя так долго.

— Я вернулась,— сказала Мина.

И обе женщины ушли.

Сальватор прислушивался к звуку их удаляющихся шагов, пока они совсем не смолкли.

Тогда он нагнулся, отыскал яму, вырытую Роландом, который опять начал лизать странную вещь, вызвавшую такой ужас Сальватора.

— Это волосы ребенка! — прошептал он.— Надо узнать, не было ли у Розы брата.

И оттолкнув Роланда, сгреб ногой землю, засыпал яму и утоптал, чтобы привести все в прежний порядок. Когда это было кончено, он сказал:

— Ну, пойдём, Роланд. Однако будь покоен, мой добрый пес, мы вернемся еще сюда... днем... или ночью!

## ЖИЛИЩЕ ФЕИ

Читатели помнят угрозу, высказанную Сальватором Броканте по поводу чулана, где обитала тряпичница.

Если угроза увезти Розу и испугала ее, то необходимость сделать безумную, по ее разумению, издержку еще более пугала ее и удерживала от исполнения обещаний. Пока она раздумывала, повиноваться ли ей Сальватору или нет, одно посещение заставило ее, наконец, решиться.

Однажды утром к ней от имени феи Кариты явился чрезвычайно изящный молодой человек.

Два имени были особенно приятны ребенку, носившему имя Рождественской Розы: одно было имя мадемуазель де Ламот Гудан, другое — имя Сальватора.

Молодой человек, явившийся однажды на порог этого жилища, был не кто другой, как Петрюс.

Сказав старой цыганке при лае собак и карканье вороны те же слова, которые сказал ей Сальватор, он дал понять Броканте, что пора переезжать. Главное, что заставило старуху решиться, было то, как взялся за дело Петрюс.

— Вот ключ от вашего нового жилища, — сказал он. — Вам стóит только отправиться на улицу Ульм № 10, и вы будете в своей квартире.

Броканта при этих словах только развела руками.

В самом деле, если, с одной стороны, она и сожалела о своей конуре, то, с другой, ей не нужно было тратить ни одного су, и она, вместо того, чтобы указать художнику на дверь, предложила сесть.

— Вы должны оставить ваш чердак завтра же, — сказал Петрюс.

— О! — возразила Броканта. — Надо же уложиться!

— Вам незачем укладываться: вам нужно продать или отдать кому-нибудь все, что у вас есть. Квартира, которую вам предлагают, отделана заново. Хозяину заплачено за год. Вот квитанции.

Броканта не знала, видит она сон или это все происходит наяву.

После ухода Петрюса она с ключом в руках побежала на улицу Ульм.

Все было так, как сказал Петрюс.

Квартира, состоявшая из четырех комнат и хорошень-

кой маленькой комнаты на антресолях, была на нижнем этаже, окна ее выходили в садик в шесть футов длины.

По сравнению с чердаком, где жила Броканта, это был дворец! Мы не будем описывать всей квартиры, которая привела, может быть, первый раз в жизни в истинный и бескорыстный восторг Броканту. Мы скажем только о комнате на антресолях, которая, по всей видимости, предназначалась для Розы.

Эта комната, отделанная очень просто, была так изящна и так мала, что походила на комнату куклы. Она была обита розовым ситцем, с бордюром небесно-голубого цвета, с такой же мебелью и занавесями. Фарфоровые вешницы на камине и на туалете все были голубого цвета с букетами, как на ситце, ковер тоже был голубой.

Единственной картиной в этой комнате был медальон в золотой раме, в который был заключен портрет феи Кариты, написанный пастелью, удивительно похожий.

Броканта вернулась домой бегом. Она объявила приятную новость Розе и Баболену. Было решено, что они не завтра, а сегодня же перейдут в дом феи,— так называли они новое жилище.

Можно легко представить себе, как были ошеломлены Баболен и Роза. Радость последней походила на безумие, когда она увидела в шкафу, не замеченном Брокантой,— он был вделан в стену,— всевозможные греческие и арабские пояса, ожерелья и шпильки.

Это было для Розы сокровищем из сокровищ, настоящий тайник из «Тысячи и одной ночи».

А этот ковер, нежный и бархатистый, по которому она может ходить сколько хочет своими маленькими ножками!

Они устроились в тот же день, и никто, даже сама Броканта, не пожалел о лачужке на Кишечной улице.

На другой день пришел Петрюс, посмотреть, как обустроились новые жильцы.

Все были счастливы, в том числе и собаки, и ворона.

И за все это Петрюс попросил только, чтобы Роза приходила позировать в его мастерскую с Брокантой или с Баболеном или с ними обоими.

Роза сейчас же согласилась, но Броканта попросила подождать до завтра, чтобы посоветоваться с кем-нибудь, как ей поступить.

Петрюс предоставил ей полную свободу. Этот кто-нибудь, с кем старуха хотела посоветоваться, был Сальватор.

Сальватор пришел в этот же день, он полагал, что Роза может исполнить желание Петрюса.

В тот день, когда мы видели ее в мастерской, был второй сеанс. Сальватор приходил почти каждый день.

В этот день он пришел со своей собакой, так как Петрюс просил привести Роланда, чтобы заполнить угол на картине.

Известно, что последовало за встречей Роланда и Розы.

На другой день, около восьми часов утра, в ту минуту, когда Роза встала, в дверь постучали три раза, и Баболен, который обыкновенно отворял посетителям, открыл дверь.

Вошел Сальватор. Роза бросилась ему на шею.

— Здравствуйте, мой добрый друг,— сказала она.

— Здравствуй, дитя мое,— отвечал Сальватор, внимательно осматривая ее и раздумывая, обозначают ли ее розовые щечки возвращение здоровья или лихорадочное состояние.

— А Брезиль? — спросила девочка.

— Брезиль сегодня устал: он бегал всю ночь. Я приведу его в другой раз.

— Здравствуйте, г-н Сальватор,— сказала в свою очередь Броканта, начавшая причесываться.— Какой ветер занес вас к нам так рано?

— Я сейчас скажу,— ответил Сальватор, оглядываясь вокруг.— Но прежде скажи, как ты чувствуешь себя в новом жилище, Броканта?

— Как в раю, г-н Сальватор.

— С одним исключением, что тут живет дьявол. Но это твои счеты с Богом. Мне до этого нет дела. А ты, Роза, как ты чувствуешь себя?

— Так хорошо, что я не верю, что я здесь, хотя мне кажется, будто я всегда здесь и была.

— Так ты не желаешь ничего другого?

— Нет, г-н Сальватор, ничего, кроме вашего счастья и счастья принцессы Регины,— отвечала Роза.

— Увы! Дитя мое,— произнес Сальватор,— я боюсь, что Бог исполнит только наполовину твое желание.

— С вами не случилось никакого несчастья?— с беспокойством спросил ребенок.

— Нет,— ответил Сальватор.— Я-то, слава Богу, ничего.

— Так, значит, принцесса несчастна? — спросила Роза.

— Я боюсь этого.

— О, Боже мой! — вскрикнула Роза, и на ее глазах показались слезы.

— Нет! — возразил Баболен. — Она ведь фея, поэтому это не будет долго продолжаться.

— Как можно быть несчастной с двумястами тысячами ливров годового дохода? — спросила Броканта.

— Ты этого не понимаешь, не так ли, Броканта?

— Право, нет, — заметила старуха.

— Вот идея, мать, — сказал Баболен.

— Какая?

— Если фея несчастна, значит, она не может получить того, что ей бы хотелось?

— Возможно.

— Погадай же ей.

— Я очень рада, мы ей обязаны. Роза, дай магическую колоду.

Роза хотела было повиноваться, но Сальватор остановил ее.

— После, — сказал он. — Я пришел по другому делу. Броканта, мне нужно поговорить с тобою.

— Что случилось, г-н Сальватор? — спросила цыганка с некоторым беспокойством, от которого она почему-то почти никогда не была свободна.

— Ты помнишь ночь со вторника первой недели поста на среду, когда ты посылала Баболена с письмом к учителю?

— Да, г-н Сальватор, я послала его отнести письмо, найденное мной в канаве на площади Мобер.

— Ты уверена в том, что говоришь?

— Совершенно уверена, г-н Сальватор.

— Молчи! Ты врешь...

— Клянусь вам, г-н Сальватор.

— Ты врешь, говорю тебе. Ты сама говорила мне, что это письмо было брошено из окна проезжавшей кареты.

— Ах, да, это правда, г-н Сальватор, но я не думала, что это так важно.

— Письмо ударилось о стену и упало около тумбы, на которой стоял фонарь. Ты услышала, что что-то разбилось, взяла фонарь и начала искать.

— Вы были там, г-н Сальватор?

— Ты знаешь, что я везде бываю... Для того, чтобы письмо, ударившись о стену, произвело шум, который ты услышала, в нем должно быть что-нибудь завернуто...

— В письме? — повторила Броканта, начиная видеть цель расспросов.

— Да, я спрашиваю тебя, что в нем было?

— В нем, действительно, что-то было,— отвечала Броканта,— но я хорошо не помню.

— Зато я хорошо помню: в нем были часы.

— Это правда, г-н Сальватор, маленькие часы, очень маленькие, очень маленькие.

— Такие маленькие, что ты о них забыла... Что ты сделала с этими часами?

— Что я с ними сделала? Я не знаю,— сказала Броканта, проходя мимо Розы, чтобы скрыть от Сальватора цепочку, которая была на шее ребенка.

Сальватор взял старуху за руку и повернул ее:

— Погоди,— сказал он.— Что это у Розы на шее?

— Г-н Сальватор,— проговорила Броканта, колеблясь: — это...

— Это,— вскричал ребенок, вынимая часы,— это часы, которые были в письме.

Она подала часы Сальватору.

— Ты мне их даешь, Роза? — спросил молодой человек.

— Вы хотите сказать: отдаешь, мой добрый друг? Они мне не принадлежат, и я могла носить их до тех пор, пока о них не спросят... Возьмите, г-н Сальватор,— прибавила девочка,— я их очень берегла.

— Но эти часы стоят, по крайней мере, шестьдесят франков! — закричала Броканта.— И так как я их нашла...

— Я дам другие Розе... Тебе они будут еще больше нравиться, дитя мое, не правда ли?

— О! Гораздо больше, г-н Сальватор, потому что мне дадите их вы.

— Кроме того, Броканта, вот тебе пять луидоров, на которые ты можешь купить ей весеннее платье и шляпу. В первый хороший день я повезу ее гулять. Ребенку нужен воздух.

— Да, да! — вскричала Роза, прыгая и хлопая в ладоши.

Броканта заворчала, но Сальватор поглядел на нее пристально, и она замолчала.

Сальватор, получив часы, за которыми он и пришел, хотел уйти, но Розе вздумалось идти с ним.

— Нет, нет,— ответил ей Баболен, ревностный в исполнении своих обязанностей.— Я провожу г-на Сальватора.

— Уступи мне твое место сегодня,— просила Роза.

— О,— возразил Баболен,— а я?

Сальватор положил ему в руку небольшую монету.  
— А ты останешься здесь.— Он понял, что Роза хотела ему что-то сказать, и повел с собой ребенка.

Когда они были в передней, Роза бросилась ему на шею и поцеловала его.

— О, г-н Сальватор! — сказала она.— Как вы добры, как я вас люблю.

Сальватор посмотрел на нее, улыбаясь.

— Не хочешь ли ты еще что-нибудь сказать мне? — спросил он.

— Нет,— сказала девочка, посмотрев на него с удивлением.— Я хотела вас поцеловать, вот и все.

Сальватор, улыбаясь, поцеловал ее в свою очередь. В этой его улыбке было невыразимое блаженство: нежность ребенка действовала на зачерствевшее сердце мужчины, как лучи солнца на замерзшую землю.

Он ласково погладил рукой смуглую щечку Розы.

— Благодарю, малютка,— сказал он.— Ты понимаешь, как много доброго делаешь ты мне.

И поцеловав ребенка еще раз, он ушел.

## ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

### I

#### ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ

Сальватор, пройдя улицу Ульм и миновав Урсулинскую и Св. Якова, добрался, наконец, до предместья.

Читатель, разумеется, догадался, куда он шел.

Остановившись у двери школьного учителя, он позвонил. Звонок проведен был на первый этаж, чтобы посетители не беспокоили Жюстена во время классных занятий.

Ему отворила Целестина. Бледное лицо молодой девушки покрылось ярким румянцем при виде Сальватора.

— Господин Жюстен дома? — спросил молодой человек.

— Он у матери; потрудитесь подняться наверх. Мы только что о вас говорили.

Действительно, часто приходилось членам этого бедного семейства говорить о Сальваторе. Они поднялись по лестнице, прошли мимо пустой комнаты Мины и вошли к госпоже Корби. У печки, где обыкновенно собиралось все семейство, сидели слепая старуха, добряк Мюллер и Жюстен.

Все было по-прежнему, только за эти шесть недель все лица состарились на десять лет.

Особенно страшно было смотреть на старуху Корби: ее лицо приняло вид желтой восковой маски, волосы совершенно поседели. Она сидела согнувшись и, казалось, не старалась даже узнать вошедшего.

Это была олицетворенная немая скорбь, но скорбь христианская, выражающаяся в терпении и покорности.

Она так незаметно наклонила голову, узнав голос вошедшего, что Сальватор мог принять ее за мраморную статую Богоматери у подножья креста.



Лицо добряка Мюллера несло также следы глубокой печали. Считая себя виновником случившегося несчастья, так как ему первому пришла в голову мысль отдать в пансион Мину, и он же принес адрес госпожи Демаре, Мюллер не переставал горько упрекать себя; вместо того, чтобы утешать Жюстена, он сам нуждался в поддержке и утешении.

Жюстен, напротив, казался менее печальным, чем следовало ожидать.

В первые дни, когда он еще не вел занятий в классах, отчаяние его было безгранично. Но потом, испив, так сказать, до дна, до последней капли чашу безнадежного горя, он как будто переродился, окунувшись в живительную купель из горьких трав,— откуда вышел сильный и крепкий, способный поддержать и ободрить других, несмотря на свою крайнюю впечатлительность.

Увидев Сальватора, он встал и пошел к нему навстречу. Молодой человек с чувством пожал его руку. Мюллер подал стул гостю и предложил ему, скорее для очистки совести, чем в надежде получить удовлетворительный ответ,— вопрос, ставший роковым приветствием этого несчастного семейства:

— Новости есть?

С тех пор, как Мина уехала, этот вопрос постоянно вертелся у каждого из них на языке: возвращалась ли Целестина домой, Жюстен и его мать спрашивали ее:

— Новости есть?

Случалось ли Жюстену отлучиться на короткое время из дома, при его возвращении Целестина и мать предлагали ему тот же вопрос. То же самое случалось и с Мюллером при его ежедневных посещениях этого семейства.

Родственники, которые живут в ста шагах от поля битвы и которые дрожат за жизнь дорогих им людей, не могли бы с большим трепетом собирать известия от каждого встречного. В этот день, как мы уже сказали, очередь предложить неизменный вопрос выпала на долю Мюллера.

— Есть! — ответил коротко Сальватор. Услыхав это, Целестина пошатнулась и оперлась о стену, мать мгновенно поднялась со своего места и выпрямилась во весь свой рост, Жюстен упал на стул, Мюллер задрожал.

Никто не решился повторить вопрос.

— Да! — ответил еще раз молодой человек.

— Говорите! Говорите! — закричали все в один голос.

— О! Пожалуйста, не ожидайте слишком хороших

вестей, чтобы не разочароваться. То, что я принес вам, столько же печально, сколько и радостно.

— Говорите! — воскликнул Жюстен.

— Говорите! — повторили другие.

Сальватор вынул из своего кармана крошечные часики и, показывая их Жюстену, спросил:

— Прежде всего скажите мне, друг мой, узнаете ли вы эту вещицу?

Жюстен бросился к часам с радостным криком.

— Часы Мины! — воскликнул он, покрывая их поцелуями.— Эти самые часы подарил я ей в последний день ее рождения! Как любила она их! Она уверяла меня, что никогда не расстанется с ними, ни днем, ни ночью, а между тем, они не на ней... О! Скажите, ради Бога,— как и зачем рассталась она с ними?

Мать снова опустила на стул. Она сделала движение головой, будто из ее груди хотел вырваться крик, как у Иакова при виде окровавленной одежды Иосифа: «Хищные звери разорвали сына моего!»

— Нет! Нет! — сказал живо Сальватор.— Нет, будьте спокойны,— ваше дитя живо! Мина не умерла. Я ее видел!

— Вы?! — вскрикнул Жюстен, бросаясь на шею молодому человеку и обнимая его.— Вы видели Мину?

— Да, мой милый Жюстен.

— Где?.. Когда?.. Любит ли она еще меня?

— Она вас любит, любит больше, чем когда-либо,— ответил Сальватор, стараясь сдержать порывы Жюстена и казаться хладнокровным.

— Она сама вам это сказала?

— Да, сказала сама.

— Когда?

— Нынешней ночью.

— Но скажите скорей, где вы ее видели?

— А вы, дорогой Жюстен, дайте мне время рассказать все вам.

— Это правда! — сказал Мюллер, вынимая из кармана фуляровый платок и вытирая слезы, которые невольно катились по его щекам — Это правда! Ты хочешь, чтобы он говорил, Жюстен, и вместе с тем не даешь ему времени говорить.

— Хорошо,— сказал Жюстен, садясь,— я вас более не спрашиваю, милый Сальватор, я слушаю.

— Слушайте же терпеливо. Имея некоторое дело, о котором считаю лишним говорить, отправился я вчера вечером за город. Я гулял в одном парке. Там,

при свете луны, увидел я между деревьями молодую девушку, которая села на скамейку шагах в четырех от того места, где я стоял...

— Это была Мина? — воскликнул Жюстен, не будучи в состоянии сдержаться.

— Да, это была Мина.

— И вы не говорили с ней?

— Напротив, я говорил с нею; она же сказала мне, что любит вас... Несколько минут спустя, — продолжал Сальватор, — явился молодой человек и сел возле нее...

— О! — вздохнул Жюстен. — И этот молодой человек был граф Лоредан де Вальженез, не правда ли?

— Да, это был граф Лоредан де Вальженез, — повторил Сальватор.

— О! Негодяй! — воскликнул Жюстен, скрежеща зубами. — Если бы только он попался мне в руки...

— Если вы не хотите слушать меня спокойно, Жюстен, — сказал Сальватор, — я перестану рассказывать.

— О! Нет, нет, я умоляю вас, продолжайте!

— Я слышал весь разговор их, с первого слова до последнего, и узнал, — не повторяю вам всех подробностей, — что господин Лоредан де Вальженез выхлопотал себе позволение задержать вас.

— Как, задержать? — вскрикнули все вместе.

— Но в чем же обвиняют Жюстена? — спросил Мюллер.

— Да, в чем обвиняют меня? — спросил и Жюстен.

— В похищении малолетней, а наказание за это преступление предусмотрено 354, 355 и 356 статьями Уложения.

— О! Негодяй! — не мог не воскликнуть в свою очередь добродушный Мюллер.

Жюстен молчал, мать не произнесла ни одного слова, ни одна черта ее лица не дрогнула.

— Да, это негодяй большой руки, — сказал Сальватор, — но этот негодяй всемогущ и стоит так высоко, что мы не можем достать его.

— А все-таки!.. — воскликнул энергично Жюстен.

— Да, и все-таки до него нужно добраться, не правда ли? — продолжал Сальватор. — Это ваше убеждение и мое тоже!

— А если я пойду к нему? — вскричал Жюстен, вскакивая, как будто хотел тотчас же отправиться.

— Если вы пойдете к нему, Жюстен, — сказал Сальватор, — он прикажет своему швейцару взять вас и отвести в консьержери.

— А если я, старик, пойду к нему? — спросил Мюллер.

— Вы, господин Мюллер? Он прикажет своим слугам отвести вас в Бисетр.

— Но, что же остается делать? — воскликнул Жюстен.

— То, что делает матушка: молиться... — сказала Целестина.

В самом деле, мать тихим голосом молилась.

— Однако, — вспомнил Жюстен, — вы говорили с ней, следовательно, можете еще что-нибудь рассказать нам.

— Да, я могу окончить мой рассказ. Мина была неподражаема в своей чистоте и достоинстве... Жюстен, она настоящая святая! Любите ее всеми силами души!

— О! — воскликнул молодой человек. — Я ли не люблю ее?!

— Когда Лоредан ушел и оставил Мину одну, я счел возможным воспользоваться этой минутой и выйти из моего убежища. Я подошел к бедной девушке, она молила Бога вразумить ее и помочь ей в ее горе. Мне стоило произнести только ваше имя, чтобы она поняла меня, и когда она спросила меня, как и вы: «Что мне делать?», — я ответил ей, как отвечаю вам: «Ждать и надеяться!» Тогда она рассказала мне во всех подробностях о ее похищении и его последствиях, как везли ее по парижским улицам и как для того, чтобы переслать вам письмо, она должна была завернуть в него свои часы. Часы были отданы женщине, которая прислала вам письмо, я отправился к ней за ними. Броканта отказывалась, но Роза отдала мне их.

Жюстен вторично поцеловал часы.

— Вы знаете остальное, — сказал Сальватор, — и вскоре я скажу вам, что, по моему мнению, вы должны сделать.

Он поклонился и сделал знак Жюстену проводить его.

## II

### ПОСВЯЩЕНИЕ

Молодые люди спустились вниз, где находился класс.

Класс был пуст: дети гуляли, так как день был воскресный. На этот раз Сальватор разыграл роль хозяина и пригласил Жюстена сесть.

— Теперь, — начал он, положив руку на плечо Жюсте-

на,— теперь, мой милый друг, выслушайте меня внимательно и не пророните ни одного слова из того, что я скажу вам.

— Я слушаю вас; я хорошо понял, что вы не могли сказать всего в присутствии моей матери и сестры.

— Вы правы. Есть вещи, которые нельзя сказать матери или сестре.

— Говорите, я слушаю.

— Жюстен, вам не удастся возвратить Мину семейству обыкновенными средствами.

— Я понимаю, но, по крайней мере, с вашей помощью я могу с ней видаться, не так ли?

— Пожалуй! Но только прежде всего мы должны уговориться.

— Я хочу ее видеть, знать, где она,— остальное уже мое дело.

— Вы ошибаетесь, Жюстен: с этой минуты это мое дело... Да, вы ее увидите, потому что я обещал вам это; да, вы ее даже похитите,— и это может легко случиться; вы можете спрятать ее так, что ее никто не отыщет,— но зато вас непременно отыщут.

— И дальше что?

— Вас найдут, задержат, посадят в тюрьму.

— Это не страшно. Во Франции есть же правосудие: рано или поздно моя невиновность откроется, и Мина будет спасена.

— Рано или поздно, говорите вы? Положим, рано или поздно, хотя я не совсем разделяю ваше мнение. Я думаю о худшем. Итак, предположим, что ваша невиновность будет всеми признана. Я делаю вам снисхождение, полагая, что на это уйдет год. Что будет с вашим семейством в продолжение этого года? Нищета войдет в ту самую дверь, которая захлопнется за вами; ваша мать и сестра умрут от голода.

— Нет! Добрые люди помогут им.

— О, как вы ошибаетесь, мой бедный друг! Вальженезы — сторукие чудовища. Если им стóит только протянуть одну из этих рук, чтобы открыть вам дверь в тюрьму, то девяносто девять остаются у них свободными, чтобы очертить ваше семейство роковым кругом, который никто не осмелится переступить. Добрые люди помогут вашей матери и сестре? Кого подразумеваете вы под словами «добрые люди»? Жан Робер, поэт, который нынче Крез, а завтра беднее вас самих; Петрюс, живописец, фантазер, который пишет картины для себя, но не

для публики, который существует не произведениями своей кисти, а проедаая свое маленькое наследство. Людовик, талантливый медик, даже более того — гениальный, но медик без практики; я, бедный комиссионер, живущий сегодняшним днем. Ваши мать с сестрой — добрые христианки, им останется церковь, где они могут искать опоры и утешения, не так ли? Но один из самых влиятельных кардиналов — родственник Вальженезов. Вы скажете: благотворительный комитет? Президент комитета сам Вальженез. Положим: они могут обратиться к Сенскому префекту, к министру внутренних дел. Получат одновременно двадцать франков, еще вопрос: получают ли, когда эти чиновники проведуют, что просительницы состоят в таком близком родстве с человеком, задержанным по подозрению в преступлении, которое влечет за собой ссылку на галеры...

— В таком случае что же делать? — воскликнул Жюстен, дрожа от гнева.

Сальватор сильнее сжал рукой плечо Жюстена и, устремив на него пристальный взгляд, спросил:

— Что сделали бы вы, Жюстен, если бы дерево грозило упасть вам на голову?

— Я срубил бы дерево, — ответил Жюстен, начиная понимать метафору своего друга.

— Что сделали бы вы, если бы кровожадный зверь, ускользнув из зверинца, бегал бы по городу?

— Я взял бы ружье и убил бы животное.

— В таком случае я в вас не ошибся, — сказал Сальватор, — выслушайте меня.

— Я думаю, что совершенно понимаю вашу мысль, Сальватор, — сказал Жюстен, опираясь в свою очередь рукой на колено своего друга.

— Разумеется, — продолжал Сальватор, — тот, кто вздумал бы мстить за личную обиду, нарушая общественный порядок, кто поджег бы город, потому что сгорел его собственный дом, — мог, по справедливости, быть назван глупцом, сумасшедшим или извергом. Но человек, который, изучив все недуги общества, сказал бы себе: «Я знаю зло — поищем лекарства», — такой человек, Жюстен, оказал бы своим согражданам услугу, услугу честного человека, искореняющего зло. Жюстен, я тоже несчастный член великой человеческой семьи. Несмотря на мою молодость, я успел окунуться в этот водоворот, называемый большим светом, и, подобно шиллеровскому рыбаку, вышел из него в состоянии ужаса... Тогда

я постарался успокоиться, сосредоточиться, стал раздумывать о бедах моих ближних. Они все прошли вереницей перед моими глазами: одни, как вьючные животные, сгибаясь под бременем, превышавшим их силы, другие, как стадо баранов, гонимых на бойню. Мне стало совестно за моих ближних, совестно за самого себя. Мне казалось, что я похож на человека, который, находясь в лесу, равнодушно смотрит из укромного убежища, как разбойники грабят, бьют и режут прохожих, не желая даже сказать слова в их защиту. Я говорил себе с сердечной тоской, что для всего есть лекарство, не исключающая смерти, которая, впрочем, есть личное несчастье, не простирающее своего влияния на весь человеческий род. Однажды умирающий показывал мне свои раны, и я спросил его: «Кто тебе их нанес?» — «Общество! Люди, тебе подобные», — ответил он. — «Нет», — сказал я, — это не общество и не мои ближние. Те, которые подстерегали тебя в лесу, чтобы отнять у тебя кошелек, и избили тебя до полусмерти, не мои ближние. Это злодеи, с которыми нужно бороться. Это ядовитые травы, которые нужно вырывать с корнем». — «Что же я могу сделать? — удивился он. — Я один!» — «Нет! — сказал я, протягивая ему руку. — Нас двое!»

— Нас трое, — воскликнул с жаром Жюстен, схватив руку Сальватора.

— Ты ошибаешься, Жюстен, нас пятьсот тысяч!

— Хорошо! Пусть же Господь, который все слышал, отвергнет меня, если я изменю или забуду сказанные мною слова.

— Bravo, Жюстен!

— Прочь этих дрянных идиотов, интриганов и иезуитов, называющихся Реставрацией, которая, в сущности, есть не что иное, как дух, повеявший из чуждых стран на нашу Францию...

— Довольно, — остановил его Сальватор. — Приходите ко мне в пять часов и предупредите своих, что вы не будете ночевать дома.

— Куда мы пойдем?

— Я скажу это в пять часов.

— Нужно ли брать с собой оружие?

— Это бесполезно...

В пять часов Жюстен был у Сальватора. Тот представил его Фражолу.

— Я обещал тебе, — сказал он, — найти учителя пения для Кармелиты: вот уже половина того, что я обещал.

— Жюстен, помните ли вы ту красивую молодую девушку, которую вы видели умирающей в Медоне? Я обещал ей через Фражолу вашу помощь, а также и помощь господина Мюллера.

Жюстен ответил улыбкой, давая понять, что вся жизнь его в распоряжении Сальватора.

— А теперь пойдём!

И подойдя к Фражоле, он поцеловал ее, как отец целует свое дитя, потому что, несмотря на молодость, на всем облике Сальватора лежала печать отеческого величия и серьезности, и спустился с лестницы, приказав неутешному Брезилю оставаться с Фражолой.

Жюстен следовал за ним молча.

Они прошли, не проронив ни слова, всю ту часть Парижа, которая простирается до заставы Фонтенбло.

Когда они подошли к заставе, Жюстен, видя, что Сальватор направляется к большой дороге, прервал молчание.

— Куда идем мы? — спросил он.

— Туда, где я вчера видел Мину.

Жюстен остановился, чтобы перевести дух.

— И вы ее мне покажете? — воскликнул он.

— Да, — ответил, улыбаясь, Сальватор, глядя с участием на бледность, внезапно покрывшую щеки Жюстена.

Жюстен закрыл глаза обеими руками и пошатнулся, Сальватор поддержал его, охватив рукой за талию.

— О! Дорогой Сальватор, — сказал Жюстен, — вы видели мою слабость и потеряете ко мне доверие.

— Вы ошибаетесь, Жюстен, я вижу вас слабым в минуту радости, но я видел вас сильным в горе, — а это главное!

— О! — прошептал Жюстен. — Моя добрая мать и не предчувствует, какое счастье меня ожидает.

— Завтра вы ей все расскажите, и она ничего не потеряет.

Желая как можно скорее добраться до Вири, Жюстен предложил взять карету, но Сальватор сказал Жюстену, что он сможет увидеть Мину только между одиннадцатью и двенадцатью часами, а потому нет никакой надобности приехать им на четыре часа раньше нужного срока. Притом его вторичный визит в Кур де Франс может возбудить подозрение, если они приедут слишком рано.

Жюстен согласился с доводами Сальватора. Решили не только идти пешком, но и быть в парке, прилегавшем к замку, не ранее одиннадцати часов вечера.

Очутившись в поле, друзья дали волю своим речам.



Разговор, до той поры сдержанный, принял более свободный, живой характер. Вероятно, задушевные мысли, подобно растениям, нуждаются в свободном воздухе для своих излиятий.

Сальватор стал продолжать свой рассказ с того места, на котором остановился в комнате школьного учителя. Он объяснил Жюстену с самыми тонкими подробностями тайны франкмасонских лож, их организацию и цель, не забыв уточнить, что они берут свое начало за тысячу лет до Рождества Христова, связаны с храмом, где эта идея, брызнув ручьем, побежала потоком, рекой, стала озером и, наконец, разлилась в безбрежный океан.

Жюстен, слушая историческое изложение судеб общества в таком ясном, кратком и вместе с тем полном обзоре, смотрел на Сальватора с удивлением: пламенная речь молодого человека, так не соответствующая его общественному положению, казалась Жюстену вдохновенной речью апостола.

И в самом деле, Сальватор обладал редким даром обобщать факты и, как Кювье — явления физического мира, он умел анализировать нравственную историю общества.

Теория Сальватора была очень проста: это была глубокая любовь к человечеству, без выделения классов и рас, идея уничтожения преград, мешающих соединить весь человеческий род в одно огромное семейство, исполнение заповедей Спасителя, который, дав людям свободу и равенство, завещал любить ближнего, как самого себя.

Для Сальватора, чуждого политики, все люди были детьми одного отца и одной матери, все — братья между собою и, следовательно, все одинаково свободны. Под каким бы видом ни явилось рабство, оно было в его глазах чудовищем, которое следовало стереть с лица земли, как изначальный корень зла. В этом человеке таились остатки благородства и чести старинных рыцарей, которые отправлялись в Палестину воевать за гроб Господень. Подобно им, он готов был отдать жизнь свою за торжество своей веры; он говорил о будущем народов с тем благородством и величием, каким отличалась речь аббата Доминика.

Впрочем, оба молодых человека, из которых один, сам того не подозревая, имел сильное влияние на другого, — священник и комиссионер — имели много общего: та же любовь к человечеству, та же цель, к кото-

рой они стремились, хотя и шли различными путями и с различных точек...

Так, аббат Доминик начинал с Бога и снисходил до человечества; Сальватор искал божественные искры в человечестве и от человека восходил к Богу. Человечество, по мнению аббата Доминика, было творением божественным; Бог для Сальватора был идеалом человеческим; человечество для аббата Доминика не могло иначе существовать, как созданное, покровительствуемое и оберегаемое высочайшей властью и могуществом; человечество для Сальватора не могло существовать, если оно не имело в себе самостоятельной силы.

Одним словом, в их религиозных теориях существовало то же различие, что в политике между аристократией и демократией, но, несмотря на все различие, они стремились к одной цели: к счастью человека, к всемирному братству. Жюстену, бедному страдальцу, обреченному с самого детства на борьбу с нищетой за насущный кусок хлеба, некогда было устремлять свой взор в бездну общих вопросов, а потому теория Сальватора показалась ему блестящей, опьяняющей философией.

Подобно тому, как при малейшем прикосновении к потухающему пламени каминна сверкают огненные искры, так сверкали высказанные Сальватором истины в глазах Жюстена...

Обыкновенно под влиянием сильной озабоченности или волнения человек идет быстро, минуя версту за верстой, сам того не замечая. Так и наши друзья за горячим разговором и не заметили, как подошли к Вири в девятом часу вечера.

Оставалось еще добрых два часа.

Сальватор вспомнил о небольшой рыбацкой хижине, где семь лет назад он обедал в тот самый день, когда нашел Брезиля. Добрались до берега реки, нашли хижину, вошли и, спросив бутылку вина и рыбное блюдо, воспользовались гостеприимством хозяина. Глаза Жюстена отворачивались от кукушки, отсчитывавшей время, разве только для того, чтобы с новой страстью следить за ходом часовых стрелок. Если бы не слышался мерный и звучный ход маятника, Жюстен поклялся бы, что стрелки остановились. Однако пробило десять, наконец, одиннадцать часов. Сальватор видел нетерпение своего товарища и сжалился над ним.

— Пойдем, — сказал он.

Жюстен вздохнул свободно; вскочить со стула, взять

шляпу и очутиться на пороге хижины — было делом одной минуты. Сальватор следовал за ним, улыбаясь. Потом он пошел впереди, указывая дорогу по направлению к замку Вири.

— Здесь? — спросил тихо Жюстен.

Сальватор кивнул утвердительно головой.

Приглашая товарища молчать, он приложил палец к губам.

Они двинулись вдоль стены тихим, легким шагом, точно две скользящие тени. Сальватор остановился на том месте, где накануне перелезал через ограду.

— Здесь, — шепнул он едва слышно.

Жюстен смерил глазами высоту стены. В отличие от товарища не привыкший к гимнастическим упражнениям, он забеспокоился, сумеет ли преодолеть препятствие.

Сальватор оперся о стену спиной и протянул Жюстену обе руки в виде первой ступени.

— Значит, надо перелезть через эту стену? — спросил Жюстен.

— Ничего, не бойтесь, мы никого не встретим, — ответил Сальватор.

— О! Я не за себя боюсь, я за вас.

Сальватор взглянул на него с выражением, которое передать мы не беремся.

— Полезайте, — сказал он коротко.

Жюстен встал на протянутые руки, потом на плечи Сальватора и, наконец, достиг верхушки стены.

— А вы? — спросил он.

— Прыгайте на другую сторону и не беспокойтесь обо мне.

Жюстен повиновался, как ребенок. Если бы Сальватор приказал ему прыгнуть не на землю, а в огонь, Жюстен повиновался бы так же беспрекословно.

Он спрыгнул. Сальватор ясно услышал звуки от его шагов и последовал за ним.

Необходимо было сначала осмотреться, чтобы не блуждать напрасно по парку, как ему пришлось это делать в первый раз, когда он шел с Роландом.

Молодой человек остановился на одну минуту, вспомнив местность, пошел прямо по аллее.

— Мы на нужном нам месте, — сказал Сальватор, — вот дерево.

Мысленно же прибавил: а вот и могила.

Оба вошли в кусты и стали ждать.

По прошествии нескольких минут Сальватор положил руку на плечо друга.

— Тише! — сказал он. — Я слышу шорох платья.

— Это, вероятно, она? — спросил Жюстен, вздрагивая.

— Да, вероятно; только позвольте мне показаться ей первому. Вы понимаете, какое впечатление может произвести на бедное дитя ваше внезапное появление... Она приближается... она совершенно одна. Спрячьтесь и ждите, пока я не позову вас...

Это действительно была Мина.

Она была одна.

— Боже! — шептал Жюстен.

Он хотел к ней броситься.

— Вы хотите убить ее? — спросил Сальватор, удерживая его.

В кустах произошло движение, обратившее на себя внимание Мины.

Она остановилась, глядя с беспокойством.

— Это я, мадемуазель, — сказал Сальватор, — не бойтесь.

И, раздвигая ветви, он вышел к Мине.

— А, это вы! — сказала Мина. — Как рада я вас видеть.

— Я тоже, тем более, что привез вам кое-какие известия.

— От Жюстена?

— От Жюстена, его матери, сестры и господина Мюллера.

— Как я неблагодарна! Я помню только о нем. Скажите же скорей, что сделали вы со вчерашней ночи. Расскажите все, все подробно!

— Прежде всего я скажу вам, что отыскал ваши часы.

— О, как это хорошо!

— Потом я отправился к вашему семейству, чтобы уверить Жюстена в вашей неизменной любви.

— О, как вы добры!.. Скажите, это его обрадовало?

— Можете ли вы спрашивать! Он чуть не сошел с ума от восторга!

— Благодарю! Душевно благодарю! Вы сказали ему, где я?

— Да.

— Что же он?..

— Вы понимаете, конечно, что он стал просить меня,

чтобы я взял его с собою. Но вы поймете также, что моей первой мыслью было отказать ему.

— О, нет, господин Сальватор, этого я не понимаю.

— Но ведь это было только моей первой мыслью.

— А вторую? — спросила Мина нерешительно.

— Вторая была противоположна первой.

— Следовательно? — спросила Мина в сильном волнении.

— Следовательно, взяв с него обещание быть благо-разумным...

— Ну?

— Я решил привести сюда Жюстена.

— Когда же вы его приведете?

— В один из этих вечеров.

— В один из вечеров! — сказала девушка, вздыхая. — И он согласился ждать?

— Нет. Он пожелал идти сейчас же... Вы это тоже понимаете.

— О, конечно, я это понимаю: я сделала бы то же самое на его месте.

— Но моей первой мыслью было опять-таки отказать ему, — сказал, смеясь, Сальватор.

— А ваша вторая мысль — какой была ваша вторая мысль?

— Вторая... привести вам его нынче же.

— Так что?.. — спросила девушка, сильно дрожа.

— Так что я его привел.

— Господин Сальватор, мне показалось, будто кто-то разговаривал в кустах. Вероятно, говорили вы с Жюстеном, не правда ли?

— Да, сударыня, он хотел броситься к вам, но я удержал его.

— Если бы я увидела его неожиданно, я умерла бы от радости.

— Вы слышите, Жюстен? — спросил Сальватор.

— Слышу, слышу! — вскричал молодой человек, выбега-ая из кустов.

Сальватор посторонился, чтобы дать место своему приятелю. Молодые люди бросились друг другу в объятия, сливая в долгом поцелуе два имени: Жюстена и Мины.

Потом две руки протянулись к Сальватору, и два голоса, дрожавшие от радостных слез, прошептали разом:

— Благослови вас Бог!

Сальватор посмотрел на них своим мягким и одновременно мужественным взглядом, затем, пожимая руку Жюстену и целуя Мину в лоб, сказал:

— Теперь вы под покровительством благодати Господа и пусть Тот, который привел меня сюда, завершит это дело общим благополучием. Я уверен, что вы оба будете спасены и счастливы...

— Вы уходите, Сальватор? — спросил Жюстен.

— Жюстен, — ответил Сальватор, — вы знаете, что я встретил Мину случайно; вы знаете, что не ее искал я, когда пришел в этот парк. Позвольте мне заняться моим делом и будьте счастливы: счастье есть гимн Всеблагому Богу!.. Я скоро возвращусь.

И молодой человек, простясь с ними, скрылся на повороте в аллею, ведущую к замку. Не берусь передать пером, что влюбленные говорили друг другу в продолжение этого блаженного часа. Вообразите себе, что вы приложили ухо к дверям неба и прислушиваетесь к разговору ангелов.

### III

## РОЗЫСКИ

На другое утро, в восемь часов, Жюстен, по обыкновению, открыл двери класса, — но с таким счастливым выражением лица, что старшие из его учеников, привыкшие видеть это лицо постоянно печальным или просто серьезным, невольно спрашивали друг друга: «Что случилось с нашим учителем? Уж не получил ли он наследство с доходом в двадцать тысяч франков?» Почти в то же время Сальватор с озабоченным лицом входил на главную или, вернее, на единственную улицу деревни Вири. Он посматривал по сторонам и, увидев на пороге одного из домиков девушку с кружкой молока в руках, подошел к ней с таким явным намерением заговорить, что девушка остановилась.

— Сударыня, — сказал он, — будьте так добры, укажите мне дом здешнего мэра!

— Вы спрашиваете дом господина мэра, не так ли? — спросила девушка.

— Без сомнения.

— Видите ли, есть разница: дом господина мэра или ратуша, — сказала хорошенькая девушка с улыбкой, как будто просила извинения у молодого человека за урок топографии, который она ему давала.

— Это справедливо, — заметил Сальватор, — я должен был объясниться точнее. Я желаю говорить с господином мэром.

— В таком случае, войдите, сударь,— прибавила девушка,— так как вы стоите у его двери.

Войдя в дом первой, она показывала дорогу Сальватору.

При входе в столовую она встретила служанку, которой вручила небольшую кружку молока, служившую, по-видимому, завтраком мэра и его семейства, потом обратилась к Сальватору: — Не угодно ли вам следовать за мною?

Сальватор улыбнулся и последовал за прелестной девушкой. Они поднялись на второй этаж, девушка отворила дверь в небольшой кабинет, где за конторкой сидел человек, она сказала этому человеку:

— Папа, вот господин, который желает говорить с тобой.

И действительно, Сальватор в своем охотничьем костюме похож был на господина.

Мэр кивнул головой и продолжал писать, не взглянув на вошедшего; он боялся, может быть, потерять нить начатой фразы.

Случайно мэром Вири был в эту пору тот же самый человек, к которому обращался Жерар семь или восемь лет тому назад во время страшной катастрофы, жертвой которой он себя представлял.

Это был, как мы выше упомянули, добрый и достойный уважения мэр, полумещанин и полукрестьянин, человек честный и чистосердечный, каким Сальватор мог только желать найти его. Окончив свою фразу, он повернулся, отодвинул назад свою греческую феску, поднял очки на лоб и, посмотрев на молодого человека, стоявшего у дверей, спросил:

— Это вы хотите говорить со мной?

— Да, господин мэр,— ответил Сальватор.

— В таком случае потрудитесь сесть.

И он указал гостю на кресло, несколько напоминавшее мебель римского стиля.

Сальватор придвинул, насколько мог, это кресло к мэру.

После первых приветствий мэр спросил Сальватора:

— Что желаете вы, милостивый государь?

— Сведений, в которых вы имеете полное право отказать мне, господин мэр,— отвечал Сальватор,— но я все-таки надеюсь, что вы меня удовлетворите.

— Говорите, и если это не противоречит моим двойным обязанностям гражданина и мэра...

— Я думаю, что это будет так... Но прежде всего позвольте мне спросить у вас: сколько лет вы уже на этом посту?

— Четырнадцать, милостивый государь! — ответил мэр, приосаниваясь.

— Хорошо! — сказал Сальватор. — Итак, я желал бы знать имя человека, жившего в замке Вири в 1820 году.

— О! Собственником замка был тогда Жерар Тардьё.

— Жерар Тардьё! — повторил Сальватор, вспоминая крик, так часто вырывавшийся из груди Розы во время лихорадки: «О, не убивайте меня, госпожа Жерар».

— Честный, отличный человек, — продолжал мэр, — который, к нашему общему сожалению, оставил наш край вследствие ужасной катастрофы.

— Происшедший здесь?

— Да, именно здесь.

— В таком случае, господин мэр, я желал бы поговорить с вами именно об этом случае. Согласитесь ли вы рассказать мне его?

Те из наших читателей, которым случалось жить или которые и теперь живут в провинции, знают, с какой радостью хватается житель маленького городка за малейший случай, способный оживить хоть на несколько часов его однообразное существование; он не удивится, следовательно, лучу радости, блеснувшему в глазах мэра Вири, когда добряк почувствовал инстинктивно возможность развлечься интересной беседой с загадочным незнакомцем. Радость, блеснувшая на лице этого честного человека, была открытым упреком чересчур медленному течению времени и выражала явно насмешливую мысль: «Ты хоть и ползешь несносным черепащим шагом, я все-таки назло тебе позабавлюсь».

Он рассказал Сальватору историю Жерара, Орсолы, Сарранти и двух детей со всеми мельчайшими подробностями; он ничего не пропустил, что только могло заинтересовать его слушателя и продлить рассказ. Он желал бы развить до бесконечности эпизоды этой кровавой драмы, чтобы удержать подольше такого интересного гостя. К сожалению, воображение мэра деревни Вири не отличалось изобретательностью: он рассказал только голые факты ужасной истории, уже известной нашим читателям.

Сверх того, он рассказал ее со своей точки зрения, так что героем этой драмы являлся Жерар, который в повествовании достойного мэра преобразился из убий-



цы в жертву. Мэр долго и печально описывал отчаяние этого самого Жерара. Потеря двоих детей, по словам мэра, была так ужасна для бывшего владельца замка, что он не мог вспоминать о ней без рыданий.

Сальватор слушал рассказчика с таким вниманием, что сразу заслужил его полную благосклонность.

— Но,— спросил Сальватор, когда мэр замолчал,— вы говорили только о Жераре, Орсоле, Сарранти и о двух детях...

— Да,— сказал мэр.

— Но разве там не было госпожи Жерар?

— Я никогда не слышал, чтобы Жерар был женат.

— Вы не знали никого под именем госпожи Жерар? Припомните, пожалуйста.

— Нет... разве только... погодите!

И мэр улыбнулся насмешливо.

— Вот что,— продолжал он,— была действительно госпожа Жерар: та самая бедная Орсола, которую прислуга, желая снискать ее благосклонность, величала госпожой Жерар. Сударь,— прибавил мэр,— вы знаете, это общая слабость наложницы — желать, чтобы подчиненные их или те, которые от них зависят, давали им имена, на которые они не имеют никакого права... Это знали и бедные, маленькие дети, и когда они желали получить что-нибудь от их гувернантки, то всегда величали ее госпожой Жерар.

— Благодарю вас,— сказал Сальватор.

И, помолчав немного, добавил:

— Вы говорите, господин мэр, что, несмотря на розыски, никто не мог отыскать ни маленького Виктора, ни Леони?

— Никто, хотя искали долго и тщательно.

— Вы помните этих несчастных детей? — спросил Сальватор.

— Как же не помнить? Отлично помню.

— Я говорю об их наружности.

— Я как будто их вижу перед собою! Мальчику было тогда от восьми до девяти лет; он был очень красивый, высокий белокурый мальчик.

— С длинными волосами? — спросил Сальватор, невольно вздрогнув.

— Длинные волосы, в локонах, которые падали ему на плечи.

— А девочка?

— Девочке было лет шесть — семь.

— Белокурая, как ее брат?

— О, нет, это была решительная противоположность брату: тонкая, темноволосая, с большими великолепными, черными глазами, которые вследствие сильной худобы, казалось, занимали все лицо... Господин Сарранти был, вероятно, отчаянный злодей, если решился украсть у своего благодетеля триста тысяч франков и убить этих детей.

— Но,— спросил Сальватор,— вы сказали мне, кажется, что соучастником Сарранти в этом убийстве была огромная собака, которую постоянно держали на привязи и все боялись, как тигра.

— Да,— сказал мэр,— собака, которую брат господина Жерара привез из Нового Света.

— Куда же девалась собака?

— Кажется, я говорил вам, что господин Жерар в минуту отчаяния схватил карабин и застрелил ее.

— Так что собака была убита?

— Не знаю, сдохла она или нет; говорят, что она не была застрелена наповал.

— Вы не помните имени этой собаки?

— Постойте, я припомню... У нее было странное имя... как бы сказать вам? Ее звали Брезиль.

— А! — сказал сам себе Сальватор.— Брезиль — вы в этом уверены?

— Да, да, совершенно уверен.

— Это ужасная собака никогда не кусала детей?

— Напротив, она их очень любила, в особенности маленькую Леони.

— Теперь, господин мэр, мне остается еще попросить вас об одном одолжении.

— Какое? — вскричал мэр, желавший с радостью угодить человеку, который спрашивал так учтиво и слушал так внимательно.

— Я не могу проникнуть в замок, где живут теперь посторонние люди,— продолжал Сальватор,— тем не менее...

Он остановился.

— Продолжайте, что желаете вы знать? — сказал мэр.— Если я в состоянии удовлетворить ваше желание, то сделаю это непременно.

— Я желал бы иметь план нижнего этажа, кухни, погреба, оранжереи.

— О! — сказал мэр.— Это очень легко! Во время следствия, которое было прервано за отсутствием Сарранти, план был сделан в двух экземплярах.

— Где же теперь эти оба плана? — спросил Сальватор.

— Один прикреплен к делу, которое находится у королевского прокурора, а другой до сих пор лежит в моем столе.

— Позвольте ли вы мне снять копию с вашего экземпляра? — спросил Сальватор.

— Разумеется!

Мэр несколько раз пересмотрел свои папки, прежде чем нашел искомый предмет.

— Вот то, что вы ищете, — сказал он, подавая план Сальватору. — Если вам нужна линейка, карандаш, циркуль — все это вы можете найти у меня.

— Благодарю, мне не нужно снимать точных размеров. Достаточно, если я буду знать общий характер местности.

Сальватор снял план привычной рукой искусного топографа. Когда чертеж был закончен, он сложил его и, кладя в карман, сказал:

— Господин мэр, теперь мне остается только поблагодарить вас и попросить у вас извинения за причиненное вам беспокойство.

Мэр уверял Сальватора, что он его несколько не обеспокоил, и старался удержать его на завтрак с его женой и двумя дочерьми, но, как ни заманчиво было предложение, Сальватор должен был от него отказаться. Мэр, желая как можно долее остаться со своим прекрасным гостем, проводил его до самых дверей и, прощаясь с ним, предложил ему свои услуги, если понадобятся какие-либо новые сведения.

В тот же день Сальватор ввел Жюстена в ложу «Друзей Истины», куда он был принят масоном. Излишне было бы говорить, что Жюстен, не моргнув, выдержал всю церемонию искусства: он прошел через огонь, пробрался по мосту, острому как бритва, которые ведет из чистилища в рай... Не была ли Мина целью и наградой за все эти испытания?

#### IV

### В ОЖИДАНИИ МУЖА

В той самой ароматной оранжерее, где Петрюс писал с такой любовью портрет, уничтоженный им впоследствии с таким гневом, одетая в белый подвенечный наряд, блед-

ная и печальная, как статуя отчаяния, лежала на кушетке Регина де Ламот-Гудан, или теперь графиня Рапп. Взор ее, полный изумления, блуждал по письмам, разбросанным вокруг нее.

Если бы кто-нибудь вошел к ней в эту минуту или только бросил взор сквозь полуотворенную дверь на испуганное лицо молодой женщины, тот понял бы, что причина этого немого ужаса хранилась в одном или нескольких письмах, только что ею прочитанных и затем брошенных на пол со страхом и отвращением.

Она оставалась несколько минут безмолвной и неподвижной, между тем как две крупные слезы тихо бежали по ее щекам и падали на грудь.

Движением, почти бессознательным, подняла она одну руку, взяла свернутое письмо, развернула его и поднесла к глазам, но на третьей или четвертой строке, как будто не имея сил читать далее, выпустила его из рук на ковер, где лежало много других писем. Опустив голову на руки, Регина задумалась на минуту.

Одиннадцать часов пробило в соседней комнате.

Она отняла руки от лица и тихо просчитала губами каждый отдельный удар.

Когда одиннадцатый прозвучал и замолк, она встала, собрала разбросанные письма в пакет, спрятала их в шифоньерку, подошла к сонетке и дернула за шнурок быстро и нетерпеливо.

В дверях появилась старая служанка.

— Нанон,— сказала Регина,— пора, иди к маленькой садовой калитке, выходящей на бульвар Инвалидов, и приведи сюда молодого человека, который ждет возле ограды.

Нанон прошла коридор, спустилась в сад и, полуотворив калитку и высунув голову на улицу, стала искать глазами молодого человека, которого должна была привести к своей госпоже, но никого не увидела. Петрюс находился от нее всего в трех шагах, но тень великолепного вяза, к стволу которого он прислонился и откуда смотрел на окна Регины, скрывала его совершенно от глаз прислужницы.

Странно! Павильон, где жила девушка, не был освещен, противоположный — тоже был погружен в совершенную темноту. Казалось, весь замок был облачен в траурное покрывало.

Единственное окно, в котором горел слабый свет,— свет, похожий на мерцающую лампаду в усыпальнице,— было окно мастерской Регины. Что же случилось? Отчего

этот огромный дворец не имел торжественного, праздничного вида? Отчего не слышно было бальной музыки? Отчего эта мертвая тишина? Видя отворенную дверь калитки, из которой выходила старая служанка, Петрюс, который, как и Регина, только что сосчитал одиннадцать ударов, отошел от дерева и спросил:

— Не меня ли вы ищете, Нанон?

— Вас, господин Петрюс. Я пришла от...

— От принцессы Регины, я знаю это,— сказал молодой человек с некоторым нетерпением.

— От графини Рапп,— поправила его Нанон.

Дрожь пробежала по телу Петрюса, холодный пот покрыл его лоб. Он должен был опереться о дерево. В словах «от графини Рапп» ему послышался отказ, но, к счастью, Нанон прибавила:

— Следуйте за мною.

И заслоняя собой дверь, которую она заперла за молодым человеком, Нанон ввела Петрюса в сад.

Через несколько секунд она отворила дверь в мастерскую; в полутьме молодой человек увидел свою возлюбленную Регину, или, скорее, тень той, которую он знал.

— Вот господин Петрюс,— сказала старуха, вводя молодого человека, который остановился в дверях.

— Хорошо,— сказала Регина,— оставь нас и подожди в прихожей.

Нанон повиновалась. Петрюс и Регина остались одни.

Регина сделала жест рукой, приглашая Петрюса приблизиться, но молодой человек оставался неподвижным.

— Вы почтили меня письмом, мадам,— сказал он, делая ударение на последнем слове.

— Да, милостивый государь,— сказала Регина кротким голосом. Она понимала всю силу его страданий.— Да, мне нужно переговорить с вами.

— Со мной?! Вам нужно со мной переговорить именно в тот самый день, когда я чуть не сошел с ума, в тот день, когда вы обвенчались с человеком, которого я так глубоко ненавижу?!

Регина печально улыбнулась. Эта улыбка ясно говорила: «А вы думаете, я его меньше ненавижу?»

— Возьмите табурет Пчелки и садитесь возле меня,— кротко сказала она.

Повинуясь этому кроткому и одновременно сильному голосу, Петрюс сел.

— Поближе.— сказала девушка,— еще ближе... вот так! Теперь взгляните на меня... да, так!

— Боже мой! — прошептал Петрюс. — Боже мой! Как вы бледны!

Регина кивнула головой.

— Вы находите, что мое лицо не похоже на свежее и радостное лицо невесты, не правда ли, мой друг?

Петрюс вздохнул, как будто эти два слова: «мой друг» — вонзились в его сердце острым кинжалом.

— Вы страдаете? — спросил он.

Улыбка Регины приняла еще более печальный оттенок.

— Да, я страдаю, — ответила она, — и страдаю невыносимо!

— Что с вами? Скажите мне, что с вами...

Регина взглянула на Петрюса.

— Вы меня любите? — вдруг спросила она.

Петрюс вздрогнул и прошептал едва слышно:

— Регина...

— Я спрашиваю вас, любите ли вы меня, Петрюс? — повторила она каким-то особенно торжественным тоном.

— Три месяца тому назад, когда я вошел впервые в эту мастерскую, в тот незабываемый для меня день, я уже любил вас, — ответил Петрюс. — Я люблю вас и теперь, как любил тогда, только с той разницей, что люблю сильнее!

— Итак, я не ошибалась, — сказала Регина, — когда говорила себе, что вы любите меня нежно и глубоко. Женщины в этом отношении редко ошибаются, мой друг, и я это знаю! Но мне хотелось бы не такой любви. Я хотела бы быть для вас священной, обожаемой и одновременно глубоко любимой!.. Прошло два часа с тех пор, как я совершенно осиротела. Кроме вас, мой друг, у меня никого нет на всем белом свете, и если вы не сможете любить меня в одно и то же время как свою возлюбленную и как брат любит сестру, как отец любит дочь, то мне уже негде больше искать любви и утешения...

— Минута, когда я перестану любить вас, Регина, — отвечал молодой человек с той же печальной торжественностью, — будет моей последней минутой, потому что моя любовь и моя жизнь живут одним и тем же дыханием! Вы спасли меня от отчаяния, в которое меня ввергла эта эпоха сомнений и всеобщего отрицания! Стоя на краю пропасти всеобщего отрицания, роковая глубина которого привлекает наше юношество, я считал искусство навсегда погибшим для моего отечества и бросился в бессмысленный смут, в котором убивают свою жизнь люди моих лет; я отказался от работы, готов был бросить в окно па-

литру и кисти, отказаться от силы, данной мне Богом: я чувствовал, как исчезала во мне энергия, как уходила она на опасную деятельность или таяла в апатическом бездельи! Но я встретил вас, и с этой минуты я возвратился к жизни, я уверовал в мое искусство. С этой минуты я поверил в счастье, будущность, славу, любовь, так как ваша разумная доброта открыла мне самого себя. Не только всю мою любовь, Регина, но и всю мою жизнь готов я посвятить вам.

— Сохрани меня Бог сомневаться в вас, мой друг! — отвечала Регина, лицо которой покрылось краской горделивой радости. — Я так же уверена в вашей любви, как вы должны быть уверены в моей.

— В вашей?.. Я? — вскричал Петрюс.

— Да, Петрюс, — подтвердила спокойно Регина, — и мне кажется, что я ничего не скажу вам нового, говоря вам о моей любви. Если я и спросила вас, то, поверьте, не для того, чтобы вызвать ваши уверения: я и так уверена в вашей любви, но я хотела услышать от вас эти слова любви, в которых — именно сегодня — я чувствую жгучую потребность, я уверяю вас!

Петрюс упал на колени перед Региной и склонил голову не как перед женщиной, которую любят, но, скорее, как перед святыней, которую боготворят.

— Выслушайте меня, Регина, — сказал он, — вы не только женщина, которую я люблю, но и существо, которое я уважаю и более всего на свете боготворю!

— Благодарю вас, друг! — сказала Регина, беря Петрюса за руку.

— А между тем, — продолжал Петрюс, — я вполне сознаю, что я совершаю безумие, позволяя себе испытывать такую любовь к вам.

— Почему, Петрюс?

Петрюс промолчал или, скорее, ответил вздохом.

— Увы! — продолжала Регина, поняв его мысль. — Этот брак — как желала я скрыть его от самой себя! Я все надеялась, что какой-нибудь непредвиденный случай, неожиданное происшествие, на которое обыкновенно рассчитывают несчастные, помешает исполнению этого рокового брака. Тогда, бледная и дрожащая, я, как путешественник, избавившийся от страшной опасности, сказала бы вам: «Друг! Посмотри, как я бледна и дрожу! Это потому, что я могла навеки потерять тебя. Но я перед тобой, успокойся, никакая опасность не угрожает нам, и я твоя, твоя — навеки!» Но не так устроилось дело:

дни проходили за днями без непредвиденных происшествий, без благостных волнений, час за часом, минута за минутой; роковое мгновение наступило, как оно наступает для приговоренного к смерти.

— Регина! Регина! Что же могу я тут сделать? Зачем призвали вы меня? Чем могу я помочь вам?

— Вы все сейчас узнаете.

Петрюс искал глазами часы, наконец, в соседней комнате пробило половину двенадцатого.

— О! Говорите скорей,— сказал он,— вероятно, мне недолго придется оставаться с вами.

— Почему вы знаете, Петрюс, и зачем отвечаете вы горечью на мою скорбь?

— Однако вы замужем, вы нынче обвенчались! Ваш муж здесь, в этом самом замке, а теперь половина двенадцатого...

— Послушайте, Петрюс,— возразила она,— вы великодушный, благородный сын не менее благородного отечества. Можно подумать, что вы родились и жили в лучшие века в истории Вселенной. Вы мне напоминаете мужеством и откровенностью доблестных старых рыцарей — крестоносцев, отправлявшихся в Палестину; ваша чистота не допускает лукавства, ваша правдивость не подозревает лжи, вы верите только в добро. Мир, в котором я действительно живу, немножко иначе построен, чем очаровательные чертоги вашего воображения. Вы отвернетесь с негодованием от того, что людям практического мира кажется совершенно натуральным. Вот почему я ждала нынешнего дня, чтобы поделиться с вами моим горем, вот почему я ждала нынешнего вечера, чтобы иметь в вашем лице свидетеля ужасной вещи — улики в преступлении.

— В преступлении? — прошептал Петрюс.— Что хотите вы этим сказать, Регина?

— Да, в преступлении.

— О! Следовательно то, что я подозревал, справедливо?

— Что подозревали вы? Скажите мне, мой друг!

— Во-первых, я подозреваю, что вас отдали замуж насильно, против воли, что от вашего замужества зависело благосостояние или честь какого-нибудь члена вашего семейства. Я думаю, наконец, что вы жертва какой-то отвратительной спекуляции, допускаемой законом, потому что она скрыта в таинственном мраке семейных отношений... Я близок к истине, не правда ли?



— Да,— сказала Регина глухим голосом,— да, Петрюс, вы правы!

— Итак, я перед вами, Регина,— сказал Петрюс, сжимая руки молодой женщины.— Вы, верно, имеете во мне надобность? Вам нужно сердце и рука брата, вы избрали меня и потребуете от меня защиты и преданности? Вы хорошо сделали, и я благодарю вас! Теперь, моя возлюбленная сестра, скажите мне все, чего вы от меня требуете... Говорите, я слушаю вас, стоя перед вами на коленях!..

В эту минуту дверь в мастерскую быстро отворилась, и старая служанка, принявшая девятнадцать лет назад Регину на свои руки, показалась в дверях.

Петрюс хотел встать и сесть на свой табурет, но Регина удержала его, положив руку на его плечо.

— Нет, останьтесь! — сказала она. Потом, повернув голову к Нанон, спросила ее:

— Что тебе нужно, милая няня?

— Извините меня, что я вошла так неожиданно,— сказала старуха,— но господин Рапп...

— Он здесь? — спросила Регина высокомерным тоном.

— Нет, но он прислал своего камердинера спросить, готова ли графиня принять его?

— Он сказал: графиня?

— Я повторяю слова камердинера.

— Хорошо, Нанон, через пять минут я приму его.

— Но...— заметила было Нанон, показывая жестом на Петрюса.

— Господин Петрюс останется здесь, Нанон,— ответила Регина.

— Боже мой! — прошептал Петрюс.

— Как господин Петрюс?...— воскликнула Нанон.

— Отнеси мой ответ графу и не беспокойся, моя милая Нанон: я знаю, что делаю.

Нанон удалилась.

— Извините меня, Регина,— сказал Петрюс, вставая, как только старая служанка затворила дверь,— но ваш муж?..

— Не должен вас видеть и не увидит вас здесь!

И она заперла дверь на ключ, чтобы граф Рапп не вошел неожиданно.

— А вы,— продолжала она,— вы должны видеть и слышать все, что произойдет здесь, чтобы когда-нибудь вы могли засвидетельствовать, какой была брачная ночь графа и графини Рапп.

— О, Регина,— сказал Петрюс,— я чувствую, что теряю рассудок, потому что не могу себе даже представить, что вы хотите сделать.

— Друг мой,— возразила Регина,— доверьтесь мне: взывая к вашему благородству, я не оскорблю вашего сердца. Войдите в этот будуар, там стоят самые любимые мои цветы.

Молодой человек, казалось, не решался.

— Войдите,— настаивала Регина,— я не могу говорить яснее, но верьте мне, что таинственность, которой облечена будет моя жизнь, несносная принужденность наших взаимных отношений, если вы не примете на свои плечи часть моей роковой тайны и не поможете мне нести ее,— все это обязывает меня сделать то, что я делаю. О, это страшная история — вы убедитесь сами, Петрюс! Но не судите легкомысленно, мой друг, не осуждайте, не выслушав, не взвесив строго все обстоятельства.

— Нет, Регина, нет, я ничего не хочу слышать! Я верю вам, я вас люблю, я вас уважаю... Нет, я не войду туда!

— Однако это необходимо, мой друг, да теперь, впрочем, и слишком поздно уходить отсюда: вы его встретите. Я не оправдаюсь в ваших глазах, а он будет меня подозревать.

— Ну, так да будет воля твоя, моя прекрасная Мадонна!..

— Благодарю, мой друг,— сказал Регина, протягивая ему руку.— А теперь ступайте в мою маленькую оранжерею, Петрюс. Она была свидетельницей моих сокровеннейших дум, а потом она вас узнает. Это моя ароматная исповедаля!

Она приподняла портьеру.

— Сядьте там, посреди моих камелий, у двери, чтобы лучше все слышать. Это мое любимое место, когда я мечтаю. Камелии — блестящие и в то же время скромные цветы Японии, которые по-настоящему распускаются только в полутьме, я желала бы родиться, жить и умереть подобно им! Я слышу, однако, шаги, идите, мой друг. Слушайте и простите тому, кто много страдал.

Петрюс не сопротивлялся более, он вошел в маленькую оранжерею, и Регина опустила портьеру.

В эту минуту шаги остановились у двери, и после нескольких минут нерешительности раздался слабый стук. Потом голос графа Раппа спросил:

— Можно войти, Регина?

Регина побледнела, как смерть, холодный пот крупными каплями покрыл ее бледный лоб. Она вытерла лицо батистовым платком, вздохнула и твердым шагом пошла к двери. Отворив ее, она сказала громко:

— Войдите, отец мой!

## V

### БРАЧНАЯ НОЧЬ ГРАФА И ГРАФИНИ РАПП

Петрюс вздрогнул.

Что касается графа, он побледнел и отступил на несколько шагов, услышав это странное обращение.

— Что вы сказали, Регина? — вскричал он голосом, в котором слышалось удивление, доходившее до ужаса.

— Я сказала вам: войдите, отец мой, — повторила девушка уверенным тоном.

— О, — прошептал Петрюс, — значит, то, что рассказывал мне дядя, — правда!

Граф Рапп вошел с опущенной головой. Он не смел встретиться со взором девушки.

— Я все знаю, милостивый государь, — продолжала холодно Регина. — Как я все это открыла, считаю излишним говорить вам. Господь, вероятно, желал предостеречь нас от ужасного преступления, отдав в руки мои неопровержимые доказательства вашей связи с моей...

Регина остановилась, не смея выговорить: «С моей матерью».

— Я пришел, — пробормотал негодая, с которого Регина не спускала надменного, презрительного взора, — я пришел просить у вас свидания и только. И вдруг встречаю такой прием, хотя он решительно ни на чем не основан...

Регина вынула из-за пояса письмо, взятое случайно из корреспонденции, которая недавно разбросана была по ковру.

— Узнаете вы это письмо? — спросила она. — Это то письмо, где вы просите жену вашего друга, вашего благодетеля, почти вашего отца, заботиться о вашей дочери!.. Вместо того, чтобы произносить эти безбожные слова, вы лучше сделали бы, если бы просили Бога принять к себе эту несчастную девочку!

— Я уже сказал вам, сударыня,— возразил граф, окончательно уничтоженный,— что хотел объясниться с вами, но вы теперь слишком взволнованны, и я удаляюсь.

— О, нет, милостивый государь,— сказала Регина,— к подобным объяснениям, если уж вы хотите дать им это название, два раза не возвращаются. Оставайтесь и садитесь.

Граф Рапп, видимо, пораженный твердостью Регины, опустил на диван.

— Но что же угодно вам? — спросил он.

— О, я сейчас скажу вам. Вы женились на мне, к счастью, не по любви, что было бы верхом ужаса, но из жадности,— по самому гнусному расчету. Вы женились на мне, чтобы мое огромное состояние не перешло в чужие руки. Конечно, вы не пошли бы далее, так, по крайней мере, я надеюсь. Оскверненное преступлением, за которое карают люди, но которое может остаться скрытым от людей, вы, разумеется, не осмелились бы осквернить себя непростительным преступлением перед Богом, суд которого ни обмануть, ни подкупить нельзя. Одним словом, вы женились на наследнице графини Ламот Гудан, но не на вашей дочери.

— Регина, Регина!..— бормотал глухо граф, опустив голову и уставив взор на ковер.

— Вы честолюбивы и расточительны,— продолжала девушка.— У вас великие затеи и желания,— они-то и толкают вас на путь противоестественных злодеяний. Другой отступил бы перед таким отчаянным злодейством, вы — никогда! Вы женились на вашей дочери из-за двух миллионов, вы готовы продать вашу жену, чтобы быть министром!

— Регина!..— продолжал граф тем же тоном.

— Просить о разводе нам невозможно: развода пока у нас не существует. Просить о разлучении — это вызовет слишком много шума: нужно будет назвать его причину. Моя мать умрет от стыда, мой отец — от горя. Значит, мы должны оставаться связанными друг с другом, но только перед обществом, потому что перед Богом я свободна и хочу быть свободной.

— Что вы под этим подразумеваете, сударыня? — спросил граф, стараясь поднять голову.

— Действительно, мы должны хорошо понять друг друга, а потому я постараюсь объяснить как можно точнее. За мое молчание и за то странное, бесплодное

существование, на которое вы обрекли меня, я требую полной, неограниченной свободы — свободы вдовы! Ведь вы, конечно, понимаете, что с этой минуты вы как муж для меня не существуете. Но думаю, что вы никогда не осмелитесь притязать и на положение отца. Ведь я могу любить, уважать, почитать только моего настоящего, единственного отца — графа Ламот Гудана. Итак, вы дадите мне свободу, и я предупреждаю вас, если вы будете стеснять меня, то я сама возьму ее. Взамен я предоставляю вам половину моего будущего богатства. Вы можете велеть составить акт у моего нотариуса, который я подпишу, когда вы пожелаете. Угодно вам возразить что-нибудь на мое предложение?

Молчание графа Раппа принимало оттенок раздумья. Он медленно поднял взор на Регину, но, встретив гордый и уверенный взгляд девушки, снова почувствовал себя уничтоженным и снова опустил голову. Первое движение нижней части лица свидетельствовало о внутренней борьбе, которую он выдерживал.

Наконец, через несколько минут, он заговорил тихим голосом, но отчеканивая каждое слово:

— Прежде, чем я приму или отвергну предложения, которые вы делаете мне, Регина, позвольте мне поговорить с вами и дать вам добрый совет.

— Добрый совет? Вы дадите мне добрый совет? Добрый плод не растет на негодном дереве!

И девушка с презрением покачала головою.

— Во всяком случае позвольте мне вам его дать. Вы можете принять или отвергнуть его.

— Говорите, — я вас слушаю.

— Я не буду стараться извинить то из моего прошлого, что может казаться предосудительным в ваших глазах.

— В моих глазах? — спросила Регина с презрением.

— Ну, в глазах света, если хотите... Я сознаю свое преступление во всей его глубине. К счастью, совершая его, я скорее уступил расчету, чем увлечению. Но позвольте мне вам заметить, что всякое преступление состоит в действии, которое оскорбляет общество или Бога. Женившись на вас, я не оскорбил ни общества, ни Бога. Общество принимает за оскорбление только то, что оно знает, а оно никогда не узнает, что я ваш отец, напротив, если когда-либо подозрение касалось супруги маршала, подозрение это исчезнет, когда узнают, что вы стали моей женой. Я не прогневал Бога, потому что, поставив перед собой великую цель, я желал соединиться

с вами браком перед лицом людей, как вы изволили выразиться, но я всегда щадил бы вас перед Богом... Я не желаю оправдываться, как я уже сказал вам. Нет! Я хочу только дать вам совет, что я считаю моей священной обязанностью.

— Говорите, потому что, судя по нескладному строю вашей речи, по запутанности ваших фраз, я вижу, что вам нужно оправдаться и прийти в себя.

— Я готов, сударыня,— сказал Рапп, голос которого действительно становился все более и более твердым.— Вы требуете от меня неограниченной свободы: разумеется, я вам ее предоставлю, я предоставил бы ее вам в любом случае, тем более в положении, в котором мы находимся, когда я не имею права требовать от вас ни любви, ни снисхождения. Однако вспомните, сударыня, что существуют общественные обязанности, исполнение которых обязательно для замужней женщины.

— Продолжайте, милостивый государь. Я еще не вполне уразумела вашу мысль.

— Итак, я говорю, что признаю огромность моего преступления и не требую от вас любви. Но я довольно долго живу на свете и знаю, что женщина, несмотря на справедливость своего отвращения, обязана в глазах общества подчиняться некоторым условностям, от которых зависит общественное положение ее мужа. А потому позвольте мне заметить вам, что с некоторого времени о вас ходят слухи, которые, если бы они оправдались, повергли бы меня в глубокую скорбь. Ничтожный газетный листок нынче утром, объявляя о нашем браке, позволил себе сделать кое-какие довольно прозрачные намеки на любовную историю, в которой вы разыгрываете роль героини. Он пошел еще дальше, обозначив начальными буквами имя молодого человека, героя интриги. Мне кажется, Регина, что я могу вам дать по этому поводу отеческий совет... Извините, если я принимаю ближе к сердцу, чем вы сами, то, что должно оскорбить вас, и, так сказать, силой вторгаюсь в ваши тайны...

— У меня нет тайн, милостивый государь! — возразила горячо Регина.

— О, я знаю, Регина, если у вас и было мимолетное чувство к этому молодому человеку, то чувство это не было серьезно,— так, маленький каприз, или, может быть, вы просто хотели позабавиться...

— А теперь вы меня оскорбляете! — воскликнула девушка.— И не говорите мне подобных вещей.

— Послушайте, Регина, — продолжал граф, становясь или притворяясь, что становится хладнокровным, — я говорю с вами не как муж, не как отец, а как наставник. Не забудьте, что я имел честь быть вашим наставником. Во имя этих отношений я признаю себя обязанным предостерегать вас, давать вам советы в случае необходимости. Едва развившись, Регина, ум ваш был почти равен моему...

Взор, полный презрения, брошенный Региной, смутил графа.

— Пожалуй, даже сильнее моего ума, — продолжал граф, — он не соответствовал ни вашему полу, ни возрасту. Мне поручено было вашими теткой и отцом ваше умственное развитие; я должен был направить в ваше сердце луч истины, к которой с рождения тянулся ваш глубокий ум. Терпением и постоянным надзором мне удалось прорастить семена, брошенные в ваш ум природой, и благодаря этим постоянным заботам вы обладаете теперь твердостью и несокрушимой энергией мужчины. И что же, когда настала минута воспользоваться плодами этих неустанных трудов, когда я увидел в вас совершеннейшее создание, женщину сильную, умную, энергичную — в эту минуту вы меня оставляете! Мое желание соединиться с вами навсегда вас возмущает! Я скажу вам, в чем состояла моя цель! Наш союз, Регина, не должен быть обыкновенным браком, это могла бы быть несокрушимая ассоциация вместо мещанского супружеского счастья, она должна была породить три великих блага, столь ценимых в этом мире, осуществить три сокровенных мечты каждого сильного сердца: богатство, власть, свободу... Как! Если мы — я говорю мы, потому что вы можете по справедливости требовать участия в моих действиях — если мы, не имея официального положения в государстве, не оказывая никакого явного влияния на его дела, могли почти управлять по своему усмотрению этой прекрасной, благодушной, кроткой страной, которую называют Францией, то неужели мы на этом можем остановиться? Не сегодня — завтра я министр. Вы знаете, вероятно, что нынешнее министерство, которое держится уже пять лет, надломлено со всех сторон и должно уступить место другому министерству, которое просуществует тоже лет пять, а может быть, и больше. Пять лет, понимаете ли вы, Регина? Ведь это то же, что президентство Вашингтона! Чтобы этого достичь, мне нужно только очевидное для всех богатство

и прочное положение. Я приобщу к делам вашего отца, и тогда мы можем управлять тридцатью миллионами людей, потому что при конституционном правлении глава совета и есть настоящий король. И вот для исполнения этого пламенного желания моей жизни, для помощи мне в этом великолепном предприятии — к кому я обращаюсь? Кто та женщина, которую я избрал не как покорную подругу, не как рабу моих прихотей и воли, а как человека, который разделит со мной мою власть? Вас, Регина. И что же, в минуту достижения этой великолепной цели, вместо того, чтобы царить над условностями мира, над слабостями человечества, вы не хотите понять одной великой истины: до такой высоты нельзя подняться, не поправ ногами кое-каких предрассудков!.. Но это еще не все,— вы бросаете на мою дорогу камень, который иногда сбрасывает в пропасть самого отважного честолюбца: вы делаете меня смешным в глазах общества, Регина! Регина! Я объявляю вам, что был о вас лучшего мнения...

Девушка дослушала графа, если не с меньшим отвращением, то, во всяком случае, с большим вниманием. Она была удивлена изворотливостью графа, который сумел найти извинение, хотя и далеко не удовлетворительное, своему поступку. Регине любопытно было проследить с точки зрения философии, до какой изощренности может дойти человек, извращенный ложным воспитанием или дурными наклонностями, пытаюсь оправдать свой переход с доброго пути на ложный, предосудительный и даже преступный.

Она отвечала с большим спокойствием, чем этого можно было ожидать:

— Да, вы совершенно правы, я ваша ученица и признаю, что с самого раннего моего детства получила от вас самые пагубные советы. Вы подавляли во мне стремления к прекрасному, заглушали наклонности моего сердца к добру, уничтожали симпатии к великому, желая создать из меня,— теперь я понимаю вашу цель — вашу сообщницу, вашу поверенную, так сказать, ступень для вашего честолюбия. Ваш скептицизм, в противоположность Евангельскому сеятелю, вырывающему сорную траву, чтобы очистить дорогу доброму семени,— ваш скептицизм, говорю я, был направлен только на то, чтобы вырвать из моего сердца лучшие чувства в пользу менее хороших, а менее хорошие — в пользу дурных. Вы научили меня лукавству, притворству, хитрости, и вы



проходили со мной эту пагубную школу со всевозможным старанием,— я отдаю вам справедливость. Вы учили меня замечать малейшие изменения мимики человека, не глядя на него прямо, сохранять наружное спокойствие при сильнейшем внутреннем волнении, показывать радость, когда душа изнывает от горя. Вы посвятили меня во все подробности лжи, в которые были посвящены сами госпожой де ла Турнелль, этой достойной и непосредственной ученицей иезуитов — этих великих учителей искусству обманывать. Я знаю, что ваше неисчерпаемое старание ни разу не изменило вам в продолжении восьми или десяти лет, с тех пор, как вы приняли на себя обязанность воспитывать меня. И когда вы сочли меня достаточно развитой и вполне достойной вас, то есть лишенной благородства, искренности, великодушия,— вы стали развивать во мне честолюбивые желания и склонности к интриге. Вы со мной, конечно, согласны?

— Будем называть вещи своими именами, сударыня,— сказал Рапп, стараясь улыбнуться,— склонности к дипломатии.

— Пожалуй, хоть и к дипломатии, граф. Я одинаково ненавижу их обеих, этих сестер-близнецов честолюбия. Да, вы научили меня тому, чего я не должна была знать,— и оставили в неведении в вещах, которые обязана была знать. Одним словом, вы посвятили меня в ужасную науку борьбы зла с добром. Я краснею, граф, за себя; я признаюсь, к своему стыду и к вашей славе, что испытывала род любопытства, своего рода наслаждение, следуя за вами вокруг человеческого сердца,— ужасное путешествие, исполненное постоянных разочарований и утрат. Но, граф, я скажу вам, что возвратилась из этого путешествия с ужасом в сердце. По мере того, как вы обнажали передо мною, точно отвратительные раны, все пороки, внедрившиеся в сердца людей,— ваш скальпель не щадил никого,— я приобретала, едва вышедшая из детства, может быть, ценою счастья всей моей жизни — преждевременную старость, раннюю дряхлость сердца, называемую обыкновенно опытом и которая есть не что иное, как погребение всего, что есть в нас дорогого, благородного и чистого. И когда я умерла для счастья, когда вы приговорили меня к гражданской смерти, отняли у меня отца, мать, семейство, вы имеете достаточно смелости не желать, чтобы я могла встать, опираясь на руку благородного друга? Знайте же, граф, и пусть это расшевелит и заставит говорить вашу

совесть, знайте, что, несмотря на ваши уроки, несмотря на зараженное смертельным ядом воспитание, Господь вложил в сердце мое зачатки добродетели, которые покоятся на незыблемом, стойком начале. Я сумела вести безупречную для света жизнь, граф! И оставьте меня наслаждаться жизнью.

Граф посмотрел пристально на Регину, и, покачивая головой, сказал:

— Говоря откровенно, Регина, вы достигли той точки, где человек становится неспособным заразиться страстной любовью, а потому я вполне уверен, что вы не можете любить искренне, глубоко и чистосердечно...

Регина сделала нетерпеливое движение.

— Я не собираюсь упрекать вас, Регина, напротив, я восхваляю вас. Любовь есть страсть людей, неспособных чувствовать что-нибудь более возвышенное, поймите, что это только небольшая подробность жизни, но ни в коем случае не цель ее. Это веселое или ужасное приключение, встречающееся людям в их великом путешествии, которое они совершают в жизни; надобно переносить любовь, но не стремиться ей навстречу, стараться победить ее, а не покоряться ей. У вас великий ум, Регина, и сильная логика. Призовите их на помощь, спросите их, и вы увидите, что подобные отношения, в которые я советую вам не вступать или, по крайней мере, вступать как можно реже и с самой строгой осторожностью,— кончаются всегда очень дурно. И это естественно: прелюбодейание носит в себе самое свое осуждение, потому что человек, который любит замужнюю женщину, если он честный человек, не может уважать ту, которая обманывала своего мужа и может обесчестить своих детей. Прибавьте к этому, Регина, что этот человек непременно будет стоять ниже вас по происхождению, состоянию, уму,— я знаю мало мужчин, которые могли бы с вами сравниться. А раз вы сильнее его, вы будете ему покровительствовать. И то, что нынче вы называете любовью, завтра покажется вам слабостью, и с той минуты вы станете его презирать. Что же касается его, рано или поздно он осознает ваше превосходство, устыдится роли раба-любовника, которую вы заставите его разыгрывать,— и возненавидит вас.

— Если человек, которого я люблю, слышите, граф,— вскрикнула Регина,— я говорю «люблю», а не «полюблю»,— если человек, которого я люблю, возненавидит меня,— тому виной буду только я сама. Это будет зна-

читать, что, несмотря на все мои усилия, ваши ненавистные наставления, ваши ядовитые советы принесли свои плоды. Тогда его ненависть, соединенная с моей, упадет на вашу голову — причину, начало, корень всего зла. Но нет! Этого никогда не случится, я буду продолжать начатое: я вырву из сердца моего все, что вы посеяли в нем ужасного, и если моя душа, это зеркало Бога, потускнеет на одну минуту, я постараюсь возвратиться к моему детству и создать себе новую душу.

— Ну,— сказал граф, улыбаясь,— немножко поздно хватились.

— Нет, Бог милосерден! — сказала Регина убежденно.— Нет! Не поздно, если бы Он мог меня слышать, Он понял бы, что я потопила все горе моей жизни в океане нежности, которая бьет ключом в его сердце.

Граф смотрел на Регину с некоторым удивлением.

— Если ваш высокий ум не желает понять моего языка, Регина, спустимся с высот философии вниз — в изменности материальных интересов, как вы их называете. Я хочу сказать вам о моем самом пламенном желании о моем единственном стремлении... Регина, я вам уже сказал, что я хочу быть министром, но у меня много врагов, Регина,— продолжал граф,— и на первом плане — все мои друзья. Меня не очень огорчило бы, если бы кто-то вздумал сочинять памфлеты на мою политическую деятельность: известно, какой вес имеют подобные нападки, но я не хочу,— слышите, Регина,— я не хочу, чтобы злые языки касались моей семейной жизни. Вам известно изречение, оставленное миру другим честолюбцем: «Жена Цезаря должна быть выше подозрений».

— Я полагаю, прежде всего,— ответила иронично Регина,— что вы не претендуете быть Цезарем новейших времен. И сверх того, обратите внимание, что это правило, которое я уважаю от всего сердца, когда оно относится к обыкновенным случаям жизни, говорит: «Жена Цезаря».. Вы слышите, граф,— жена!

— Э, графиня, как бы то ни было, в глазах света вы все-таки моя жена.

— Да, граф, но перед Богом я ваша жертва, и я буду говорить с вами, исходя из этого.

— Пожалуйста, графиня, спуститесь на землю.

— Вы принуждаете меня?

— Я вас прошу об этом.

— Хорошо, граф! — сказала Регина взволнованно.— Признаюсь, я с неудовольствием вхожу в эти подробности. У вас есть любовница...

— Это ложь, графиня! — вскричал граф, вскакивая от этого удара, как бык от копья тореадора.

— Успокойтесь, граф. Я не позволю вам выходить из себя в моем присутствии. У вас есть любовница: она мала ростом, блондинка, тридцати лет, приятельница госпожи де Мара, имя ее графиня Гаск, она живет на улице Бак, № 18.

— Я не знаю, дорого ли вы платите вашей полиции, графиня, но знаю одно, как бы дурно вы ей ни платили, она все-таки крадет ваши деньги!

— Эта женщина живет на улице Бак, № 18,— продолжала холодно Регина.— Вы навещаете ее по понедельникам, средам и пятницам. Вы сравнивали себя сейчас с Цезарем, который являл собою олицетворенную храбрость. Конечно, вам ничего не будет стоить сравнить себя с Пумой, который был образцом мудрости. Эта ваша вторая Эгерия, первая — маркиза де ла Турнелль, ваша мать... Мне не нужно хорошо или дурно платить моей полиции, чтобы знать все это: ваши похождения давно сделались достоянием публики; нет ни одной либеральной газеты, которая не говорила бы об этом в последние два года.

— Это черная клевета, графиня, и поистине я удивляюсь, как можете вы повторять слова презренных памфлетистов?

— Благодарю, граф! Я очень рада знать ваше мнение о журналистах. Когда вы придете еще раз ко мне и скажете, что они делают мне честь, занимаясь моими делами, я отвечу вам вашими же словами.

Граф закусил губу, потом, живо встрепенувшись, как будто нашел неопровержимые доводы, сказал:

— Разница между мною и вами состоит в том, Регина, что я решительно отказываюсь от глупостей, возводимых на меня, тогда как вы, не запинаясь, признаетесь в ошибках, когорые вам приписывают.

— Что делать, граф, вы поставили меня в исключительное положение, не удивляйтесь же, что я составляю исключение. Да, между нами большая разница: я откровенна, вы же нисходите до лжи, только вы лжете напрасно. С давних пор,— исключая ужасную вещь, которую я, к сожалению, узнала очень поздно, иначе никакая сила в мире не заставила бы меня сказать «да» у алтаря,— с давних пор я знаю все подробности, касающиеся вашей жизни. Я могла бы вам сказать, ошибаясь, может быть, на какую-нибудь тысячу франков, не толь-

ко, что получает эта женщина от вас... я не обращаю внимания на деньги, а потому не перебивайте меня,— но и то, что платит ей полиция, потому что честная особа, которая продает вам свое тело, продала давным-давно свою душу вашим друзьям. Но теперь вы богаты, и я позволяю вам взять сколько угодно из моего приданого, чтобы купить графиню де Гаск и душой, и телом!

— Графиня!

— Да, я согласна с вами: я удалилась от нашего разговора, я сделала это отступление с отвращением, но благородно. Ни слова более об этом! Я благодарю вас, что вы меня просили сделать это отступление. Это доказывает, что вы, который так мало кого уважает, сохранили ко мне кое-какое уважение.

— Вы можете пользоваться, графиня, полным моим уважением. Все зависит от вас.

— Что же нужно для этого, граф?

— Отказаться от этого человека, который...

— Отказаться от него? Вы говорите мне, чтобы я от него отказалась? Ах, граф, прежде чем я узнала ужасную тайну, это было уже мною сделано, и, конечно, я никогда не увидела бы его более, потому что, как бы то ни было, вы стали моим мужем, и с той минуты, когда я согласилась быть вашей женой перед Богом и людьми, я осталась бы вам верна. О, вы меня знаете и, конечно, мне верите! Но вы вдруг разбиваете мое существование страшным, неслыханным преступлением, встречающимся разве только в древних обществах, и вы думаете, что я вынесу приговор вашего расчета, как вынесла бы приговор судьбы,— покорной жертвой? Вы думаете, что, уничтоженная вами, я не постараюсь встать? О, вы просто с ума сошли, граф! Господь посылает мне человека, чтобы он был мне опорой в то время, когда я всеми оставлена, который становится для меня дороже жизни, моей единственной мыслью, моей будущностью, наконец, моей жизнью, и вдруг вы — виновный, преступный, недостойный кровосмеситель,— вы осмеливаетесь холодно сказать мне, чтобы я от него отказалась. Да ведь я еще не сказала вам, как сильно я люблю этого человека!

Граф Рапп на минуту застыл в нерешительности, не зная, какой тон следует ему принять. С гневом уже вышло у него неудачно, он решил испробовать сарказм.

— Bravo, графиня! Bravo! — сказал он, хлопая в ладоши.

— Граф,— вскрикнула Регина, точно раненая львица,— я не комедиантка, чтобы вы позволяли себе аплодировать мне, и если я разыгрываю роль, то это в ужасной драме моей несчастной жизни, которой, как я твердо надеюсь, Господь положит развязку, достойную невинности и преступления.

— Извините, графиня,— сказал граф с притворной покорностью,— это, вероятно, происходит у вас от привычки посещать артистов, но вы сказали эти последние слова таким трагическим тоном, что я вообразил себя в театре.

— Вы ошибаетесь, отец мой,— отвечала Регина с неутомимой твердостью,— вы в комнате вашей дочери, и если кто из нас играет гнусную комедию, то, разумеется, это вы,— вы, у которого маска вместо лица, вы, который своими собственными руками соорудил себе подмости, где в продолжение пятнадцати лет разыгрываете всевозможные роли. Вы говорите о театре и комедии,— а вы-то что же делаете, как не разыгрываете комедию? Герцогиня д'Еффор всемогуща при английском дворе, где вы надеетесь быть посланником, посмотрит, какую нежностью окружаете вы ее детей. Комедия! Потому что вы детей вообще ненавидите. Впрочем, чего не ненавидите вы?.. Когда вы отправляетесь в карете ко двору, к министру, в палату, вы всегда держите в руках книгу. Комедия! Потому что вы ничего не читаете, исключая Макиавелли. Когда примадонна итальянской оперы поет, вы ей аплодируете и кричите «браво» совершенно так, как вы сделали это сейчас, а возвратясь домой, пишете ей целые страницы о музыке. Комедия! Потому что вы не терпите музыки, но примадонна — любовница барона Штраасгаузена, самого могущественного дипломата при Венском дворе... Чтобы испугать все это притворство, вы ходите по воскресеньям в церковь Св. Фомы Аквинского. Опять комедия! И последняя, самая ужасная, потому что пока ваша карета с гербом красуется у главной двери, вы выходите через боковую и идете куда? Бог знает! Может быть, у вас свидание с графиней Гаск в кабинете у префекта.

— Графиня! — простонал глухо граф.

— Вы официальный издатель журнала, защищающего законную монархию,— и в то же время вы тайный редактор газеты, которая стоит за герцога Орлеанского. Журнал поддерживает старшую ветвь, газета — младшую, так что если одна из них погибнет, вам легко

будет прильнуть к другой. И все это знают: и министры, и граждане, и само правительство. Одни вам кланяются, другие вас у себя принимают, а вы воображаете, что если они это делают, то, следовательно, ничего не подозревают. Нет! Они не подозревают, а знают точно, граф! Но вы можете сделаться могущественным, и люди поклоняются вашему будущему могуществу. Они знают, что вы будете богаты, и поклоняются вашему будущему богатству...

— Продолжайте, продолжайте, графиня!

— В самом деле, граф, разве все это не несравненная комедия? Неужели вы не устали обманывать постоянно? Попытайтесь мне ответить: для какой цели существуете вы на земле? Что сделали вы хорошего, или, скорее, какого зла вы не совершили? Кого любили вы или, лучше, существовал ли на земле человек, которого вы не ненавидели бы?.. Итак, граф, угодно вам знать однажды и навсегда, что хранится для вас в моем сердце? Так знайте, в нем живет чувство, которое вы испытываете ко всем людям вообще и какого я не испытываю ни к кому на свете. Это чувство — ненависть!... Я ненавижу вашу надменность, вашу трусость! Я ненавижу вас с ног до головы, потому что вы — ложь с ног до головы!

— Графиня,— тихо проговорил граф,— сколько оскорблений за то, что я хотел уберечь вас от срама...

— Уберечь меня от срама — за это беретесь вы, граф?

— Да, об этом молодом человеке носятся двусмысленные слухи...

Регина вздрогнула не от того, что мог сказать граф, а от того, что мог услышать Петрюс.

— Я вам не верю,— прервала она его.

— Я ничего еще не сказал, а вы уже заранее уличаете меня во лжи.

— Потому что я заранее знаю, что вы солжете.

— Несмотря на его родство с генералом де Куртенэ, его не принимают ни в одном доме Сен-Жерменского предместья.

— Потому что он не желает появляться в гостиной, где может встретиться с вами.

— Он живет на широкую ногу, как какой-нибудь принц, а между тем все знают, что у него ничего нет.

— О да, вы однажды встретили его в лесу на лошади из манежа, а в другой раз — во французском театре, куда он отправился с билетом, подаренным ему его другом.

— Указывают как на источник его благосостояния на известную принцессу театральных подмостков...

— Граф! — вскричала Регина, бледнея от гнева и ужаса. — Я запрещаю вам поносить человека, которого я люблю!

Она бросила эти последние слова по направлению оранжереи, чтобы Петрюс понял, что они относились к нему, затем, подойдя к сонетке, сильно дернула за шнурок.

— Есть одно обстоятельство, которое утешает меня, граф, когда я слышу, как вы клеветеете на отсутствующего, — это убеждение, что, если бы этот отсутствующий предстал перед вами, вы не осмелились бы повторить ни одного слова ему в глаза.

В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошла Нанон.

— Проводите графа, — сказала Регина своей служанке, давая ей в руки свечу.

Но так как граф, видимо, озлобленный до исступления, не спешил удалиться, Регина указала ему повелительным жестом на дверь:

— Выйдите вон, милостивый государь...

Граф точно почувствовал над собой власть этой гордой молодой женщины и должен был повиноваться.

Он бросил на нее взор ехидны, принужденной бежать, и, сжав кулаки, стиснув зубы, сказал глухим угрожающим голосом:

— Хорошо, пусть будет так, графиня, прощайте!

И он вышел в сопровождении Нанон, которая затворила за ним дверь.

Сцена была слишком сильна; сердце Регины, подобно озеру, вздымающему волны во время бури, вдруг вышло из берегов, она упала в кресло, и слезы, точно два ручья, потекли из ее полузакрытых глаз.

## VI

### ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Когда Нанон затворила дверь, а Регина почти без чувств упала в кресло, Петрюс вышел из оранжереи. Он был бледен, крупные капли пота покрывали его лоб, но глаза сияли счастьем.

И в самом деле, если драма, которая перед ним разыгралась, вдохнула в него ужас и отвращение, зато его



чистая душа, благородное и честное сердце не могли не сочувствовать благородной жертве, в роли которой оказалась Регина; он поневоле забыл палача ради жертвы.

Петрюс медленно подошел к Регине, но она, услышав шаги молодого человека, закрыла лицо руками и осталась в положении осужденного, который приготовился услышать свой приговор. Она как будто боялась, что позор ее мужа и проступок матери отразятся на ней, и, желая скрыть краску стыда от своего возлюбленного, закрыла лицо своими прелестными руками.

Петрюс понял борьбу, которая происходила в ее душе. Он стал перед ней на колени и скорее прошептал, чем проговорил, мягким и нежным голосом, как будто хотел колыбельной песней убаюкать ребенка:

— О! Регина, Регина, до сих пор я любил тебя как женщину, теперь я люблю тебя как мученицу! Преступление, жертвой которого ты сделалась, вместо того, чтобы отразиться на тебе и затмить твою невинность, окружает твой образ в моих глазах радужным ореолом красоты и величия! Ты можешь смотреть на меня без стыда и страха, потому что я должен стыдиться, что так мало тебя достоин. С этой минуты ты для меня священна, и моя любовь сумеет возвыситься над обыкновенной страстью прочих людей, чтобы стать достойной тебя... О, Регина, как люблю я тебя! Я чувствую к тебе то благоговение, которое чувствовал бы к своей матери, если бы она была еще жива. Я чувствую в моем сердце ту бесконечную нежность, какую я питал бы к моей сестре, если бы небу угодно было дать мне сестру; я боготворю тебя, как боготворил в детстве гранитную мадонну, которая с высоты утесов царила над океаном!

Регина опустила свои руки в руки молодого человека и открыла лицо, на котором ясно виднелось живейшее чувство признательности.

Петрюс продолжал:

— Я сейчас говорил тебе, что ты возвратила меня к жизни, что ты показала мне настоящую цель существования, которое я считал бесполезной фантазией! А потому, в свою очередь, моя возлюбленная, я — как ты только что сказала этому человеку — я протягиваю тебе руку, чтобы поднять тебя. И так, рука в руке, сплоченные воедино, с большой силой восстанем мы против зла и, презирая людей, приблизимся к Богу!

Легкая улыбка пробежала по губам Регины.

— Посмотри на меня, Регина, — продолжал Петрюс, —

как ты приглашала меня несколько минут тому назад посмотреть на тебя. Я не спрашиваю тебя, как ты это сделала, люблю ли я тебя; я тебе говорю: «Ты меня любишь!». Мое сердце трепещет и бьет страшную тревогу при этих словах: «Ты меня любишь!». Все, что было темного во мне, освещается и блестит перед этими божественными словами; все доброе во мне становится лучшим; все дурное исчезает! В моем сердце было до сих пор темно, как ночью, и в этой тьме любовь твоя забрезжила, как прекрасный сон; теперь в сердце моем светло, как в голубом небе, а любовь твоя блещет в нем лучезарной звездой!

Молодая женщина смотрела на него с нежностью и не перебивала его. Как те растения, которые, опустив головки под влиянием ночного инея, поднимают их, обогретье лучами утреннего солнца, так и Регина ожила при звуках любви и при лучах его любящих глаз.

Петрюс продолжал:

— Я люблю тебя! Не слушай никого, кроме меня, Регина, думай только обо мне, моя возлюбленная, имей в виду только мою любовь, позволь мне убаюкать тебя моими словами, — как волны морские качают челн, как легкий ветерок колеблет пестрые чашечки цветов; доверься мне, для твоего горя мое сердце — самое надежное убежище... Я люблю тебя!.. Забудь все земное ради этих слов. Умрем для мира, и пусть наша любовь освободит нас от житейских треволнений. То, что люди называют Богом, — есть вечная любовь!

И пока Петрюс говорил, лицо Регины принимало мало-помалу естественное выражение, румянец счастья покрыл ее щеки, глаза блестели блаженством. Нежные звуки голоса Петрюса наполняли ее душу дивной музыкой. И отчасти еще во власти скорби, которая все еще звучала в глубине ее души, точно отдаленные раскаты грома, отчасти увлекаемая радостью, которая обдавала ее, как теплые лучи весеннего солнца, Регина наклонилась к молодому человеку, все еще стоявшему перед ней на коленях, обвила его руками и прошептала в свою очередь:

— Я люблю тебя... О, я люблю тебя!

Но сказала это она так тихо, что слова коснулись его уха, как шелест легкого ветерка, скорее сердце его поняло их, чем слух смог уловить звуки. Слезы блеснули на глазах молодой женщины, сначала они катились по ее щекам по капле, наконец, потекли ручьями.

Так оставались они несколько минут в объятиях друг друга — молчаливые и влюбленные: молодая женщина,

утопающая в слезах, и молодой человек, наслаждающийся этими слезами. Что больше могли они сказать друг другу? Они упивались своим счастьем, чувствуя, что нет выше блаженства, чем возможность сказать себе тихо: «Я любим, я любима!». Этот немой дуэт влюбленных сердец продолжался бы до бесконечности, если бы, незаметно для себя приближаясь к молодому человеку, Регина не почувствовала на своем лице пламенного дыхания Петрюса. Она поняла, что ее губы коснутся губ ее возлюбленного, послышался слабый крик ужаса, она отняла свои руки, которыми обвивала его шею, положила их на плечи молодого человека и, отклоняя его от себя, взволнованным, полным смущения голосом заговорила:

— Отстранитесь немного, друг мой, сядьте возле меня и поговорим, как следует говорить брату с сестрой.

Молодой человек, продолжая улыбаться Регине, тихо вздохнул, придвинул табурет и сел возле нее.

— Дайте мне ваши обе руки,— сказала Регина.

Петрюс протянул ей свои руки и с вопросительным взглядом стал ожидать, когда она заговорит.

— Не догадываетесь вы, о ком я хочу поговорить с вами?— спросила она.

— О вашей матери, не так ли, Регина?— ответил молодой человек ласкающим, нежным голосом.

— Да, мой друг, о моей матери,— сказала она,— и, прежде всего, позвольте мне попросить вас пожалеть ее. Ее печальная уединенная жизнь, которую ведет она здесь, как в тюрьме, история этой необъятной скорби, которая постоянно лежит в выражении ее лица, заставила бы вас преклонить перед ней колени, если бы она была здесь.

— О, Регина,— заверил Петрюс,— будьте уверены, что я жалею ее от глубины моей души.

— Вы несколько раз спрашивали меня о тайной причине затворнической жизни, какую ведет эта бедная восточная принцесса, лежа целый день на подушках и наслаждаясь дневным светом только сквозь щели своих решетчатых ставен; вам часто хотелось узнать причину этой восточной нелюдимости, этого одиночества, которое вы сравнивали с ленью принцесс из «Тысячи и одной ночи». Теперь вы узнаете ее тайну... Я только что прочла ее переписку. О, друг мой, вы ужаснулись бы этим письмам, написанным Раппом отчасти с целью погубить, отчасти чтобы утешить ее. Вы знаете этого человека, не правда ли? Вы слышали, как он может говорить,— теперь вам нетрудно догадаться, что он может написать.

Каждый день для моей матери был днем тьмы и заблуждений.

— Да низойдет на нее прощение и благословение Господне! Но какое коварное или любящее сердце имело столько низости или силы, чтобы открыть вам эту ужасную тайну?

— О, Петрюс, подумайте, что могло бы случиться, если бы я ничего не знала! Не коварное сердце открыло мне эту тайну, напротив,— невинное, которое не знало, что делало. Это дитя, которое я люблю всей душой и которое вы также любите; одним словом, это наша Пчелка, Петрюс, два часа спустя после нашего возвращения из церкви принесла мне эти письма.

— Как же могли письма, содержащие такую важную тайну, попасть в руки ребенка?

— Ничего нет проще, мой друг, случай.

— Нет, не случай, а, скорее, провидение устроило это. Объясните мне все, Регина.

— Вы знаете, что моя мать при крещении получила имя Рины. Но, вероятно, потому что она действительно имела вид королевы, отец мой называл ее вместо Рины — Регина. Я также получила при крещении имя Регины. Но это имя казалось отцу моему слишком торжественным для маленькой девочки, и меня привыкли называть Риной. Пчелка, в свою очередь, привыкла к этой перемене имен и называет меня Риной, а мать — моим именем. Когда мы приехали из церкви и пока все оставались в гостининой, Пчелка, главный недостаток которой — любопытство, проскользнула в комнату принцессы и в первый раз в жизни очутилась там одна. Тогда она открыла ящик шифоньерки, где моя мать прячет обыкновенно варенье из роз и свои восточные конфеты. Без сомнения, Пчелка не поскупилась сделать себе большой запас этих лакомств. Но над ящиком с конфетами, так часто выдвигаемым моей матерью, чтобы полакомить Пчелку, находился другой ящик, который никогда не раскрывался. Что могло быть в ящике, так тщательно запертом? Разумеется, необыкновенные конфеты! Неведомые до той поры лакомства! И, повинувшись голосу духа-соблазнителя, Пчелка взяла ключ от ящика с конфетами, вдела его в замок запертого ящика, повернула ключ и потянула ящик к себе... Ни одной, решительно ни одной конфетки! Ни одного кусочка лакомства! Только пакет, скрепленный черной лентой, вот и все! Она, однако, взяла его, повертела во все стороны, надеясь, конечно, отыскать какое-нибудь таин-

ственное лакомство, которое вдруг просочится через эту бумажную обертку. Не тут-то было! Она готова была отбросить в сторону пакет, когда ей бросилась в глаза надпись: «Принцессе Рине».

Я говорила вам, что Пчелка привыкла с малолетства называть меня Риной. Может быть, она забыла, что это было имя моей матери, а может быть, она никогда и не знала ее настоящего имени,— как бы то ни было, прежде всего она подумала, что этот пакет принадлежит мне, поэтому решила отдать его по принадлежности. Она закрыла ящик, положила ключ на свое место, узнала, где я была в то время, и прибежала ко мне в оранжерею запыхавшись. Точь-в-точь, как вы видели ее в первый раз.

— Послушай, принцесса Рина,— сказала она, держа что-то за спиной обеими руками,— я хочу сделать тебе свадебный подарок.

Она смеялась, мне же было очень грустно.

— Что ты хочешь этим сказать, дурочка?— спросила я.

— Я хочу сказать, графиня Рапп, что я имею честь поднести вам этот дар. Если он вам не понравится, не моя вина, потому что я и сама не знаю, что это такое.

И, бросив пакет мне на колени, Пчелка скрылась. Только вечером допросила я ее, каким манером эти письма попали ей в руки. Я развязала ленту. Добрая сотня писем упала ко мне на колени; все они были адресованы рукой Раппа на имя, которое мне дали в детстве. Они написаны были по-немецки. Я открыла одно из них наугад, и с четвертой строчки мне стало уже все известно... Пожалейте меня, Петрюс, и в особенности пожалейте мою бедную мать!

И при этих словах молодая женщина упала головой на плечо своего возлюбленного.

Петрюс еще раз прошептал ей утешительные, нежные слова, еще раз упился он ее сладкими слезами, и, когда миновал новый приступ страшной бури, Регина продолжила рассказ торжественным, строгим тоном, каким говорила она до мгновения, когда стала умолять Петрюса о снисхождении к своей матери.

— Мой друг,— сказала она,— вы знаете теперь тайну моей жизни. В ваших руках моя честь и честь моего семейства... Но теперь поздно, вам пора уйти.

Петрюс сделал движение, которое выражало немую просьбу.

Регина улыбнулась и протянула руку, давая понять, что хочет еще кое-что сообщить ему.

— Выслушайте меня,— произнесла она,— прежде чем я прощусь с вами, мне нужно сказать вам несколько слов.

— Говорите, Регина, говорите!

Молодая женщина посмотрела на своего возлюбленного с необыкновенной нежностью.

— Я люблю вас страстно, Петрюс,— сказала она.— Я не знаю, как умеют любить другие женщины, даже не знаю, какими словами выражают они свою любовь, но одно я знаю, мой друг, что когда я увидела вас в первый раз, мне показалось, будто я выхожу из тьмы и что до той поры не жила. Так с того дня, Петрюс, я начала жить, а начав жить, я поклялась жить и, если нужно, умереть для вас. Перед Богом, который нас слышит, я клянусь вам, что вы единственный человек в мире, которого я так высоко уважаю и так глубоко и сильно люблю. Если вы знаете более торжественную клятву, скажите ее мне: я повторю ее за вами слово в слово языком и сердцем.

— О, благодарю тебя, Регина!— воскликнул молодой человек.— Нет, нет! Клятвы здесь излишни,— твоя любовь написана на твоём лице золотыми словами.

— Я хотела дать вам понять, Петрюс, насколько я вас люблю, чтобы в сердце вашем не зародились сомнения от того, что я скажу вам.

— Вы пугаете меня, Регина,— сказал молодой человек, выпуская ее руку, отодвигаясь от нее и бледнея.

Но Регина опять протянула ему руку, которую он только что выпустил, и продолжала говорить.

— Я люблю вас не только за вашу поэтическую красоту, за ваш высокий ум, за выдающийся талант, который мне так симпатичен,— нет, Петрюс, не за одно это я люблю вас! Я вас люблю прежде всего за ваш рыцарский характер, за благородство вашей души, за врожденную честность вашего сердца, я не говорю — за вашу добродетель, это слово сделалось пошло,— но за ваше прямотушие. Ваша честность, как и моя, основана на прочных началах, и, я думаю, что, подобно белому горностаю, которого Бретань избрала для своей эмблемы, вы умрете скорее, чем запачкаетесь. За это я и люблю вас, Петрюс, и поэтому-то я и говорю вам: «Мы не должны видеться».

— Регина,— прошептал молодой человек, наклоняя голову.

— О, это и ваша мысль, я знаю, вы со мной одного мнения, не правда ли?

— Да, Регина,— отвечал печально Петрюс, доказы-

вая этой душевной скорбью свою готовность поддержать молодую женщину в ее решимости.— Мое мнение то же, только оно не такое абсолютное, как ваше.

— О, мы должны понимать друг друга, Петрюс; мы не должны видаться так, как видимся теперь, в эту минуту: одни, ночью, у меня или у вас. Я не знаю, насколько вы, Петрюс, уверены в себе, я не знаю, в состоянии ли вы выполнить обещания, но я, слабейшая из нас двоих, я говорю вам откровенно: я люблю вас так сильно, что не в состоянии ни в чем отказать вам... Значит, нам нужно бороться против моей слабости. Измена, которая свойственна низким душам, измена, дозволенная, может быть, странностью обстоятельств, в которые мы поставлены, для нас не позволительна. Я потребовала от этого человека права любить вас, но не сделаться вашей любовницей, и первое условие нашей любви, что должно сделать ее глубокой и вечной,— чтобы нам никогда не пришлось краснеть друг перед другом. А потому я повторяю вам, мой возлюбленный, что мы должны перестать видаться, как видимся теперь. Вы чувствуете, как дрожит и скорбит все существо мое при этих словах, но наше будущее счастье придет к нам через жестокие лишения, которые налагает на нас наше несчастное настоящее. Мы будем встречаться в лесу, на концертах, в театрах, затем, вернувшись домой, мы будем молить Бога о нашем освобождении, вы будете постоянно знать, где меня найти; мои письма расскажут вам о малейших подробностях моей жизни, моих малейших предприятиях.

Как во время речи Франчески да Римини Паоло плакал, так плакал теперь и Петрюс, пока говорила Регина. Сама же Регина, казалось, исчерпала до дна все запасы своих слез.

Пробило два часа пополудни; звук стенных часов повторил два раза молодым людям, что им пора расстаться.

Регина встала, сделав знак Петрюсу остаться на своем месте. Она подошла к маленькому несессеру с перламутровыми серебряными инкрустациями, вынула оттуда золотые ножницы и, приказав молодому человеку встать коленями на табурет, на котором он сидел, сказала:

— Нагните голову, мой прекрасный Ван Дейк.

Петрюс повиновался.

Регина тихонько поцеловала молодого человека в лоб, затем, выбрав в гуще его белокурых волос небольшой локон, отрезала его у самого корня и, накрутив на палец, сказала:

— Теперь встаньте

Петрюс опять повиновался.

— Теперь ваша очередь! — сказала она, подавая ему ножницы и преклоняя голову.

Петрюс взял ножницы и сказал дрожащим от волнения голосом:

— Нагните голову, Регина.

Молодая женщина повиновалась.

Следуя во всем ее примеру, он коснулся дрожащими губами лба молодой женщины и, запуская пальцы в ее прелестные волосы, прошептал:

— О, Регина, какой вы ангел чистоты и любви.

— Что же? — спросила она.

— Я не смею...

— Режьте, Петрюс.

— Нет, нет! Мне кажется, что я совершу святотатство, что каждый из этих прелестных волосков, срезанный, будет упрекать меня в своей смерти.

— Режьте, — сказала она, — я хочу этого!

Петрюс выбрал локон, поднес к нему ножницы, закрыл глаза и срезал.

Но от шороха, произведенного волосами в соприкосновении с железом, кровь бросилась ему в лицо, и молодой человек подумал, что лишится чувств.

Регина встала.

— Дайте, — сказала она.

Молодой человек отдал ей волосы, пламенно поцеловав их.

Регина приложила их к волосам Петрюса, которые она спустила с пальца, потом соединила их как шелковые волокна, сплела из них косичку, которую и завязала с обоих концов. Подав затем один из концов молодому человеку, а другой держа в своей руке, она перерезала косичку посередине.

— Пусть нити нашей жизни, как эти волосы, сплетутся вместе и будут вместе перерезаны!

И подставив в последний раз молодому человеку свой белый лоб, Регина позвонила своей старой Нанон, которая ожидала в прихожей.

— Проводи господина через маленькую садовую калитку, моя добрая Нанон, — сказала она старой няне.

Петрюс бросил еще раз на Регину взор, в котором отразилась вся душа его, и вышел вслед за Нанон.



## VII СКОРБЯЩИЙ ОТЕЦ

Башня Пеноель, остатки феодального замка тринадцатого столетия, разрушенного во время Вандейской войны и представляющего собой не что иное, как надстройку на более древнем романском фундаменте,— башня Пеноель, говорим мы, находилась в нескольких лье от Кимпера, на берегу той части океана, которую называют Диким морем. Возведенная на вершине остроконечного утеса, между кустами можжевельника и папоротников, она царила над волнами океана, точно орлиное гнездо, и, казалось, была поставлена тут, как часовой, чтобы замечать появление парусов на горизонте.

С противоположной стороны, то есть с запада, и, следовательно, вдоль дороги из Кимпера, местность, открывающаяся глазам, была довольно монотонной и однообразной, хотя и не лишенной дикого величия в своем однообразии.

Представьте себе волнистую равнину, совершенно пустынную, и на ней длинный ряд сосен, идущих от морского берега вплоть до деревни, скрытой в ущельи, о существовании которой свидетельствовали только столбики серого дыма, поднимавшегося к небесам, подобно голубоватым, растрепанным призракам.

Деревня эта называлась Пеноель, а башня, о которой мы только что говорили, принадлежала ее владельцу, графу Пеноелю.

Общий вид всей местности походил на огромный храм, которому куполом служило само небо, нескончаемая аллея сосен представляла колоннаду, а башня — алтарь. Голубоватый дым, восходящий к небесам, казался фимиамом молитвенных кадил.

Некоторую живописность всей этой картине придавала фигура человека, стоявшего на вершине башни и облокотившегося на балюстраду. Фигура была до такой степени неподвижна, что ее можно было принять за статую, если бы восточный ветер, дувший сильными порывами, не развеивал ее длинных седых волос.

Это был прекрасный старик, одетый весь в черное. Повернувшись спиной к морю, он вперил в сосновую аллею внимательный, пристальный взор, который часто затуманивался слезами. Старик отирал глаза платком и потом опять смотрел на аллею. Это, впрочем, было единственное движение, которое он делал.

Одного слова достаточно, чтобы выразить причину слез на глазах старика: этот старик был отцом Коломбо, графом Пеноель.

Дело происходило в середине февраля. Три дня тому назад он получил письмо, которое извещало его о смерти единственного сына.

Отец ожидал его тела.

Вот почему взор его был так неотвязчиво прикован к сосновой аллее, которая вела к деревне Пеноель: по этой сосновой аллее должны были привезти тело Коломбо.

Возле графа догорал разведенный костер.

Вид этой высокой фигуры, неподвижной, печальной и молчаливой, с развевающимися по ветру волосами, напоминал другого старика, Аргоса, который, стоя на вершине террасы Агамемнонова дворца, ждал в продолжение десяти лет условного знака — костра на горе, который должен был известить его о взятии Трои.

На этот раз часовым стоял сам господин, а не слуга. Слуга, впрочем, скоро явился. Это был такой же старик с седой бородой, с длинными волосами под широкой шляпой, в национальной одежде Бретани, только одежда эта была черная, как у его господина. Он принес вязанку сосновых дров, желая, вероятно, оживить потухающий огонь, подошел к старому графу, посмотрел на него и, встав на одно колено, бросил несколько поленьев в костер. Огонь вспыхнул.

Но видя, что господин его остается глух ко всему, что делается вокруг него, и стоит неподвижно, как олицетворение статуи скорби, он заговорил:

— Умоляю вас, мой добрый господин, сойдите хоть на минуту вниз, а я постою здесь за вас. Я развел огонь в вашей комнате и приготовил вам завтрак. Если вам не угодно почивать в вашей постели, если вы решились стоять здесь на холоде день и ночь, то подкрепите, по крайней мере, ваши силы.

Граф не отвечал.

— Ваше сиятельство, — настаивал старый слуга, приближаясь к своему господину, — вот уже двое суток, как вы не знаете ни покоя, ни пищи, не говоря уж о том, что вы не заботитесь о холоде, как будто у нас теперь июнь.

На этот раз граф, по-видимому, заметил присутствие своего старого слуги, потому что обратился к нему.

— Не слышишь ли ты стука экипажа по дороге из Парижа? — спросил он.

— Нет, мой добрый, дорогой господин, я ничего не

слышу,— отвечал старый слуга,— я слышу только шум морских волн и вой восточного ветра в старых соснах. Нехорошо стоять так с непокрытой головой на утреннем ветру. Умоляю вас, господин мой, сойдите на некоторое время вниз.

Граф опустил голову на грудь, как будто эта голова склонялась под тяжестью воспоминаний.

— Помнишь ли ты, Гервей,— продолжал он, следя за своими печальными мыслями,— когда он родился и его мать подала мне его, как благословение, посланное свыше на наш дом, ты к тому времени жил уже более пяти лет с нами?

— Да, господин, я все помню!— ответил старый Гервей глухим голосом.

— Однажды, ребенку было тогда три года, он гулял по верхней галерее, откуда мы обыкновенно смотрели на Дикое море, море гневно и страстно волновалось. С мальчиком гуляла его бывшая кормилица, оставшаяся у него в качестве няни. Она повела туда ребенка не для того, чтобы развлечь его, но в надежде увидеть издали лодку своего мужа, который был рыбаком. Графиня, которая искала везде своего сына, поднялась на башню и, увидев, как резкий ветер, предвещавший бурю, развеивал белокурые волосы ребенка, сказала:

— Ах, кормилица, ты не обращаешь внимания на ребенка! Малышка может простудиться. Подумай, ему ведь только три года.

Но кормилица, здоровая крестьянка, привыкшая чинить во всякую погоду сети своего мужа на морском берегу, ответила:

— А моему мальчику, которому всего четыре года и который пустился уже в море со своим отцом, потому что я осталась смотреть за вашим сыном, графиня, и потому что у меня нет прислуги присмотреть за ним,— вы думаете, ему не холодно?

И бедняжка стала опять искать глазами на море в туманной дали лодку своего мужа.

Тогда ты обратился к ней и сказал:

— Жанна, как не стыдно тебе сравнивать твоего сына с сыном графини: ты бедная крестьянка, а графиня — барыня!

Но Жанна ответила:

— Верно, Гервей, графиня — большая барыня, а я только бедная крестьянка, но я знаю одно, что Жеми — мой сын, точно так же, как Коломбо — сын графини.

Верно, есть разница перед Богом в положении двух детей, но я знаю, что нет никакой разницы в сердцах двух матерей. И ты видишь, Гервей,— продолжал старик,— сын кормилицы умер, и мой сын тоже умер! Ты видишь, что между ними не было разницы, оба были смертны... Графиня была не права, кормилица была справедлива,— смерть их сравнила.

— Мой бедный господин!— шептал Гервей, слушая печальные слова старого графа, которого глубокая скорбь научила смотреть с иной точки зрения на людей.

— Несколько лет спустя,— продолжал бедный отец, связывая в своем уме воспоминания с окружающей местностью, воспоминания когда-то приятные, теперь горестные,— ты помнишь ли? Ему минуло десять лет, ты был с нами, мой добрый Гервей, потому что ты никогда не оставлял нас; ему хотелось иметь ружье,— бедный ребенок,— ты отдал ему свое старое ружье, которое было свидетелем междуусобной войны и приклад которого на полфута был длиннее его самого.

Гервей вздохнул и устремил взгляд на небо.

— Помнишь, как держал он это ружье в своих маленьких руках, прося тебя выучить его владеть им? Но ты не хотел удовлетворить его желание. Ты позволил ему плакать, сердиться, выходить из себя, повторяя одно и то же:

«Граф, такой дворянин, как вы, должен выучиться владеть шпагой!». Но, вместо шпаги он стал владеть пером, вместо того, чтобы послать его в политехническую школу, я отправил его в школу правоведения. Не видя возможности сделать из него офицера, так как не было войны, я желал сделать из него гражданина. Война, может быть, пощадила бы его, как пощадила нас, а мир его убил!

— Полноте, не останавливайтесь, мой почтенный господин, только на этих печальных воспоминаниях.

— Печальные воспоминания! Воспоминания, которые говорят мне о моем бедном Коломбо, ты называешь их печальными? Напротив, поговорим о нем. Если я не буду говорить о нем, о ком же мне говорить?.. Если бы я не говорил о нем, молчание изгрызло бы меня, как грызет ржавчина то ружье, которым он когда-то играл.

— В таком случае говорите о нем, мой добрый господин, говорите о нем!

— Итак, помнишь ли ты тот день, когда ему исполнилось двенадцать лет? Оба, серьезные и сосредоточенные, полные веры в будущее, мы вели его по этой сосновой

аллее, усыпанной тогда розами, как она усыпана теперь снегом. Это был день его первого причастия. Как он был серьезен и важен, несмотря на свой маленький рост!.. Как теперь, вижу я его... Там, направо, у двадцать четвертого дерева — мы их считали — он споткнулся о камень. Свеча выпала у него из рук и погасла. Он стал плакать, бедное дитя. Кто сказал бы мне тогда, что он споткнется в своей жизни и что потухнет факел его жизни, не достигши и двадцати четырех лет!

— О господин, мой добрый господин,— вскричал Гервей, обливаясь слезами,— вы рвете себе внутренности своими собственными руками!

— Потом ему исполнилось пятнадцать лет,— не слушая его, продолжал граф, который с горьким наслаждением припоминал малейшие подробности из жизни сына.— Однажды я рассказал ему историю Милона Кротонского; я помню его улыбку, когда он слушал историю с разбитой цепью, которая прищемила обе руки страшного атлета. Он ушел от меня, выбрал дерево вдвое толще его самого, это была верба, залез на него, укрепился на дуплистой части ствола и стал с такой силой работать руками и ногами, что рассек дерево на две половины, как яблоко. Я следил за ним и за всеми его движениями, хотя он и не знал этого. Когда я услышал треск дерева, мне показалось, что кости моего ребенка затрещали... Да, он был силен, как один из наших предков, которого звали Коломбо Сильным. Но к чему вся эта сила, мой добрый Гервей, и что случилось с его сильными ногами и сильными руками? Смерть разбила их. Смерть! Смерть! Мое дитя умерло!..

Но силы, о которой с такой гордостью говорил старый граф и которой он был олицетворенным примером в своей борьбе с горем,— недостало бедному Гервею: он вдруг упал на колени перед своим господином и воскликнул:

— О, Боже мой! Как же караешь ты нечестивых, если добрые люди подвергаются таким страданиям!..

Граф Пеноель посмотрел на своего старого слугу и, открыв ему объятия, сказал торжественно:

— Обними меня, Гервей,— только так могу я отблагодарить тебя за участие в моей скорби.

Гервей поднял голову и, точно ребенок, упал в объятия графа; так стояли они несколько секунд, крепко обнявшись.

— Как неблагодарны дети, мой добрый Гервей!— продолжал граф.— Отец проводит большую и лучшую часть своей жизни, ухаживая за ними и выращивая их,

чтобы сделать из них людей; он окружает эту кровь от крови своей и кость от костей своих всевозможною нежностью, как слабое растение; он следит, подобно рачительному садовнику, за успехами развития бутонов, листьев и цветов. Любуясь свежим ароматным цветком детства, он с радостной надеждой мечтает о еще более прекрасной юности... Но вдруг, в одно прекрасное утро, приходит письмо с черной печатью, которое говорит отцу: «Отец, у меня не хватает силы вынести жизнь, которую ты дал мне,— и я умираю». Живи, если ты можешь, после этого!..

— Бог дал нам его, Бог и взял его обратно. Благословим Господа,— сказал старый слуга в религиозном экстазе, который часто проявляется среди простых людей старой Бретани.

— Зачем говоришь ты мне это?— воскликнул старый граф надменно.— Когда ферма твоего отца с винными погребами, с хлебными амбарами, со всеми стойлами и конюшнями, где отдыхал его скот, одним словом, когда отец твой, восьмидесятилетний старец, скопивший это добро за пятьдесят лет, потерял два года тому назад все свое состояние по милости вспыхнувшей соломинки,— неужели ты думаешь, Гервей, что он благословил в ту страшную минуту судьбу? Когда корабль «Марианна», совершив долгое и опасное путешествие в Индию, уже входя в гавань, на виду той самой верфи, где он был построен, разбился о подводный камень и погиб, увлекая за собою вместе со своим грузом восемнадцать матросов и сто двадцать пассажиров,— думаешь ли ты, Гервей, что эти люди, поглощаемые пучиной, благословляли судьбу в минуту своей гибели? Когда шесть недель тому назад во время разлива Луары водой смыты были города, деревни, хижины, думаешь ли ты, Гервей, что люди, стоявшие на крышах своих домов и взывавшие к Богу о пощаде, почувствовав, что дома их рушатся и погребают их в своем падении,— думаешь ли ты, что они благословляли судьбу? Нет, Гервей, нет! Они думали, как они...

— Берегитесь, господин мой,— вскричал Гервей,— вы богохульствуете!

Но прежде чем старый слуга успел выговорить последние слова, граф упал на колени и воскликнул:

— Господи, Господи, прости меня! Я вижу приближение тела моего сына...

И в самом деле в конце сосновой аллеи, откуда виднелся дым из деревни Пеноель, двигалась медленно печальная похоронная процессия, во главе которой шел

монах, он держал высоко в руках серебряное распятие.

За ним следовали четыре носильщика с гробом, за гробом шло человек пятьдесят мужчин и женщин. Мужчины шли с открытыми головами, женщины в своих темных капюшонах.

Граф произнес краткую молитву и, вставая, сказал твердым голосом:

— Что совершено Господом, совершено мудро. Гервей, пойдем принимать последнего потомка Пеноелей, возвращающегося в замок отцов своих.

И твердым шагом он все еще с непокрытой головой спустился с лестницы и остановился в воротах, ведущих к сосновой аллее.

## VIII

### НА МОРСКОМ БЕРЕГУ

Когда граф Пеноель в сопровождении своего старого слуги дошел до ворот башни, печальный кортеж успел уже пройти две трети аллеи; уже слышались высокие ноты похоронного псалма, который пел монах и повторяли следовавшие за ним люди.

Услышав первые звуки, Гервей преклонил колени, граф остался стоять. Он тихо повторял похоронный гимн, который, казалось, замирал на губах Гервея.

Когда шествие приблизилось и оказалось в шагах двадцати пяти от замка, Гервей сделал знак носильщикам остановиться. Вслед за носильщиками остановились и крестьяне. Пение смолкло. Монах отделился от толпы и подошел к графу. Граф пытался было сделать несколько шагов к нему навстречу, но не мог сдвинуть ноги с места, на котором стоял.

Гервей видел, что происходило в душе его господина, по бледности, покрывавшей его лицо. Он сделал движение, чтобы помочь своему господину, поддержать его, если потребуется, но граф сделал ему жест рукой, означающий, чтобы он оставался на своем месте.

Гервей повиновался.

Монах между тем приблизился к графу. Он еще издалека увидел стоявшего в воротах человека и теперь по бледности его лица понял, что это был отец Коломбо.

— Граф, — сказал он, — я привез сюда из Парижа тело виконта Пеноеля и возвращаю его в замок отцов его.

— Благослови Бог благочестивую руку, которая при-

вела сына к отцу!— отвечал старый граф, преклоняясь перед абсолютным величием религии и смерти.

Монах сделал знак.

Четыре носильщика медленно подошли, два человека с носилками следовали за ними. Они поставили носилки на землю, носильщики опустили на них гроб и затем скрылись в толпе.

Аббат Доминик — это был он, и наши читатели его, наверное, узнали — сделал опять знак: все провожатые приблизились, окружили гроб и опустились на колени.

Казалось, будто все члены этого трогательного собрания согласились предохранить отца от печальных подробностей приготовления к погребальной церемонии.

Только граф и священник продолжали стоять.

Граф, смотревший вначале на гроб, оторвал со скорбью от него свой взор и стал тщательно всматриваться в лица всех, сопровождавших гроб его сына, как будто он не находил среди них того, кого надеялся найти.

Наконец, обратившись к аббату Доминику, он сказал:

— Я благодарил уже вас, святой отец, за все то, что вы сделали для моего сына и для меня, и я благодарю вас вторично. Но почему же священника Пеноеля нет с вами?

— Я просил его сопровождать гроб,— отвечал Доминик,— но он отказался.

— Он отказался?— вскричал граф с удивлением.

Монах наклонил голову.

— С каких это пор священники деревни Пеноель отказываются молиться за упокой души графов Пеноелей?

— Виконт Коломбо Пеноель,— отвечал аббат Доминик,— умер насильственной смертью,— он посягнул на свою жизнь.

— Да, мой отец,— сказал старый граф,— но чем более заблуждался мой сын, тем более, кажется, нужно молиться о нем и призывать на него благословение Божие. Если он не умер истинным христианином, то, по крайней мере,— я в этом уверен,— он умер честным человеком.

— Я это знаю, граф.

— Как можете вы это знать?

— Я был его другом, и его последняя воля была, чтобы я проводил его сюда.

— Следовательно, вы пришли сюда только в качестве друга?

— В качестве друга и священника, граф.

— Но вы этим накличете на себя гнев ваших начальников, отец мой?



— Я боюсь только гнева Божьего, граф.

— Отвратите же его от головы моего сына, призовите на него все Его милосердие!

Священник поклонился и, обратясь ко гробу, стал петь «Из бездны взываем к Тебе!» таким твердым, громким и благозвучным голосом, что молитва его должна была вознестись к престолу Всевышнего.

«Из бездны взываем к Тебе!» — повторила толпа всей мощью своих голосов.

«Из бездны взываем к Тебе!» — шептал тихо про себя граф Пеноель.

По окончании молитвы все встали. Аббат Доминик приблизился к старому графу.

— Граф,— спросил он,— где желаете вы похоронить бранные останки вашего сына?

— Семейство мое имеет фамильный склеп на кладбище Пеноеля,— отвечал граф.

— Кладбище Пеноеля заперто, и сторож отказался отпереть его.

— С каких это пор кладбище Пеноеля заперто для графов Пеноелей?

— С тех пор,— отвечал тихо Доминик,— как только они начали отходить к Богу прежде положенного срока и самовольно прекращать жизнь, данную им Богом.

— Если это так, то потрудитесь следовать за мною,— сказал граф твердым голосом, гордо выпрямляясь.

Четыре носильщика по знаку аббата Доминика вышли из толпы и подняли на плечи свою ношу. Погребальное шествие, во главе которого шел аббат Доминик, а за ним граф Пеноель, медленно двинулось вперед.

Обогнули башню, обошли развалины замка, поднялись на хребет утеса и очутились на западном откосе морского берега, перед лицом необозримого океана, бурного и грозного.

Черные волны высоко вздымались; ветер выл, развеивая длинные седые волосы старика. Ни одна картина не могла сильнее и красноречивее выразить идею величия и гнева Господня, чем этот темный горизонт, открывшийся взорам людей, сопровождавших гроб молодого человека. Но неужели это бесконечное могущество, этот необъятный гнев, который вздымал волны океана, гнал в небе черные тучи, как ужасные колесницы, разносящие гробы,— неужели, повторяем мы, причиной этого мирового волнения были жалкие вопросы и сомнения, которые рассматриваются несколькими праздными кардиналами?

Этого, конечно, не могли допустить ни великодушное сердце, ни высокий ум аббата Доминика, когда перед его глазами открылась грозная картина.

Горькая улыбка мелькнула на его лице; его глаза обратились на гроб, где почивало неподвижное, бесчувственное тело, и одно только показалось ему столь же бесконечным, как и самое могущество Бога, столь же безграничным, как и гнев Его: это скорбь бедного отца.

Граф остановился перед небольшим песчаным холмом, покрытым кустами можжевельника и папоротника.

— Вот здесь,— сказал он,— я желаю, чтобы вы похоронили сына моего.

Носильщики снова остановились, снова поставили носилки, как перед воротами башни, а на них опустили гроб.

Граф посмотрел вокруг: он искал могильщика, но могильщик получил приказание священника Пеноеля не сопровождать похоронное шествие.

— Гервей,— сказал граф,— принеси две лопаты.

Пять или шесть крестьян бросились к замку.

Граф остановил их повелительным движением руки.

— Пусть Гервей исполнит мое приказание.

Крестьяне остановились; Гервей, насколько позволяли ему старые ноги, быстро спустился с утеса и скрылся в брешь уцелевшей еще стены развалин.

Через минуту он возвратился с двумя лопатами. Крестьяне хотели взять их.

— Благодарю вас, дети,— сказал старик граф.— Это дело наше: мое и Гервея.

Он взял одну из лопат из рук старого слуги.

— Итак, мой добрый Гервей, приготовим последнее ложе для последнего графа Пеноеля.

И он принялся рыть землю.

Гервей последовал примеру своего господина.

Никто из присутствующих не мог удержаться от слез, видя этих двух старцев с седыми развевающимися волосами, готовивших могилу для человека, которого один произвел на свет, а другой качал на руках своих.

Доминик, блуждая взором в бесконечном пространстве между небом и океаном, скрестив руки на груди, неподвижный, безгласный, без слез и вздохов стоял будто в каком-то эстазе.

Прекрасный монах, облаченный в свою странную одежду, казалось, находился тут, чтобы дополнить живописную и поэтическую драму, в которой милосердный Бог повелел ему играть столь необычную роль.

Выкапывание могилы в мягкой почве не представляло больших затруднений, вскоре она достигла пяти или шести футов глубины.

Один из носильщиков имел при себе веревки: их продели под гроб, который затем спустили в могилу.

Нужно было найти святой воды.

Доминик заметил в расселине соседнего утеса резервуар чистой, прозрачной воды. Он подошел к утесу, прочитал над небольшим бассейном священные слова, сломал ветку сосны и сделал из нее кропило, обмакнув ветвь в воду, он подошел к могиле, окропил гроб, сказав:

— Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа я благословляю тебя, брат мой, призывая на тебя прощение и благословение Бога Всепрощающего.

— Аминь!— словно выдохнули присутствующие.

— Господь, который знал твои намерения, один мог удержать руку твою и преклонить твою волю.

Господь не пожелал этого.

Да будет прощение и благословение Его над тобою, брат мой!

— Аминь!— еще раз ответили хором присутствующие.

Монах продолжал:

— Я знал тебя на земле; я могу засвидетельствовать перед этими добрыми людьми, твоими земляками, что ты ничего не сделал дурного, чтобы потерять их любовь. Ты был истым сыном Бретани, соединяя в себе все добродетели, которыми эта достойная мать наделяет детей своих. Ты отличался благородством, силой, великодушием, телесной красотой. Твоя роль в этой юдоли страданий была сыграна и, несмотря на юный возраст, вся твоя жизнь была жертвой, как твоя смерть — мученичеством. Итак, я благословляю тебя, мой брат, и молю Господа, чтобы и Он ниспослал на тебя свое благословение.

— Аминь! — сказала толпа.

Аббат снова покропил сосновой ветвью и передал ее графу Пеноелю.

Граф, стоя на краю могилы, принял ветвь из рук монаха, бросил вокруг себя взор, полный скорби, гордости и презрения, потом голосом, вначале глухим, но постепенно становившимся звучным, заговорил:

— О, мои доблестные предки! Вы, которые обагрили своей благородной кровью каждую песчинку этих утесов, что сказали бы вы об этом? Стоит ли происходить из племени победителей, стоило ли брать Иеруса

лим с Готфридом Бульонским, Константинополь с Бодуином, Дамиетту с Людовиком Святым; стоило ли усеивать вашими телами путь, ведущий к Голгофе, чтобы христианские священники отказали вашему последнему потомку в христианском погребении?.. О, мои предки! Подобно тенисту вековому дубу, осенили вы своими добродетелями всю Бретань,— и вот вашему последнему отпрыску отказывают в клочке земли, которую вы защищали! О, мои предки! Не достойно ли великой скорби и глубокой жалости, что этому благородному юноше, моему единственному и возлюбленному сыну, воспрещают вход в его фамильный склеп, в то время, как всепрощающий Господь, менее строгий, чем люди, не откажет, может быть, отворить ему двери рая? О, мои предки! Я к вам обращаюсь! Решите вы, достоин ли этот последний из Пеноелей покоиться рядом с прочими членами нашего семейства? Соберитесь на совет, царственные, светлые тени; в горных просторах, где обитаете вы, назовитесь по именам, начиная от Коломбо Сильного, убитого в равнинах Пуатье в сражении с сарацинами в 732 году, до Коломбо Благородного, который в 1793 году сложил голову на эшафоте и умер, восклицая: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!». Соберитесь и судите его, так как вы единственные судьи, которых я признаю. Судите того, которому я только что вырыл могилу и чей гроб только что предал земле, орошая его небесной водой, сохраненной Господом в небольшой скалистой трещине! Я не судья ему — я его отец, который ему прощает и благословляет его!..

И сказав эти слова, он еще раз потряс сосновой ветвью, которую хотел передать Гервею, но это уже было выше сил его. Лицо его покрылось смертельной бледностью, голос остановился в горле и потом разразился раздирающим криком. Старик упал на песок, точно дуб, сраженный молнией...

## IX

### ПОХОРОННЫЙ ОБЕД

Спустя четверть часа после описанной нами сцены Гервей ввел всех сопровождающих похоронное шествие в зал — огромную круглую комнату, украшенную цветами, где в полумраке поблескивали гербы, латы, знамена и шпаги старых владельцев Пеноеля.

Одного только монаха не доставало. Понятно, что он остался со старым графом не столько для того, чтобы утешить его, сколько с намерением рассказать ему о смерти Колумбо со всеми мельчайшими подробностями, которых тот еще не знал.

Крестьяне разместились вдоль стен. Разговор сначала вели тихими голосами, затем шум стал все более и более нарастать. Наконец, самый старший из них, седовласый старец, который насчитывал не менее девяноста лет и который помнил пятерых последних графов Пеноель, начал рассказывать слышанное им от своих предков о том, что эти предки слышали от своих отцов, то есть о подвигах последних десяти графов. За ним вступила в свою очередь старая женщина со своим рассказом: и как старик говорил о доблестях графов, так она восхваляла добродетель графинь.

Так, в ожидании господина, каждый старался воздать торжественно хвалу этому величественному прошлому, насчитывавшему десять веков. И каждый рассказ, как электрическая машина, вызывал искру из сердец, слезы — из глаз присутствовавших. Старый Гервей переходил от одного к другому, пожимал руки гостям и, соединяя вместе различные случаи, рассказывал, в свою очередь, легенды, слышанные им от стариков, и то, чему сам был очевидцем. Но когда дошел он до рассказа о своем молодом господине, начиная с его первого лепета и кончая последним вздохом, — о нежном, светлом детстве, бодрой юности несчастного Колумбо, — со всех концов зала посылались рыдания.

Еще так недавно был он в Пеноеле, еще так недавно его все видели, раскланивались с ним, пожимали ему руку, разговаривали! Правда, всем он показался необыкновенно печальным. Но как далеки были эти добрые люди от мысли, что эта печаль была предвестницей смерти!

Исчезают с лица земли эти древние роды высоких, широкоплечих графов с выгнутыми от постоянной верховой езды ногами, головами, вросшими в плечи от тяжелых шлемов, которые покрывали головы предков. Но одновременно исчезает и порода старых, преданных слуг, которые родятся при деде и умирают, служа внуку. Имея таких слуг, человек, сопровождая в могилу свою супругу, не оставлял сына круглым сиротой на белом свете.

Уважение к покойному старцу переходило в виде сердечной любви к внуку — сироте. Мне часто случалось

слышать, как теперешнее поколение глумится над почти-тельной нежностью старых слуг, над беспредельной преданностью старых служителей, которая, по их убеждению, встречается разве что на театральных подмостках. Разумеется, они отчасти правы: общество, созданное десятию революциями, через которые мы прошли, неспособно быть хранилищем подобных добродетелей. Но, может быть, в этом случае господа не менее виновны в утрате слугами высоких нравственных качеств. Эта верность могла быть названа собачьей верностью: старые господа были строги, но ласкали. Теперь все вежливы, но никто не ласкает: слуге только платят жалованье, и слуга кое-как служит господину.

О! Старые псы и старые слуги! Они остаются все-таки лучшими друзьями в несчастные дни! Какой друг может заменить собаку в минуту печали, собаку, которая садится перед нами, смотрит нам в глаза, визжит, лижет нам руки? Представьте себе на месте этой собаки, которая так хорошо вас понимает, вашего друга, вашего лучшего друга. И чего только не придется вам от него услышать: и неприменимые нигде советы, и бесконечные рассуждения, и упрямые доказательства! В самом сердечном бескорыстном участии друга к вашей скорби всегда чувствуется маленький оттенок эгоизма; на вашем месте он поступил бы иначе: он бы выждал, сопротивлялся, не допустил бы, одним словом, он повел бы дело не так, как повели вы его. Он обвиняет вас и, желая вас утешить,— только порицает вас.

Старые псы и старые слуги, как верное эхо ваших сокровеннейших страданий, повторяют их, не рассуждая,— смеются и плачут, наслаждаются и страдают с вами и совершенно так же, как и вы,— и вам никогда не удастся подметить никакой посторонней примеси в их улыбке или слезах.

Сегодняшнее поколение отрицает их существование, следующее — не будет знать их даже понаслышке.

Бедный Гервей не только отличался верностью и преданностью тех собак, сравнение с которыми делает некоторым людям честь, но имел и все их способности.

Он услышал и узнал шаги своего господина, которые глухо раздавались на ступенях лестницы, подбежал к двери и открыл ее.

Граф, бледный, с лицом, носившим следы обильных слез, которые он пролил, придя в чувство, твердый и спокойный, показался на пороге.

Аббат Доминик вошел вслед за графом.

Старик поклонился собранию крестьян, как будто перед ним стояли принцы крови.

— Последние друзья моего сына, которые проводили в могилу имя Пеноелей,— сказал он,— я сожалею, что не могу принять вас достойнее в замке моих отцов. Мы, Гервей и я, были так опечалены, что не приготовили достаточно для вашего угощения. Во всяком случае, я прошу вас войти в столовую и, следуя обычаю нашей старой Бретани, принять с чистым сердцем, как я вам и предлагаю, похоронный обед.

Затем, пройдя твердым шагом через зал и приказав Гервею открыть дверь, находящуюся против той, в которую он только что вошел, граф пригласил всех присутствовавших, начиная от мызника и кончая пастухом, войти в столовую.

Огромные дубовые доски, положенные на козлы, составили гигантский стол, на котором был расставлен поистине грандиозный обед. За столом не было ни более, ни менее почетных мест. Видно было, что смерть уравнила всех в этом зале.

Старый граф поместился посреди стола и сделал знак Доминику занять место напротив него.

Старики разместились по его левую и правую сторону, и каждый по возрасту занял свое место, хотя все продолжали стоять.

Аббат Доминик прочитал посреди глубокой тишины молитву «Благословен», которую хором повторили за ним все присутствующие.

Тогда граф Пеноель сказал с истинно античной простотой:

— Друзья мои, примите участие в этом угощении в честь виконта Пеноеля, как будто он лично вам его предлагает.

И протянув стакан Гервею, который наполнил его вином, граф поднял его высоко над головами гостей и громко сказал:

— Я пью за упокой души виконта Коломбо Пеноеля!  
Все повторили хором:

— Мы пьем за упокой души виконта Пеноеля!

Обед начался.

На человека, незнакомого с этим древним обычаем, сохранившимся не только в Бретани, но и во многих других провинциях Франции, поминальный обед не может не произвести самого трогательного впечатления. Могу-

чая покорность судьбе, в которую в этом случае, как в броню, облекается семейство покойного,— действительно непостижима. Трудно понять, как семейство покойного, имея возможность в уединении оплакать свое страшное горе, по собственному желанию подвергается жестокой пытке,— сдерживать свои слезы и тяжкое биение своего надорванного сердца, а между тем число этих добровольных мучеников очень велико. В Бретани же похоронные трапезы, эти остатки варварства, трудно объяснимые и в более отдаленные эпохи,— до такой степени уважаются, что, пожалуй, непрощенные советчики, которые пожелали бы доказывать несчастным семействам жестокость этих обычаев, были бы приняты не совсем дружелюбно.

По окончании обеда аббат Доминик прочел благодарственную молитву, и гости встали из-за стола.

Граф Пеноель приблизился к двери, которую Гервей, разумеется, обедавший со всеми вместе, широко отворил. Остановившись в дверях, граф прислонился к притолоке, и когда первый крестьянин вышел из зала и пошел мимо него, он сказал ему, наклоня голову, с видом признательности:

— Я благодарю тебя, что ты проводил сына моего до могилы.

И делал так до последнего гостя.

Последним вышел аббат Доминик.

Граф Пеноель поклонился и ему, как и другим гостям, но, сделав это, он положил руку на плечо монаха, устремил на него умоляющий взор и произнес только два слова:

— Отец мой!..

Монах понял не столько слова, сколько сам взгляд.

— Я буду иметь честь остаться с вами, если вы этого желаете, граф,— сказал Доминик.

— Благодарю вас, отец мой,— отвечал старый граф, который, простясь движением руки с прочими гостями, в сопровождении Гервея увлек за собой монаха в комнату, имевшую вид рабочего кабинета и спальни.

Предложив стул аббату и расположившись возле него, он сказал:

— Это была его комната, когда он приезжал сюда... Она будет вашей на все время, которое вы пожелаете провести в Пеноеле.



## X СВЯТЫНЯ ОТЦА

Может быть, рассказчик на нашем месте попытался бы изобразить то, что произошло между отцом, оплакивавшим своего единственного сына, и монахом, который пришел рассказать ему о последних минутах этого сына. Сохрани нас Бог, братья за такую невыполнимую задачу — изобразить печаль отца, потерявшего единственного сына, или сына, потерявшего своего отца.

Выслушав повествование о последних минутах Коломбо, граф Пеноель, несмотря на просьбы монаха отвести ему другую комнату замка, поместил Доминика в комнате своего сына и удалился, желая дать ему отдохнуть после нелегкого путешествия.

На другой день монах, боясь увеличить печаль несчастного отца своим видом, сказал графу, что желает уехать в тот же день.

— Это в вашей воле, отец мой, — отвечал граф. — Вы так много для меня сделали, что я не смею просить более. Но если ничто особенное не требует вашего присутствия в Париже, я просил бы вас провести со мной еще несколько дней: присутствие друга моего сына может только облегчить мои страдания, если это вообще возможно.

— Я останусь с вами, граф, — сказал аббат, — сколько вам будет угодно.

Так прожили они вместе целый месяц.

Как же проводили они свои дни?

Так же, как проходил каждый предыдущий: в разговорах о Коломбо, в созерцании неба и необозримого пространства океана, обмениваясь мыслями о тайнах земли и неба. Изображение одного из таких дней опишет их все.

Утром граф приходил к аббату, молча протягивал ему руку, садился на большую дубовую скамью с резной спинкой и показывал своей длинной, бледной рукой на волны, которые поднимались на синей равнине океана.

— Он обыкновенно садился здесь, — шептал бедный отец, постоянно занятый одной и той же мыслью, — и с этого самого места, где я сижу, взор его уходил к горизонту, туда, куда теперь стремится мой. Он лучше понимал величие Бога на виду этого громадного моря, часто брал он глобус, ставил его на подоконник, и, пе-

реходя от океана к земле и от земли к небесам, его взор пытался пронзить густую пелену, которую Господь, усеяв бесчисленными звездами, простер между землею и им... Посмотрите, отец мой, — продолжал граф, не оставляя своего места и показывая пальцем инструмент, — вот его небесный глобус. Я вижу еще его блуждающую руку на этих неведомых мирах...

Вот его книги по юриспруденции, медицине, физике, химии, ботанике... Вот его ружье, его карабин, его рапиры... Вот его картонажи\*, его фортепиано, его Вергилий, его Гомер, Дант, Шекспир, его Библия... Потому что Колумбо восхищался всем, что было прекрасно, уважал все великое, где бы ни находил его! Не правда ли, когда осматриваешь эту комнату, так и кажется, что вот-вот он войдет, улыбнется нам, сядет здесь и будет с нами беседовать!

Старик опустил голову на руки и добавил, как бы говоря сам с собою:

— В одну из последних ночей, проведенных им здесь, — то была бурная ночь, — в воздухе была нестерпимая духота. Я не мог дышать в моей комнате, мне было тяжело и грустно, как будто какая-то зловещая птица носилась вокруг моей головы. Заметив свет в его окне, я удивился, что он не спал до трех часов ночи, и отправился к нему. Знаете ли, чем он занимался? Он изучал новый язык — еврейский. Это была необыкновенная организация, высокий оригинальный ум. У других людей есть свои собственные стремления, так сказать, своя специализация в той или другой науке, в том или другом учении. Он же желал все узнать, все изучить, у него была способность все исследовать и все усвоить. Не думайте, что меня ослепляет моя любовь к нему, не отеческая гордость заставляет меня так говорить. Спросите тех, которые его знали, его учителей, его товарищей. Впрочем, вы сами можете это засвидетельствовать, — я все забываю, что он был вашим другом. И когда подумаешь, что несколько фунтов углей, неодушевленного вещества, — разбили этого человека, сотворенного по подобию Божию! Немножко дыма! Неужели это возможно, и не походит ли это на ужасную насмешку?!

Доминик встал, подошел к графу и молча протянул ему руку.

— О чем говорили вы, когда вы были вместе? — спросил несчастный отец.

---

\* Картонажи — мелкие изделия из картона

- О Боге и о вас.
- Обо мне?
- Он вас так глубоко любил.
- Он любил женщину сильнее меня, если его любовь ко мне не воспрепятствовала ему умереть ради этой женщины.

Потом он опять начал говорить сам с собой.

— Да, таков закон экономии Вселенной. Надобно, чтобы молодой человек любил более жену, которая произведет на свет его детей, чем родителей, давших ему жизнь. Господь не сказал ли жене: «Ты оставишь отца и мать и последуешь за мужем?» Он оставил нас, чтобы следовать за женщиной, и женщина привела его в неизвестную страну, называемую смертью.

— Вы его там встретите, граф.

— Вы думаете, отец мой? — спросил граф, устремив свой пронзительный взор на Доминика.

— Я надеюсь, граф! — ответил монах.

— Вы освободили его от тяжкого греха совершенного преступления, не правда ли?

— От всего моего сердца!

— Ваше разрешение заставляет меня страшиться за других отцов. Какая страшная поблажка к самоубийству, если самоубийство может найти прощение!

— О, граф, смерть вашего сына не самоубийство, а скорее мученичество... Тот, кто для спасения своего отечества бросается в пропасть, может ли быть назван самоубийцей? Настанет, граф, день, когда общества, лучше устроенные, в состоянии будут хладнокровно судить общественные и личные преступления. Настанет день, когда уголовный кодекс, творение рук человеческих, будет согласовываться с заветами, идущими от Бога. Человек, которого мы оплакиваем, граф, вы как отец, я как брат, принял смерть в силу такого небесного предопределения, которое шло вразрез с нравами варварского общества. Человек, считавшийся его другом, коварно обманул его! Если бы закон наказывал ложь, честные люди не искали бы выхода в смерти.

— Благодарю вас, отец мой! — сказал граф, — благодарю за доброе слово. Оно дает мне надежду, что я соединюсь с ним в вечности, если и расстался с ним на время.

— Пойдем к нему, — добавил он, вставая со своего места. Печальные собеседники вышли из замка и направились к могиле Коломбо. Монах заметил, что граф из-

брал это место для того, чтобы постоянно видеть могилу из окна своей комнаты. Открытое окно говорило ему, что граф приветствовал уже могилу сына, прежде чем пришел к Доминику.

Оба сели на утес, где Доминик почерпнул воды для окропления гроба.

Несколько минут прошло в молчании.

— Итак,— сказал граф, как будто он хотел продолжать начатый разговор,— вы твердо верите в будущую жизнь?

Монах отломил ветку старого дуба, сорвал почку, которая казалась совершенно умершей, и, раскрыв ее, показал графу находившийся в середине свежий, молодой росток.

— Да, я понимаю,— сказал граф,— сама смерть носит в себе зародыш жизни. Но в почке вы показываете мне только временную смерть, то есть сон. Дерево, которое живет триста лет,— имеет свой конец, подобно человеку. Зима — это не смерть природы, это только сон.

— Однако,— ответил Доминик,— дерево прозябает, а не живет. Оно не говорит, не думает, у него нет души.

Граф не отвечал.

В комнате Коломбо его рука остановилась на книге и по рассеянности, а может быть, и нарочно он унес ее с собой. Это был том творений великого философа, которого звали Шекспиром. Он открыл его и вначале стал читать тихо, потом громким голосом.

Ему выпал стих короля Лира, и, без сомнения, он нашел в нем печальную, хотя отдаленную и неточную аналогию со скорбью своего собственного сердца. «Тот, чья душа наполнена великой скорбью, почти нечувствителен к легкому страданию. Если кровожадный зверь тебя преследует, ты побежишь от него; но если на твоём бегу ты встретишь бушующее море, то возвратишься назад и встретишь лицом к лицу кровожадного зверя. Когда душа свободна, тело нежно и чувствительно к печали».

И как будто для того, чтобы подкрепить примером только что высказанное, холодный порыв ветра с такой силой вдруг охватил графа и Доминика, будто желал оледенить слова, скользившие с уст графа, и слезы, текущие из глаз монаха.

Молодой человек почувствовал, как дрожь пробежала по его телу, и предложил графу возвратиться домой.

Но старик как будто хотел доказать вместе с Шек-

спиром, что великие страдания души заглушают чувствительность тела. Он оставался недвижимым, продолжая чтение звонким голосом.

Сидя на берегу моря, которое, вздымаясь, с ревом разбивало свои волны у его ног, граф действительно походил на этого гиганта скорби, которого называют королем Лиром. Его развевающиеся волосы дополняли сходство, только один оплакивал неблагодарность своих дочерей, другой — смерть своего сына.

Отцы должны решить: легче ли оплакивать умершее дитя, чем дитя неблагодарное.

Граф дочитал, наконец, до скорбных жалоб и до темного проклятия, которое английский Эсхил вложил в уста отцу Гонерильи, Реганы и Корделии:

«Бушуйте, яростные порывы ветра! Бури, разразитесь во всем своем ужасе! Водопады, ливни, залейте ледяными потоками землю, погребите под своими водами наши башни и высокие колокольни! Молния быстрая, как мысль, сожги мои седины! Неумолимые громы, которые колеблете земной шар на своей оси, раздавите Вселенную! Разбейте земные образы, уничтожьте зачаток, который производит неблагодарного человека! Истощите ваше чрево, грозы, вылейтесь в потоках, разразитесь пламенем, громом и вихрями. Вы не дети мои, я не обвиняю вас в неблагодарности, вы не обязаны повиноваться мне. Испробуйте же на мне, по вашей воле, силу ваших жестоких забав! Вот я ваш невольник и раб, бедный, слабый старик, согбенный под бременем презрения и недугов. А между тем я имею право назвать вас презренными слугами, так как вы с высоты небес соединяетесь с моими неблагодарными детьми, объявляете им войну и избираете мишенью для ударов дряхлую голову, покрытую сединами. О, с вашей стороны это постыдная слабость!»

Лицо и движения графа Пеноеля согласовались с лицом и движениями короля Лира. Подобно древнему несчастливцу, он рвал на себе волосы, а порывы ветра, бушевавшего на безбрежном океане, развевали их, словно снежные хлопья по воздуху.

В другие дни, когда утренние туманы или ночные грозы не позволяли идти на утес по пробитой тропинке на морском берегу, тогда граф в сопровождении Доминика взбирался на площадку, где он ожидал тела своего сына, или на самую верхушку башни, в комнату, где во времена войн провинций или владетельных рыца-

рей между собой помещались обыкновенно сторожевые посты.

Там, подобно Приаму, который с высоких башен Трои смотрел, как Ахилл влек тело Гектора вокруг могилы Патрокла, — граф звал своего сына, повторяя жалобы, вложенные божественным Гомером в уста старого царя.

«Приам Великий вошел никем незамечен и, приближаясь к герою, обнял руками его колена, облобызал грозную руку, убившую стольких его сыновей. Если человек, убивший другого человека и преследуемый судьбой, которая гонит его из земли отцов в чужую страну, находит приют в доме богача, все встречающие его останавливаются, пораженные удивлением; так и Ахилл был поражен, видя Приама, который подобно некоему богу, явился перед ним; не менее удивлены были все присутствовавшие в шатре Ахилла.

Тогда Приам с умоляющим видом обратился к нему с речью:

— Ахилл, равный богам, вспомни об отце своем; он должен быть моих лет и подобно мне стоит на рубеже земной жизни. Может статься, что соседи-враги досаждают ему и у него нет человека, чтобы отогнать от него смерть и войну, но ему остается утешение: получая от тебя вести, он знает, что ты жив, а потому может надеяться увидеть своего дорого сына по возвращении из-под Трои. Но я, — я совершенно несчастлив, потому что дал жизнь стольким храбрым сыновьям, и ни один не остался жив мне на утешение. У меня их было пятьдесят, когда пришли ахейцы: девятнадцать были рождены одной матерью, а другие мои жены дали жизнь остальным детям в моих дворцах... Пылкий Марс сразил их, а того, который остался при мне и защищал город и нас, ты убил в ту самую минуту, когда он сражался за отчизну... Бедный Гектор!

— А я прихожу теперь к тебе, к самым кораблям ахейцев, чтобы выкупить его у тебя, и приношу тебе богатые дары. Почитай богов, Ахилл, и сжался надо мною, и, вспоминая о твоём отце, подумай, насколько я более достоин сожаления, потому что я перенес столько горя, сколько не выпадало еще на долю другого смертного, — я должен простирать руку к человеку, убившему моего сына!»

В другое время бедному отцу приходила на мысль десятая песнь Данте.

Но из теней, увиденных им в десятой песне, его занимал не Фарината Уберти, более мучимый скорбью своих близких, чем огненной постелью, на которой он страдал. Нет! Графа увлекала трепетная фигура Кавальканти, этой тени отца, который рядом с Данте отыскивал своего сына.

И на языке, на котором была написана эта песнь, граф произнес прекрасные стихи флорентийского изгнанника:

«Тогда из открытой им могилы показалась голова другой тени, которая будто стояла на коленях.

Призрак повел вдруг глазами, будто искал кого-то, и, когда надежда его обманула, он сказал им со слезами:

— Могущество гения открыло тебе эту ужасную темницу.

Где сын мой и отчего не вижу я его возле тебя?

Я отвечал ему:

— Я пришел не своею сюда участью. Мудрец, который ведет меня, возле нас. Может быть, твой сын пренебрег советами великого учителя?

Слова призрака и род его казни достаточно объяснили мне его имя. Мой ответ был дан с точностью.

Но, выпрямясь вдруг, призрак сказал:

— Как сказал ты? «Пренебрег?» Разве он перестал существовать, и луч дневного света не радуется более его взору?

И так как я не отвечал, он упал в гроб и не показывался более».

И качая печально головой, старый граф, хорошо понимая, что значит страдать, говорил:

— Этот страдал более всех, потому что страдал тихо, не жалуясь.

Аббат, словно отец, направляющий шаги слепого ребенка, заботился и направлял скорбь старика на стезю покорности воле Божьей.

Мы сказали, что нравственное выздоровление, которым отец Коломбо обязан был заботам Доминика, длилось почти месяц.

Время приближалось к середине марта, как вдруг однажды утром, не дожидаясь часа, когда граф обыкновенно приходил к Доминику, аббат явился к нему сам.

Он держал в руках письмо, на лице его были одновременно написаны радость и беспокойство.

— Граф,— сказал он,— пока ничего важного не призывало меня в Париж, я оставался с вами, но теперь я должен вас оставить.

— Непременно? — спросил граф.

— Вот письмо моего отца, который возвещает мне свой приезд в Париж, — а я более восьми лет не видел своего отца.

— Ваш отец, Доминик, счастлив, имея такого сына! Поезжайте, друг мой, я вас не задерживаю.

Но аббат, рассчитав время отправления письма и вероятного приезда отца в Париж, решился пробыть еще двадцать четыре часа с графом и уехать только на другой день.

День прошел, как все предшествовавшие дни, только еще более усилилась печаль.

Последний вечер провели в комнате Коломбо.

Переговорили опять все то, что было говорено в продолжении этого месяца, который бедный отец желал бы сделать вечным.

Граф убеждал Доминика приехать к нему, как только он будет свободен. Аббат обещал графу исполнить его приглашение. Он обещал ему, впрочем, тотчас по приезде в Париж написать, надеясь, что эта корреспонденция будет столь же приятна отцу, сколько и другу.

Так беседовали они далеко за полночь, мало заботясь о проходящем времени.

Доминик в десятый раз рассказал графу Пеноелю, по какому случаю он познакомился с его сыном. Он описал ему с малейшими подробностями жизнь Коломбо в Париже. Убеждаемый графом продолжать, он дошел, наконец, до главной причины трагической смерти молодого человека и остановился в нерешительности.

— Продолжайте, — сказал граф.

Но говорить отцу о женщине, которая была причиной смерти его сына, — подобного предмета затрагивать еще не приходилось Доминику, если бы отец и потребовал этого, то и тогда это была бы нелегкая задача. Совершенно понятно, почему слова не хотели сойти с языка Доминика.

— Продолжайте, мой друг, — повторил граф твердым голосом.

— Вы желаете, чтобы я вам рассказал о ней? — спросил священник.

— Да!.. Я желал бы знать, кто была молодая девушка, которую любил мой сын?

— Святая, пока он жил, мученица с тех пор, как его не стало.

— Вы знавали ее, мой друг?



— Настолько же, насколько я знал Коломбо.

Тогда он рассказал о любви Кармелиты к ее матери; как прислали за ним, боясь, чтобы мать, которая умерла без покаяния, не была лишена погребения; как Коломбо познакомился с Кармелитой во время похоронного бдения при покойнице. Затем рассказал о приезде Камилла, жизни трех друзей, об отъезде Коломбо, его возвращении, отсутствии Камилла, долгом ожидании Кармелиты, любви молодых людей во время отсутствия Камилла, письме, возвещавшем возвращение креола, и потом о страшной катастрофе, в которой один погиб, а другая осталась в живых.

Граф слушал рассказ, сидя неподвижно со скрещенными руками, с закинутой назад головой и глазами, устремленными в потолок. Время от времени тихая слеза катилась по бледным щекам старика.

Когда Доминик кончил, граф сказал:

— Как были бы они счастливы возле меня, в этой старой Пеноельской башне! — и добавил еще со вздохом:

— И я, — как был бы я счастлив с ними!

— Граф, — решился спросить Доминик, видя старика в этом настроении духа или, скорей, сердца, — не позволено ли мне будет отвезти прощение несчастной Кармелите от отца Коломбо?

Граф вздрогнул и с минуту оставался в нерешительности.

— Да простит Господь этой молодой девушке, как я ей прощаю! — сказал он, поднимая руки к небу с необыкновенным выражением молитвы.

Сказав эти слова, он встал и свойственным ему твердым, ровным шагом подошел к конторке.

Комната, в которой догорала лампа, находилась почти во мраке. Старик пошарил с минуту, отыскивая ключ, нашел его, наконец, открыл конторку, выдвинул ящик, опустил туда руку с уверенностью человека, знающего, где что лежит. Он вынул оттуда пакет, завернутый в лист шелковой бумаги, подошел к аббату и в то же время к лампе.

Аббат протянул ему руку.

— Благодарю, благодарю вас за прощение, дарованное бедной женщине. Ваше прощение даст ей жизнь.

— Недостаточно, отец мой, простить этой юной девушке, — отвечал старик. — Я думаю с ужасом о ее отчаянии, когда она пережила его. Я сочувствую ей от всего моего сердца и обещаю вам молиться о ней каж-

дый раз, когда я буду о нем молиться. Наконец, на память этой женщине, которую избрал мой сын, я даю единственное сокровище, оставшееся мне на этом свете, я посылаю ей локон белокурых волос, срезанных его матерью в день его рождения.

При этих словах он развернул бумагу, взял перо и написал:

*«Прощение и благословение женщине, которую любил мой сын Коломбо».*

И подписал: *«Граф Пеноель».*

Потом он поднес локон к своим губам, целовал его долго и нежно и отдал бумагу монаху.

Доминик плакал и не пытался скрыть своих слез; это не были слезы печали, но, скорее, удивления. Он удивился величию этого отца, который отказывался от драгоценнейшей своей святыни в пользу женщины, которая довела до смерти его сына.

На другой день два друга, посетив на рассвете в последний раз вместе могилу Коломбо, крепко обнялись, обещая друг другу скорое свидание. Они не могли предвидеть, что им суждено будет встретиться только на небесах...

## XI

### АНГЕЛ-УТЕШИТЕЛЬ

Оставим старого графа сидеть с поникшей головой на могиле своего сына и возвратимся к бедной Кармелите.

Квартира, которую она занимала на улице Турнон, состояла из трех комнат, как и ее прежнее жилье на улице Сен-Жак. Мы говорили уже, что квартира была убрана и меблирована тремя подругами: Региной, госпожой Маран и Фражолой. Особо деятельное участие в устройстве спальни Кармелиты приняла Фражола. Она лучше других знала характер Кармелиты и указала на необходимые условия комфорта, сообразные с ее привычками и вкусами.

В этой спальне были размещены все предметы, украшавшие павильон Коломбо, и прежде всего — фортепиано, у которого они с Кармелитой пели последнюю арию — эту лебединую песнь, которая должна была предвещать смерть двух влюбленных, на самом же деле за ней последовала смерть только одного из них.

Две подруги Кармелиты, Регина и госпожа Маран, хотели воспрепятствовать перенесению мебели из квартиры Коломбо в комнату Кармелиты, Фражола понял их опасения, но настояла на своем.

— Да, несомненно, милые сестры,— сказала она,— если бы речь шла не о Кармелите, то моя просьба могла бы показаться жестокой и опрометчивой. Женщина, любившая Коломбо обыкновенной любовью, сначала нашла бы, может быть, утешение в возможности жить окруженной воспоминаниями об этой любви, но потом, когда всеврачующее время утешило бы первые порывы скорби, эти предметы вместо утешения стали бы приносить ей скуку, утомление и, наконец, они превратились бы для совершенно исцеленной от своей страсти женщины в олицетворенный упрек. Но будьте уверены, милые подруги, я знаю Кармелиту, она не такова: ее печаль будет бесконечна, как и ее любовь, и эта комната превратится в скинию, где будет жить, как в святом ковчеге, память о Коломбо. Сделайте так, как я вам говорю, и через десять лет Кармелита поблагодарит вас.

Фражола занималась спальней и в отделку других комнат не пожелала вмешиваться. А потому вместо пестрых и светлых занавесок и обоев, которыми Камилл покрыл окна и стены маленького домика в Медоне, Регина убрала все со строгой простотой, это стал уют скорее вдовы, чем веселое убежище девушки: все убранство было выдержано в темных тонах. Войдя в эту маленькую печальную квартиру, Кармелита почувствовала неизъяснимую грусть, но сердце ее радо было этому чувству,— в противоположность ощущениям Розы, которая считала себя счастливой, перейдя из своей темной мансарды на Кишечной улице в маленький рай на улице Ульм.

В минуту, когда начинается эта глава, Кармелита, все еще бледная,— она сохранила эту бледность до смерти,— все еще слабая, лежала на длинном диване и смотрела печальным взором на молодую особу, которая сидела возле нее на высоком табурете и кончала рассказ какой-то грустной истории.

Это была Фражола.

Читатель, конечно, помнит, что это милое дитя выпросило у Сальватора позволение ничего не скрывать от Кармелиты, на что Сальватор охотно согласился.

Вот что сказала себе Фражола, вдохновленная порывами сердца, которые подняли ее до прозрения:

— Может быть, Кармелита поправится когда-нибудь телом, но душа ее останется навсегда убитой. Говорят, что есть новая наука, называемая гомеопатией, эта наука учит врачевать недуги, выгоняя, так сказать, клин клином. Рассказывая Кармелите историю, может быть, еще более печальную, чем была ее собственная, может статься, я помогу ей. Кармелита, это золотое сердце, эта ангельская душа, способная все понимать и всему сочувствовать, перестанет проливать слезы, когда я скажу ей: «Милая сестра, довольно плакать, полно сокрушаться. Если ты прольешь все твои слезы на твои собственные страдания, что же останется у тебя на долю чужих страданий? Неужели ты думаешь, что ты одна несчастна на земле? Разве тебе не известны такие бесконечно глубокие страдания, что глаза закрываются от головокружения, вызванного одним лишь взглядом на них? И я, которая говорю с тобою, я знавала лица, изборожденные так слезами, как весенние потоки бороздят рыхлую землю. Но я знавала также бодрые души в слабых телах, которые вместо того, чтобы проливать слезы, осушали слезы других, которые не искали смерти, а боролись».

Бедная Фражола, испытавшая столько горя, несмотря на свои восемнадцать лет, рассказала Кармелите о своей собственной жизни, о жизни, исполненной страданий, лишенной покоя и отрады, которая изменилась только в тот день, когда она причалила к тихой гавани улицы Макон и попала под живительное дыхание любви Сальватора.

Кармелита слушала, плакала, содрогалась.

— О, милая сестра,— сказала она в состоянии глубокого волнения,— ты тоже много и жестоко страдала. Обними меня, соединим слезы нашей юности, как мы когда-то делили радости нашего детства.

Тогда Фражола бросилась в объятия своей подруги, и обе девушки, крепко прижавшись друг к другу, слили в долгом поцелуе свои страдания, и ангел-утешитель распростер над их головами белоснежные крылья.

Кармелита, несколько успокоившись, сказала после долгого молчания:

— Ты права, Фражола, поддаваться горю свойственно только слабым душам. Но такое, как у тебя, сердце только очищается и возрождается страданием. Благодарю, моя милая, за полезный урок. С этого часа я последую твоему примеру, и, как ты была спасена лю-

бовью от смерти, я хочу войти в жизнь стезею труда. Однажды он сказал мне, что я рождена быть великой артисткой. Я не хочу обмануть его ожиданий: язык моего Коломбо не мог лгать... Я буду великой артисткой, Фражола. Говорят, что порой великие страдания порождают гениев. Великие страдания посетили меня. Благодарение Богу, да будет Его святая воля! Я потребую от искусства таинственных и великих утешений. Не беспокойся же о моей жизни, милая сестра души моей. Я буду думать о тебе и буду сильной, буду думать о нем и буду великой.

— Хорошо, Кармелита! — сказала Фражола. — И будь уверена, что Господь даст тебе славу, если не дал счастья.

В ту самую минуту, когда Фражола произнесла эти слова, раздался в прихожей звонок. Хотя звук его был вовсе не страшным, бледность Кармелиты до такой степени усилилась, что Фражола вскрикнула от ужаса, полагая, что ее подруга упадет в обморок.

— Что с тобой? — спросила она.

— Не знаю, — ответила Кармелита, — но у меня было сейчас странное ощущение.

— Где?

— В самом сердце.

— Кармелита...

— Слушай: или я начинаю терять рассудок, или тот, кто позвонил, несет мне известие от Коломбо.

Горничная Кармелиты вошла в комнату.

— Сударыня, не угодно ли вам принять священника, который приехал из Бретани?

— Аббат Доминик! — вскричала Кармелита.

— Да, сударыня, он самый; только он запретил мне называть его по имени, боясь, чтобы оно не произвело на вас тяжелого впечатления.

Лоб Кармелиты покрылся холодным потом. Она судорожно сжала руку Фражолы.

— Итак, — спросила она, — что я тебе говорила?

— Успокойся, Кармелита, — сказала девушка, отирая ей лоб, — успокойся, моя милая сестра. Разве так возрождаются? Ты бледнеешь при одном имени аббата, а между тем, какое лучшее утешение могло быть тебе послано провидением. Оно приводит к тебе твоего старого друга!

— Ты права, Фражола, — согласилась Кармелита, — но посмотри теперь на меня: не правда ли, я сильна?

И повернувшись к своей горничной, она сказала:  
— Проси господина Доминика.

Аббат вошел.

Живописец написал бы прекрасную картину, если бы он мог схватить выражение этих трех лиц: священника, стоявшего в дверях с руками, простертыми над девушками, которые обняли друг друга.

— Мир вам, дорогие сестры! — сказал монах, обращаясь к девушкам, но склоняясь более в сторону Кармелиты с тем почтением, какое оказывают вдовам. Девушки, в свою очередь, ответили на поклон: Фражола — встав, Кармелита — наклонив голову, потому что бедняжка была еще так слаба, что не могла держаться на ногах.

Фражола придвинула кресло аббату. Он поблагодарил ее поклоном.

— Дорогая сестра, — сказал он, стоя перед Кармелитой, — я возвращаюсь из долгого и тяжелого путешествия: я приехал из замка Пеноель.

При этих словах щеки Кармелиты покрылись такой бледностью, что Фражола, упав перед нею на колени и сжимая в своих руках руки девушки, сказала:

— Дорогая моя, вспомни, что ты обещала.

— Из замка Пеноель, — шептала Кармелита. — Стало быть, вы видели графа?

— Да, моя сестра.

— О, несчастный, несчастный отец! — вскричала Кармелита, понимая, что и для другого сердца существовала скорбь такая же глубокая, как и ее собственная, а может стать, еще более сильная.

Священник угадал, что происходило в душе девушки и какой страх наполнял в эту минуту ее сердце.

— Граф Пеноель, — сказал он, — достойный и благородный отец. Он сочувствует вам, и я принес вам его благословение.

Кармелита вскрикнула, она собрала все свои силы, поднялась с дивана и, опустившись на колени, очутилась у ног аббата Доминика.

— Ах, отец мой! Отец мой! — повторяла она, утопая в слезах. — Он, значит, не проклял меня...

Она не могла сказать ничего более: ее глаза закрылись, лицо побледнело, как мрамор, руки вытянулись вдоль подушки, она опустила голову на руки, — казалось, с легким вздохом вылетела жизнь из этой слабой оболочки.

— Господи! — набожно воскликнул монах, испугавшись смертельной бледности лица девушки.— Неужели ты сделаешь раба своего снова вестником смерти?

У Фражолы были в запасе все медикаменты, необходимые в подобных случаях, так как обмороки Кармелиты были очень часты. Она дала ей понюхать спирту и, видя, что это средство недостаточно, потеряла ей виски укусом. Обморок продолжался, и ничто не указывало на то, что Кармелита сможет прийти в себя.

Фражола подошла к столу, она взяла там флакон, которым пользовалась в отчаянных случаях. Это была уксусная кислота, которой она обыкновенно растирала грудь своей подруги, когда обмороки были слишком продолжительны и принимали небезопасный характер.

— Отец мой,— сказала она монаху,— будьте так добры, перейдите в другую комнату.

— Я совсем удалюсь,— сказал Доминик.— Меня самого ждут дома, и я пришел прямо сюда с единственной целью исполнить обязанность, которую считал для себя священной. Позаботьтесь, чтобы она простила мне неловкость, с которой я передал ей слова отца моего друга.

И положив в руку Фражолы талисман, полученный им от графа Пеноеля, значение которого он вкратце объяснил девушке, Доминик оставил комнату.

Растирания произвели свое действие. Кармелита очнулась, открыла глаза и стала искать взором аббата Доминика.

— Где он? — спросила она удивленным тоном.— Неужели я видела его во сне?

— Нет,— сказала Фражола,— он был здесь.

— Доминик, не правда ли?

— Да.

— Куда же он делся?

— Ты потеряла сознание, и он ушел, не желая тебя беспокоить.

— О, как желала бы я его увидеть! — воскликнула Кармелита.

— Ты увидишься с ним только завтра, позже, когда у тебя будет достаточно сил слушать и отвечать.

— О, я сильна, я необыкновенно сильна! — вскричала Кармелита.— Вспомни только, что мне нужно задать ему бездну вопросов: он был с ним в последние минуты. Где он? Где его положили? Не правда ли, Фражола, мы поедem на его могилу?

— Да, моя милая, непременно, будь только спокойна.

— Кажется, он говорил мне, не правда ли, что его отец простил меня, что он меня даже благословил.

— Да, он тебя простил, да, он благословил тебя. Ты видишь, что Господь с тобою.

— О,— прошептала Кармелита, падая снова на диван,— отчего же я не с ним?

И, сложив руки, она стала молиться, но так тихо, что нельзя было разобрать произносимых ею слов.

— Вот это хорошо,— сказала Фражола,— молись, бедняжка, в молитве найдешь ты покой, утешение, силу. Молись, закрой свои прекрасные глаза и постарайся заснуть.

— Не думаю, чтобы я была в состоянии это сделать,— сказала Кармелита,— возьми мои руки.

— Они горят, как в огне.

— Мне кажется, что я не выдержу сейчас лихорадки, Фражола.

Фражола снова опустилась на колени перед Кармелитой и, взяв ее руки в свои, сказала:

— О, милая сестра, где же та сила, которой ты сейчас гордилась? Первое слово сломило тебя, как слабую тростинку, как нежный цветок. Ты не обманула меня, но ты обманываешь сама себя; ты далеко не была так сильна, как предполагала.

— Я приготовилась к страданию и горю, но не к радости, Фражола. Я сумела бы выдержать печаль,— радость сломила меня.

— Бедная подруга!

Кармелита сжала судорожно руки Фражолы.

— Обещал возвратиться, не правда ли?

— Да.

— Когда?

— Скоро, но...

— Что но?

— Чтобы ты ожидала с большим нетерпением его возвращения, он оставил кое-что для тебя...

— Что такое? Для меня? — вскричала Кармелита.— О, дай же скорее!

— Подожди немного,— сказала Фражола, обнимая шею Кармелиты, притягивая ее к себе и целуя.

— Зачем ждать, Фражола?

— Но,— сказала девушка,— потому что...

И она остановилась.

— Потому что...? — повторила Кармелита.



— Потому что это большая радость, и я хочу тебя к ней приготовить.

— Боже мой! Ты меня терзаешь.

— Чтобы потом тебя сильней обрадовать, милая сестра.

— Говори, говори скорей, я этого желаю! Что оставил для меня добрый Доминик?

— Подарок.

— Подарок мне? — спросила Кармелита с удивлением.

— Подарок, присланный тебе графом Пеноелем, драгоценный дар... сокровище!

И Фражола улыбалась улыбкой ангела после каждого слова.

— Фражола, я умоляю тебя, — сказала живо, почти нетерпеливо Кармелита, — отдай мне то, что тебе поручили передать.

— Позволь мне обходиться с тобою, как с ребенком. Кармелита.

Кармелита опустила голову на грудь.

— Делай, как знаешь, — сказала она, — только остерегайся ходить слишком далеко: я не выдержу.

— Ты опять падаешь духом; успокойся — от спокойствия к хладнокровию один только шаг. Пожелай энергично — и ты будешь сильная.

— Теперь смотри, — сказала Кармелита, и она улыбнулась Фражоле. — Хочешь более? Ты права, всегда права! Я положу свою голову к тебе на грудь и так останусь до тех пор, пока ты не велишь мне поднять ее — и тогда только ты отдашь мне подарок графа Пеноеля...

Она сделала над собой усилие и проговорила, улыбаясь:

— Подарок отца Коломбо.

— Хорошо, — сказала Фражола, в свою очередь, тоже улыбаясь, — ты героиня, и я не заставлю тебя долго ждать.

Фражола встала, но на этот раз Кармелита удержала ее.

— Фражола, моя благородная, святая Фражола, — сказала она, — кто выучил тебя лучше всякого медика излечивать раны моего сердца? А жизнь покажется мне прекрасной, пока я буду держать тебя за руку.

— Нечего делать, — сказала Фражола, — надобно награждать дитя за его послушание.

И высвободив тихонько свою руку из руки подруги,

она отошла за диван и, взяв из шифоньерки талисман графа, отдала его Кармелите, развернув предварительно бумагу.

— Его мать,— сказала она, повторяя слова графа,— срезала эти волосы с его головы в день его рождения.

— Милосердный Боже! — воскликнула Кармелита, бросаясь к локону с порывом львицы, отыскавшей своих детенышей.— Милосердный Боже! Это волосы моего Колумбо...

И в эту минуту холодное и безжизненное после смерти Колумбо сердце девушки вдруг озарилось лучом неизъяснимой радости и счастья.

Она взяла локон, рассматривала его со всех сторон, покрывала его слезами и поцелуями и потом, поднеся его к губам Фражолы, сказала:

«Ты его также любила, как брата, поцелуй же эти прелестные волосы, о милая моя сестра!..»

## XII

### ПОРТРЕТ СВЯТОГО ГИАЦИНТА

Улица По-де-Фер, параллельная улицам Ферон и Кассет, была самая темная из всех улиц Сен-Жерменского предместья в пору, когда происходили события, о которых мы рассказываем. Трава, пробиваясь между камнями мостовой, не тревожимая прохожими, росла себе пышно на приволье. Ее можно было принять за церковный двор или сельское кладбище: до такой степени эта улица навевала своим видом глубокое спокойствие и тихую грусть.

Но если она была темна со стороны улицы Вье-Колумбье, где она начиналась, то ее нельзя было упрекнуть в недостатке света со стороны улицы Вожирар, где она оканчивалась. На ней, примыкавшей с этой стороны к Люксембургскому саду, сосредоточивались все лучи, которыми обдаёт солнце сад дворца Медичи. Для ученого, философа или поэта жить на этой тихой зеленеющей улице было настоящим волшебным сном.

Там жил, как мы уже сказали, Доминик Сарранти: он занимал второй этаж дома, лежавшего напротив отеля графа Коссе-Брисака. Три комнаты, составлявшие его жилище, были однообразно выкрашены белой масляной краской, как стены кельи, под стать шерстяной белой ткани его одежды. Семь или восемь маленьких картин

испанских мастеров, эскиз Лесюера и другой эскиз Доминикино говорили о хорошем художественном вкусе обитателя этого убежища. К этому месту улицы По-де-Фер направился аббат Доминик, перейдя улицу Турнон. Встретив возвращение аббата радостными восклицаниями, привратница вручили ему письмо, при виде которого строгое лицо Доминика просияло радостью: он узнал почерк — письмо было от его отца.

Доминик быстро вскрыл конверт. Письмо состояло из нескольких строчек:

*«Мой милый сын, я со вчерашнего дня в Париже под именем Дюбрейля. Мой первый визит был к тебе: мне сказали, что ты еще не возвратился, но что тебе передали мое первое письмо и что, следовательно, ты не замедлишь возвратиться. Если ты приедешь нынешней ночью или завтра утром, то будь в полдень у церкви Успения, у третьего столба налево при входе».*

Подписан не было, но лихорадочный почерк отца Доминик узнавал и без этого. Впрочем, его бегство вследствие заговора в 1820 году объясняло эту меру предосторожности: он, вероятно, боялся преследований, и читатель знает уже из разговора Жакаля и Жибасье, что страх его не был безоснователен.

— Бедный отец,— сказал аббат, входя в свою квартиру. Свидание назначалось в полдень, следовательно, ему оставался еще добрый час впереди.— Бедный отец, доброе, благородное сердце,— лета пронеслись над твоей головой, не убавив ни на одну йоту скорости твоего пульса, не унеся ни одной великодушной идеи от твоего ума. Ты возвращаешься в Париж, в самый центр опасностей, с которыми ты хорошо знаком, чтобы вновь испытать себя в деле. Вознагради Господь тебя за твою преданность и за мужественное, неустанное самоотвержение! О, отец мой, я несу тебе более чем жизнь: я несу тебе доказательство невинности в преступлении, которого ты не только никогда не совершал, но даже не знаешь, что в нем тебя обвиняют.

Затем, поднимаясь по лестнице, он вынул из складок своей одежды объяснение, выслушанное им от Жерара на его смертном одре, и которое он, уезжая в тот же день в Бретань, увез с собою.

Он вошел в свою комнату, где не был более пяти недель, он бросил грустный взор на свой тихий, уединенный уголок, из которого был вырван, как птица из своего гнезда, и увлечен в шумный жизненный водоворот.

Яркий луч солнца врывается в окна, принося с собою жизнь и теплоту в спальню молодого монаха.

Доминик бросился в кресло и погрузился в глубокую задумчивость. Стенные часы, которые консьержка аккуратно заводила во время отсутствия Доминика, пробили половину двенадцатого.

Доминик поднял голову, и его взор, неся еще выражение размышлений, проскользнул по предметам, составлявшим убранство его комнаты, и остановился на бледной, белокурой голове святого, изображенного на висевших на стене картинах.

Лицо его было озарено необыкновенным светом. Это был портрет святого Гиацинта, монаха ордена святого Доминика, которого духовные писатели называют северным апостолом. Он происходил из дома графов Ольдовранов, одного из самых древних и знаменитых в Силезии, составлявшей в 1183 году польскую провинцию. В семействе Пеноелей существовала легенда, что один из их предков во время первого крестового похода был товарищем по оружию одного из предков святого Гиацинта. По странной случайности Доминик, которому Колombo рассказал эту старую историю, проходя по набережной, открыл в небольшой лавчонке, под толстым слоем пыли этот портрет святого Гиацинта. Найдя в нем сходство с Колombo, он ее купил и, придя домой, очистил и обновил; это была превосходная живопись школы Мюримго, если не самого Мюримго.

Эта картина была ему тройне дорога: во-первых, потому что изображала святого его ордена; потом вследствие сходства с Колombo, и, наконец, по своему достоинству, так как принадлежала кисти Мюримго или, по крайней мере, одному из его лучших учеников.

Понятно то впечатление, какое должна была произвести на Доминика после месячного отсутствия, проведенного им в замке Пеноель, и часового визита к Кармелите, эта картина, почти им забытая.

Аббат медленно поднялся со своего кресла, чтобы подойти к ней поближе, и остановился, устремив взор на картину.

Никогда сходство не казалось Доминику таким поразительным, действительно, это он — та же чистота лба, та же ясность взора. Белокурые волосы польского мученика, заканчивая сходство до тождества, окаймляли нежное лицо Гиацинта, как белокурые волосы бретонского мученика окаймляли лицо Колombo. Оба сохранили

во время их земной жизни, посреди соблазнов света, первозданную невинность и чистоту души и тела; оба — смиренные, милостивые, сострадательные, простые и сильные,— одинаково ненавидели зло и пламенно любили добро; раскрывая братские объятия всем страждущим и обремененным.

Мало-помалу и по мере пристального взглядывания в изображение святого это сходство с Колумбо показалось ему до такой степени реальным и вместе с тем необыкновенным, что в минуту священного восторга Доминик воскликнул, обращаясь к портрету:

— Будь счастлив! Да, добрый и благородный молодой человек, помолись у престола Всевышнего за твоего отца, за твоего брата и за сестру — как здесь, на скорбной земле, твоя сестра, твой брат и твой отец непрерывно возносят о тебе моления к Господу!

Подойдя к портрету, он снял его со стены и, поднеся его к окну, стал смотреть на него взором, по которому трудно было узнать: выражал ли он нежную дружбу к другу или благоговение к святому.

— Да, это действительно ты, благородное, дорогое существо,— сказал он.— Печать добра должна лежать неизгладимыми чертами на лицах избранных, чтобы через восемь веков и притом при совершенном незнакомстве с вами обоими живописца я смог найти на лице святого ту же печать добродетели, какую Господу угодно было положить и на лицо моего друга.

Вдруг у него сверкнула благая мысль:

— О, Кармелита! — прошептал он.

И, подумав немного, добавил:

— Да, это будет отлично.

Поставив портрет на стул, он подошел к своей конторке, взял лист бумаги и перо, пододвинул кресло к письменному столу и написал следующую записку:

*«Позвольте мне, сестра моя, предложить вам портрет святого Гиацинта. Вы получите вместе с ним описание жизни этого святого, которое я написал несколько лет тому назад. Возвратясь из Бретани, придя в свою комнату после кратковременного пребывания у вас, я был поражен таинственным сходством, соединяющим святого и оплакиваемого нами друга. Это два родных брата, два близнеца по добродетели. Вы, сестра их, примите этот портрет, как семейное достояние».*

Он свернул письмо, запечатал его и написал адрес. Потом, подойдя к библиотеке, достал с полки малень-

кую рукопись, на первой странице которой было написано: «Сокращенное жизнеописание Святого Гиацинта, монаха ордена Святого Доминика». Поочередно посмотрел он на портрет и на рукопись, завернул все в большой лист бумаги и, увидев, что часовая стрелка показывает без четверти двенадцать, взял пакет и быстро спустился с лестницы.

Затем, придя к Кармелите, осведомился у консьержки о последствиях обморока юной девушки, вручил ей письмо и портрет с просьбой передать то и другое немедленно, сам же поспешил в церковь Успения.

Аббат Доминик, только что прибывший в Париж, не знал, что происходило в великой столице, а потому не мог понять, почему отец его назначил ему свидание в церкви Успения — так как если уж он желал его непременно видеть в церкви, то храм Святого Сульпиция был в ста шагах от него. Но вступив на улицу Сент-Оноре и увидев огромную толпу, ее запрудившую, целую вереницу карет, которая растянулась с улицы Кок и начала которой не было видно, он спросил у первого встречного о причине такого скопления народа. Прохожий ответил ему, что толпа собралась по случаю похорон герцога де Ларошфуко-Лианкура, умершего накануне.

### ХІІІ

#### ПОХОРОНЫ ДВОРЯНИНА ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ 1827 ГОДА

Герцог де Ларошфуко-Лианкур, жестоко пораженный Корбьером в 1823 году, скончался восьмидесяти лет, ознаменовав долгую жизнь свою благодеяниями, благородством и высокой честью так, что оставил после себя память самого добродетельного, самого великодушного, самого уважаемого человека во Франции. К какой бы партии кто ни принадлежал, он не мог не удивляться великим добродетелям герцога де Ларошфуко-Лианкура, и все, начиная с беднейшего поденщика и кончая богатейшим гражданином, имя его произносили с одинаковым уважением, понимая под ним величие души, благодеяние и честность.

Услышав о смерти благородного герцога, аббат Доминик понял смысл этой сочувственной демонстрации жителей Парижа.

Это было время демонстраций.

Так как дух оппозиции, за малыми исключениями, воодушевлял большую часть общества, то малейшего случая было достаточно, чтобы поймать его на лету и им воспользоваться, — колесо, вертящее страстями людского общества, не останавливалось ни на минуту. Все давало повод к демонстрациям. Туке изобрел табакерки а la Charte — и распродавал их в числе пятисот тысяч! Те, которые не нюхали табака, прятали в них конфеты. И это была демонстрация.

Пиша поставил на сцене Леонида, умирающего за свободу Спарты, — и к дверям Французского театра из-за огромной толпы нельзя было подступиться. Это была демонстрация.

Генерал Фуа умер: сто тысяч человек сопровождали его тело, и Франция подписала миллион франков его вдове, — демонстрация.

Наконец, умирает герцог де Ларошфуко-Лианкур. Это был дворянин, роялист, но в то же время либерал. Воспользовались его смертью, чтобы устроить демонстрацию против крайних и иезуитов. И поэтому все классы общества имели представителей в этой толпе. Сермяга, блуза, куртка рабочего, альпага \* и кастор \*\* мещанина, мундир национальной гвардии, одежда пэра Франции, мантия судьи — все смешалось вместе. Общая скорбь, соединяя всех на одной и той же почве, принижала великих, возвышала смиренных, соединяла бедняка с богачом, гражданина с воином, академика с депутатом, с медиком.

Но более всего волновалась в этой толпе школьная молодежь, студенты, только что оставившие школьную скамью, которые своим энтузиазмом придавали особенный характер религиозности этому общественному трауру.

В ту эпоху существовали еще школы.

Когда восстания принимали драматический характер, мирный городской обыватель, дрожа от страха, выглядывал украдкой из окна, смотрел направо и налево, но всегда по направлению Латинского квартала и говорил жене:

— Успокойся, Минета, ничего, как видно, не будет: я нигде не вижу школ.

---

\* Альпага — легкая ткань, выделяемая из шерсти южноамериканского домашнего животного того же названия

\*\* Кастор — сорт сукна, употребляемый преимущественно на верхнее мужское платье

Так смотрели в 1792 году по направлению предместьев. Только когда появлялись предместья, как 5-го, 6-го октября, 20 июня и 10 августа — тогда сила шла подкреплять силу; тогда как при появлении школ — как это было 28 июля, 5 июня — интеллигенция шла на помощь силе.

Поэтому, когда этот самый обыватель видел вдали развевавшиеся фалды тоненьких сюртуков студентов, слышал отдаленные звуки их пения, раздававшегося подобно громовым раскатам на вершине горы, называемой улицей Сен-Жака, тогда он, теряя всякую надежду, что разъяснится политический горизонт, по поэтическому выражению газеты «Конституциональ», — запирал, замыкал, загоразивал свою лавку и окна, а самые трусливые спускались в погреба и кричали:

— Спасай, что можно, дети! Плохо, двинулись школы!

Слово «школы» обозначало молодежь, независимость, храбрость и силу, но в то же время также несдержанность и страсти.

Молодые люди от восемнадцати до двадцати лет, посылаемые их матерями из глубины провинций, одобряли более слабых, внушали уверенность более робким. Они были всегда готовы бороться и умереть ради одного слова, идеи, убеждения, подобно старым солдатам или молодым спартамцам, имея все их добродетели, скрытые более легкой и беззаботной формой. Они умирали, улыбаясь.

Но не для восстания — употребим принятое для этого классическое выражение — вышли они на улицу в тот знаменательный день. Они не танцевали, не пели, на их лицах не было даже улыбки. Их молодые, озабоченные и печальные лица носили следы траура, который разделяли с ними сограждане, оплакивая смерть праведника.

Между ними отличалась депутация воспитанников Школы художеств и ремесел из Шалона, которые пришли проводить тело своего благодетеля, потому что герцог де Ларошфуко-Лианкур в числе других своих добрых дел основал и их заведение.

Аббату Доминику стоило немало труда пробраться сквозь эту толпу. Тем не менее, когда он очутился среди воспитанников школ, молодые люди, увидев этого прекрасного священника, который был старше их на каких-нибудь пять-шесть лет и которого большая часть из них хорошо знала, посторонились с уважением и дали ему дорогу.



Полчаса пробивался он сквозь скопление людей, и, наконец, добрался до решетки храма Успения в ту самую минуту, когда траурные кареты, выезжая из замка де Ларошфуко, находившегося на улице Сент-Оноре, начинали показываться в отдалении, подобно похоронному флоту с черными флагами, рассекавшими темные волны толпы.

Когда аббат Доминик пробирался сквозь толпу, он услышал, как человек, одетый в черное платье с крепом на рукаве, сказал вполголоса:

— Ни прежде, ни во время церемонии — слышите?

— А после? — спросил один из двух человек, стоящих вместе.

— Им прикажут уйти.

— А если они не захотят?

— Их арестуют.

— Если они будут защищаться?

— Кастеты при вас?

— Да, разумеется.

— В таком случае вы их пустите в ход.

— А знак?

— Они его сами подадут... когда захотят нести тело.

— Шш! — сказал один из двух человек. — Этот монах слышит нас.

— Что ж тут такого, разве священник не за нас?

Доминик сделал движение, как бы отказываясь от подобной солидарности, но он вспомнил, что его ждет отец, на котором тяготело двойное обвинение. Следовательно, ему необходимо было отвести внимание не только от отца, но и от самого себя.

Он промолчал. Но его сердце, которое вздрогнуло от услышанных слов, сильно затрепетало, когда он увидел фигуры двух полицейских. Он продолжал продвигаться вперед, по временам останавливаемый толпой, и ему показалось, что в этой толпе немало личностей, которые, по его мнению, держали за пазухой свои кастеты.

Так добрался он, наконец, до паперти церкви Успения.

Его одежда, которая помогла ему проложить себе дорогу между студентами, сослужила ему еще большую службу возле церкви. Толпа посторонилась от него, и он смог свободно войти в нее.

С первого взгляда он увидел своего отца, прислонившегося к третьей колонне налево, неподвижного, как статуя, со взором, устремленным на дверь: видно было, что он кого-то ждал. Доминик узнал его, хотя с тех

пор, как он его видел, прошло семь лет. Он мало изменился: тот же блестящий взор, та же решимость во всех чертах лица, та же сила во всем его облике, только волосы поседели, и цвет лица принял более темный оттенок под индийским солнцем.

Доминик пошел прямо к своему отцу с намерением броситься в его объятия, но прежде, чем он прошел половину разделявшего их пространства, господин Сарранти положил палец на губы и этим знаком, а также взором, его сопровождавшим, удержал сына от его невольного порыва.

Аббат понял, что ему следует казаться совершенно чужим своему отцу. Приблизившись к нему, вместо того, чтобы обнять его, заговорить с ним или просто протянуть ему руку, Доминик опустился на колени возле колонны и, прочитав благодарственную молитву Богу, взял руку, которую его отец опустил и, целуя ее с жаром и почтением, решил произнести только два слова, которые могли одинаково относиться к Богу и к человеку, перед которым он преклонил колени:

— Мой отец!

#### XIV

### ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ 30 МАРТА 1827 ГОДА

Церковь Успения, основанная в 1670 году, была, без сомнения, самым заурядным зданием в Париже. Сама форма ее неуклюжа: она представляет башню, покрытую огромным куполом в шестьдесят два фута в диаметре, — что-то вроде хлебной скирды; «так что, — говорит Легран в своем описании Парижа и его зданий, — это строение, слишком высокое сравнительно со своим диаметром, имеет, скорее, вид глубокого колодца, чем изящество хорошо выведенного купола».

Прежде чем сделаться приходской церковью, храм Успения был женским монастырем. Сестры, жившие в этом монастыре, назывались годриетами. Вначале на их обязанности лежал уход за бедными женщинами в госпитале. Мало-помалу госпиталь превратился в монастырь, где они продолжали жить бесполезно, составляя монашеское общество.

Поведение этих монахинь было далеко небезупречно,

и духовенство напрасно пыталось несколько раз ввести изменения в их общине. Наконец, кардинал де Ларошфуко предпринял попытку подчинить их общим правилам монашествующих и перевести их в отель, который принадлежал ему в предместье Сент-Оноре и который он продал иезуитам в 1603 году, а иезуиты обязались контрактом от 3 февраля 1623 года перепродать его годриетам. Они провели там шесть месяцев и перестроили внутренние покои, сообразно потребностям их жизни, как вдруг сама община годриетов была уничтожена, а доходы присоединены к новому монастырю, которому дали название Успенского. Только церковь этого дома оказалась недостаточно просторной для монахинь: они купили отель Денуайе и начали строить церковь в 1670 году, которая была окончена шесть лет спустя.

Этот тяжелый купол, над которым висело темное, пасмурное небо, смотрел в этот день, как всегда, печально и некрасиво, и нужно было собрать всю эту несметную толпу, чтобы придать ей поэтический, торжественный вид. В ту самую минуту, когда похоронная церемония готова была двинуться из жилища покойного в церковь, бывшие воспитанники Шалонской школы, основанной герцогом Лианкуром, испросили себе позволение нести гроб своего благодетеля. Один из министров Карла X, герцог де Ларошфуко-Дудовиль, близкий родственник покойного, который должен был держать один из концов парчи, дал это позволение от имени всего семейства.

Церемония двинулась медленно, торжественно и достигла в совершенном порядке церкви.

Толпа, теснившаяся по обе стороны улицы, молчаливая и сдержанная, отстранилась, снимая шапки по мере приближения процессии.

Чтобы дать понятие о знатных господах, привлеченных похоронами герцога в церковь Успения, потребовалось бы оставить длинный список имен.

Тут были графы Гаetan и Александр де Ларошфуко, сыновья покойного, и все семейство герцога; потом герцогом Бризак, Леви, Ришелье; графы Порталис и Бастард, бароны Порталь, Барант, Лене, Пасье, Деказес, аббат Монтестье, де ля Бурдонне, Виллель, Гид де Невиль, Ноэль, Казимир Перрье, Бенжамен Констан, Руайе Коллар, Беранже.

Между двумя пилястрами, составлявшими круглую стену церкви, человек, игравший большую роль еще в

1789 году и которому выпала на долю такая же роль в 1830 году в делах своей страны, знаменитый Лэфайет, разговаривал с другим человеком, лет сорока двух — сорока четырех, но которому едва можно было дать тридцать пять. В тоне доброго старика слышалось то уважение, с которым он обращался к каждому собеседнику, но который он умел особенно оттенить в пользу тех, к кому он чувствовал особенную симпатию.

Этот человек, имя которого встречалось уже два или три раза в нашем рассказе, но с которым мы еще не познакомили наших читателей, был Антенор Маран, муж одной из четырех сестер из Сен-Дени, которых мы видели вокруг постели Кармелиты, в церкви Сен-Жермен-де-Пре и которую мы до сих пор называли просто именем Лидии.

Сорокадвух- или сорокачетырёхлетний Маран был в ту пору красивый, элегантный банкир, белокурый, с прекрасными голубыми глазами, с рядом отличных зубов и свежим лицом. Он, обладая той особой статью, которую дает не рождение, а наука, воспитание, сложившееся в обществе и которое отличает английских джентльменов. Это было, главным образом, свойством банкира. В нем было что-то непреклонное: качество, зависящее, прежде всего, от воспитания. Направляемый отцом, старым полковником Империи, убитым при Ватерлоо, — к военному поприщу, он воспитывался в Политехнической школе, откуда и вышел в 1816 году. Видя, что положение дел в Европе склоняется к продолжительному миру, он отдался изучению банковских дел. Как прежде изучал он Полиба, Монтекукули и Жомини, так принялся теперь изучать Тюрго и Неккера, и так как ум его был способен все понимать, — вместо того, чтобы сделаться знаменитым офицером, он превратился в отличного банкира.

Как мы уже сказали, его манеры сохранили кое-что от военного мундира, в котором он прожил почти двенадцать лет. Женщине он мог нравиться, потому что для женщины порядочность и элегантность составляют уже большую долю красоты, но мужчина нашел бы его, пожалуй, напыщенным, важным, натянутым, одним словом, — фатом.

Впрочем, это чрезмерное, почти утрированное стремление быть комильфо навлекло на него две неприятности, из которых он вышел мужественно и с необыкновенным хладнокровием.

Первая неприятность, приключившаяся с ним, разрешилась тут же, на месте, на шпагах, причем противник Марана получил серьезную рану.

Другой случай должен был разыгаться 22 числа того же месяца, но Маран попросил десятидневной отсрочки: целью этой отсрочки были банковские расчеты 30-го числа. Окончив их 30-го числа, Маран написал своему противнику, что, так как отсрочка истекает на следующий день, он готов к услугам своего противника, где и когда ему будет угодно. Противники выстрелили разом на расстоянии 30 шагов: Маран получил рану в ногу, его противник был убит наповал, и все это так спокойно, что ни одна складочка не измялась на белом галстуке Марана.

Никогда не говорил Маран об этих двух случаях и, казалось, не любил, чтобы ему о них напоминали. Что же касается его искусства драться на шпагах или на пистолетах, он никогда не пускал его в дело, исключая эти два случая, и без этих двух дуэлей, конечно, никто не знал бы, даже в близком к нему кругу, что он умеет взяться за шпагу или пистолет. Говорили, что у него был фехтовальный зал и другой — для стрельбы в цель, куда входил только его слуга, фехтовальный же зал посещал старый итальянец Каstellи, который давал уроки первым фехтовальным учителям в Париже.

Маран был, наряду с Ротшильдом, Лаффитом и Агадом, одним из самых знаменитых банкиров в Париже, если не самым богатым, то, во всяком случае, самым отчаянным. Упоминали о его финансовых операциях, отличавшихся необыкновенной смелостью, блеском, счастьем и гением.

Когда он достиг административной зрелости, он был послан в парламент своим департаментом, куда он был избран большинством голосов, доходящим до единодушия. Два года тому назад, после трехлетнего молчания, он произнес речь о свободе прессы, которая доказывала, что он изучил древних и современных ораторов так же тщательно, как стратегов и экономистов.

Закадычный друг Бенжамена Констана, Мангоэля и Лафайета, он держался левой стороны и, казалось, стоял под знаменами Казимира Перрье и Лаффита.

Какое же было это знамя?

На этот вопрос трудно было сразу ответить. Тем не менее, люди, которые имели возможность быть посвященными в текущие дела, уверяли, что это знамя пред-

ставляло идею посредничества между республикой и неограниченной монархией, что знамя поднято было принцем, который осторожно, скрываясь в тени, много трудился над ниспровержением существующего порядка. Очевидно, что существовали оттенки между мнением генерала Лафайета, который представлял монархическую республику с конституцией 89 года, и мнением Марана, который, если он действительно был агентом принца, ратовал за монархию демократическую, с применением положений 1815 года.

Впрочем, легко было узнать убеждения того и другого, если взять в соображение те несколько слов, которыми они только что перекинулись.

— Вы предупреждены о том, что делается там, генерал?

— Да, австрийские деньги идут в гору.

— Вы за понижение или повышение?

— Нет, я остаюсь нейтральным.

— Это ваше мнение или ваших друзей, банкиров?

— Это всеобщее мнение.

— А лозунг?

— «Оставьте их!..» Вы видели принца?

— Да.

— Известили вы его об этом движении? У него, кажется, есть дела с домом Акроштейна и Ескелес?

— Там большая часть его богатства.

— Будет ли он за или против?

— Нет. Как и вы, он предоставит дела их течению,— сказал Маран.

— Это самое лучшее и осторожное,— ответил генерал Лафайет.

И оба, начиная с этой минуты, наблюдали за движением с самым глубоким вниманием, хранили упорное молчание.

В пяти или шести шагах от генерала и банкира, четыре привлекательных молодых человека, выслушав с уважением несколько слов, сказанных им Беранже, отступили назад и стали говорить вполголоса именно в ту минуту, когда гроб вносили в церковь.

Эти четыре молодых человека были наши друзья Жан Робер, Людовик, Петрюс и Жюстен. Они искали глазами посреди всей этой толпы кого-то, надеясь встретить его здесь, но, как видно, все их старания оставались тщетными. Наконец, они его заметили в числе вошедших за гробом.

Это был Сальватор.

Молодой человек тотчас их заметил и, пробившись сквозь толпу, пошел прямо к ним. Тем не менее, ему стоило большого труда пробраться к ним, потому что по дороге десятки рук протягивались к нему, желая пожать ему руку. Когда он подошел к столбу, где стояли четыре друга, четыре руки протянулись навстречу ему, и молодые люди составили круг, в центре которого стоял Сальватор.

— Не скажете ли вы нам что-нибудь нового? — спросил Жан Робер, который заметил выражение беспокойства в глазах молодого человека.

— Да, и кое-что особенно важное, — ответил Сальватор.

И оглядев всех пристальным взглядом, добавил:

— Что бы вы ни слыхали, что бы вы ни видели, каким бы удобным ни казался вам случай, — ничего не предпринимайте!

— Что же такое? — спросил Людовик.

— Не знаю, — сказал Сальватор, — но что-то вроде восстания.

— Как, в день похорон? — спросил наивно Жюстен. Сальватор улыбнулся.

— Вы знаете пословицу, мой милый Жюстен, — «Доброму вору все впору»?

— В таком случае, зачем уговариваете вы нас ничего не предпринимать?

— Оттого, что восстание восстанию рознь.

— Разумеется, — подхватил Людовик, который понял смысл слов Сальватора. — Бывают восстания, которые делаются самим ходом событий, и восстания, которые приказывают делать.

— Иначе говоря, бывают бунты без бунтовщиков, — добавил Жан Робер.

— Черт возьми! — заметил Петрюс. — Это самые опасные, по крайней мере, таково мнение моего доброго дяди.

— Ваш добрый дядя — умный человек, Петрюс, — сказал Сальватор.

Потом, обратясь к Жюстену, добавил:

— Держитесь спокойно, мой добрый Жюстен, и что бы ни кричали при выходе из церкви, будет ли это «Да здравствует свобода печати!» или «Долой министров!», одним словом, чтобы там ни было, — пусть их кричат. Если подерутся — оставьте их драться, если будут угро-

жать вам — не обращайтесь внимания. Одним словом, присутствуйте при том, что произойдет,— я чувствую это в воздухе, но держитесь с хладнокровием глухого, спокойствием немого и апатией слепого.

— Хорошо,— ответил Жюстен, вздыхая, как человек, который видит ускользающую от него первую возможность выказать себя в настоящем свете.

Сальватор понял движение молодого школьного учителя и добавил в виде утешения:

— Немножко терпения, милый друг,— вам представится более удобный случай. Спрячьте до тех пор вашу добрую волю. Теперь же — самое глубокое молчание. Мы и без того слишком много говорили. Посмотрите, какие висельники нас окружают.

И, в самом деле, по всем направлениям возле молодых людей прогуливалось медленно и сосредоточенно, как будто боясь нарушить всеобщее торжественное настроение шумом своих шагов, большое количество мужчин, которых опытный глаз тотчас узнает, несмотря на какую угодно маскировку, и которые, втираясь в общество честных людей, производят впечатление, подобное тому, какое делают в драме или водевиле статисты, представляющие гостей, приглашенных на свадьбу или на обед.

Посреди этой толпы прогуливались два человека, служившие центром, на который постоянно были устремлены глаза этих странных гостей. Один, одетый в длинный голубой сюртук с ленточкой Почетного легиона в петличке, опираясь на палку, как человек, которого старая рана принуждает искать эту третью, по выражению сфинкса Эдипа, ногу, казалось, был военным. Другой, в коричневом рединготе<sup>1</sup>, походил на честного коммерсанта, свободного от дел. Разговаривая, они называли друг друга просто — «соседом». Это были наши старые знакомые Жибасье и Карманьоль.

Спрашивается, каким образом Карманьоль, уехавший в Вену с Жакалем, а Жибасье, отправившийся в Киль, очутились в церкви Успения, готовые дать знак целому полчищу агентов, которые беспокоили Сальватора.

Это наши читатели скоро узнают, если мы сумели возбудить в них желание знать продолжение этой истории...

---

\* Редингот — длинный сюртук особого покроя.



# СОДЕРЖАНИЕ

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I	Старая, но вечно новая история . . . . .	5
II	Фея Карита . . . . .	10
III	Семейный обзор . . . . .	20
IV	Граф Гербель де Куртенэ . . . . .	25
V	Ханжа и вольтерьянец . . . . .	30
VI	Дядя и племянник . . . . .	37
VII	Продолжение разговора . . . . .	44
VIII	За кофе . . . . .	53
IX	О чем предпочитала бы не вспоминать маркиза де Турнелль . . . . .	58
X	О добродетелях графа Раппа . . . . .	63
XI	Визит на Кишечную улицу . . . . .	69
XII	У художников искусству служит все . . . . .	73
XIII	Портрет графа Раппа . . . . .	78
XIV	Бенефис сеньоры Розины Энгель . . . . .	86
XV	Индийский мираж . . . . .	93

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I	Что было в нацере индийского генерала . . . . .	100
II	История одного ребенка . . . . .	104
III	Джульетта у Ромео . . . . .	110

IV	Ревность . . . . .	115
V	Три воспоминания Рейхштадта . . . . .	121
VI	«На моих окнах нет решеток, но...» . . . . .	127
VII	Явление . . . . .	131
VIII	Деленда Картаго! . . . . .	137
IX	Узник Святой Елены . . . . .	148
X	Комиссионер с улицы Фер . . . . .	162
XI	Отчего погибла Троя . . . . .	169

#### ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I	Двенадцать процентов дяди Жибелотта . . . . .	176
II	Читателю предоставляется возможность познакомиться с мосье Фафиу . . . . .	183
III	Мосье Фафиу и мэтр Коперник . . . . .	190
IV	Услуга за услугу . . . . .	195
V	Галилей Коперник . . . . .	201
VI	Попытка взглянуть на фарс вблизи . . . . .	209
VII	Таинственный дом . . . . .	228
VIII	Ла Барбет . . . . .	231
IX	Прочь отсюда! . . . . .	236
X	Говорящий колодец . . . . .	241
XI	Только гора с горой не сходятся . . . . .	245
XII	Плющ и вяз . . . . .	249

#### ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

I	Жакаль открывает шестьдесят лиц . . . . .	262
II	Жакаль узнает, что он ошибся и что император жив . . . . .	266
III	Счастье приходит во сне . . . . .	273
IV	Поручение Жибасье . . . . .	279
V	Миньона . . . . .	286

VI	
Свидание . . . . .	289
VII	
Жан Робер ломает голову . . . . .	293
VIII	
В путь — на поиски! . . . . .	297
IX	
Через поле . . . . .	301
X	
Парк, в котором уже давно перестал петь соловей . . . . .	306
XI	
Отчего не пел больше соловей . . . . .	310
XII	
Объяснение . . . . .	313
XIII	
Дорога . . . . .	318
XIV	
Надежда никогда не умирает . . . . .	321
XV	
Жилище феи . . . . .	326

## ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

I	
Ждать и надеяться . . . . .	332
II	
Посвящение . . . . .	336
III	
Розыски . . . . .	346
IV	
В ожидании мужа . . . . .	351
V	
Брачная ночь графа и графини Рапп . . . . .	359
VI	
От сердца к сердцу . . . . .	372
VII	
Скорбящий отец . . . . .	381
VIII	
На морском берегу . . . . .	387
IX	
Похоронный обед . . . . .	392
X	
Святыня отца . . . . .	397
XI	
Ангел-утешитель . . . . .	406
XII	
Портрет святого Гиацинта . . . . .	414
XIII	
Похороны дворянина либеральной партии 1827 года . . . . .	418
XIV	
Что произошло в церкви Успения 30 марта 1827 года . . . . .	422

Литературно-художественное издание. Роман в 2-х томах  
*Александр Дюма (отец)*  
**МОГИКАНЕ ПАРИЖА**  
Том II

Редакторы Ю. Трофимов, В. Ефремов.  
Художник В. Змеев.  
Художественный редактор М. Бруня.  
Технический редактор З. Кушниренко.  
Корректор В. Дячишина

Сдано в набор 08.10.91. Подписано в печать 10.07.92. Формат бумаги 84×108/32. Бумага тип. 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. листов 22,68. Уч.-изд. листов 25,10. Тираж 100 000 экз. (2-й завод: 50 001—100 000 экз.). С 42. Заказ № 256.

АО «Concordia» — «Vesta». Ассоциация «Concordia» — А. Т.  
277005, Кишинев, ул. Ал. Влахуцэ, 11/4

Типография изд-ва «Уральский рабочий».  
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.





The image shows a decorative book cover with a gold background. A white grid pattern of thin lines covers most of the surface. The grid is bordered by a decorative edge consisting of small black diamonds and dots. In the center of the grid is a large, stylized black monogram, possibly 'Z' or 'S', with white highlights and a drop shadow effect.



18